Галина Серебрякова

5

Галина Серебрякова 5



# Галина Серебрякова

собрание сочинений
в шести томах

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1979

Галина Серебрякова

# собрание сочинений
## ТОМ ПЯТЫЙ

ЖЕНЩИНЫ ЭПОХИ
ФРАНЦУЗСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ

ОДНА ИЗ ВАС

О ДРУГИХ И О СЕБЕ

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1979

Р 2
С 32

*Оформление художника*
И. САЛЬНИКОВОЙ

**Серебрякова Г. И.**

С 32 Собрание сочинений. В 6-ти т. — М.: Худож. лит., 1979. —

Т. 5 Женщины французской революции. Одна из вас. О других и о себе. 1979. 512 с.

В том вошли книги новелл: «Женщины эпохи французской революции», «О других и о себе» (разделы — «Свет неугасимый», «Под Красной Звездой») и повесть «Одна из вас».

В книге «Женщины эпохи французской революции» живо и увлекательно рассказывается о судьбах разных по своим социально-политическим взглядам участниц бурной героической эпохи.

«Одна из вас» — повесть о годах гражданской войны.

«О других и о себе» — литературные портреты выдающихся государственных и партийных руководителей нашей страны.

С $\frac{70302\text{-}382}{028(01)\text{-}79}$ подписное Р 2

# Женщины эпохи французской революции

## ТЕРУАНЬ ДЕ МЕРИКУР

Свыше ста лет тому назад в Сальпетриере, парижском убежище для умалишенных, умерла женщина, имя которой было на устах всего Парижа в первые годы революции. Более двадцати лет провела она в железной клетке «для буйных». Дни и ночи безумная просиживала на соломенном тюфяке, лепеча бессвязные фразы, или дико кричала, преследуемая кровавыми воспоминаниями прошлого. Грязная и изможденная, она внушала сострадание.

Восьмого июня 1817 года в толстой больничной книге против ее имени проставлено равнодушное «скончалась». Опустела вымощенная каменными плитами камера, в которой без проблесков разумной мысли столько лет металась несчастная женщина. Эта пятидесятипятилетняя сумасшедшая была Теруань де Мерикур, «красная амазонка», ведшая без страха толпы голодных на приступ королевского Версаля.

Анна-Жозефина Тервань, впоследствии изменившая свою фамилию на благозвучную Теруань де Мерикур, родилась в 1762 году в маленькой бельгийской деревушке Маркур. Отцом Анны-Жозефины был малоземельный крестьянин, обремененный налогами и заботами о детях. Каждый лишний рот был непосильным грузом для семьи. Пришлось рано подумать о том, чтобы отправить Анну-Жозефину «в люди»; ее предназначали в прислуги. Расставание с родными для девочки было очень тягостным: любовь к своей семье навсегда останется сильным чувством у Теруань.

Место нашлось в деревушке неподалеку, но служила она там недолго. Юная Тервань из Маркура понравилась

богатому англичанину, который, уезжая в Англию, берет ее с собой. Отъезд в Англию означал превращение робкой золушки Анны-Жозефины в героиню шумных светских похождений Теруань де Мерикур.

По отрывочным биографическим сведениям (в жизни Теруань многое осталось невыясненным), она вскоре начинает вести в Англии жизнь беспорядочную и разнообразную. Она многому научилась, легко усвоила необходимые знания: жеманное кокетство, светские манеры. Пробыв несколько лет в Лондоне, где она вращалась в среде кутящей денежной и купеческой аристократии, Теруань отправляется в Париж, к тому времени охваченный противоречиями и борьбой. Не улавливая признаков революции, она живет праздно и беззаботно. Однако в легкомысленной куртизанке сохраняется непосредственный демократизм недавней крестьянки: она не забыла своего детства, когда помещик и сборщик податей лишали ее родных краюхи хлеба. Теруань не порывает со своей деревней и семьей, не скрывает своего происхождения. Один из ее братьев проявляет способности к живописи, и, подметив это, она устраивает его отъезд в Италию, обращается к друзьям и покровителям с просьбой руководить его образованием. Своих богатых поклонников Теруань разоряет с полным равнодушием. У нее появляются дом, брильянты, блестящий выезд, слуги и деньги. Расчетливая и трезвая, Теруань решает обеспечить себя постоянной рентой.

Ей удается достигнуть этого. Один из друзей действительно подписывает следующее характерное для эпохи обязательство:

«Николай Дуйе де Персан дворянин, маркиз де Персан, граф де Ден и де Пато, обязуется выплачивать девице Анне Теруань, несовершеннолетней, пять тысяч ливров ежегодной пожизненной ренты с уплатой в два срока в году. Этот договор составлен ввиду получения вышеозначенным маркизом де Персан пятидесяти тысяч ливров от девицы Теруань. Он сможет освободиться от уплаты ренты возвратом этой суммы».

Обеспечив прочное благосостояние, Теруань де Мерикур стремится перестроить свою никчемную жизнь. Талантливая и умная, постоянно неудовлетворенная, она не хочет ограничиться ролью содержанки.

Когда-то в Англии итальянские певцы находили у нее

незаурядный голос, и, вспомнив об этом, Теруань уезжает в Италию учиться пению. Впереди мелькает заманчивая карьера певицы. Она пишет из Италии своему банкиру и другу Перрего о надеждах и мечтах, связанных с работой над постановкой голоса.

Эти письма поражают деловитостью, умением разбираться в денежных вопросах и постоянным беспокойством о близких. Стиль, образы и сравнения Теруань говорят о начитанности и впечатлительном уме. Она много занимается, увлекаясь классической литературой древних, собирает значительную по тому времени библиотеку.

В 1789 году, узнав о событиях во Франции, Теруань бросает мечту сделаться певицей и мчится в Париж, полная энтузиазма, готовая окунуться в самую гущу событий. Революция в этот период еще бескровна. Очутившись в Париже, Теруань переживает полное перерождение, ее стремительный, бунтующий характер впитывает и воплощает в себе порывы масс и их протест. Праздной куртизанки больше нет и не будет. Все силы она отдаст делу, в котором найдет полное удовлетворение. Теруань идет вместе с «людьми улицы», распевает революционные гимны, проклинает аристократов, поклоняется первым звездам революции — Мирабо и Лафайету. Вначале она теряется в толпе, ничем не выделяясь, но очень скоро Теруань пойдет впереди и поведет угнетенных за собой. В толпе она различает женщин, крайне отсталых, забитых, обездоленных. Теруань де Мерикур, добрая, чуткая, пережившая немало горя и унижений, становится организатором, вождем женщин. В первоначальных опытах журналистики и ораторства она формулирует то, чего женщины еще не осознали. Теруань, никогда не бывшая ни матерью, ни женой, инстинктивно находит доступ к их мыслям, желаниям и страданиям. Женщины охотно подчинялись неотразимому ее влиянию, и популярность Теруань быстро возрастала. Она как бы олицетворяет женское освобождение.

Много лет спустя русские реакционеры XIX века, воевавшие против раскрепощения женщин, превращали имя Теруань де Мерикур в нарицательное.

Теруань де Мерикуры
Школы женские открыли...
Для того, чтоб наши дуры
В нигилистки выходили... —

писал в шестидесятых годах прошлого столетия поэт Щербина, высмеивая борьбу за эмансипацию женщин, которую вела русская революционная интеллигенция.

В некогда роскошном особняке Теруань с первых дней революции все перевернуто вверх дном. Там создается своеобразный клуб, где бывают представители всех революционных партий, журналисты, политики, поэты и обсуждаются волнующие события дня. Робеспьер, настороженный и еще не уверенный в себе; курносый увалень и шутник Дантон; Демулен с обиженной складкой рта; Мирабо, барин с мягкими руками, вкрадчивым голосом и лицемерной улыбкой; влюбчивый Шенье; меланхолический аббат Сийес; русский граф Строганов, сочувствовавший якобинцам; «римлянин» Сен-Жюст и много других политиков, журналистов, поэтов посещали хаотическую квартиру Теруань. Это было в утро революции.

Четырнадцатого июля 1789 года Теруань, пренебрегая опасностью,— среди смельчаков на мосту Бастилии; первой она врывается в крепость, прокладывая себе дорогу шпагой. Толпа устраивает ей восторженную овацию.

Несколько месяцев спустя Теруань, верхом на лошади, с пистолетом в руках, в мужском костюме, с развевающимся шарфом на шее,— впереди женщин, идущих к Версалю и требующих ответа от короля.

Под проливным дождем двигались армии предместий к Версалю; женщины, предводительствуемые Теруань, сзывали мужчин. Их голодный бунт 6 октября 1789 года был грозным предупреждением Людовику XVI. Зажигающий пафос речей Теруань, непреклонная уверенность в победе, готовность к бунтарскому натиску — именно это нужно было голодным беднякам, которые сделали ее своей героиней.

Популярная в массах, Теруань вызвала бешеную ненависть в среде роялистов. Газеты и памфлеты аристократов называли ее не иначе как «бродячая сволочь». Пасквили, многочисленные карикатуры и статьи — доказательства того, с какой настойчивостью газеты травили революцию именно в лице Теруань. Клевета по ее адресу не прекращается до 10 августа 1792 года, дня разгрома роялистов и конца монархии. Теруань припоминают уязвимое прошлое, давно искупленное временем и работой. Призывающую к здоровой любви и труду Теруань обви-

няют в разврате, приписывая ей множество богатых любовников. Особенно изощряется в нападках на «героиню предместий» реакционный журнальчик «Деяния апостолов», где усердствуют ядовитые памфлетисты Сюло, Ривароль, Шансене. Теруань в это время почти без средств, перебивается изо дня в день, распродавая остатки имущества, закладывая пожитки в ломбарде. Последние свои драгоценности она бросает на трибуну одного из клубов, призывая женщин следовать ее примеру и организовать сбор средств на постройку дворца Национального собрания на месте разрушенной Бастилии.

В начале 1790 года Теруань, вынужденная скрываться от преследований монархистов, уезжает в родную деревушку Маркур, находящуюся в Бельгии, недалеко от Льежа. Она привозит в тихий сельский уголок революционные настроения Парижа. Ее веселый, живой ум, образный язык и безудержный энтузиазм покоряют в первую очередь деревенскую молодежь.

Земляки из Маркура распевают парижские революционные песенки, мечтают о борьбе с монархистами. Вот на деревенской улице под вечер, окруженная пестро разодетыми крестьянками, Теруань де Мерикур в десятый раз вспоминает подробности событий 5—6 октября, участницей которых она была. Отлично владея деревенскими оборотами речи, Теруань увлекает слушателей подробностями версальских происшествий. С гордостью рассказывает она, как, предводительствуя толпой голодных женщин, ворвалась в покои «австриячки», вызвав потешный переполох среди фавориток королевы. Принцесса Ламбаль, приподняв похожую на абажур тяжелую юбку, жирная мадам Елизабет мчатся следом за убегающей королевой, волосы которой распустились, усыпая пол белыми хлопьями пудры. Теруань бросается за ними, пытаясь остановить предательницу королеву. Опрокидывая затейливые раззолоченные кресла рококо, она догоняет Марию-Антуанетту. Но на пороге комнаты короля ее спасает нерастерявшийся Неккер. Теруань ненавидит Бурбонов и мечтает о низложении монархии.

На родине, в Маркуре, окруженная обожанием и поклонением своих односельчан, Теруань не перестает стремиться к активной работе. Ей хочется основать революционный журнал, и с этой целью она отправляется в Льеж. Там Теруань энергично и упорно ищет средства

к организации задуманного журнала. Однако жизнь ее резко меняется. Внезапно Теруань исчезает из города. Ее перепуганный брат тщетно занят поисками. В опустевшей квартире нет никаких следов того, что произошло с Теруань. Пьер Тервань пишет о пропаже сестры в Париж банкиру Перрего; он допускает романтическую причину таинственного похищения.

Но исчезновение Теруань объяснялось иначе. В маленьком городе слишком известна была ее ненависть к королеве Франции, австрийской принцессе по происхождению, и, когда в январе 1791 года в Льеж вступили войска австрийских интервентов, Теруань арестовали по доносу французского дворянина-эмигранта Лавалетта и отправили под специальным конвоем в австрийскую крепость Кюфштейн. Плен и неизвестность мучили Теруань, она рвалась во Францию. Сознательно лгала на допросах, добиваясь быстрейшего освобождения. Ей удавалось изредка посылать из крепости друзьям и брату письма, в которых она не забывала просить о том, чтобы больше всего берегли ее библиотеку. Во время ареста у нее отобрали сочинения Сенеки и Мабли.

В инструкции, данной следователю, австрийские власти так характеризовали Теруань: «Ее фанатический энтузиазм в отношении всего, что связано с идеями демократии, общеизвестен». Австрийцы пытались запугать французскую революционерку вечным заточением и вынудить у нее признание в «государственной измене». Под влиянием пережитого Теруань тяжело заболела. Пришлось перевести ее из крепости в Вену, где она пробыла еще некоторое время под домашним арестом. Следствие затягивалось, доносы дворян-эмигрантов на Теруань не были подкреплены доказательствами; следователь склонялся к прекращению дела. К этому же времени Теруань добилась приема у императора Леопольда Австрийского, которого заинтересовала необычная пленница. Во время свидания с ним Теруань решительно и хладнокровно высказывала свои революционные идеи и готовность бороться со всеми монархами мира за свободу и равенство. Леопольд решился на рыцарский жест. Теруань, получив освобождение и кое-как выбравшись из Австрии, едет в Брюссель.

В сентябре 1791 года во Франции проводится закон, отменяющий все судебные преследования против участ-

ников революции, начатые монархическим правительством. Теруань поспешила воспользоваться этой амнистией и в начале 1792 года, горя нетерпением и потребностью участвовать в борьбе, опять появляется в Париже. В якобинском клубе она встречена громовой овацией, ораторы приветствуют ее гражданскую доблесть, перечисляют политические заслуги и преклоняются перед неженскою храбростью. В ней видят жертву, героическую мученицу, вырвавшуюся из крепостных стен, куда хотели запрятать ее эмигранты и австрийцы.

Первого февраля Теруань излагает якобинцам историю своего ареста и подробности заточения в Кюфштейне. Она убедительно доказывает, что единственный способ укрепить свободу во Франции состоит в том, чтобы повести беспощадную войну против мятежников эмигрантов и европейских деспотов. Заканчивая свой доклад, Теруань, горевшая желанием отомстить австрийцам, уверяла слушателей, что французская революция имеет многочисленных друзей в Голландии, в Германии, вплоть до императорского дворца. Призывы Теруань к наступательной войне нашли особенно сочувственный отклик в газете «Французский патриот», издававшейся жирондистом Бриссо.

В это время начинается пора наибольшего расцвета умственных и ораторских сил Теруань. Она проводит дни во дворцах Пале-Рояля, в Тюильри, ставших местом общественных собраний, в редакциях газет, среди женщин предместий, на трибунах клубов. Демулен, Дантон и другие отзываются с восторгом об остроумных и патетических выступлениях гражданки Теруань. Равенство с мужчиной,— не словесное, а последовательно осуществленное в обыденной и политической жизни, в учении и работе,— было провозглашено как один из лозунгов революции именно Теруань де Мерикур. Ее импровизированные речи и обращения к гражданкам полны неотразимой убедительности. Большую речь, заканчивающуюся предложением приступить к организации военного батальона амазонок, Теруань произносит в «Братском обществе», передавая знамя женщинам Сент-Антуанского предместья: «Гражданки! Не забудем, что мы должны целиком отдать себя отечеству. Вооружимся: природа и даже закон дают нам право на это; покажем мужчинам, что мы не ниже их в доблести и храбрости; покажем Европе, что францу-

женки сознают свои права и что они стоят на уровне идей XVIII века, презирая предрассудки, которые бессмысленны и безнравственны, поскольку именно добродетель объявляется преступлением. Француженки! Сравните то, чем мы должны были бы быть в обществе, с тем, чем мы являемся. Чтобы познать наши права и наши обязанности, нужно обратиться к суду разума, и, руководясь им, мы сможем отличить справедливое от несправедливого... Француженки! Повторяю вам еще раз — наше назначение высокое; сокрушим наши оковы, пора женщинам выйти из того постоянного ничтожества, в котором они находятся, столь давно порабощенные невежеством, гордостью и несправедливостью мужчин; вспомним времена, когда наши матери, галльские и гордые германские женщины, участвовали в общественных собраниях и сражались рядом со своими мужьями, отражая врагов свободы... Великодушные гражданки, вы все, слушающие меня! Вооружимся, приступим к военным упражнениям, откроем запись в списки французских амазонок, и пусть в них вступают все те, кто действительно любит свою родину...»

В Сент-Антуанском предместье Теруань устраивает женский клуб. Три раза в неделю женщины проводят в нем вечера, занятые чтением, диспутом и практической общественной работой. Это очень скоро начинает вызывать недовольство мужей: дети без присмотра, обед не разогрет, костюм не починен, жены нет дома. Брожение в мужской среде против «шляющихся по собраниям женщин» принимает настолько большие размеры, что в клубе якобинцев ставится вопрос о закрытии женского клуба.

Когда же обсуждался вопрос о чрезмерном феминистском рвении гражданки Теруань, дебаты разгорелись, вскрывая подлинные чувства собрания. Недаром многие толковали декларацию прав «человека» как декларацию прав «мужчины». Робеспьер сухо отрекся от каких бы то ни было симпатий к гражданке Теруань. Кое-кто из ораторов отзывался о ней и ее работе среди женщин с платоническим сочувствием, но большинство решительно требовало возвращения женщин к домашнему очагу. Женский клуб был закрыт единогласным постановлением.

Двумя годами раньше Теруань пыталась быть принятой полноправным членом Якобинского клуба. Однако

просьба ее не была удовлетворена. Клуб отклонил прием в члены женщины, отметив, впрочем, в постановлении, что так как церковный собор в Маконе признал наличие у женщины души и разума, то нет оснований запрещать ей далее развивать свои способности. В течение двух лет революции, как видно, женщины добились немногого. Но в момент народных восстаний вырастают и значение и роль женщин.

Десятого августа 1792 года, когда измена короля стала очевидна и народ двинулся в Тюильри, Теруань, как всегда, была в авангарде. Она взывает к мщению. В бою беспощадная и решительная, Теруань принимает непосредственное участие в расправе с Сюло, молодым роялистским писателем, рьяно защищавшим монархию своим язвительным пером.

Утром 10 августа отряд вместе с Теруань находился около дворца короля — Тюильри на Фельянской террасе. Туда привели партию захваченных монархистов, переодетых в форму революционного патруля. Среди арестованных оказался Сюло. Теруань ненавидела его за бесконечные насмешки, которыми он осыпал ее в реакционной парижской прессе. Она добивается разрешения у полицейского комиссара на то, чтобы Сюло и десяток других арестованных были тотчас же судимы прилюдно... Толпа беспощадно расправляется с ними. Сюло умирает под ногами разъяренных женщин.

Наступает сентябрь. Происходит так называемая «сентябрьская резня» заключенных в тюрьмах аристократов и подозреваемых в сочувствии монархии. Вслед за этим обостряется внутренняя борьба якобинцев с Жирондой. Теруань была втянута в борьбу партий.

Что побудило Теруань примкнуть к жирондистам? Воинственная революционерка, демагогическая феминистка, она отступила, когда окончательная победа над монархией открыла новую страницу якобинской борьбы против умеренной буржуазии, не желавшей дальнейших социальных потрясений. Известно, что на нее имел большое влияние умный, красноречивый жирондист Бриссо, с которым она была связана дружбой. Воинственный пафос Бриссо и Жиронды в вопросах внешней политики, казалось ей, перекликался с ее собственными призывами вести беспощадную войну с европейскими деспотами, заточившими Теруань в крепость Кюфштейн, и был ей

гораздо больше по душе, чем неприязнь к захватническим войнам со стороны Робеспьера и якобинцев. Обострение гражданской войны, которое вело к террористической диктатуре якобинцев, казалось ей только гибельной внутренней распрей перед лицом внешнего врага, армии интервентов контрреволюционной коалиции. Теруань становится проповедницей мира и согласия.

Весной 1793 года, незадолго до исключения жирондистов из Конвента, она обращается ко всем секциям Парижа с примирительным воззванием. «Ко всем 48 секциям» — так называлась составленная ею, расклеенная по городу прокламация-афиша, начинающаяся словами: «Граждане! Куда мы идем? Нас увлекают все страсти, которые искусно можно было разжечь, мы почти на краю гибели. Граждане! Остановитесь, пора одуматься». Теруань рисует дальше картину начинающейся междоусобицы: «В нескольких секциях уже имели место уличные столкновения, предвестники гражданской войны; нужно внимательно и спокойно рассмотреть, кто такие вызывающие их провокаторы, чтобы узнать, кто наши враги... Граждане! Остановитесь и одумайтесь, иначе мы погибли... Наступил момент, когда общий интерес требует, чтобы мы объединились и пожертвовали своей ненавистью и страстями ради общественного блага». Теруань пытается показать, что победа монархических армий интервентов, наступающих в союзе с эмигрантами, жаждущими реставрации, грозит истреблением всех примкнувших к революции без различия партий. И она считает, что женщины могут обеспечить внутренний мир в Париже. Надо избрать в каждой секции шесть гражданок, «наиболее добродетельных и серьезных, чтобы примирять и объединять граждан и напоминать об опасностях, которые грозят отечеству». Эти гражданки будут носить шарф с надписью «дружба и братство» и будут охранять порядок в общественных собраниях.

Предложение Теруань не получило применения. Увещевания были бесполезны, борьба жирондистов и якобинцев быстро шла к кровавой развязке. Воззвание Теруань было, конечно, жирондистским по духу. Она теряла прежнюю тесную и непосредственную связь с революционным движением и не понимала кровных нужд народных низов. Это стало причиной ее гибели.

Незадолго до 31 мая 1793 года, дня изгнания вожаков Жиронды из Конвента, Теруань находилась в Тюильри. Перед дворцом женщины предместий, озлобленные бедствиями войны, безработицей и недоеданием, кричали: «Долой бриссотинцев!», «Мы требуем низвержения Бриссо!». Они бросились к проходящим депутатам-жирондистам с угрозами. Потрясенная Теруань наблюдала начинающееся восстание с каменного дворцового подъезда. Вдали показалась немного сутулая фигура Бриссо. Он шел, нерешительно и боязливо поглядывая на разъяренных санкюлоток. Теруань побежала ему навстречу: она надеялась, что ее вмешательство оградит Бриссо от нападения. Она ошиблась: женщины-якобинки не могли простить ей перехода в лагерь ненавистных «бриссотинцев». Завидя Теруань рядом с самим Бриссо, олицетворявшим для них измену и предательство, они пришли в ярость. «Прекрасную льежуазку», как называли Теруань в предместьях, схватили десятки женских рук и, не слушая мольбы, изорвав платье, жестоко высекли.

На следующий после избиения день в парижской газете «Окружной курьер» сообщалось:

«Одна из героинь революции потерпела вчера маленькое фиаско на Фельянской террасе: Теруань набирала сторонниц в партию Жиронды. К несчастью, она попала на приверженок Робеспьера и Марата, которые, не желая увеличивать партию Бриссо, схватили вербовщицу и отстегали ее с подобающим усердием».

Рассудок Теруань де Мерикур получил непоправимую трещину на каменных плитах дворца Тюильри, к которому столько раз она вела неистовые отряды предместий, с саблей в руках, с ружьем за спиной. После этого потрясения ее политическая деятельность прекратилась. Через год Теруань окончательно сошла с ума.

## СИМОННА ЭВРАР И ШАРЛОТТА КОРДЕ

Был жаркий полдень 12 июля 1793 года. В маленькой узкой столовой приглушенно спорили женщины. Как обычно в последнее время, темой спора являлись способы лечения больного Марата.

Статная, темноглазая, приветливая Симонна Эврар, жена Жан-Поля Марата, беспокойно оглядываясь на низкую дверку, ведущую в ванную каморку, властно заставляла замолкать чрезмерно расшумевшихся женщин, чтобы не потревожить мужа. Разговаривая шепотом, она непрестанно растирала в ступке лекарства, целебные травы, к которым недоверчиво относились остальные две женщины. Лекарства не помогали Марату. Сторожиха дома Мария-Варвара Обэн, складывая свежие, терпко пахнувшие листы газеты «Друг народа», ворчала настойчивее всех. Это была болезненная женщина с одним блеклым, но пронзительным глазом; второй, стеклянный, глаз, грубая подделка, вылезал из-под жидких ресниц, умерщвляя половину подвижного лица. Разговаривая, Варвара непрерывно ворочала шеей, стараясь поймать в свое суженное поле зрения собеседников. Она отличалась болтливостью, естественной для женщины, проводящей бóльшую часть жизни в привратницкой.

Прислуга Марата и Симонны Эврар, кроткая Жаннетта Марешаль, подобно Варваре, со страхом, обожанием и удивлением относилась к Другу народа, польщенная возможностью говорить с соседями тоном близкого ему человека. Слава последней поры, триумф Марата делали Жаннетту значительной не только в ее собственных глазах, но и в глазах всего квартала.

Несмотря на отличный уход, заботы, непрерывное внимание, Марат был неизлечимо, мучительно болен. Болезнь превратила вдохновенного и проницательного вожака масс в беспомощного калеку: он не мог появляться в Кон-

венте, не покидал своей каморки. Марат умирал и с лихорадочной страстностью набрасывал свои последние статьи.

Тихонько, чуть шлепая мягкими туфлями, Симонна, приготовив лекарство, вошла в чуланчик, превращенный в ванную,— кабинет Друга народа. Грустная и встревоженная, она казалась матерью, идущей на помощь к больному ребенку.

Симонна была прекрасным человеком, и благодаря ей личная жизнь Марата сложилась как нельзя лучше: более верного друга и помощника не мог бы пожелать ни один из якобинских вождей.

В 1790 году Симонна Эврар отдала Марату свое небольшое состояние на издание газеты «Друг народа». Твердая якобинка, Симонна не останавливалась ни перед какими трудностями, стараясь дать возможность Марату вести агитацию с помощью газеты. Все время стремясь быть в курсе всех дел и интересов мужа, Симонна с готовностью бралась за любую работу. Она была одновременно выпускающим, корректором, издателем газеты Марата. Жан-Полю минуло сорок шесть лет, когда он женился на двадцатишестилетней Симонне. Союз этот был свободным. Симонна не стремилась оформить его гражданской записью. Впоследствии это попрание законности будет стоить ей многих страданий, «любовницу» Марата станут жестоко травить и оскорблять. Как бы предчувствуя злословие, Марат по собственному желанию написал характерное обязательство:

«Прекрасные качества девицы Симонны Эврар покорили мое сердце, и она приняла его поклонение. Я оставляю ей в виде залога моей верности на время путешествия в Лондон, которое я должен предпринять, священное обязательство — жениться на ней тотчас же по моем возвращении; если вся моя любовь казалась ей недостаточной гарантией моей верности, то пусть измена этому обещанию покроет меня позором.

*Париж, 1 января 1792 г. Жан-Поль Марат,*
*Друг народа».*

Но Симонна всегда решительно отклоняла «законный брак», веря в прочность чувств своих и Марата.

Скрывая беспокойство, Симонна подошла к Марату. Неверный дымчатый свет падал сквозь узкое оконце, осве-

щая клетушку. На стенной карте свеженарисованные зигзаги делили Францию на департаменты. Постланная поверх ванны, в которой сидел Марат, белая простыня скрывала исхудавшее, изъеденное язвами тело. Ванна странной формы напоминала огромный начищенный черный ботинок. Было жарко и душно. Горячая вода, в которую клали серу, приносила облегчение больному. Пар, сливаясь с испариной тела, пропитывал простыню, плыл по комнате, оседая на стенах сырыми пятнами. Марат, тяжело глотая воздух, слюнявя пересыхающие губы, вздрагивая от зуда, писал на заваленной бумагами доске, положенной на ванну. Он медленно повернул к жене мокрое лицо, раздутое, разрыхленное и бледное, как тесто. Черные зрачки, точно выведенные по желтой эмали, блестели страдальчески; из-под белого полотенца, охлаждавшего больную голову, падали черные нити волос. Симонна села на стул близ Жан-Поля. Как всегда в этот час, он попросил корректуру своей газеты, волнуясь спрашивал о делах на фронте, о росте дороговизны.

Марат видел ту огромную опасность, которую таили в себе силы контрреволюции. Он знал, что в самой Франции и за ее пределами аристократия и примкнувшие к ней жирондисты собирают армии против республики.

Страстное желание проникнуть в планы контрреволюции, обезвредить их все время владело Маратом, составляло суть его партийной борьбы. Этому были посвящены все его статьи и зажигательные воззвания последних дней.

Враги платили Марату жуткой злобой, чудовищными, клеветническими измышлениями, его смерть была для них желанной.

Хозяйка гостиницы «Провидение» госпожа Гролльё любопытным взглядом окинула и проводила молодую девушку, накануне приехавшую в Париж и остановившуюся у нее. На вид ей казалось лет двадцать пять. Она была невысока и коренаста. Опрятный непестрый костюм, уверенная, немного тяжеловесная походка и гордо откинутая назад голова придавали ей задорный вид.

Оживленный город двигался барышне Шарлотте Корде навстречу. Париж насчитывал тогда 700 тысяч жителей и казался огромным по сравнению с ее родным городом Канном, куда летом 1793 года, после изгнания жирон-

дистских вождей из Конвента, бежали, скрываясь от преследований, депутаты Жиронды: Петион, Барбару, Бюзо.

Нормандский город Канн ничем не отличался от прочих городов Франции, разве только обилием яблонь в садах. На тихих и узких улицах Канна пробивалась трава, скрашивая неприветливость серых старых домов с низкими окнами, грязными подворотнями и крутыми лесенками. Колокольчик проходящей коровы, стук телеги, плач ребенка не часто тревожили городскую тишину.

Оживление, беспокойное и не предвещающее добра, царило только на той улице, где в интендантстве приютились и работали беглые парижане, готовившие борьбу с Конвентом. Охотно и злорадно они подтверждали гражданкам Канна достоверность страшных россказней о терроре и тирании якобинцев. Потрясенные и восхищенные кумушки, близко наклонив друг к другу негнущиеся белые чепцы, снова и снова смаковали «ужасы».

— Я наверное знаю,— говорила одна другой,— что по всем департаментам уже отобрано сто тысяч, а то и больше человеческих голов для гильотины; это, знаете ли, вроде налога. Наш город тоже не забыт.

— Святая дева! Правда ли, гражданка, что проклятого Марата лечат человеческой кровью?

Так, подобно мухам, враги, глупцы и недовольные разносили по насторожившемуся городу страшную, как холера, клевету.

На улице святого Иоанна, в одном из наиболее отмеченных временем домов, проживала в ту пору госпожа Бреттевиль. Редкий случай — все злые городские толки по ее адресу были вполне справедливы. Старая дворянка никак не могла бы прослыть добродушной и щедрой. Жизнь ее протекала в полном одиночестве, в заносчивых чудачествах и нескрываемой злости. Только безвыходная нужда могла принудить кого бы то ни было подняться по невеселой лесенке в ее квартиру.

У Шарлотты Корде д'Армон не было выбора, когда она пришла к госпоже Бреттевиль, своей тетке, просить приюта. Не скрывая неприятного удивления, старая дама отвела племяннице комнату в конце своей квартиры, с окнами на запущенный, скучный двор. Разложив скудный багаж, молодая девушка, предоставленная самой себе, могла вновь с горькой грустью передумать пережитое. «Благородное» происхождение господина Корде д'Армона

помогло ему устроить дочь в одном из наиболее аристократических монастырей Франции: девицы дворянских семей, как правило, воспитывались в стенах монастырей.

Шарлотта, однако, избегала блестящего общества; она принадлежала к нему по рождению, но бедность с детства поставила ее вне этого круга, отчего самолюбие девушки, гордившейся родством с великим драматургом Корнелем, непрестанно страдало. Не желая унижаться, Шарлотта искала одиночества и рылась в запыленных библиотечных шкафах. Она много читала, пополняя жалкое литературное образование.

Снедаемая честолюбием, скрытная и упорная, она считала, что предназначена не для обычной судьбы, а для подвига и громкой славы. В таком настроении, покинув монастырь, надменная, болезненно самолюбивая барышня Корде вернулась в семью отца.

Революция причудливым эхом докатившаяся до деревни, заставила юную аристократку встрепенуться. Она ждала, что воскреснут старые, любимые герои, но как не похожи оказались санкюлоты на патрициев древнего мира! И она вздрагивала от отвращения и брезгливости к «презренной черни», которая посмела посягнуть на священные для нее титулы, гербы, традиции и предрассудки.

Живая во плоти революция казалась ей отвратительной. Рушилось привычное, почитаемое, и, не в силах понять происходящее, Шарлотта нашла для себя опору в ненависти к «чудовищам Горы», к якобинцам.

Оставив родную семью после ссоры с отцом, Шарлотта очутилась в Канне.

С жадностью барышня Корде слушает сплетни и шепоты о страданиях парижан, отданных на растерзание «людоедам якобинцам». Популярнейшей фигурой, бешено любимой и бешено ненавидимой, был Марат, слишком большой человек, чтобы внушать маленькие чувства. Шарлотта верила всему, что измышляли о нем враги. Мысль о героическом поединке с Маратом смутно начинает мелькать в ее голове.

Когда в борьбе с якобинцами жирондисты потерпели поражение, Шарлотта Корде встретилась в Канне с мятежными депутатами Жиронды как со своими естественными сторонниками и почти единомышленниками.

Однако ни Петион, ни Барбару, вожди Жиронды, не заметили в здоровой и крепкой провинциалке глубокого

славолюбия и действенного фанатизма. Ничем не выказывая своих настроений, Шарлотта схватывала каждое слово их речей, в которых, клевеща на якобинцев, они призывали граждан к «спасению революции», к походу на Конвент. Шарлотта вместе с родной ей средой мелкопоместного дворянства готова была довольствоваться высокопарной конституцией, ограничивающей монархию. Не случайно ее излюбленной газетой, которую она регулярно читала, был роялистский листок «Друг короля». Демократическая диктатура казалась Шарлотте преступлением против высоких идеалов либерализма.

Пламенное красноречие жирондистов укрепляло ее собственные чувства и накаляло ненависть к «тиранам» и «захватчикам» власти — якобинцам. Когда на бугорчатом каннском поле 7 июня 1793 года жирондисты устроили неудачный парад своих добровольцев и ничтожная горсточка в тридцать человек продефилировала перед любопытными обывателями, Шарлотта усомнилась в успехе такого способа борьбы. Лицо ее исказилось от разочарования. Петион, стоявший рядом, взглянув на Шарлотту, спросил шутливо, не любит ли и не оплакивает ли она кого-нибудь из тридцати. Шарлотта окинула его удивленно-презрительным взглядом: она никак не могла привыкнуть к тому, что ее считали бесцветной посредственностью — всецело во власти маленьких женских слабостей! Можно предполагать, что именно после жалкого смотра жирондистских волонтеров на каннском поле, показавшегося ей смотром мужской трусости, Шарлотта окончательно определила свою роль и решилась на террористический акт против Марата. Наивность подсказывала ей надежду, что смерть Марата будет концом революции «черни». Она смотрела на развертывавшуюся гигантскую историческую схватку глазами монастырских наставниц, офицеров, расквартированных в Канне, и общества, в котором вращалась тогда госпожа Бреттевиль. Громовые удары классовых битв сплотили ее с этими людьми, которые подчиняли ее своим традициям, интересам и мировоззрению. Они вложили в нее злобу к якобинцам и слепое бешенство против Марата; подчиняясь силе этого неодолимого классового гипноза, она взялась за осуществление своего страшного плана.

Тщательно, как всегда, одетая, Шарлотта отправилась в интендантство на прием к Барбару. Она обратилась к

нему с просьбой дать ей рекомендательное письмо в Париж, к члену Конвента, которого якобы хотела просить о помощи своей обедневшей подруге. Барбару дал ей рекомендацию.

Придумав предлог для отъезда, она холодно прощается с госпожой Бреттевиль, которой сумела не стать помехой, с театральной подчеркнутостью раздает свои рисовальные тетради соседским детям и, захватив небольшой сундучок, усаживается в полинявший грязный дилижанс, идущий в Париж.

Плохо кормленные лошаденки по пыльным дорогам медленно влекут тряскую карету. Потные пассажиры, пересиливая дремоту, хвастливо рассказывают о дорожных нападениях, которым они подвергались. В лесах бродят вооруженные отряды. Часто это просто грабители, но иногда и обездоленные бедняки, которые, как и крестьяне из Вандеи, нищие, голодные и темные, верившие обещаниям монархистов и церковников, выступили на защиту короля и теперь скрывались в лесах. На лесных перегонах разговор становился неуверенным, шорохи и падающая ветка вызывали панику, визг женщин, слезы детей и растерянные возгласы мужчин. Едва опасное место остается позади, разговоры оживляются и завязываются знакомства. Шарлотта привлекает внимание двух-трех молодых людей. Один из них на другой день, к концу путешествия, делает ей брачное предложение.

Детали этой поездки Шарлотта иронически описала в письме к жирондисту Барбару, прячущемуся в Канне.

Одиннадцатого июля, в четверг, выйдя из дилижанса в Париже, Шарлотта отправляется на улицу Вьё-Огюстен, в рекомендованную ей гостиницу «Провидение». Слуга отводит ее в комнату № 7.

И вот цель достигнута. Шарлотта в Париже, в городе, о котором она так много слыхала. Против ее ожидания, парижане не казались запуганными и изможденными. Нигде на улицах не было следов крови или зверств. Но Шарлотта оставалась недоверчивой и враждебной: в спокойных лицах окружающих ей чудилась мольба о спасении. Однако, прислушиваясь, она не улавливала нигде сочувственного слова о жирондистах; казалось, их уже забыли, хотя судебный процесс над ними еще не начинался.

Верньо, Бриссо были в тюрьмах, остальные бежали и скрывались; лишь несколько наиболее лояльных остава-

лись на скамьях Конвента. К одному из уцелевших, к депутату Ланс-Дюперре, направилась Шарлотта в надежде добиться под любым предлогом пропуска в Конвент на заседание. Не зная об ухудшении здоровья Марата, Шарлотта Корде хотела убить его прилюдно в Конвенте.

Ланс-Дюперре отнесся к показавшейся ему наивной провинциалке с большим вниманием, так как Шарлотта передала ему письмо Барбару. Выслушав ее вымысел о страданиях находящейся в Швейцарии подруги, он обещал помочь. От него же она узнала, что Марат не выходит из своей квартирки. Желание Шарлотты убить Друга народа в Конвенте тем самым становилось невыполнимым. Прощаясь с любезным депутатом, Шарлотта, не посвящая его в свой план — уничтожением Марата открыть дорогу контрреволюционному наступлению на Конвент,— тем не менее не смогла удержаться от патетических восклицаний, которых Ланс-Дюперре не понял как следует: «Бегите, бегите еще до завтрашнего вечера... Примите мой совет. Вы бессильны в Конвенте, бегите и соединитесь с друзьями в Канне».

В субботу, на рассвете, Шарлотта снова вышла из гостиницы «Провидение», направляясь в Пале-Рояль. В шесть часов утра просыпался далекий Канн, но мирно спал Париж. Магазины были закрыты, и в ожидании пробуждения города Шарлотта сидела на каменной скамье под аркой. Часом позже она зашла к ножовщику и выбрала кухонный нож с черной рукояткой, в бумажном футляре, за который заплатила 40 су. С ножом, спрятанным на груди под кружевом блузки, Шарлотта подошла к извозчику, предложив ему ехать к Марату. Выслушав адрес, извозчик двинулся на улицу Кордельеров. В очень узенькой уличке было полутемно, и дом, под сводом которого жил Марат, казался особенно убогим и мрачным. Стараясь сохранять невозмутимость, внутренне любуясь собой, Шарлотта взошла на первый этаж и потянула звонок. На площадку перед дверью проникал через оконце, выходящее на лестницу, сложный аромат кухни.

Дверь отворила Симонна Эврар. Она разглядывала Шарлотту с подозрительной внимательностью. Тщетно посетительница настаивала на необходимости видеть Марата. Никакие уговоры не могли заставить Симонну нарушить покой мужа. Тогда Шарлотта отдала заранее приготовленное, искусно составленное письмо, в котором

писала: «Я приехала из Канна. Вы, руководясь любовью к народу, безусловно, найдете желательным ознакомиться с подготовляющимися там заговорами. Я ожидаю ответа». Желая проникнуть к Марату, Шарлотта блестяще сумела притвориться и с неподражаемым хладнокровием разыграть роль его сторонницы. Любая ложь, какое угодно коварство кажутся ей естественными, и она действует с непринужденностью, побеждающей подозрения.

Отложив убийство до вечера, Шарлотта вернулась в гостиницу. Запершись в своей маленькой, скудно обставленной комнатке, она пишет завещания-письма. Одно из этих посланий озаглавлено: «Призыв к потомству». В нем монархистка Шарлотта Корде изложила свою убогую политическую философию, наскоро усвоенную ею в Канне от жирондистов, и в обычном для эпохи трескучем риторическом стиле пересказала то, что твердила ежедневно монархическая и жирондистская пресса.

Желая возвысить в глазах потомства значение своего намерения, Шарлотта писала:

«О Франция, спокойствие твое зависит от исполнения законов; я отнюдь не нарушаю их, убивая Марата, осужденного вселенной; он стоит вне закона».

Дописав письма, она переоделась, спрятала нож под модную в те годы косынку на груди и на случай, если опять не будет принята Маратом, набросала записку следующего содержания:

«Я написала Вам, Марат, сегодня утром; получили ли Вы мое письмо, смею ли я надеяться на минуту внимания, если Вы его получили? Я надеюсь, что Вы не откажете мне, принимая во внимание тот интерес, который имеет это дело; достаточно того, что я очень несчастна, чтобы иметь право на вашу защиту».

Вечером извозчичья карета привезла ее опять на улицу Кордельеров, дом № 20. Заслышав отрывистый, энергичный звонок, Жаннетта Марешаль, с жирной ложкой в руке, побежала открывать дверь. В дверях стояла девушка в изящном коричневом платье и высокой черной шляпе. Помня наказ не тревожить больного бесцельными посещениями, Жаннетта загородила дорогу. Ей помогала в этом Варвара Обэн, но Шарлотта решительно настаивала на приеме. На шум и споры в прихожую вышла Симонна Эврар, она узнала приходившую утром посетительницу и предложила ей подождать в столовой ответа Марата.

Кроме женщин, в комнате находился комиссионер газеты Марата Лоран-Ба, принесший бумагу для помещавшейся тут же типографии «Друг народа».

Очень скоро Симонна принесла утвердительный ответ и пропустила Шарлотту к Марату. Прикрыв дверь, она вышла в прихожую, но, что-то вспомнив, опять вернулась в ванную, захватив с собой графин с водой для больного. Уходя, Симонна задала несколько незначащих вопросов мужу и взяла пустую тарелку с окна. Марат остался наедине с Шарлоттой, которая, не возбуждая подозрений, уселась на жесткий стул возле ванны. Она внимательно осматривала Марата, вдохновляя себя на убийство. Марат был болен и слаб — тем легче его убить. Дрожащим голосом, с лицемерными слезами на глазах Шарлотта заговорила о контрреволюционной работе восемнадцати жирондистских депутатов Конвента в Кальвадосе. Увлекаясь своей ложью, она описывала Марату мощные, воинственные, ими навербованные отряды, идущие к Парижу, чтобы освободить столицу от «анархистов». Возмущение Марата, удачно подогреваемое посетительницей, быстро возрастало. «Назовите мне имена заговорщиков»,— сказал он и взял перо, чтобы записать их в своей тетради. Шарлотта, удовлетворенная поднимающимся в ней чувством ярости, стала перечислять и без того известные имена. Она патетически возмущалась и с деланной ненавистью проклинала контрреволюционеров. Марат, думая успокоить ее, сказал: «Все они будут гильотинированы». В ту же минуту, отбросив уже ненужные уловки, Корде вскочила, ловко выхватила нож и вонзила его в открытую грудь трибуна. Страшный удар пришелся по сердцу. «Ко мне, мой друг!» — захлебываясь поднявшейся к горлу кровью, вскричал Марат. Глаза его потускнели и закатились. Вода ванны стала пунцовой. Почти инстинктивно, не глядя на жертву, убийца бросилась к двери. Ей на минуту преградили путь Симонна, бежавшая на хриплый зов мужа, Варвара Обэн и Жаннетта Марешаль. Они пробежали мимо Шарлотты, сразу все понявшие, охваченные нечеловеческим горем и надеждой. Истекая кровью, Марат умирал. В то время как три женщины тщетно пытались спасти его, Шарлотта, забыв о классических образцах, бросилась бежать и была уже в прихожей, когда Лоран-Ба, случайно задержавшийся в квартире, догнал, схватил ее и с силой толкнул в комнату. Потеряв равно-

весие, Шарлотта упала на пол. Тотчас же с лестницы повалили люди, неведомым чутьем уловившие внезапно разыгравшуюся трагедию.

Не было в Париже более знаменитого, более грозного и обожаемого человека, чем Марат. Марат был зорким глазом буржуазной революции, воплощением твердости и борьбы. С большими и малыми горестями, с сомнениями и справедливой жалобой шло к своему вождю третье сословие.

Горе парижской бедноты было теперь беспредельно. Марата громко и единодушно оплакивал народ, так недавно еще венчавший своего друга лаврами и триумфальным шествием.

У дома Марата через час после убийства стояли тысячные толпы. И в то время как кровотечение вдруг прекратилось вместе с биением сердца Марата, Варвара Обэн, не отвечая на вопросы, втолкнула в спальню, куда перенесли тело, привезенного ею доктора. Ее единственный глаз опух от слез, и мокрый стеклянный казался ожившим и зрячим.

Жаннетта Марешаль, притихшая и растерянная, отупело смотрела на незнакомых людей, бесцельно переходивших из комнаты в комнату. Мужчины и женщины вытирали слезы, и лица их, искаженные отчаянием, были страшны при неясном свете зажженных ламп и свечей. На улице кучер, привезший Шарлотту Корде, еле выдерживал напор любопытных расспросов. Он едва разглядел свою пассажирку, но теперь весьма охотно описывал ее возбужденной толпе. Всех удивляло, что убийцей была молодая женщина. Взрыв бешенства сопровождал утверждение, что это аристократка.

Была уже ночь, когда явился полицейский комиссар Гальяр-Дюмениль и приступил к допросу. Перевести убийцу в тюрьму было нелегким делом; возмущенная толпа требовала самосуда. Видя волнующихся людей, посылающих ей проклятья, с трудом охраняемая от мести народа, осознавшего необъятность понесенной утраты, Шарлотта, преисполненная гордостью, любуясь собой, презрительно сказала: «Несчастные, вы хотите моей смерти за то, что я спасла вас». Втайне она надеялась услышать возгласы сочувствия и одобрения. Надежды эти не оправдались, и оставалось только свысока раздумывать о «тупоумии черни» и рассчитывать на грядущую оценку истории.

С той самой минуты, как Шарлотта очутилась в тюрьме Консьержери, она тщательно продумывает каждое слово, позу и жест, которые должны были прославить и возвеличить ее имя. Она пишет высокопарное послание к Барбару, где просит, между прочим, его позаботиться о ее родных и недвусмысленно прибавляет: «Я ничего не говорю моим милым друзьям аристократам, память о них я сохраню в своем сердце».

Отцу она пишет, оставаясь по-прежнему деланно хладнокровной:

«Простите меня, мой милый папа, что я без вашего разрешения распорядилась своей жизнью... Как только у народа раскроются глаза, он будет рад освобождению от тирана. Надеюсь, что вас не будут мучить, во всяком случае, я думаю, что вы в Канне найдете защитников. Я прошу вас забыть меня или, вернее, радоваться моей участи,— она прекрасна. Обнимаю мою сестру, которую я люблю от всей души, также всех моих родных, не забывайте стиха Корнеля:

Позорно преступление, не эшафот.

Завтра в восемь часов меня судят.

*Корде».*

Семнадцатого июля 1793 года Шарлотта Корде предстала перед Революционным трибуналом. На ней было лучшее из ее платьев и изящный, обшитый лентой чепец, заказанный специально для суда. Изысканным внешним видом она еще раз хотела подчеркнуть свое превосходство, свою принадлежность к аристократии и презрение к «революционной», столь ненавистной ей «черни». Выбранный ею защитник — якобинец Дульсе де Понте Кулан — не явился, так как не был уведомлен о желании обвиняемой.

Лишь в начале заседания суд назначил защитником случайно находившегося в зале якобинца Шово-Логарда. Защита была нелегкой: в зал суда непрерывно доносился глухой ропот толпы, требовавшей смерти убийце. Мертвый Друг народа стал еще более популярным. Траурные банты, брошки и повязки с его портретами украшали в эти дни не одну грудь в Париже. Новорожденных называли именем того, кто удостоился, вопреки предположе-

ниям Шарлотты, быть похороненным в Пантеоне. День и ночь в уединенный домик, бывшую часовню, декорированную Давидом, шли бесконечные вереницы желающих поклониться вождю. От гроба Марата народ двигался к зданию суда, требуя головы убийцы.

Шово-Логард, обдумывая свою защитительную речь, сел подле самоуверенно оглядывавшей судей Шарлотты.

Суд начался. Первой свидетельницей вызвали Симонну Эврар. Ее появление было встречено всеобщим сочувствием. Несчастье не сломило стойкости духа революционерки. Огромным напряжением воли сдержав рыдания, вдова Марата, глядя в упор на Шарлотту, рассказывала подробности ею виденного.

Все, что говорила гражданка Эврар, было так правдиво, что Шарлотта не могла прервать ее ни одной из тех подготовленных пышных фраз, которые должны были поразить слушателей.

Высокое мужество, искренность и простота Симонны, ее беспредельное горе еще более подчеркивали ничтожество женщины, убийцы Марата.

Общественный обвинитель резко спросил: «Кто толкнул вас на убийство Марата?» — «Преступления,— громко отвечала подсудимая,— в которых он виновен со времени революции».

Все ответы Шарлотты полны искусственного пафоса. Она словно находится на сцене. Истерическая взвинченность, превосходное позерство лишают ее слабости и человечности. Словно подавая реплику в классической трагедии, она отвечает общественному обвинителю на его вопрос, «училась ли подсудимая предварительно наносить удары ножом»: «О, чудовище, он считает меня убийцей».

Во время суда Шарлотта заметила молодого военного, который рисовал ее портрет. Улыбнувшись, она повернула к нему голову и постаралась придать лицу выражение, делавшее ее наиболее привлекательной. Убийца заметно оживилась во время речи защитника. Он говорил: «Подсудимая хладнокровно сознается, что обдумала свой поступок, она признает все и не старается оправдаться. В этом, присяжные сограждане, вся ее защита. Это неизменное спокойствие духа, это самоотречение, отсутствие страха смерти, это спокойствие и самопожертвование не существуют в природе. Эти качества объясняются лишь тем воодушевлением, которое порождает политический

фанатизм, вложивший кинжал в ее руку. Вам, присяжные, надлежит решить, какое значение имеет подобное соображение в деле правосудия».

Шарлотта Корде казалась вполне согласной с этой защитительной речью, которая ей льстила.

Эта двадцатипятилетняя девушка непривлекательной наружности никогда не вызывала ничьей симпатии. Она не знала ни радости любви, ни материнства и озлобилась на человечество и жизнь. Самой большой ее гордостью была принадлежность к аристократии, но со времени революции самолюбие ее непрерывно страдало. Фанатическая монархистка, она искала действенного выхода своей ненависти к происходящему во Франции, а также неудовлетворенному стремлению выделиться из толпы, привлечь к себе внимание, которого никогда не могла добиться. Ради этого она решила пойти на преступление.

Внешне равнодушно выслушала Шарлотта приговор, который гласил следующее: «Единогласный вердикт присяжных устанавливает, во-первых, что Жан-Поль Марат, депутат Национального Конвента, 13 июля сего года, между 6 и 7 часами вечера, был поражен ножом в грудь в то время, как сидел в ванне, и тотчас скончался от этого удара; во-вторых, что виновницей этого убийства была Мария-Анна-Шарлотта Корде; в-третьих, что это убийство было совершено ею предумышленно и из контрреволюционных соображений. Ввиду этого Мария-Анна-Шарлотта Корде присуждается к смертной казни. Суд постановляет, что она, одетая в красную рубаху, будет отвезена на место казни, что ее имущество отходит к республике и что сей приговор, по предложению публичного обвинителя, будет приведен в исполнение на площади Революции».

После объявления приговора Шарлотта попросила, чтобы художнику, начавшему ее портрет во время суда, разрешили его окончить в тюрьме.

Гражданин Гойер получил разрешение дорисовать портрет убийцы Марата.

Оставалось лишь несколько часов до казни; все это время Гойер провел в камере смертницы. Она позировала, хвалясь совершенным ею убийством.

После двухчасового сеанса портрет был уже почти готов, и Шарлотта, считавшая себя неплохой художницей, указывала Гойеру детали, требующие изменения. Стук в

дверь прервал оживленную беседу, и на пороге появился палач, как всегда безразличный и деловой. Он нес красную рубашку, в которой казнили убийц, и ножницы для того, чтобы отрезать волосы осужденной. «Уже...» — прошептала Шарлотта, но тотчас же, овладев собой, срезала русые недлинные локоны, ниспадавшие по плечам, и одну прядь с кокетливой улыбкой протянула художнику в знак благодарности за его работу. Ей хотелось, чтобы Гойер сделал копию с портрета и отправил в Канн.

Полил крупный летний дождь в тот момент, когда шаткая повозочка двинулась к месту казни. Несмотря на ливень, улицы были запружены возбужденной толпой, встречавшей тележку проклятиями. Рассвирепевший народ провожал убийцу Марата бранью до гильотины.

Казнь Шарлотты, с удовлетворением встреченная санкюлотами Франции, сделала ее героиней в глазах аристократов и жирондистов. Петион, Барбару, Бюзо, Саль, когда весть о смерти Марата дошла до Канна, превозносили в речах и письмах Шарлотту, в которой будто бы подмечали и ранее черты великой «мстительницы».

Тринадцатого июля нож монархической террористки, разорвав угасавшее сердце Марата, не нанес губительного удара якобинской партии. Политические соратники Марата продолжали стойко защищать интересы республики до тех пор, пока это было в их силах.

Любовь и верность памяти Марата и его идеям пронесла до конца своей жизни и Симонна Эврар. После смерти Марата его жена и верный соратник деятельно принялась за издание трудов Друга народа.

В ноябре 1794 года она выпустила проспект будущего издания. Однако уже в феврале 1795 года, в пору термидорианского Конвента, окрепшая реакция запретила это начинание.

Позднее, вместе с сестрой Марата, Альбертиной, Симонна встречалась с бабувистами и, возможно, знала о «заговоре равных».

История не сохранила обширных сведений об этой преданнейшей подруге одного из самых замечательных деятелей буржуазной революции французов.

Симонна Эврар более чем на тридцать лет пережила Друга народа. Она умерла в 1824 году, до последнего мгновения оставаясь верной памяти Марата и идеям якобинцев.

## МАНОН РОЛАН

Правда, Гатьен Флипон был неплохим гравером, но ремесло это не давало больших доходов. Желая разбогатеть, он открыл на набережной Часов в Париже ювелирную лавку и занялся продажей драгоценных камней, тяжелых медальонов, блестящих пряжек, колец, браслетов, табакерок. Не без зависти Гатьен следил за тем, как его друзья, такие же презираемые аристократией представители третьего сословия, спекулируя на поставках, занимаясь ростовщичеством, ловко прибирали к рукам имущество разорявшейся придворной знати. Но Гатьен Флипон — любитель выпить и поиграть в карты — не разбогател, и ему пришлось довольствоваться скромной участью мастера-ювелира. Он жил в обществе незначительных и небогатых городских мещан и безвестных художников, пришедших в Париж за славой, которых умело эксплуатировал в своей граверной мастерской. Сколотив маленькое состояние, ювелир начал подумывать о женитьбе. Барышня Маргарита Бимон показалась Гатьену подходящей невестой. Она удачно подражала манерам дам-аристократок, была скромна и послушна. После свадьбы Маргарита с большой грацией и любезностью умела угождать капризным заказчицам и покупателям, которых в носилках, украшенных резьбой и позолотой, приносили слуги к ювелирной лавке на набережной Часов. Ее обязанностью было также наблюдать за работой учеников и подмастерьев мужа, вести счета и хозяйство. Из семи детей четы Флипон осталась в живых только одна дочь Манон-Жанна, родившаяся в Париже в 1754 году.

Когда двухлетняя девочка вернулась из деревни, где жила у кормилицы-крестьянки, в дом ювелира, Гатьен Флипон стал хвастать дочерью так же, как сложными украшениями, сделанными его мастерской рукой. Хорошенькая Манон была действительно сообразительным и

способным ребенком. Ей не было еще пяти лет, когда на чердаке дома в забытых сундуках она нашла старые заплесневевшие и пожелтевшие книги и по ним почти без посторонней помощи выучилась читать, вызвав шумные одобрения взрослых. У Манон не было друзей-сверстников. Самовлюбленность ювелира и необщительность его жены лишили ее детского общеста, никто в квартале не казался родителям достойным товарищем их дочери. Манон редко выпускали одну из старого, плохо вентилируемого дома на улицу, живописно сползавшую к зеленой Сене. В дождливые летние дни она никогда с оравой соседских детей не шлепала босыми ножонками по скользким теплым лужам, приподняв длинную юбочку. Никогда не лазала она на старые деревья, чтоб оттуда бросать каштаны в добродушных пешеходов, не дразнила бездомных собак, не высмеивала расфранченных аристократов, подобно цапле задирающих в осеннюю слякоть ноги, обутые в шелковые туфли. С раннего детства Манон усвоила насмешливо-презрительный тон по отношению к детям своего квартала. Дочь ювелира неудержимо влекло к нарядным и завитым, как она сама, юным аристократкам, которые, однако, откровенно ею гнушались. Ничто не могло приблизить Манон к ним: ни ее любезность, ни то, что девяти лет она уже прочла Плутарха, была поражена его героями, плакала над гениальным Торквато Тассо, лучше всех отвечала «Песнь песней» в приходской школе и удивляла соседей цитатами из Вольтерова «Кандида». Бабушка Манон была только прислугой маркизы Креки, а отец — мелкий лавочник: вот что решало ее судьбу и было для нее источником затаенного мучительного горя.

Манон тщетно старается скрыть обиду, когда в замке Фонтен ее с матерью помещают в каморках, где ютятся слуги, кормят в буфетной и во время празднества разрешают лишь через решетку сада смотреть на пестрый дождь и костры фейерверка. Но на набережной Часов честолюбивая девочка чувствует себя принцессой, переодетой по недоразумению в замарашку. В нише своей комнаты с узеньким оконцем, похожим на бойницу, Манон каждый день любуется отражением неба в водах Сены. Она по-книжному любит природу, полагая, что это обязательная особенность «исключительных натур». Напрасно Гатьен пытается обучать дочь граверному мастерству, рассчитывая сделать ее своей помощницей. Лег-

ко усваивая тонкую работу резцом, Манон бросает это ремесло, пугаясь возможности стать в будущем всего лишь хозяйкой ювелирной лавки. С каждым днем укрепляется в ней самомнение, и вместе с этим все труднее становится помогать в стряпне матери и — что еще унизительнее — ходить на базар за овощами или куском мяса. Манон подчиняется «судьбе» смиренно, но в мемуарах, вспоминая эту пору почти тридцать лет спустя, не может удержаться от сожаления. «Эта малютка, которая прекрасно могла объяснить законы движения небесных светил, которая рисовала карандашом и тушью и в восемь лет танцевала лучше всех на вечере, где были взрослые девицы, эта малютка часто бывала принуждена идти на кухню, чтоб изжарить яичницу или сварить суп».

Одиннадцати лет Манон по собственному желанию поступила в монастырь Нёв-Сент-Этьен, в предместье Сен-Марсель. В монастыре, расположенном в парке, заросшем столетними густыми деревьями, по ее словам, Манон предалась размышлениям о вечности и о боге. В монастыре находились еще тридцать четыре воспитанницы, настолько «обыкновенные и неинтересные», что Манон с трудом подыскала себе подруг. Госпожа Ролан, никогда не обладавшая излишней скромностью, впоследствии красочно описывает в мемуарах, как «светское обхождение, ум и знания ребенка подчиняли ему окружающих». Сестры Канне, уроженки Амьена, в виде исключения удостоенные дружбы Манон, беспрекословно ей подчинялись и благоговели перед ней всю жизнь.

Каждое воскресенье в монастырь приезжали родители учениц. В белой, незатейливо убранной деревянной мебелью приемной монастыря сидели, ожидая дочерей, смущенные строгими лицами монахинь отцы и матери. Это были мелкие фабриканты, торговцы и зажиточные ремесленники. Гатьен Флипон, гордый отец «первой ученицы», встречал появление дочери громкими восклицаниями, неуклюжими объятиями и поцелуями. Дни посещений не доставляли радости Манон, она не могла побороть в себе противоречивых чувств: нежности к родным и стыда за их демократический вид и положение в свете. Мир казался ей тогда чрезвычайно жестоким и несправедливым.

По истечении года Манон покинула монастырь. Прощание было трогательным; плакали воспитательницы, подруги Манон, но особенно горевали сестры Канне. Во

время разлуки между подругами завязалась обширная переписка, полная грустных или насмешливых излияний, иногда остроумных и злых характеристик, поучений, признаний, незначительной болтовни, составившая впоследствии два тома переписки госпожи Ролан.

В доме бабушки, парализованной старухи, где несколько лет жила Манон, и позднее в тесной квартирке родителей барышня Флипон, поощряемая к тому родней, занята только собой. Монастырское влияние, вернувшее ей примитивную религиозность, борется с влиянием заново продуманных строк Вольтера, Рейналя, Мабли и впервые прочитанного Руссо. Просвещенной девице трудно верить в сказку о муках ада и о превращении черта в змею. Она ищет ответа на свои сомнения в метафизике и философии, увлекаясь также историей и вопросами морали. При всем том она подолгу не отрывается от зеркала. Стараясь казаться беспристрастной, самовлюбленная до глупости юная мещаночка описывает свою наружность в следующих выражениях: «В моем лице не было ничего поражающего, кроме большой свежести кожи и мягкости выражения; если рассмотреть все черты в отдельности, то можно задать себе вопрос, где здесь, собственно, заключается красота; нет ни одной правильной черты, но, взятые вместе, они нравятся. Рот мой немного велик, можно встретить тысячи более красивых, но ни одного с более нежной и увлекательной улыбкой. Глаза, напротив, не особенно велики, они серовато-синего цвета. Глаза немного выдаются, взор открытый, свободный, живой и мягкий; каштановые брови, совпадающие по цвету с волосами, красиво очерчены. Глаза меняют выражение, подобно любвеобильной душе, движение которой они отражают; иногда они поражают серьезностью и гордостью, но чаще они улыбаются и ласкают. Нос причиняет мне некоторое огорчение, я нахожу его несколько толстым в конце, но в ансамбле, особенно в профиль, он не нарушает гармонии. Широкий, открытый лоб, глубокие глазные впадины, между которыми ясно обозначается V с выступающими при малейшем возбуждении жилками; эта складка и эти жилки спасают мой лоб от той незначительности, которую находишь у многих других. Подбородок, выдающийся вперед, цвет кожи не особенно белый, но живой, с ослепительными красками. Красивая круглая рука, приятная, хоть не очень маленькая кисть, здоровые

ровные зубы, пышная фигура — вот те сокровища, которыми одарила меня мать-природа».

Прислушиваясь к звучанию своего имени, она опять не в силах умолчать перед потомством о своем мнении по этому важному поводу: «Да, Манон, так меня зовут, я жалею об этом, имея в виду любителей романов; это не громкое имя, оно не подходит к героине высшего порядка. Но в конце концов это мое имя, и я пишу свою историю. Кроме того, даже самые сентиментальные люди примирились бы с этим именем, если бы они слышали, как произносила его моя мать, и видели ту, которая его носила».

Итак, если верить Манон, она была очаровательна. Жители набережной Часов не остались равнодушными к ее талантам и красоте. Брачные предложения сыпались со всех сторон, но мог ли какой-нибудь торговец рассчитывать на то, что за его прилавком, блестя грацией и умом, будет сидеть Манон. Еще менее того могла бы снизойти дочка ювелира до брака с добропорядочным ремесленником или поставщиком, которые никогда и не слыхивали обо всем том, что она знала. Манон отказывала, огорчая отца и мать, всем претендентам; для нее был немыслим муж, подобный ее отцу, которого она втайне презирала, подчеркивая свое превосходство. Ах, как Гатьен Флипон громко храпел на необъятной постели, как цинично шутил и ругался, залпом опустошая кружку вина, отплевываясь, икая и багровея.

Однажды Манон, проходя по базару с плетеной старенькой корзинкой, точно с букетом цветов, остановилась у громоздких желтых, красных и синих туш мясной лавки, чтобы выбрать кусок мягкой говядины. Из-за прилавка вдовец мясник, красный, как его измазанный кровью фартук, смотрел на хорошенькую девицу с нескрываемым обожанием. У него было пятьдесят тысяч ливров капитала, и дочка Гатьена Флипона, дела которого были неважны, могла вполне считать брак с ним выгодным,— все это обдумывал мясник, пока Манон весьма прозаически ощупывала скользкий кровоточащий кусок. Мясник отдал ей лучшую телячью грудинку за бесценок и пригласил заходить ежедневно. Своеобразное ухаживание продолжалось недолго, и нетерпеливый влюбленный вскоре появился напудренный и украшенный золотой цепью часов поверх кафтана в доме Гатьена Флипона. В этот раз он поднес Манон розу вместо хорошей мясной вырезки и

попросил ее обвенчаться. Манон, как «настоящая дама», сдержала свое негодование и отослала мяснику с босым мальчишкой отрицательный ответ, изложенный в изысканных выражениях.

Разборчивость Манон все чаще тревожила ювелира, и как-то за обедом, услав подмастерьев, он учинил ей грозный допрос. Манон не скупилась на слова, говоря, что никогда не пойдет замуж за человека «из простонародья»: ей нужен муж, с которым она могла бы делить чувства и мысли. Гатьен, уважающий себя и в своем лице всех торговцев, важно заметил, что купцы обладают хорошими манерами и образованием. Манон насмешливо отвечала, что умение кланяться и подражать богатым покупателям не называется хорошими манерами и образованием. В этом сословии, заявила решительно барышня Флипон, нет людей в ее вкусе: «Подумать только, что источником заработка купца является перепродажа по более дорогим ценам купленных товаров». Чтобы заниматься вместе с мужем торговлей, не нужно было родиться такой, как она. Гатьен не нашел ответа, но почувствовал себя обиженным.

В летние жаркие дни Манон часто ездила в Медон, расположенный в нескольких лье от Парижа. Сквозь густую листву виднелся Париж, исчезающий иногда, как город сказки, за поднимающимся туманом. Манон любила в городской гуще выискивать башни Нотр-Дам, крыши дворца Тюильри и, следя за Сеной, похожей на заснувшую светлую рыбу, находить набережную Часов. В небольшом кабачке в лесу всегда был сытный, дешевый обед, во время которого крепкий, как деревья медонского леса, кабатчик отпускал веселые шутки и грубоватые каламбуры, смущавшие Манон. Пока родители или тетка, добрая старая дева, отдыхали на траве, поглощенные послеобеденным пищеварением, Манон гуляла в лесу, собирала в чаще цветы, не забывая грациозно наклоняться, или на уединенной полянке, сидя над прудом, как Нарцисс, в прозрачной воде искала свое отражение. Медон, похожий на дворцовый запущенный сад, будил в ней честолюбивые грезы. В мемуарах госпожи Ролан Медону отведено несколько поэтических строк: «Восхитительный Медон, как часто я в твоей тени вдыхала милый ароматный воздух, благословляя при этом создателя и мечтая о совершенстве, испытывая чарующее желание позолотить облака будущего лучами надежды».

Незаметно и бессловесно умерла Маргарита Флипон. Гатьен Флипон, которого несколько сдерживали горестные просьбы жены, овдовев, почувствовал себя освобожденным и помолодевшим. Картежная игра быстро повела его к разорению. Испуганной надвигающейся нищетою Манон поневоле пришлось заняться лавкой в мастерской отца. Обязанности хозяйки магазина незаметно сблизили ее с интересами и нуждами набережной Часов.

Пораженная несправедливостью, несказанным политическим бесправием, унижением и препятствиями, чинимыми ее сословию, Манон впервые начинает желать для Франции республики, знакомой ей по книгам древних. «Несомненно, что наше положение сильно влияет на образование нашего характера и наших убеждений, но можно сказать, что данное мне воспитание и идеи, приобретенные мною из книг и от окружающих,— все это соединилось, чтобы создать мои убеждения; мне казались смешными и несправедливыми все привилегии и сословные различия. В моем чтении на меня производили особое впечатление борцы против неравенства. Когда я присутствовала при выезде королевы и принцев или видела изъявления благодарности богу при разрешении королевы от бремени, я с болью чувствовала всю противоположность между этой азиатской роскошью, этим бесстыдным великолепием и бедностью и униженностью народа, который в своем ослеплении спешит лицезреть им же созданных идолов и бессмысленно рукоплещет тому блеску, который он сам оплачивает отказом от самого необходимого».

Личное будущее не раз тревожит Манон, и когда некий наблюдательный господин предсказывает ей, что она станет писательницей, обрадованная и польщенная девушка тотчас хватается за такую возможность, но скоро отказывается от этого пути. «Мужчины не любят женщин-писательниц, женщины критикуют их,— думала она.— Если женское творчество плохо, его высмеивают, если хорошо — его приписывают другим».

Как-то раз в декабре 1772 года, когда дочка ювелира хлопотала у печи, помогая приходящей прислуге варить похлебку для отца и подмастерьев, отрываясь от этого занятия, только чтоб, наспех сбрасывая фартук, выбегать в магазин, обворожительно улыбаться покупателям и расхваливать товар, на пороге лавки появился пожилой

мужчина. Манон уже собиралась приветствовать его неизбежным традиционным вопросом, что именно из драгоценностей ему угодно купить, как вошедший неловко протянул ей письмо. Письмо было от монастырской подруги Манон Софьи Канне и являлось рекомендацией посетителю. Софья круглыми завитыми буквами писала: «Это письмо будет передано тебе философом господином Роланом де ла Платиер, о котором я тебе часто говорила. Это образованный и благородный человек: его можно упрекнуть только в излишнем преклонении перед древними в ущерб современникам, которых он ценит низко, да, кроме того, в слабости охотно говорить о себе». Манон немедля пригласила господина Ролана де ла Платиер, внимательно к нему приглядываясь, в уютную, чрезмерно заставленную мебелью столовую.

Господин Ролан давно уже перешагнул за сорок. Все в нем внушало равнодушное почтение и отражало раз навсегда установленные привычки: и темное сукно кафтана, и толстые бумажные чулки, туфли-лодочки с большими бантами, и покачивающаяся походка, упрямый взгляд тяжелодума, светлые приглаженные волосы, не скрывающие лысины. Говорил он медленно, скучно, много, не слушая собеседника, молчал рассеянно, смеялся громко и добродушно. Манон без труда разглядела его умственную ограниченность, недюжинные знания и утомительные принципы. Она была равна ему разве только в самомнении, но обладала зато способностью подмечать во всех, кроме себя, смешное и слабое. Манон постигло разочарование, когда выяснилось, что аристократическое де ла Платиер не означало принадлежности Ролана к дворянству. Однако новый знакомый Манон имел доходное имение и хороший служебный пост инспектора мануфактур в промышленном провинциальном городе. Барышня Манон признавалась себе, что Ролан — философ, ученый и к тому же не бедняк — мог бы стать для нее подходящим мужем. Но господин Ролан не спешил высказывать свои планы на этот счет, хотя приходил часто, просиживал долго, без конца рассказывая о Германии, где уже был, об Италии, куда собирался съездить, постоянно осведомляя Манон о своих размышлениях, здоровье и недовольстве людьми, которые его не понимают.

Идеи Ролана были отчетливы: слишком педантичный и любящий покой, он не утруждал себя сомнениями. Ро-

лан требовал прав для третьего сословия, которому служил, осуждал министерство Людовика, разнузданность двора, поступки королевы, хвалил Англию, ее законы и пуританизм.

В течение нескольких месяцев Ролан не появлялся у Манон, он путешествовал по Италии, но, вернувшись во Францию, инспектор мануфактур по-прежнему регулярно посещает квартиру ювелира и резонерствует, не щадя терпения Гатьена Флипона, который не мог выносить его многословия.

Жизнь барышни Флипон текла однообразно, в свободные часы она много читала и любила это подчеркнуть: книги по астрономии, физике, математике, химии, истории лежали раскрытыми на ее столе.

Прошло уже пять лет со времени знакомства Манон и Ролана, когда старый холостяк рискнул наконец посвататься. Манон нерешительно ему отказала, испугавшись будущего, объясняя отказ своей бедностью, нежеланием стать обузой мужу. Невозмутимо вежливый и раздражающе безразличный Ролан, не настаивая, покинул набережную Часов. Тщетно ждала его возвращения Манон, тотчас же раскаявшаяся в опрометчивом поступке.

Ролан не возобновлял своих домогательств и, казалось, исчез навсегда. Огорченная оборотом сватовства Ролана, Манон решила временно поселиться в монастыре, где провела в детстве спокойные дни. Там ей нравится дрессировать волю, ограничивая свои потребности и обрекая себя на лишения и полуголодное существование.

Лишь по истечении шести месяцев, уже нежданный, в монастырь явился Ролан. В прежних выражениях, не переставляя слов, инспектор мануфактуры повторил свое брачное предложение и получил поспешное согласие. Манон пишет об этом следующее: «Если брак, как я думаю, есть серьезный союз, соединение, при котором женщина обыкновенно берет на себя устройство счастья двух людей, то не лучше ли посвятить мои способности и мужество этой почтенной задаче, нежели уединению, в котором я живу».

Без иллюзий и радости двадцатишестилетняя Манон Флипон обвенчалась с Роланом в 1780 году.

Через год Ролан переводится на службу в Амьен, где находятся подруги Манон Софья и Генриетта Канне. Семейная жизнь Роланов в Амьене непередаваемо моно-

тонна; желание Манон быть добродетельной и примерной женой осуществляется с большим трудом. По нескольку часов в день Ролан усыпляющим ровным голосом диктует жене свое новое сочинение об Италии, госпожа Ролан занимается также перепиской черновиков и правкой гранок. Она выполняла эту работу без возражений, так как позволяла себе не только переправлять, но и дописывать самостоятельно кое-что в подготовляемую книгу. Уверенная в том, что отлично владеет пером, Манон не сомневалась в своем превосходстве над Роланом, но любила притворяться робкой, несведущей женщиной, преклоняющейся перед исключительно талантливым мужем. В действительности она следила за всем, что происходило вокруг. Манон знала, что цена хлеба растет, а заработная плата на мануфактурных фабриках падает, вследствие чего рабочие ропщут. Но рабочие мало интересовали госпожу Ролан, она считала, подобно Ролану, что их нужно «подтянуть», но «подтянуть» ей хотелось также королеву, королевский двор, всех аристократов, потерявших меру в своих тратах и заносчивости.

«Откуда придет твердая власть, кто прекратит усиливающееся справедливое недовольство?» — думала госпожа Ролан. Она знала, что король, тучный обжора, ничего не понимает в делах государства и занимается серьезно только охотой да слесарным ремеслом в богато и удобно обставленной дворцовой мастерской слесаря Гамена. Всемогущая королева рада, что муж, забавляясь выделкой ключей, не мешает ее забавам и мотовству. Вместе с королевой у власти распутная госпожа Полиньяк, пожираемая сифилисом принцесса Ламбаль, никчемные фаворитки, выродившиеся аристократы вроде Лозена, Эстергази и кардинала Рогана. Налоги и займы, падавшие наибольшей тяжестью на третье сословие, вызывают постоянные возмущения. Крупная буржуазия, быстро богатеющая, не хочет больше мириться с бесправием. Подмечая все эти симптомы, госпожа Ролан неоднократно приходила к мысли, что только просвещенные люди, подобные Ролану,— значит, и ей, и тому обществу, в котором она вращалась,— смогут принести Франции порядок и благоденствие. Впрочем, как это должно произойти, Манон не обдумывала, но удовлетворенно ловила слухи и россказни о нараставшем недовольстве в Париже, надеясь, что оно обеспечит осуществление ее заветных мечтаний.

В Амьене у госпожи Ролан родилась дочь Евдора, но «обязанности матери», как «обязанности жены», Манон определяла для себя, руководясь не чувством, а умом. Хозяйство, материнство, приемы, которые так любила устраивать госпожа Ролан, поглощали у нее бо́льшую часть времени; впрочем, вспоминая об этой поре, она добавляет, что успевала, конечно, заниматься ботаникой и естествознанием.

В 1789 году, к началу революции, Ролан был генеральным инспектором мануфактур и фабрик в Лионе. Госпожа Ролан, довольная служебным повышением мужа, чувствовала себя почти удовлетворенной, имея хорошо меблированную квартиру, слуг, отличного повара, как у всех «богатых людей». Однако революция всколыхнула Ролана и его деятельную супругу. Госпожа Ролан восстановила в памяти увлекательные подробности переворотов Древнего Рима и Греции, перечла Плутарха, с энтузиазмом цитировала вновь Вольтера и Руссо, приказала прислуге называть себя «гражданкой». В обществе малоразвитых, хоть и богатых, фабрикантов, купцов и их жен, в большинстве полуграмотных и невежественных женщин, госпожа Ролан смелостью своих речей вызвала сначала большое недоумение. Ролан также пытался излагать прежние теории, но перешагнул теперь через Англию к Америке, законы и свобода которой казались ему достойными примерами для Франции. Его туманные рассуждения в кругу лионской буржуазии, еще не осознавшей своих желаний и требований, породили ему в первое время немало врагов. Подмечая враждебность, окружавшую в Лионе либеральствующую чету, госпожа Ролан пишет об этом одному из своих друзей, парижскому врачу Лантенасу: «Мы — изгнанники, против которых разгорелась невероятная ярость. Блот накануне своего отъезда на последнем заседании совета очень старался получить место, чтобы не сидеть рядом с господином де Платиер. Даже у его жены вырвалось словечко по моему адресу, будто муж ее испортил себе репутацию из-за своего общения с моим мужем. В первую минуту я задрожала от гнева, но скоро усмехнулась от жалости... Жалкие скоты, пугающиеся криков, которым становится страшно от угроз, для них мало спрятаться, им нужно еще отречься от единственного человека, достаточно смелого, чтобы выступать... Мы, однако, не откажемся от нашего метода, этот рев не доходит до меня, он вне моей

сферы. Пусть покинут моего друга, он будет не один, я остаюсь с ним, а это чего-нибудь да стоит...»

Поведение госпожи Ролан действительно раздражало лионское буржуазное общество. Мужчины осуждали пафос и тон превосходства, усвоенный издавна Манон, женщины не прощали миловидной и очень заботящейся о своей внешности госпоже Ролан заносчивости «ученой умницы». Госпоже Ролан недоставало такта, скромности и простоты даже тогда, когда она нарочно старалась казаться демократкой.

Уже в Лионе окружающие посмеивались над Роланом, узнавая в его речах мысли жены. Манон, впрочем, никогда сама не подчеркивала своего влияния на мужа. Спустя несколько лет она будет писать по этому поводу: «О боже мой, какую скверную службу сослужили мне те, которые приподняли покрывало, под которым я предпочитала оставаться. В продолжение двенадцати лет моей жизни я работала вместе с моим мужем так же, как и ела с ним, обе вещи казались мне одинаково естественными. Когда приводили какое-нибудь место из его работы, в котором находили больше стилистических прелестей, чем в других, когда хвалили какую-нибудь остроумную мысль, то я никогда не думала о том, что я их автор. Когда дело шло о том, чтобы высказать в министерстве крупную, резкую истину, я вкладывала в это всю свою душу; само собой разумеется, что у меня это выходило лучше, чем это удалось бы какому-нибудь кропотливому секретарю. Я любила свою страну, я поклонялась свободе, и никакие интересы, никакие страсти не могли во мне сравниться по силе с этой страстью: моя речь была ясна и патетична, так как это была речь от всего сердца. Важность предмета так захватывала меня, что я забывала о себе».

Передовые взгляды и главным образом служение деловым интересам лионских буржуа обеспечили инспектору мануфактур выборы в Учредительное собрание. Вскоре после возвращения Ролана из Парижа в Лион Учредительное собрание одним из декретов уничтожило должности генеральных инспекторов, и Ролан оказался без работы; впрочем, долголетняя служба давала ему право на приличную пенсию. Необходимость хлопотать о пенсии помогла Манон, не допускавшей мысли об уходе Ролана «на покой», настоять на поездке в Париж; ей удалось добыть мужу почетное поручение в Национальное собра-

ние. Старый Ролан, трясясь в дилижансе по пути в Париж, не раз вздыхал при воспоминании о тишине своего имения, где мог бы благодушно доживать старость. Не то думала Манон, и ее энергичный голос, прерывая дремоту утомленного мужа, возвращал его к действительности. Манон с воодушевлением поучала старика, давая ряд советов и указаний. Лишь революция могла осуществить ее честолюбивые замыслы, дать выход накопленной ею энергии, стремлению к первенству, и Ролан, прислушиваясь к речам Манон, понимал, что она не простила бы ему обманутых надежд.

Зимой 1791 года Роланы въехали в Париж и остановились в отеле «Британик». Немедля Манон приступает к осуществлению своих планов. Она твердо решает навсегда обосноваться в Париже, где только и возможно, по ее мнению, принять участие в «большой политике», вмешаться в ход событий и передать свое имя истории. Манон присматривается к происходящему, с удовлетворением отмечая, что восходящим светилом является жирондист Бриссо, с которым она состояла в давнишней переписке, хоть и не была лично знакома.

Одетая продуманно просто, гражданка Ролан отправляется на заседание Национального собрания, где просит представить ей Бриссо. Жена друга, знакомая по письмам, часть которых как образчик патриотизма Бриссо опубликовал в своей газете «Французский патриот», производит на наблюдательного и умного политика наилучшее впечатление. Бриссо принимает ее несмелые приглашения и, не раздумывая, обещает привести друзей.

Манон не стремится к славе «какой-нибудь сомнительной агитаторши из Пале-Рояля». Имена Теруань де Мерикур, Клер Лакомб, Олимпии Гуж, которыми гордится в те годы плебейский Париж, вызывают лишь презрение госпожи Ролан. Она свысока готова признать, что гражданка Теруань не лишена красноречия, и что Клер Лакомб с энтузиазмом борется за права женщин, и что Олимпия Гуж неплохая публицистка, но «прошлое» этих женщин все-таки остается в глазах Манон позорным; к тому же Олимпия незаконнорожденная, и парижане знают, что она по безграмотности принуждена диктовать свои зажигательные статьи секретарю. Манон Ролан не хотела идти путями трех «героинь предместий», их лавры ей не были нужны. Она не компрометирует себя

связью с женскими клубами, которые становятся союзниками крайних левых. Неизменными образцами для гражданки Ролан могли быть, конечно, только знатные афинянки и римлянки, вокруг которых собирались философы, мудрецы, правители. Имея все достоинства прекрасной Аспазии — подруги и жены Перикла,— госпожа Ролан считала, что обладает в то же время свободолюбием и волей спартанки. Создание влиятельного салона, где собирались бы все наиболее могущественные революционеры,— вот что было задачей Манон. Прельщенный грацией и красноречием моложавой жены Ролана, Бриссо решил помочь ей в этом. Салон к тому же был нужен будущим жирондистам: он облегчал им более тесный сговор, помогал сплотиться.

Приняв приглашение Манон, Жан-Пьер Бриссо привел в убранную цветами, книгами, изящными безделушками квартиру Ролансв самых значительных руководителей партии Жиронды: упитанного, самонадеянного Петиона, стесняющегося, бледного Бюзо и говорливого Верньо, тонкого ценителя женской красоты и театра. Пришел и зачастил мало чем замечательный Боск, впоследствии один из наиболее верных друзей Манон, появились также Клавьер, Антуан.

У этих людей были трудолюбивые жены, равнодушные к политике, занятые детьми, хозяйством, домашними дрязгами и заботами; мужья тяготились их умственной посредственностью, и возможность бывать в гостеприимном салоне госпожи Ролан, естественно, привлекала их. Хотя посещения относились будто бы только к самому Ролану, Манон понимала, что стоит ей перестать появляться в маленькой приемной — и кое-кто из этих многоречивых политиков не придет больше в отель «Британик».

Долго и упорно Манон добивалась знакомства с якобинцем Робеспьером, в котором учуяла большого политического деятеля. Однако Робеспьер уклонялся от встреч, не чувствуя симпатии к Ролану и доверия к Бриссо. Робеспьер нелегко согласился прийти, но впоследствии бывал у Роланов. Его привлекала возможность быть в курсе последних событий.

Влияние жирондистов на судьбы Франции в конце 1791 и в начале 1792 года было значительным. Результаты выборов в Законодательное собрание создали для них благоприятнейшую расстановку сил в Собрании. Сто-

ронники Бриссо — Ролана заняли первые посты в важнейших департаментах и муниципальных управлениях. Петиона, горячего приверженца госпожи Ролан, избрали мэром Парижа 14 ноября 1791 года вместо Лафайета, слава которого поблекла. Даже в Якобинском клубе жирондисты чувствовали себя хозяевами.

Осень 1791 года Манон проводит в своем имении, откуда посылает Максимилиану Робеспьеру полное лести письмо, в котором есть такие строки: «В недрах столицы, очага стольких страстей, где ваш патриотизм вступил на столь же затруднительный, сколь почетный путь, вы, милостивый государь, не без интереса получите из глубочайшего одиночества написанное свободной рукой послание, продиктованное чувством уважения и удовольствия, которое испытывают люди чести при обмене мнений между собой. И если бы даже я познакомилась с ходом революции и с шагами законодательного учреждения только из газет, то я все же выделила бы маленькое число смелых мужей, постоянно остававшихся верными принципам, и из числа этих мужей — вас, чья энергия никогда не переставала оказывать величайшее сопротивление взглядам, козням деспотизма и интриге.

В моем уединении я с радостью буду знакомиться с продолжением ваших успехов; итак, я призываю вас к работе ради справедливости, так как обнародование истины, касающейся общественного блага,— всегда успех в добром деле. Если бы я предполагала только сообщить вам что-либо, то у меня не появилась бы мысль вам написать, но, не сообщив вам ничего особенного, я думала о том интересе, с которым вы услышите о двух людях, душа которых создана, чтобы понять вас, и которые желают выразить вам уважение, оказываемое ими лишь немногим людям, и привязанность, посвящаемую ими только тем, кто ставит выше всего славу быть справедливым, быть чутким».

Возвратившись в Париж, Манон застала своих друзей в безмятежном предвкушении власти, даже осторожный Бриссо считал, что политическая игра им выиграна. Под влиянием этого госпожа Ролан восторженно шла навстречу будущему. Скоро, думалось ей, не только набережная Часов, но и весь Париж заговорит о жене Ролана и друге великих деятелей революции.

Участившиеся в эту пору «приемы» в отеле «Брита-

ник» госпожа Ролан подробно описала сама: «Я жила в роскошном помещении, в хорошем квартале. Создалось такое обыкновение, что депутаты, собиравшиеся для совместного обсуждения различных вопросов, являлись ко мне два раза в неделю после заседания в Собрании и перед заседанием в клубе якобинцев. Я работала или писала, в то время как они рассуждали. Я предпочитала писать, потому что тогда казалось, что я совсем далека от их разговора, и в то же время я могла прекрасно вслушиваться в него. Я могу делать одновременно несколько дел и так привыкла писать письма, что это не мешало мне слушать разговор о чем-нибудь совершенно отличном от содержания моего письма. Мне кажется, что во мне две личности. Я могу разделить свое внимание, как материальный предмет, пополам и управлять обеими половинами, как будто я отдельное от них существо. Я помню, как однажды, когда эти господа оказались о чем-то различного мнения и спор их сделался очень шумным, Клавьер, заметив, с какой быстротой я пишу, довольно остроумно заметил, что только женщина способна на это и что все же ему это кажется удивительным. «Что же бы вы сказали,— улыбаясь, спросила я его,— если бы я слово в слово повторила вам те доводы, которые вы только что приводили?» Кроме обычных приветствий при появлении и перед уходом этих господ, я никогда не позволяла себе произносить ни одного слова, хотя часто мне приходилось сжимать губы, чтобы удержаться. Если кто-нибудь заговаривал со мною, то это бывало уже тогда, когда начинали расходиться и все вопросы были уже решены. Кроме графина с подслащенной водой, никаких напитков у меня не подавалось. Поведение Робеспьера на этих происходивших у меня собраниях было замечательным: он мало говорил, часто посмеивался, бросал несколько саркастических фраз, никогда не высказывал своего мнения».

Самым счастливым, таким долгожданным днем в жизни Манон было 21 марта 1792 года. Под вечер прозвучал резкий звонок у входной двери, и перед Роланом и его женой появились Дюмурье и Бриссо.

«Вы назначены министром»,— скороговоркой пробормотал Дюмурье. Бриссо, ожидая выражения благодарности, теребил, улыбаясь, широкополую шляпу. Ролан хотя и знал об этом назначении и дал уже свое согласие, однако беспомощно и вопросительно посмотрел на жену,

которая заметно напрягала волю, чтобы сдержать восторженный возглас. Хитрый Дюмурье, подкупленный двором, лицемер и предатель, показался Манон в эту минуту лучшим другом: ведь он был вестником удачи. Впрочем, не только Манон, но и Бриссо, и вся жирондистская пресса превозносили тогда Дюмурье, назначенного министром короля за несколько дней до Ролана, Клавьера и Дюрантона.

Радость Манон была приговором Ролану: об отказе (о чем он втихомолку мечтал) нечего было и думать.

Вот что пишет госпожа Ролан в мемуарах об этом событии: «Когда Ролан в первый раз явился ко двору в своем обычном одеянии, которое он давно носил из удобства, со своими редкими, просто зачесанными волосами, в круглой шляпе и башмаках, завязанных лентами, придворные лакеи, придававшие главное значение этикету,— в нем заключался весь смысл их существования,— смотрели на него с возмущением, даже с некоторого рода ужасом. Один из них приблизился к Дюмурье и, наморщив лоб, шепнул ему на ухо, указывая на предмет своего возмущения: «Ваша милость: без пряжек на башмаках». Дюмурье с комической серьезностью воскликнул: «Ваша милость, все погибло!». Эти слова сейчас стали известны и заставили смеяться тех, кто менее всего был расположен к этому. Сам Людовик XVI, несмотря на несоответствующую этикету внешность, принял своего нового министра весьма радушно».

Вскоре Манон занялась переездом в редкий по богатству и пышности дворец министерства внутренних дел, где полагалось жить министру. Подгоняемая тщеславием, поднималась Манон по мраморным ступеням лестниц, проходила по пустым, слишком большим и глухим залам; запрокидывая голову, разглядывала фрески и лепных амуров на потолках и стенах, трогала и гладила холодные колонны, любовалась собой в зеркалах, прижатых золотыми рамами, и слушала звон хрустальной бахромы венецианских люстр, которые вечерами, при свете свечей, казались разноцветными. В своих мемуарах госпожа Ролан не будет описывать ни прекрасного дворца, ни того удовлетворения, которое она, несмотря на свои «демократические вкусы», испытала, поселившись в нем. У нее хватило такта, чтобы не казаться смешной, тем более что набережная Часов была недалеко, да и роль знатной дамы сулила только преследования и издевательства. Ма-

нон Ролан и во дворце стремилась остаться все той же «благородной супругой добродетельного Ролана».

«Французский патриот» пером Бриссо после бегства короля в июне 1791 года из Парижа громогласно потребовал республики, и Манон, читавшая газету Бриссо ежедневно, спешит в своем салоне провозгласить патетический тост за друзей-республиканцев. Под ее влиянием Ролан соглашается издавать совместно с Кондорсе газету «Республиканец, или Защитник представительного правления», в которой агитирует за провозглашение республики. В предсмертных мемуарах Манон, чванясь своим республиканизмом, обвинит Робеспьера в том, что он не хотел низвержения монархии и после бегства короля в Варенн спросил насмешливо Петиона и Бриссо: «А что такое республика?» Манон Ролан умалчивает о догадках, возникших тогда же у Бриссо о том, что Робеспьер высказывается против республики «только из-за тайного расчета». В 1791 году утверждение власти крупной буржуазии, представителями которой были жирондисты, внушало серьезные опасения Робеспьеру, боявшемуся, чтобы республика, созданная ими, не обеспечила бы Жиронде слишком большого господства в стране. Департаменты получили бы тогда самостоятельность, Париж потерял бы свое решающее значение для федеративной Франции, и сенат — старая мечта американофила Бриссо — стал бы оплотом борьбы с подлинными демократами и крайними революционерами. Время для провозглашения республики, как думал Робеспьер, еще не настало. Он не ошибался, разглядев сквозь завесу фраз и демагогии истинные стремления жирондистов. Очень скоро бриссотинцы открыли карты; поняв, что республика сможет оказаться полезной не только для крупной торговой и промышленной буржуазии, они умерили настойчивые домогательства свержения короля.

Два раза в неделю за обеденным столом министра Ролана появляются приглашенные. Только иногда Манон допускает и женщин; тогда это — госпожа Петион, отвечающая невпопад, и тучная госпожа Бриссо, деятельная мать многочисленных детей. Именно госпожа Петион и госпожа Бриссо обостренным женским нюхом учуяли первые, что особой симпатией Манон дарит видного жирондистского депутата Бюзо. Нервный, подвижный, сентиментальный, демагог по натуре, он привлекал ее пол-

ной противоположностью Ролану. Вот характерные отрывки из автобиографии Бюзо, где он пытается обосновать свое мировоззрение:

«От природы одаренный независимым характером и мужеством, не позволявшими подчиняться чьему бы то ни было приказу, как мог я примириться с мыслью о наследственном короле и непогрешимом человеке? Мой ум и сердце были полны историей Греции, Рима и тех знаменитых людей, которые в этих древних республиках более всего любили человеческий род; я с раннего детства проникся их принципами. Я был поглощен изучением их добродетелей». «...Никогда распутство не запятнало моей души своим нечистым дыханием, кутежи всегда внушали мне отвращение, и вплоть до моего нынешнего зрелого возраста бесстыдная речь никогда не загрязняла моих губ». «С таким характером и такими наклонностями я сделался участником революции и Учредительного собрания».

«Я пользовался всеобщим признанием и почетом, но скоро я узнал, что не все в своей деятельности отрешаются от соображений личного интереса. Я снова замкнулся в себе и только к концу опять выступил; я сделал это тогда, когда заметил, что число истинных патриотов необычайно уменьшилось и, может быть, уменьшится еще, если я буду долее хранить молчание. Я был горячим противником королевской власти, особенно после бегства короля. Когда заседания Учредительного собрания пришли к концу, я вернулся в Эвре, где делал все, что было в моих силах». Так Бюзо пытался изображать из себя подлинного патриота и республиканца. Фактически это был честолюбивый славолюбец и фразер.

Запоздалая первая любовь, любовь к Бюзо, ворвалась в размеренную жизнь Роланов, неся всем огорчения и муку. Надуманно усложненные принципы Манон и большие требования, которые она предъявляла к себе, не позволяли ей согласиться на измену мужу. «Сестра Гракхов», жена «героя» не могла идти по стопам тех, кого так язвительно сама высмеивала. Наставлять рога мужу было достойно женщин старой знати, какой-нибудь Марии-Антуанетты и ее фавориток, но уж никак не «королевы Жиронды» — так все чаще называли жену Ролана.

Тщательно проследив и проанализировав свои чувства, Манон посвятила во все добреющего с годами Ролана, который покорно изображал государственного мужа, не

*имея других желаний, кроме желаний жены. Признания* Манон потрясли доселе уверенного в жене супруга. Бюзо был молод, любил и был любим. Легко доступный развод не мог стать препятствием для сближения. Но Манон не признавала для себя «легкого пути», она осталась с Роланом, обещая, что любовь к Бюзо будет «чистой». Госпожа Ролан продолжает встречи и переписку с «возлюбленным Бюзо», благодаря которому может зорко следить за политической игрой жирондистов и влиять на решения Конвента. Ленивый Бюзо, уступая непреклонной воле Манон, участвует в работе Конвента, вербуя сторонников бриссотинцам, и истерическая вспыльчивость его превращается в полезное орудие политической борьбы. Бюзо предан и послушен Манон, как Ролан, и она платит ему за это рассудочной любовью и ловкими похвалами в своем салоне. Манон Ролан принадлежат нижеследующие строки о Бюзо:

«Природа наделила его любвеобильной душой. Его чувствительность заставляла его предпочитать тихую, уединенную, добродетельную жизнь; сюда присоединялась склонность к меланхолии как результат сердечных огорчений. Обстоятельства ввергли его в поток политической жизни».

Вмешательство Манон в дела мужа и Бюзо и ее часто вредное влияние не могли укрыться от парижан. Пока партийная борьба не обострилась, это вызывало только насмешки, но когда внутренние распри усилились, имя Манон все чаще стало произноситься вперемежку с руганью, как имена аристократок старого режима. Слишком часто на государственные дела Франции опасно влияли женщины; жестокая любовница Людовика XV Помпадур, мотовка Дюбарри, «австриячка»-королева и ее подруги были еще чересчур болезненно памятны народу.

Манон, нигде не отстаивающая открыто своих взглядов, почти незримая, но плетущая пропитанное ядом кружево закулисных интриг, становилась врагом революционных предместий, ненавистным даже больше, нежели старик Ролан.

Великолепная речь Робеспьера в Конвенте сдернула покровы, прикрывавшие сложную политическую затею жирондистов, стремившихся войной укрепить свою мощь, отвлечь беднядкие слои от крайних революционеров, сократить безработицу вербовкой в армию, расширить торгово-политическое влияние Франции. Робеспьер говорил:

«Я тоже требую войны, однако под условием, относительно которого мы, несомненно, все согласны, ибо я не хочу думать, что сторонники войны намерены нас обмануть. Итак, я требую войны не на живот, а на смерть, героической войны, такой войны, какую свобода объявляет деспотизму, такой войны, которую умеет вести сам революционный народ во главе с собственными вождями, а не такой войны, какой хотят интриганы...

Но где же у нас генерал, непоколебимый защитник народных прав, прирожденный враг тиранов, который никогда не вдыхал бы отравленного придворного воздуха?.. Или мы, готовясь ниспровергать троны, должны выжидать, когда-то прикажет нам военное министерство, должны ждать, когда-то двор подаст нам знак? Патриции, эти вечные любимцы деспотизма, должны вести нас на войну, которая направлена против аристократов и королей? Нет! Мы хотим одни вступить в борьбу, мы хотим сами повести себя. Сторонники войны с этим, однако, не согласны. Вот господин Бриссо,— он заявляет, что всем делом должен руководить господин граф де Нарбонн, что только под командой господина маркиза де Лафайета можно предпринять поход и что единственно исполнительной власти принадлежит право вести нацию к победе и свободе...

Тот способ, каким господин Бриссо и его друзья проповедуют нам доверие к исполнительной власти, то, как они стараются об общественном благорасположении к генералам, доказывает только одно: революция отняла у них уверенность, бдительность и энергию».

Война с Австрией была объявлена правительством 20 апреля 1792 года; французский народ решительно выступил на защиту своих демократических завоеваний. Вся тяжесть военных лишений легла на плечи трудящихся. Росла дороговизна, все сильнее сказывалась нехватка продуктов, росло недовольство беднейших слоев населения, до предела обострялась борьба классов. Назревали решительные события. И вот в ночь с 9 на 10 августа над Парижем загудели колокола. В ответ на колокольный звон в районных секциях стал собираться народ. Вооруженные отряды двинулись к Тюильри. Комиссары секций провозгласили себя Революционной коммуной и возглавили движение масс. У дворца короля завязался бой между восставшим народом и отрядом наем-

ных швейцарцев. Революционная коммуна возглавила восстание и привела его к победе. Члены Коммуны в Законодательном собрании от имени победившего народа продиктовали свою волю — Людовик XVI лишался трона. Коммуна своей властью арестовала его и заключила в замок Тампль. Старые министры короля были уволены, и Собрание назначило новое министерство (Временный исполнительный совет). В своем большинстве Совет состоял из жирондистов. Туда входят Ролан, Монж, Клавьер, Серван, Лебрен, из монтаньяров в его состав был введен лишь один Дантон. Второй прыжок к власти уже не принес Манон былой радости: Ролан является мишенью нападок слева. Она плачет от бессилия, услышав слова Дантона о Ролане: «Франции нужны министры, которые не смотрели бы на все глазами своей жены» — глазами Манон. Ничто не могло бы оскорбить ее больше. Много ли у Франции таких восторженных, наблюдательных, таких умных глаз! Конечно, эти заносчивые господа не в состоянии ее понять! Манон утешается размышлениями о ничтожестве окружающих. «Ограниченность,— не раз восклицает она презрительно,— превосходит все, что можно себе представить. И это на всех ступенях общества, начиная с приказчика и кончая министром, военным, которому приходится командовать армиями, посланником, созданным для роли торговца». Только трое: муж, возлюбленный Бюзо и Бриссо, мысли которого повторяет, считая своими, Манон, только трое пользуются ее уважением. Но эти трое не в силах оградить Манон от насмешек, от презрительных выпадов, и госпожа Ролан, сжигаемая жаждой мести и власти, решает действовать. Она больше не хочет, считает даже преступным молчать, занимаясь «женскими делами» за своим столиком во время мужского спора. Она решительно вмешивается отныне в разговоры, разжигает партийные страсти, требует от друзей действенной энергии, следит за каждым шагом Конвента, репетирует с Бюзо его речи, дает формулировки Бриссо для «Французского патриота». Госпожа Ролан борется, как может, за влияние и мощь Жиронды. Монархисты ей пока чужды.

В сентябре 1792 года Париж был потрясен известием о сдаче Вердена. Коммуна приступила к набору армии. Снова загудел набат, выбивали дробь барабаны. Революционная коммуна призывала: «К оружию! Враг у порога!»

В то же время по Парижу поползли слухи о заговоре контрреволюционеров, заключенных в тюрьмах, об ударе, который они нанесут, когда парижане уйдут на фронт. В порыве негодования народ и добровольцы бросились к парижским тюрьмам и казнили контрреволюционеров. Позднее жирондисты сочинили легенду о «сентябрьских убийствах», обвиняя в них якобинцев и многократно преувеличивая число казненных, но в сентябрьские дни не только якобинцы, но и жирондисты не могли обвинять народ: стихийная месть народа была проявлением самозащиты революции против подготовлявшегося мятежа контрреволюционеров.

Тогдашняя жирондистская пресса вполне отражает настроения госпожи Ролан, а эта пресса нисколько не возмущается кровавыми событиями в тюрьме, где пострадали аристократы и духовенство — союзники наступающих армий монархической коалиции.

Третьего сентября, когда в монастыре Сен-Жермен де Пре, то охая, то ругаясь, тюремщики смывают кровь с пола и подбирают последние трупы, чтобы угрюмо бросить их на дроги, Манон в последний раз осмотрит в большом трюмо свой туалет. Она заколет с умелой небрежностью косынку поверх светлого платья, разовьет локон над ухом, поправит фижму, слегка набелит подбородок и лоб, оттеняя легкий слой румян. Ей уже тридцать восемь лет, но годы не портят ни лица, ни чуть полной, гибкой фигуры. Осмотрев себя со всех сторон, чуть напевая, госпожа Ролан зайдет к своей дочери Евдоре, погладит ее по волосам, не нагибаясь, чтобы не испортить линию корсажа, скажет несколько поучительных слов смущенной гувернантке, быстро пройдет, вдыхая запах духов, в большую столовую, где скромно, но красиво убран стол. В этот день Роланы дают большой обед. Поздно вечером, когда гости разойдутся, Манон, долго раздеваясь, будет с удовольствием вспоминать «удавшийся» прием, оживленные разговоры, шутки, смех, каких не было уже так давно в эту все более тревожную пору. О народной расправе с аристократами, происшедшей накануне, Манон, быть может, вспомнит мельком, повторяя слова своих друзей, что пролилась кровь «негодяев».

Ненависть к королю, которую так любила подчеркивать госпожа Ролан, ко времени суда над ним значи-

тельно ослабеет, и смерть Людовика XVI даже огорчит «неистовую республиканку». Один из ее друзей, контрреволюционер Лафатер, из укрывшей его Швейцарии в начале 1793 года прислал Манон письмо, вполне совпадающее с ее настроениями.

«Только что получил ваше письмо, моя добрая Ролан, ваш портрет и много печатных произведений, которые я буду читать при первой возможности. Спешу сообщить вам, что все люди чести восхищаются вашим славным мужем и гнушаются интригами и коварством против него. Душа моя несказанно уязвлена смертью короля. Я не осмеливаюсь и не могу выразить мою горесть и мои опасения. О мой добрый друг, свобода, которую вы хотите обрести путем самого холодного и самого вычурного деспотизма, ускользает от вас, и стократное несчастье падает на головы тех, которые так злоупотребляют как предрассудками, так и несдержанностью народа.

Придите к нам, если Франция, которая недостойна вас, вас отвергает».

В это время нападки прогрессивной прессы на жирондистов усилились. Газета «Отец Дюшен» не щадила при этом и чету Роланов. «Несколько дней тому назад,— возвещала в одной из своих статей газета,— депутация... из полдюжины санкюлотов явилась к этой старой развалине (рогоносцу Ролану); к несчастью, они попали туда во время обеда. «Чего вы хотите?» — спросил у них швейцар, остановив их в дверях. «Мы желаем поговорить с добродетельным Роланом». — «Здесь совсем нет добродетельных», — отвечал толстый страж, очень упитанный, хорошо выбритый, протягивая руку за взяткой.

Наши санкюлоты прошли по коридору и вошли в прихожую добродетельного Ролана. Они никак не могли протолкаться сквозь толпу слуг, наполнявших ее.

Двадцать поваров, нагруженных самыми изысканными фрикасе, кричали во все горло: «Пропустите, пропустите, дайте дорогу: это соуса добродетельного Ролана»; другие кричали: «Дорогу жарким добродетельного Ролана»; еще другие: «Пропустите закуски добродетельного Ролана»; другие еще: «Вот пирожные добродетельного Ролана». «Чего вам надо?» — спросил у депутации лакей добродетельного Ролана. «Мы хотим поговорить с добродетельным Роланом».

Лакей идет сообщить эту новость добродетельному Ро-

лану, который появляется нахмуренный, с полным ртом и салфеткой в руках. «Наверное, республика в опасности,— говорит он,— что вы побеспокоили меня во время обеда». Ролан провел гостей в свой кабинет; он помещался рядом со столовой, где находилось более тридцати блюдолизов.

На почетном месте, справа от добродетельного Ролана, сидел Бассатие, а слева маленький Луве, со своей картинной физиономией и впалыми глазами, с вожделением смотрел на супругу добродетельного Ролана. Один из членов депутации хотел пройти по темной лакейской и уронил десерт добродетельного Ролана. Узнав о гибели десерта, жена добродетельного Ролана в гневе сорвала с головы свои фальшивые волосы».

Как относилась Манон к доносившимся до нее злобным отзывам парижского простонародья? Верная служанка Роланов не раз плакала, возвращаясь с базара, где торговки насмехались над ее господами. Но Манон, выслушивая пересказы, только поджимала сухие, недобрые губы, охваченная презрением к невежественной «черни», не заслуживающей «свободы». Особенно изумляла госпожу Ролан нечуткость народа, осуждавшего ее «вечера», на которых хозяйка салона, отрывая розы от атласного корсажа, бросала лепестки в бокалы гостей жестом, достойным римской патрицианки.

В том же смутном 1793 году Ролан ушел в отставку. Борьба в Конвенте между Жирондой и якобинцами неудержимо разгоралась: заседания Конвента становились бурными. Все, в чем были виновны бриссотинцы с давних пор перед французской революцией, с особой ожесточенностью им припоминалось. Трусость во время расстрела на Марсовом поле, двусмысленные переговоры со двором и участие в интригах короля, предательство генералов, ставленников Жиронды, колебания во время процесса Людовика — все это выставлялось как пункты обвинительного акта. Жирондисты не оставались в долгу, изрыгая убийственную клевету на Гору, ведя остервенелую агитацию в газетах и клубах. Они не только оборонялись, они активно нападали.

Непопулярность жирондистов проявлялась в Париже на каждом шагу: в секциях, на окраинах, в Конвенте. Тщетно педантичный Ролан в течение четырех месяцев восемь раз обращался с требованием рассмотрения его отчета — ему не давали слова.

Манон, оставившая пленительный министерский дворец, опять очутилась в скромной квартирке, напоминавшей ей отель «Британик», но как непохоже было теперь все вокруг на безмятежное недавнее прошлое. Госпожа Ролан не обманывала себя и, видя, насколько далеко зашли разногласия, понимала, какой грозный и решающий бой ждет ее партию. Ее малолюдный теперь салон превращается в руководящий штаб жирондистов. Лишь когда отчетливо обрисовались контуры грядущего поражения и надвинулся разгром, госпожа Ролан принялась за организацию отступления и ухода в подполье. Неутомимо она хлопочет об убежище на случай надобности для друзей и о разрешении на выезд в свое имение для мужа и дочери. Неожиданная болезнь — несчастливая помеха — обрывает ее приготовления.

В Конвенте весной 1793 года партийная борьба была уже накануне развязки. Отклонение жирондистами прогрессивного подоходного налога вызывает волнение и ярость против них в рядах мелкой буржуазии и рабочих, но, не считаясь с волей масс, жирондисты продолжают выступать также и против «максимума» — предельной цены на хлеб, которой добивается голодный парижский люд во главе с Горой. Бедняк — творец революции, участник кровавых восстаний, отдавший детей на войну с Австрией и Пруссией, не ощутивший все еще облегчения от им созданного политического строя, — обрекался жирондистами, защищавшими свободу торговли, на голод. Это превосходило терпение народа: слово «бриссотинец» звучало как «предатель».

Но, невзирая на ропот народа и растущую свою непопулярность, жирондисты 2 мая 1793 года опять пробуют выступать, надеясь на поддержку провинций, против большинства Конвента, утвердившего принудительный заем для борьбы с контрреволюцией в Вандее. Они возражают против выдачи пособий семьям солдат и образования запасов муки. Распределялся заем среди парижан, имевших доход более тысячи ливров, что наиболее раздражало жирондистов и объявлялось ими актом «несправедливости» по отношению к зажиточному населению. Эта последняя «ошибка», то есть верность классу, которому служили жирондисты, была ближайшей причиной их низложения.

Накануне разгрома Манон заболела. Ее посещали немногие, в числе которых Бюзо, все более близкий и любимый. Несмотря на волнения и гнетущие предчувствия надвигающейся катастрофы, Манон охвачена неудержимым любовным порывом к тому, кто мог бы стать ее любовником. «Было бы приятно,— пишет Манон, отвлекаясь от суровой действительности,— если бы такое расположение совпало с долгом: не дать погибнуть бесполезно тому, что еще осталось. С каждым днем становится труднее владеть своим сердцем и употреблять атлетические усилия для того, чтобы защитить свой зрелый возраст от бури страстей». Она напрасно боялась за слабоволие и податливость своих тридцати восьми лет. Эпоха, в которую она жила, ворвалась в ее жизнь и определила ее будущее. 31 мая ушли с исторической сцены жирондисты и с ними их «королева».

В день восстания парижского народа против бриссотинцев Манон, впервые после долгого времени, проснулась утром, чувствуя себя выздоровевшей. Главной заботой ее было устроить отъезд семьи в глушь, казавшуюся, по контрасту с бурным Парижем, обетованным уголком, сулящим покой и счастье. Но едва Манон оделась, допила кофе, привела в порядок бумаги и безделушки в спальне и в гостиной, как прислуга вбежала, чтобы предупредить госпожу об уличных толках и откровенных угрозах, раздававшихся с особой настойчивостью по адресу «рогоносца» Ролана и бриссотинцев.

Дальнейшее надвинулось с неотвратимой быстротой. Где-то вдали раздался набат, потом прогудели сигнальные пушки. Точно так начинались все великие «праздники» революции, в которых раньше участвовала с энтузиазмом и Манон. Подобрав юбку обеими руками, как для менуэта, Манон бросилась к окну, зная наперед, что увидит сейчас, как по узким улицам пестрой лентой пронесутся мгновенно вылезшие из домов, лавок, подворотен люди. Торговки, фруктовщицы, подняв руки, будут потрясать корзинами, бессвязно выкрикивая ругательства; мужчины, женщины, дети, опрокидывая сорные ящики, скамейки, встречных, побегут в свои секции, в парижскую Коммуну, к Конвенту, сжимая кулаки, заражаясь друг от друга жаждой мести, готовые немедленно к бою с врагом. Вся дрожа, Манон ловила угрожающие восклицания толпы, все еще гоня от себя страшное предполо-

жение. Уловив имена своих друзей, она, ослабев, ушла от окна, теряя последние обнадеживавшие сомнения. Народ требовал жирондистов к ответу. Когда улица приутихла, кое-кто из друзей пришел к Манон сообщить невеселые новости.

В пятом часу следующего дня в квартиру Манон, стуча саблями и ружьями, пришел патруль с ордером Революционного комитета на арест Ролана. Прочитав приказ, Ролан заявил, что ордер не исходит от законной власти, и отказался идти в тюрьму. Не имея разрешения применять насилие, вооруженные санкюлоты отправились в общинный совет за дальнейшими указаниями. Едва затихли шаги, Манон, рассчитывая на уцелевшие еще связи, решает отправиться в Конвент, надеясь спасти Ролана от ареста. Дворец Тюильри полон вооруженных людей. В узкий коридор из зала заседания Конвента доносится до Манон, точно грозный рокот морского прилива, гул голосов. Хитростью и ложью Манон добивается вызова Верньо, но этот еще недавно уверенный в себе, неотразимый оратор Жиронды не берется огласить в Конвенте письмо об аресте Ролана, ссылаясь на то, что его не станут слушать. Не видя спасения, Манон бросается домой, чтобы помочь мужу бежать.

Поздно вечером, когда депутация общинного совета вновь пришла арестовать Ролана, он был уже вне дома: на этот раз арестовали Манон. С полуночи до семи часов утра тянулась томительная процедура обыска и опечатывания вещей. Попрощавшись с дочерью и слугами, Манон вышла под конвоем из дома. У подъезда до извозчичьей кареты шпалерами вытянулись вооруженные секционеры. Несколько женщин, узнавших Манон, проводили карету криками: «На гильотину!»

В тюрьме Аббатства, куда привозят Манон, вежливый тюремщик предлагает ей, ввиду отсутствия свободных мест, провести день в одной из комнат его квартиры. Жена его, расторопная и чувствительная женщина, спрашивает арестованную, какой завтрак она желала бы получить. Государство отпускает узникам только порцию бобов и 200 граммов хлеба в день, но оставляет им возможность питаться на свой счет, отчего еда арестованных вполне соответствует их достатку и привычкам. В первый день пребывания в тюрьме утомленная и обеспокоенная Манон просит только «воды с сиропом».

К ночи тюремщик перевел госпожу Ролан в маленькую камеру, под оконцем которой находились часовые, до рассвета нарушавшие сон Манон традиционными «кто идет?», «стреляй, патруль!». Эти крики учащались, и караулы усиливались в напряженно тревожные ночи.

Сумрак и холод тюрьмы угнетают Манон, и, желая сохранить бодрость духа, она пытается сделать камеру похожей на жилую комнату. Большие яркие букеты цветов должны скрасить хмурые, холодные стены, на столе, прикрытом старенькой скатертью, на табуретке, на подоконнике Манон раскладывает книги, безделушки и туалетные принадлежности. Благодаря тюремщику и его жене Манон часто видится с друзьями, оставшимися на свободе, и переписывается с родными. Наибольшее участие проявляет верный друг Боск, устроивший в преданной Роланам семье их дочь Евдору. Из газет Манон узнала об аресте двадцати двух жирондистов. В безграничном отчаянии она вскричала: «Отечество мое погибло!» Только уверенность в том, что Ролан, Бюзо и другие жирондисты, бежав из Парижа, находятся вне опасности, придавала ей твердость. О себе Манон вначале не беспокоилась и старалась держаться с вызывающим «спокойствием невинности».

Уверенная в скором освобождении, госпожа Ролан требует от министра юстиции «применения к ней закона», и в ответ 12 июня ее наконец допросил полицейский комиссар. Он рассеянно выслушал возмущенные доводы и многословные возражения Манон, не объясняя причины ареста. Во время следующего допроса грубоватый комиссар, которому надоела болтовня этой женщины, потребовал, чтобы она отвечала только «да» или «нет». Ей было заявлено, что тюрьма не министерская квартира, чтобы щеголять «умом». Допрос, продолжавшийся несколько часов, протекал в столь резком тоне, что Манон внезапно поняла, какое наказание ей угрожает. Уходя с допроса, она гневно сказала: «Как мне вас жалко. Я прощаю вам даже вашу грубость. Вы можете послать меня на эшафот, но не можете лишить меня той радости, которую доставляют чистая совесть и убеждение, что потомство отомстит за Ролана и меня, обвинив наших преследователей в подлости».

В той же тюрьме Аббатства Манон Ролан начала писать мемуары, составившие впоследствии четыре тома и изданные тотчас же после падения Робеспьера ее уце-

левшими друзьями. В своих записках она старается охарактеризовать деятелей революции, посещавших ее салон, и события минувших лет. Беспристрастность не могла быть доступна узнице, недавно еще бывшей, по ее же выражению, «на троне». Озлобленная гонениями, она ехидно осуждает якобинцев и восхваляет своих единомышленников.

Спустя четыре недели после ареста, 27 июня, Манон была выпущена на свободу, но двумя днями позже снова арестована и посажена в тюрьму Сен-Пелажи. В тюрьме Сен-Пелажи госпожа Ролан живет почти так же, как и в тюрьме Аббатства. Кроме мемуаров и обширной переписки с Бюзо и друзьями, она занята рисованием и чтением; как и прежде, «Герои» Плутарха постоянно лежат на ее столике. Наибольшим огорчением жены «добродетельного» Ролана в Сен-Пелажи было соседство проституток, воровок, фальшивомонетчиц. По утрам, когда тюремные камеры открывались и страж выпускал визжащих, цинично ругающихся женщин в общий коридор, куда выходили также арестованные мужчины, Манон пряталась в своей камере, оскорбленная «таким обществом» и непристойными словами, которые раздавались вокруг нее. Она не раз обдумывает возможность самоубийства, но оставляет эту мысль, не желая дать «клеветникам мужа новое оружие в руки». В дневнике Манон пишет: «Я возвеличу его славу, если только решатся призвать меня в Революционный трибунал». Постепенно «презренные» соседки перестают так болезненно раздражать Манон. Она находит даже некоторое удовольствие в том, чтобы вести с ними поучительные беседы, вызывающие их недоумение и невольное уважение к «ученой гражданке».

Преданные друзья — Боск, Гранпре, Шампанье — попрежнему приносили в тюрьму цветы из ботанического сада, письма и газеты. Добрая жена тюремщика, с которой умела ладить Манон, как раньше в тюрьме Аббатства, на день часто приглашала ее в свою светлую квартирку, где на стареньком клавесине узнице разрешалось наигрывать несложные мелодии, выученные в монастыре.

В день казни Бриссо — наиболее жуткий день в жизни госпожи Ролан, когда и для нее умерла надежда,— Манон перевели в тюрьму Консьержери, имевшую страшную славу «прихожей смерти». В Консьержери ее камера была зловонна и темна, как могила. Смерть на-

двигалась, и Манон всюду чувствовала ее мучительное соседство. Незачем было больше сдерживать обильные слезы горечи и боязни. Тюремщик, свидетель предсмертной дрожи и отчаяния Манон, равнодушно задвигал ежевечерне засов одиночной камеры, в которой по целым дням плакала ослабевшая женщина.

Вызов в Революционный трибунал приближался, допросы участились. Госпоже Ролан предъявили обвинение в сношениях с бежавшими депутатами-жирондистами, объявленными вне закона. Напрягая остаток воли, она старалась казаться сильной. От печали и физического страха перед небытием Манон отрывали только заботы об умелой и красивой защите на суде. Превыше всего эта женщина до последней секунды жизни ценила точеную фразу и выразительную позу. Вот отрывки из речи, которую она подготовляла в ожидании суда:

«Предъявленное мне обвинение основывается исключительно на мнимом соучастии в деянии тех людей, которых называют заговорщиками. Мои дружеские отношения с немногими из них не имеют ничего общего с теми политическими событиями, благодаря которым они теперь считаются достойными наказания.

Я не сужу о средствах, к которым прибегали осужденные, я не знаю этих средств, но я ни за что не поверю в злые намерения тех, чью честность и гражданскую доблесть, чью великодушную преданность отечеству я воочию видела. Если они заблуждались, они это делали с искренней верой, они побеждены, но не унижены, они в моих глазах несчастные, но не виноваты. Если я, сохраняя к своим друзьям добрые чувства, виновна, то я объявляю себя таковой перед всем миром. Я не беспокоюсь за их славу и охотно соглашусь разделить с ними честь быть угнетенной их врагами. Я видела этих людей, которых обвиняют в заговоре против отечества. Это были решительные, но гуманные республиканцы, которые были убеждены в том, что нужны хорошие законы для того, чтобы республика ценилась теми, кто сомневается в ее жизнеспособности, а это, право, труднее, чем казнить их. История всех времен доказала, что требуется большой талант для того, чтоб хорошими законами направить людей на путь добродетели... Я слышала, как они утверждали, что достаток и счастье могут проистекать только из справедливой, благотворной и охраняющей граждан

государственной конституции, что могущество штыка может только внушить страх, но не может доставить хлеба. Я видела их одухотворенными горячей заботой о благе народа, они гнушались льстить народу и были готовы скорее пасть жертвами его заблуждения, чем обманывать его. Сознаюсь, что эти принципы и это поведение казались мне совершенно непохожими на принципы и поведение тиранов и честолюбцев, которые стараются нравиться народу, чтобы поработить его.

Как друг свободы, ценить которую меня научили размышления, я с восторгом приветствовала революцию, убежденная, что она означает эпоху падения господства произвола, который я ненавижу, эпоху уничтожения злоупотреблений, по поводу которых я так часто вздыхала, тронутая судьбой обездоленных классов. Я с интересом следила за успехами революции, я принимала горячее участие в беседах об общественных делах, но я никогда не выходила из границ, положенных мне моим полом. Кое-какой талант, достаточное философское образование, мужество, которое встречается гораздо реже и которое позволяло мне во время опасности поддерживать мужество моего супруга,—вот то, что, вероятно, втайне хвалили те, которые меня знают, и что создало мне врагов среди тех, которые меня не знают.

При моем мужестве мне было очень легко избежать следствия, которое я предвидела, но я считала более достойным подвергнуться ему. Я считала себя обязанной перед моим отечеством подать этот пример, я думала, что если меня осудят, то следует предоставить тирании совершить такое ненавистное дело, какова казнь женщины, единственная вина которой состоит в том, что она обладала некоторым талантом, которым она никогда не гордилась, большим желанием служить благу человечества, мужеством не отрекаться от своих друзей и рисковать жизнью за свою честь. Души, обладающие некоторым величием, умеют забывать о себе; они чувствуют, чем они обязаны человечеству, и видят себя лишь в зеркале будущих поколений».

Манон Ролан верна себе и снова стремится возвысить и обелить перед судом истории не только себя, но и партию, идейным вдохновителем, часто незримым, которой она была. Однако она умалчивает о том, что, если бы победа оказалась в руках Жиронды, народные массы

Франции вряд ли получили бы много больше, чем давала им абсолютистская власть монархии. Недаром народ Франции так ненавидел бриссотинцев и жену «рогатого» Ролана. Высшей, кульминационной точкой подъема великой революции французов был период власти якобинцев, а они-то в глазах мадам Ролан являлись злейшими врагами всех замыслов ее лично и жирондистов.

Накануне суда и казни Манон писала Бюзо:

«Пребывай еще в этом мире, не спеши, если для чести существует убежище, оставайся, чтобы изобличить несправедливость, изгнавшую тебя. Но если упорное несчастье приковывает к твоим пятам врага, то не потерпи, чтобы против тебя поднялась наемная рука, умри свободно, как жил ты свободно, и пусть эта благородная храбрость, мое оправдание, через этот твой поступок будет и твоим оправданием».

Восемнадцатого брюмера II года (8 ноября 1793 года) в холодное бессолнечное утро на дворе тюрьмы Консьержери подле решетки столпились арестованные, ожидавшие в каменном безмолвии решения своей участи. Официальный «крикун», вызывавший ежедневно заключенных в суд, хрипло прокричал: «Гражданка Ролан». Она знала заранее, когда это наступит, и стояла у решетки неестественно прямая и напряженная. Впервые надетое белое кисейное платье было так же нарядно, как те, что она надевала к министерскому обеду. Волосы, слегка завитые на висках, распущенные по плечам, молодили лицо. Маленькая шляпка-чепчик, модная во II год Республики, дополняла убранство.

Услышав свое имя, Манон, слегка наклонившись, подхватила шлейф и, обернувшись, слишком громко сказала несколько любезных слов окружающим, которые бросились к ней, охваченные безграничным ужасом и в то же время еле скрываемой радостью оттого, что каждому из них еще на день продлена жизнь. Улыбаясь, она вышла за ворота тюрьмы. С ней рядом в Революционный трибунал ехал полумертвый от страха Ламарк, ведавший напечатанием ассигнатов и обвиненный в измене. Оба эти человека предназначались гильотине одновременно.

Несколькими часами позже Манон была приговорена к смерти. В прениях суда ей не разрешили участвовать, и заготовленная речь осталась непроизнесенной. Револю-

ционный трибунал знал, что перед ним непримиримый и опасный враг, и был беспощаден к этой одаренной женщине, которая, оставаясь в тени, так умело руководила политической борьбой жирондистов, превратившихся во врагов революции. Не дослушав смертного приговора, госпожа Ролан вскричала: «Вы считаете меня достойной разделить участь великих мужей, убитых вами. Я вас благодарю и вместе с тем уверяю, что я постараюсь на пути к эшафоту показать то же мужество, что и они». Она напоминала о хладнокровии двадцати двух жирондистов, умиравших с пением «Марсельезы».

В пятом часу повозка палача повезла ее на площадь Революции, рядом с ней был опять Ламарк; он дрожал, метался, плакал, вызывая насмешки равнодушного палача. У Манон хватило сил обратиться к Ламарку со словами утешения и ободрения. Только раз по пути на гильотину речь ее беспомощно оборвалась на полуслове: покачиваясь и дребезжа, тележка проезжала тогда по мосту над Сеной, вдали показалась набережная Часов и дом с узеньким окном, похожим на бойницу. Воспоминания, сожаления, тени детства окружили Манон лишь на мгновение: площадь Революции и гильотина, скрытая гипсовой статуей Свободы, были совсем близки.

На улице Сент-Оноре вслед за тележкой двинулись немногочисленные любопытные. Интерес к зрелищам казней притуплялся. Прохожие равнодушно выслушивали имена смертников. В толпе Манон искала неотступно идущего Боска, который не отрывал от нее, как от святой, идущей на Голгофу, мокрых восторженных глаз. Рискуя быть опознанным, Боск пришел в город, покинув хижину близ Парижа, где скрывался.

У помоста гильотины палач придержал лошадь, и осужденным помогли спуститься. Манон, все еще ободрявшая Ламарка, сказала ему заботливо: «Взойдите первым, у вас не хватит сил перенести зрелище моей казни». Ожидая своей очереди, она попросила перо и бумагу: верная себе, Манон хотела сохранить для потомства свои последние ощущения. Осужденной отказали в ее просьбе. Не говоря ни слова, госпожа Ролан взошла на помост. Впоследствии легенда приписала ей слова, будто бы обращенные к белой Свободе, у подножия которой, словно жертвенник, стоял эшафот: «О Свобода, сколько преступлений свершается во имя твое!»

Едва казнь совершилась, площадь опустела. Ночью того же дня по ухабистой дороге, ведущей из Парижа в лес Монморанси, размытой осенним моросящим дождем, сгорбившись, плелся Боск. Он спешил обратно в лесной домик, где был в безопасности. Увлечение ботаникой и зоологией помогало ему довольствоваться обществом деревьев, цветов, птиц, белок и мелкого зверя. В одном из лесных закоулков, в расщелине скалы, Боск схоронил манускрипт госпожи Ролан.

В его хижине две недели скрывался и Ролан, бежавший впоследствии в Руан, где нашел убежище у давнишних приятельниц. Одряхлевший, утомившийся жизнью Ролан хотел умереть на эшафоте, как умерла Манон. Для этого следовало вернуться в Париж, пойти в Конвент. Одна из престарелых подруг Ролана отвергла этот план, как ведущий к конфискации имущества, нужного для дочери Евдоры. 15 ноября бывший министр закололся шпагой, скрытой в трости.

Бюзо скрывался в Бретани. Истощенный лишениями, он переходил с места на место, страшный той опасностью, которую нес с собой для тех, кто пускал его под свой кров. Повстречавшись с Петионом, он очутился вместе с ним в доме Буке — неустрашимой фанатической жирондистки, покинувшей Париж, чтобы помогать беглецам.

В ее домике в Сен-Эмильоне близ Бордо находились семеро осужденных депутатов-жирондистов: Саль, Гаде, Луве, Барбару, Валлади, Петион и Бюзо. Все они прятались в похожем на грот колодце, задыхаясь от сырости и недостатка воздуха. Ночью госпожа Буке носила им еду и вино из своего погреба. Она давала им очень мало пищи, чтоб не возбуждать подозрения соседей количеством покупаемых продуктов: подвоз припасов в город становился все более незначительным. Спустя месяц госпожу Буке предупредили о предстоящем обыске, и жирондисты покинули усадьбу. Троих — Барбару, Бюзо и Петиона — госпоже Буке удалось переселить в мансарду дома местного парикмахера Фрокара, заклятого врага революции.

В течение долгих месяцев Бюзо жил под крышей парикмахерской, никогда не выходя из своего убежища. Желчный и беспомощный, он утешал себя предвкушением невероятной, изощренной расплаты с Горой, когда его единомышленники вернутся к власти. Легко переходя от одного настроения к другому, Бюзо, однако, часто те-

рял мужество и, как виноватый ребенок, оплакивал прошлое, свои неудачи и Манон.

Госпожа Буке не без успеха пыталась организовать переправу уцелевших жирондистов в Швейцарию и была уже у цели, когда обыск, обнаруживший ее связь с жирондистами, по-иному решил судьбу беглецов и самой госпожи Буке. 17 июня 1794 года она была арестована и вскоре гильотинирована в Бордо.

Узнав об участи госпожи Буке, Барбару, Петион и Бюзо оставили небезопасный чердак Фрокара.

Восемнадцатого июня 1794 года в поле близ Сен-Маньяна беглецы случайно натолкнулись на проходивший мимо отряд солдат. Барбару пытался застрелиться, но остался жив, был отправлен в Бордо, судим и казнен. Бюзо и Петион спаслись от преследования солдат в сосновом лесу, окаймлявшем поле. Не надеясь на спасение, они приняли яд. Их тела были найдены 19 июня 1794 года, за восемь дней до переломной даты французской революции — 9 термидора — гибели якобинской диктатуры.

Дни Термидора явились в своем роде реваншем Жиронды. В Конвенте, пославшем на гильотину непримиримого вождя революции Робеспьера, в рядах «болота» заседали многочисленные сторонники жирондистов. Они отреклись от Бриссо и его друзей, едва выяснилась неизбежность их поражения, но не могли отречься от самих себя. Когда термидорианцы — организаторы заговора против революционного правительства — предложили «болоту» блок, эта колеблющаяся группа Конвента с готовностью пошла за ними. Они и решили судьбу Робеспьера.

Революционная диктатура якобинцев была сломлена, лживая либеральная фраза прикрывала дело начинавшейся буржуазной контрреволюции.

Жирондист Луве, скрывавшийся долгое время вместе с Бюзо, благополучно вернулся в Париж и вместе с Боском вскоре после Термидора выпустил первое издание мемуаров мадам Ролан под заглавием «Призыв к беспристрастному потомству гражданки Ролан. Собрание всего написанного ею во время заключения в тюрьмах Аббатства и Сен-Пелажи». Книга была издана «в пользу единственной дочери гражданки Ролан, лишенной состояния своих родителей, имущество которых находится все еще под секвестром».

## ЖАННА ДЮБАРРИ

Первый год работы Революционного трибунала подходил к концу. Несколько женских голов уже скатились с помоста гильотины. Имена Марии-Антуанетты, Корде, Ролан были вписаны в историю революционной кары и возмездия. Вслед за ними перед Революционным трибуналом в фримере (декабре) 1793 года предстала женщина, с которой у революции были особые счеты.

Забытая, казалось целиком принадлежавшая прошедшим десятилетиям, подсудимая внезапно опять сосредоточила на себе внимание Парижа. Революционный трибунал воскресил ее жизнь,— этого было достаточно для смертного приговора. И смерть, как игла, прочно втянула в ткань революционной хроники нить прошлого Дюбарри.

Ей было к тому времени пятьдесят лет. Черное платье облегало еще стройную фигуру и оттеняло седой парик, немного покривившийся и растрепанный. На лице не было обычной косметики, и оно выглядело дряблым, отмеченным излишествами прошедшей бурной жизни. Двойной подбородок, немного выпуклые, бессмысленные от страха глаза придавали ее лицу что-то схожее с животным перед убоем, когда смерть уже занесла над ним острый нож.

Председатель Трибунала громко сказал: «Гражданка, признаете ли вы себя бывшей графиней Дюбарри?» Ответ гражданки Дюбарри потонул в вопле, раздавшемся из-за перегородки, где сидели старушки вязальщицы, кокетливые девушки из предместий и мужчины-санкюлоты: «Смерть ей! Смерть! На гильотину любовницу тирана!» Пожилые женщины, постоянные посетительницы

Трибунала, возмущенно кричали, протягивали кулаки в прорехи низкой ограды, заражая своей злобой присутствующих.

Процесс начался — и жизнь, путаная, невероятная, развернулась год за годом. Казалось, что прорвался невидимый нарыв и пополз липкий ядовитый гной. Прошедшее царствование Людовика XV воскресло в показаниях.

Семья Жана Дюбарри, мошенника и афериста, положившего начало «карьере» обвиняемой, проживала в Тулузе. Мать была женщиной незлой, неумной, ничем не замечательной. Отец умер, оставив семье долги, нужду и дворянский герб. Две сестры Жана, не имея приданого, к моменту события, изменившего жизнь семьи, давно перешагнули тот возраст, когда могли надеяться на выгодный брак. Для девушек-дворянок того времени безбрачие являлось катастрофой, и лучшее, что их ожидало впереди, был монастырь. Кроме сестер, Жан имел брата — неудачника, невежду и простака Гильома.

Глава семьи Жан Дюбарри был одним из типичнейших придворных Людовика XV. Он шулерски играл в карты, но это давало небольшой доход, крал, был груб, жесток, сластолюбив и в погоне за богатством не брезговал ничем. Жан Дюбарри избрал прибыльное дело, на котором разбогател не один аристократ Франции времени Бурбонов: работа заключалась в поставке королю женщин.

Мадам Помпадур, могущественная любовница короля, много лет держала в своих руках нити правления страной: от нее зависели назначения, смещения при дворе, внутренние и внешние дела Франции. Но мадам Помпадур приближалась к сорока годам, она постарела, растолстела, и счастье от нее ускользало. Людовик XV скучал в ее присутствии. Женщина сообразительная и расчетливая, она прибегала ко всевозможным средствам, чтобы не получить отставки.

В дворцовом парке, как некогда при короле солнце, Людовике XIV, селили девушек, отобранных по указаниям Помпадур. Институт мадам Помпадур был устроен согласно всем правилам аристократических женских учебных заведений. Девушек обучали, одевали и воспитывали соответственно «вкусу короля». Обычно, чтобы не иметь соперниц, Помпадур не задерживала уже испробованные плоды, и они либо бесследно исчезали, либо отправлялись в монастырь и лишь как исключение возвращались к род-

ным. С помощью такой организации Помпадур продержалась еще несколько лет, но влияние ее падало; предчувствуя смену фаворитки, двор от нее отвернулся. Когда в сырое осеннее утро она умерла и ее гроб проносили мимо окон королевского покоя, Людовик меланхолически заметил: «Ах, мадам, какой скверный день вы выбрали для такой далекой прогулки».

Многие придворные, помня возвышение Помпадур, пытались заполучить власть и казну в свои руки с помощью ставленницы на пост фаворитки. Развращенный и пресыщенный Людовик XV менял женщин, как пряжки на туфлях.

В те же годы на окраине старого Парижа был небольшой кабачок, где за кружкой славного пива, за игрой в кости просиживало часто разнообразное общество. Аристократ, ищущий сильных ощущений, преступник-профессионал, провинциал, щедрый и наивный, жалобщик, тщетно обивающий пороги, монах, ремесленник — все эти люди собирались под низкими балками потолка. Шпион без труда там выманивал тайну; искренность и длинные беседы перемежались бранью и похвальбой. Несколько девиц развлекали компанию, переходя с колен на колени, спускаясь в чуланчик за несколько грошей на тряпки. Среди них красотой выделялась Жанна Бекю, прозванная Ангелом, девушка добродушная, румяная и глуповатая. Дочь трактирной служанки и монаха, она выросла среди винных луж, спотыкаясь о пьяные тела, засыпая в хмельных парах.

Мать отдала ее в учение к модной портнихе, но темперамент и легкомыслие не способствовали учению. Она пришла после ряда романтических приключений в кабак, где и осталась, всегда довольная, смешливая и готовая любить. В этом-то кабачке ее заметил Жан Дюбарри и соблазнился ею. Одетая в шелка и украшенная драгоценностями, Жанна была приманкой для картежников, посещавших Дюбарри. Как созрел план сделать из Жанны Бекю, проститутки из кабачка, заместительницу маркизы Помпадур — неизвестно. Жан принялся за выполнение этой задачи с огромным пылом, понимая те выгоды, которые мог получить. Препятствием было темное происхождение Жанны, но ловкий Жан Дюбарри знал, как делаются титулы, и ценил их лишь как путь к обогащению. Он попросту назвал Жанну Бекю Жанной Дюбарри. Жениться на ней

он не мог, так как имел жену и множество детей. Развод для католика был невозможен и скандален.

Встреча короля с Жанной была ловко подстроена в 1769 году. Жанна Бекю очаровала короля грубой простотой, невежеством и циничной откровенностью. Для нее ничто в жизни не было удивительным, люди не внушали ей ни капли почтения. С раннего детства она понимала, что́ именно от нее требовалось, и, не имея излишнего ума, подходила к жизни расчетливо и просто. И то, что она обошлась с королем как с любым посетителем чулана в кабачке, покорило его. Жанна оказалась острым, неизведанным блюдом. Не прошло и месяца, как Жанна Бекю уже приобрела большое влияние на короля и, следовательно, на судьбу Франции.

Но завистники и недруги Жана Дюбарри, так угодившего монарху, разнесли пикантные истории из жизни мадемуазель Жанны-Ангела. Потребовалось срочно создать ей «происхождение», подходящее для звания первой фаворитки. Король обещал миллионы тому, кто покроет своим именем скандальное прошлое его любовницы. Жан Дюбарри не долго обдумывал, как спасти и не упустить золотое руно — царскую казну; выход был легко найден.

В тихой, зеленой Тулузе живет забытая родня Дюбарри, в числе которой простофиля брат Гильом, к счастью для Жана, холостой. В золоченой карете с гербами мчится без отдыха Дюбарри по пыльным дорогам Франции из Парижа в Тулузу. Его встречают недоуменно богомольная мать, престарелые девицы-сестры и ухмыляющийся, дурашливый брат. Жан, не тратя времени даром, излагает дело начистоту. В доме и в сундуках пусто, впереди нищета, но все это можно поправить, в один миг осветить золотом. Мамашу Дюбарри беспокоит общественное мнение, но Жан уверяет ее, что власть заткнет глотки окружающим. Договорились.

Трясомые лихорадкой наживы, братья с той же быстротой мчатся в Париж. Свадьба Гильома Дюбарри и Жанны Бекю, на которой жених и невеста увидятся чуть ли не единственный раз в жизни, отпразднована была без замедления. Супруг с дарами, с сотнями тысяч, но без жены отсылается в деревню, а «жена», спасенная именем дворянина Дюбарри, уезжает в Версаль. С ней вместе, ради приличия и для наблюдения, селятся выцветшие сестры ее мужа. В брачном акте за Жанной Дюбарри утвердился

титул графини. Благополучие семейства Дюбарри отныне обеспечено вполне. Жан устраивает обеды, достойные Лукулла, строит фантастический особняк. Его боятся, перед ним лебезят. Причуды Дюбарри не осуждаются, никто не смеет ему противоречить. Он полон извращений и пороков, бессмысленно сорит сотнями тысяч, обирая казну задыхающейся в нищете страны.

Его брат Гильом, «муж» королевской фаворитки, удивляет Тулузу внезапным обогащением, постройкой дома и роскошью в полученном близ города имении. Никто из членов семьи Дюбарри не мешает друг другу безумствовать и разорять страну. Тридцать пять миллионов луидоров стоила Жанна Дюбарри Франции, и столько же стоили дворцы, которые король для нее построил. Даже отец королевской наложницы, красноносый жирный монах, появляется и предъявляет отцовские права на «милости короля». Он хочет быть исповедником его величества.

Графиня Жанна Дюбарри превзошла в мотовстве своих предшественниц. Она всесильна. Она казнит и милует, заточает в Бастилию, назначает придворных, ссылает, разоряет и обогащает в зависимости от настроения, снов и примет. Она суеверна, по-прежнему невежественна, хотя ее и обучают светила науки.

Однажды среди подарков короля, среди ожерелий, носовых платков, стоимостью в десять тысяч луидоров каждый, она находит маленького негритенка. Так до сих пор король дарил ей прелестных, как игрушки, собак, обезьянок, кошек. Негритенок нравится графине. Решено крестить черного семилетнего мальчика, дичка, жмущегося по углам шелковой бонбоньерки-спальни. Графиня и один из принцев дома Бурбонов — крестные Замора, наряженного в розовый шелковый костюм, украшенный драгоценными камнями.

Ребенок подрастает в обстановке чудовищной роскоши и развращенности, оплакивая далекую порабощенную родину. Замор, камердинер графини, с ранних лет впитывал ненависть и презрение к монархии.

Казалось, удача сопутствовала Жанне повсюду, но счастье фаворитки непрочно. Как-то во время обычных увеселений, в ту пору не прекращавшихся во дворце, король почувствовал себя дурно. Его снесли в опочивальню уже в жару, в полусознании. Вскоре болезнь определилась, заражая всех страхом. Король был болен оспой.

Кто только мог, бежал из дворца: прививка была еще неизвестна, и оспа представлялась неодолимой, как чума. В тот момент, когда, уже предвидя смерть Людовика XV, дворцовая челядь распластывалась перед преемником, в графине Дюбарри, капризной жестокосердной фаворитке, проснулась Жанна Бекю, простая девушка, не лишенная чувств благодарности. Она понимала к тому же, что впереди ей нечего было ждать: смерть покровителя означала конец ее силе и власти. Жанна одна не покидала короля, в бреду метавшегося по огромной постели. Без брезгливости эта женщина баюкала его, как ребенка. Старый развратник, король блестящей мишурной Франции, быстро приближавшейся к революции, умер на руках проститутки, его прихотью получившей огромную власть. Жанна Дюбарри недолго, но искренне оплакивала его смерть.

Людовик пятнадцатый умер, и шестнадцатый Людовик получил долгожданный престол в 1774 году. Как только быстро разлагающийся труп был уложен в гроб и с театральной пышностью вынесен из спальни, пятилетнее царствование Дюбарри прекратилось. Без обиняков ей приказали уехать.

Два года Дюбарри, в момент смерти короля достигшая тридцати одного года, не появлялась в столице. Впоследствии вновь очутившись в Париже, жадная, распутная и бездушная графиня ведет прежний бессмысленный образ жизни, сумасбродствуя и меняя любовников.

Так было до 1789 года, потрясшего Францию. Революция, о которой никогда не слышала Жанна Дюбарри, была наиболее жестоким ударом в ее жизни; она потеряла земли и дворцы, но, сохранив золото, успела эмигрировать в 1792 году в Англию.

Непреодолимая жадность гонит ее, однако, обратно во Францию, где оставались хорошо запрятанные кое-какие драгоценности. Нежданная никем, уже забываемая, Дюбарри вернулась в свой парижский дом, где ее угрюмо встретили садовник и слуги. Приезд графини — заклятого врага революции, открыто помогавшей монархистам деньгами — показался слугам подозрительным. Пороки Дюбарри были слишком на виду, чтоб она внушала им хоть каплю симпатии и жалости.

Садовник графини сообщил о ее возвращении Замору — негру, выросшему в кружевных корзинках вместе

с любимой собачкой. Негр Замор задолго до революции, по ночам, когда в соседних залах происходили оргии, прятался в постоянно пустой библиотеке графини и жадно читал. В блестящих, тисненных золотом переплетах хранились мудрый сарказм Вольтера и пламенные думы Руссо. Библиотека во дворце графини была одной из принадлежностей дома, украшением, модным среди аристократов в ту эпоху. Графиня Дюбарри никогда не тратила времени на книги, но Замору читать не запрещала. Ученый камердинер был ей даже приятен так же, как искусный повар или обученный попугай.

Замор знал лучше других чудовищный быт аристократии. Не раздумывая, он с энтузиазмом отдал все свои силы революции и с каким-то фанатическим пылом преклонялся перед Маратом и Робеспьером. С тех пор как негр покинул дворец Дюбарри, он жил в крайней бедности и лишениях. Сблизившись с санкюлотами квартала, Замор записался в Якобинский клуб.

Узнав о том, что Дюбарри во Франции, имея все основания ей не доверять, Замор сообщил об этом Революционному трибуналу. Явные улики подтвердили обвинение в сношениях графини с Бурбонами, и вот Дюбарри перед судом. Страница за страницей Трибунал перелистывал книгу ее сумбурной жизни, в которой ничто не заслуживало снисхождения. Взрывом восторга встретила толпа, окружавшая Трибунал, смертный приговор ненавистной графине.

В ясное утро повозка палача Сансона повезла Жанну Дюбарри на площадь Грев, где ждала ее гильотина. Рожденная среди бедняков, но забывшая и предавшая их, некогда могущественная фаворитка, умирая, потеряла всю свою надменность. Обращаясь к палачу Сансону, она кричала, цепляясь за его балахон, напоминавший саван: «Позвольте еще секундочку пожить, господин палач!» Жалкая и обезумевшая от предсмертного страха, она своим ревом, однако, не пробудила ни в ком сожаления — так велико было презрение к ней народа.

Негр Замор пережил не только гибель революции, но и метеором промелькнувшую наполеоновскую империю. Он умер в 1820 году после реставрации Бурбонов, нищий и забытый. После смерти в его пустой каморке нашли всего три франка, сочинения Руссо и портреты Марата и Робеспьера, сохраненные им как святыни.

## КЛЕР ЛАКОМБ

> Мы просим, чтоб мужчины не отбирали у нас ремесел, составляющих удел женщины.
>
> Оставьте нам иглу и веретено, дабы мы могли добывать себе пропитание.
>
> *(Из петиции 1789 года женщин третьего сословия королю)*

Тысяча семьсот девяносто третий год для революционной Франции начинается неудачами. К Парижу подползает голод, армии на фронтах, обобранные плутами-поставщиками,— босы, некормлены. Соглашательство жирондистов, измены военачальников, инфляция, обогащающая спекулянтов, в страшных тисках сжимают Францию. Четвертый год революции не принес ощутимого облегчения бедняку городских окраин.

Ненависть народа обрушивается на булочника в сером фартуке и всклокоченном парике, видимого за грязным стеклом.

— Как богатеет этот проклятый булочник, его жена опять прикупила землю к загородной ферме,— говорит с затаенным бешенством одна из женщин, с полуночи дежурящая у пекарни.

— Вчера Ру правильно говорил в Конвенте,— отзывается другая.

— При короле лучше жилось,— ехидно раздается из «хвоста».

— Молчи,— возмущаются несколько голосов.

— Иди выносить горшки аристократов. — Голодные женщины жестко смеются.

Жак Ру, талантливый вождь так называемых «бешеных», 25 июня 1793 года говорил в Конвенте:

— Свобода — пустая иллюзия, если один класс людей может безнаказанно подвергать другой мукам голода. Равенство — пустая иллюзия, если богатый, пользуясь монополией, держит в своих руках власть над жизнью и смертью своих близких. Республика — пустая иллюзия, если контрреволюции изо дня в день оказывают содействие такими ценами на продовольственные продукты, которые непосильны для трех четвертей всех граждан... Чтобы привлечь санкюлотов к революции и конституции, необходимо воспретить коммерческий разбой, который, конечно, надо отличать от чистой торговли, и понизить цену продовольственных продуктов.

Незадолго до этого выступления Ру женщины предместий, среди которых быстро росло влияние «бешеных», устроили митинг протеста против «высасывающих кровь народа» спекулянтов и монополистов. Гражданки прачки тогда же послали депутацию в Конвент. Цены на мыло, щелок, крахмал и синьку возросли столь непомерно, что лишали их всякого заработка. Разбитная, покрасневшая от волнения ораторша в белом тугом чепце, описывая Конвенту бедственное положение прачек, требовала смертной казни для спекулянтов. Ее бурые, вспухшие, венозные руки стискивали перила решетки, будто шею проклятого скупщика, союзника аристократов.

— В скором времени самый бедный класс не в состоянии будет носить чистое белье,— говорила прачка,— без которого он решительно не может обходиться. Причина этого не в недостатке нужных материалов, они имеются в изобилии, а в действиях скупщиков и спекулянтов, повышающих цены...

В апреле того же 1793 года бывшая актриса Клер Лакомб и шоколадница Полина Леон, одна из пропагандисток «батальонов амазонок», занялись организацией клуба женщин-плебеек. Это было нетрудно, так как гражданки беднейших секций сами стихийно стремились по образцу зажиточных женщин объединиться, чтобы «осознать свое положение, ниспровергнуть врагов и помочь друзьям народа».

Десятого мая «Монитёр» сообщает:

«Несколько гражданок явились в секретариат муниципалитета и в соответствии с законом о муниципальной полиции заявили, что они намерены сгруппироваться и образовать общество, в которое доступ будет открыт только женщинам. Целью этого общества является обсуждение средств, способных парализовать замыслы врагов республики. Оно будет называться «Обществом революционных республиканок» и собираться в якобинской библиотеке на улице Сент-Оноре».

В уставе «Общества», между прочим, значилось:

«Общество, принимая во внимание, что нельзя отказывать в слове ни одному члену и что молодые гражданки могут, несмотря на самые лучшие намерения, компрометировать общество необдуманными выступлениями, устанавливает для приема в члены общества восемнадцатилетний возраст».

Открытие «Общества революционных республиканок» было торжественным. Несколько сот новых членов клуба — швеи, судомойки, прачки, тряпичницы, жены и матери мелких кустарей, ремесленников, рабочих — привели с собой мужей, братьев, отцов. Некоторые из мужчин скрывали насмешливые улыбочки, другие были полны любопытства, строили догадки, что выйдет из этой затеи. Вместе с матерями увязались дети, их не с кем было оставить дома.

Собравшиеся с воодушевлением пропели несколько революционных песен, немного перевирая мелодию гимна марсельцев — гениального творения Руже де Лиля, недавно покорившего парижан. Председательницей клуба избрали Полину Леон, а секретарем Клер Лакомб, которую женщины окрали знали под кличкой «Красная Роза». С искусством опытной декламаторши секретарша прочла длинный устав, подчеркнув, что нарушение благопристойности и добродетели будет вести к немедленному исключению из «Общества». Развращенность считалась пороком, присущим только аристократам. Под конец вечера несколько пожилых уважаемых гражданок передали клубу знамя и символическое изображение «Недреманного ока» (Свободы).

В Париже в 1793 году существовало немало женских объединений, но женщины из народа впервые организовали свое общество, что заставило насторожиться всех, кто имел основание бояться народного гнева. Первыми

всполошились жирондисты. Ученый либерал Кондорсе под влиянием своей молодой образованной жены считал себя поборником прав женщин. Ему казалось, что мадам Кондорсе, мадам Ролан имели все данные, чтобы быть признанными равными своим мужьям,— поставила же история имя мудрой Аспазии рядом с Периклом, властителем Афин,— но простолюдинки, безграмотные, пахнущие дымной похлебкой, прелыми пеленками, нищетой, в счет не шли.

«Общество революционных республиканок», очень быстро оказавшееся в тесной связи с «бешеными», которые делали центром своей агитации продовольственные трудности, являлось неожиданным и досадным неприятелем правых депутатов-жирондистов. Это понял и Бюзо, слабонервный «возлюбленный» госпожи Ролан.

— Поверьте,— говорил он Манон,— они потерянные, подобранные в грязи женщины, гнусные потаскушки. Один вид их вызывает тошноту.

Жирондисты заодно с роялистами старались дискредитировать санкюлоток.

«Все революционные республиканки крайне уродливы,— писали они. — Допустив столь безобразных баб к защите революции, якобинцы не понимают своих интересов».

Стирка на Сене в непогоду, холод и жару, варка пищи у огромного дымящегося очага, плетенье кружев при сальной тусклой свечке, мытье полов и посуды, сбор отбросов на рассвете, тяготы нищенской жизни не оберегают женской красоты, тем не менее «революционные республиканки», как правило, вовсе не были «чудовищами» и «уродами», как их изображали враждебные журналы и памфлеты. Напротив, Полина Леон обладала миловидным лицом, Лакомб слыла красавицей.

У Клер Лакомб было смуглое лицо уроженки юга. Черные волосы, такие же ресницы и глаза, дерзкий, хорошо очерченный нос, большой рот актрисы, добродушный мягкий подбородок, стройная фигура, театральное изящество движений заставляли даже самых отъявленных врагов «гренадеров в засаленных юбках» признавать красоту лидера женского революционного клуба.

Впервые Клер заметили в жаркий июльский день 1792 года у решетки Законодательного собрания. Неизвестная ораторша нарочито вибрирующим голосом, с подвыванием, выдающим профессиональную актрису, на-

чала читать заготовленную речь после того, как президент Вьено де Воблан дал ей слово.

— Законодатели! — При этих словах ораторша вскинула голову и решительно оглядела зал. Несмотря на то что выступление женщины у исторической решетки не было новостью, молодая амазонка сумела заставить себя слушать. Особенно выделилось радикальное заключение ее речи.

— Законодатели! Я — француженка, артистка и сейчас нахожусь без места, но то, что должно было бы повергать меня в отчаяние, наполняет мою душу чистейшей радостью. Так как я не могу прийти на помощь своему отечеству, которое вы объявили в опасности, денежными пожертвованиями, то я хочу отдать ему свою личность. Родившись с мужеством римлянки и с ненавистью к тиранам, я буду счастлива способствовать их уничтожению... Пусть все деспоты погибнут до единого!.. Законодатели! Вы объявили отечество в опасности, но этого недостаточно, отнимите власть у того, кто один только виноват в возникновении этой опасности и кто поклялся погубить Францию... Назначьте вождей, к которым мы могли бы питать доверие, произнесите слово, и враги исчезнут.

Клер Лакомб родилась 4 августа 1765 года в небольшом провинциальном городе Памье. В ранней юности она стала трагической актрисой и незадолго до революции выступала в сравнительно больших провинциальных театрах Марселя и Лиона. Она играла там главные роли в трагедиях Расина и Корнеля, впрочем, без особого успеха.

Жизнь актрисы не была ни счастливой, ни занимательной. Театр напоминал пестрый балаган, кочующий из города в город. Случалось, актеров приглашали в замки и поместья провинциальной аристократии. Соблазнительная Клер Лакомб обычно имела успех и подвергалась циничным, недвусмысленным преследованиям пресыщенных господ, однако она умела давать отпор в таких случаях.

Едва репертуар истощался и интерес к театру пропадал, заезжую труппу бесцеремонно выгоняли на дорогу — начинались странствия. В промышленных городах, подобных Лиону, театр посещали неотесанные, самодовольные буржуа. Во время представлений горожане смачно отрыгивали, похрапывали, громко жевали, поругивали актеров, оглушительно хлопали в ладоши.

Труппа, в которой служила Клер Лакомб, гастролируя по провинции, останавливалась в гостиницах, вернее трактирах. Неизменный покачивающийся фонарь освещал вылинявшую вывеску с каким-нибудь наивным средневековым названием, вроде: «Друзья под золотым дубом», «Кабачок черной коровы» или «Сподвижники святой девы». В таких многолюдных трактирах, с огромной пастью каминов, с низкими сводчатыми потолками, с закоптевшими окнами, живала и Клер Лакомб. Без прикрас проходила там перед артисткой незавидная, голодная жизнь французского простолюдина, напоминавшая ей годы трудного детства.

В восьмидесятых годах XVIII столетия авторитет Бурбонов и дворянства в народе был полностью подорван. В трактирных залах Клер Лакомб научилась вышучивать и презирать «подлую австриячку и жуликов герцогов». Но недовольство, налоги, бедствия увеличивались, и шутки народа превращались в угрозы. 1789 год явился естественной развязкой назревшей народной драмы. Клер воспринимала приход революции как начало небывалого действа, более героического и прекрасного, чем все, о чем можно было мечтать доныне. Франция представала ее воображению как величественная сцена, где и она должна была выступить с бурной импровизацией.

В 1792 году Лакомб оставила жалкий мишурный балаган, чтобы взойти на исторические подмостки. Покинув полунищих товарищей по профессии, она спешит в Париж. Долгое пребывание в театре наложило на нее к этому времени неизгладимый отпечаток, но под заученным жестом и напыщенной фразой актрисы нельзя не разглядеть ее добродушия, дерзости и упрямства.

В революционной столице у нее нет ни пристанища, ни знакомых. К тому же вышитый кошелечек, старательно запрятанный под лифом, не слишком туго набит луидорами. Но Клер Лакомб недаром слывет «бой-бабой»: скитальческая жизнь была ей хорошей школой. Несколько полуграмотных рекомендательных писем друзей привели Клер на парижские окраины. Она нанимает по указанному адресу каморку в предместье, бросает, не раскладывая, ручной багаж под кровать и бежит в город «подышать свободой».

На площадях плотники возводят трибуны, а девушки украшают их гирляндами из дубовых листьев. Гипсовая

статуя Свободы на площади Революции бела, как чепцы патриоток, город возбужден и весел: близится годовщина 14 июля — памятного дня падения Бастилии. В тот же вечер Клер успевает побывать в Законодательном собрании и в Якобинском клубе, ночью из старой полосатой юбки она выкраивает трехцветную кокарду и переделывает тафтовое платье средневековой дамы из пьесы Лопе де Вега на костюм амазонки.

Четырнадцатого июля вечером на декорированном пустыре, где тремя годами раньше торчало королевское пугало — Бастилия, Клер отплясывает патриотические танцы. 10 августа, день свержения монархии, становится днем ее революционного крещения. Пунцовый костюм гражданки Лакомб мелькает в самых опасных местах на Марсовом поле, возле дворца. При штурме Тюильри выстрел пробивает ей руку, но Клер, не замечая раны, продолжает сражаться.

На следующий день в квартале, где живет «героиня 10 августа», только и разговору что об ее мужестве. У Клер завязываются обширные знакомства, находятся друзья; грубоватая простота, живость и красноречие бывшей актрисы привлекают к ней сердца женщин, которые ищут у нее совета. Клер, как никто, умеет урезонить несдержанного мужа или отца какой-нибудь робкой домохозяйки, мужчины побаиваются ее колючего язычка, а женщины видят в ней защитницу. 25 августа гражданка Лакомб передает Законодательному собранию гражданский венок, полученный ею за подвиги 10 августа, говоря:

— Господа! Федералисты восьмидесяти трех департаментов почтили меня сегодня утром поднесением гражданского венка, национального шарфа и свидетельства, удостоверяющего, что в день десятого августа я сделала все возможное для торжества свободы и равенства. Шарф и почетный отзыв я оставляю у себя, Национальному же собранию я отдаю гражданский венок, который оно вполне заслужило мудростью и патриотизмом, выказанным им в это опасное время. Я счастлива тем, что мне первой удалось выполнить по отношению к французским законодателям долг, который, в сущности, лежит на всяком добром французе, преданном своему отечеству.

Кое-как перебиваясь, Клер продолжает жить на окраинах. Ее все больше поглощает общественная работа,

которая для женщин той эпохи возможна прежде всего среди женщин. В 1793 году Лакомб примыкает к популярным среди парижского плебейства народным агитаторам, прозванным жирондистами «бешеными»; политические и социальные взгляды их особенно ей понятны.

Среди людей, шедших за «бешеными», были не только мелкие ремесленники, рабочий люд, интеллигенты, но и представители богемы: художники, которым не на что было купить даже краски, недоедающие, но всегда вдохновенные поэты и нищие, но гордые актеры. Вся эта голытьба влачит незавидное существование. Работа перепадает лишь в дни революционных торжеств, да и то плохо оплачиваемая. Парижанам не до муз и искусства. Изредка только уезжающий на фронт волонтер закажет свой портрет, чтобы оставить жене или родителям, да рьяный патриот купит символическую картину, изображающую полногрудую Свободу, попирающую «гидру тирании». Поэты посвящают революции жаркие, плохо оплачиваемые рифмы, актеры большей частью принуждены подрабатывать, нанимаясь временно то в революционное учреждение, то к лавочникам. Летом в садах, на рынках, в переулках они устраивают патриотические представления. Большинство этих людей — пылкие якобинцы, сочувствующие крайним левым.

В кружках «бешеных» Клер Лакомб встретилась с двадцатидвухлетним Жаном-Теофилем Леклерком, молодым журналистом, фанатическим революционером. Несмотря на свою молодость, Леклерк многое пережил и перевидал, его увлекательные рассказы занимали и волновали Клер.

Леклерк описывал ей дикую тропическую красоту островов Гваделупы и Мартиники, где он был после 1789 года. На Мартинике он участвует в восстании цветных рабов, руководит их раскрепощением. Часами Леклерк рисовал Клер жизнь в колониях, мученическую судьбу рабов, обрабатывающих сахарные плантации французов, жестокость и несправедливость рабовладельцев. Новый друг гражданки Лакомб служил также и в революционной альпийской армии, расположенной в Лионе — городе тканей.

Живописный Лион был одним из крупнейших текстильных центров Франции, уютной столицей крупной буржуазии. Этот промышленный город дал французской

революции не только правых жирондистов, но и крайне левых «бешеных». Ролан и Бриссо были друзьями и верными слугами лионских буржуа. Леклерк хорошо знал фабричные закоулки, быт и нужды рабочих, посещал лачуги мелких ремесленников,— это определило его политическое мировоззрение.

К 1793 году Леклерк стал уже зрелым революционером. Дружба Клер и Леклерка вскоре перешла в любовь. Весной 1793 года они поселились вместе.

Леклерк помогает Клер в организации «Общества революционных республиканок», пишет сочувственно о женском движении в газетах, выступает с трибуны женского клуба. Близкие ему руководители «бешеных» Жак Ру, Варле также относятся к Клер Лакомб, Полине Леон и их клубу с интересом единомышленников.

На квартирку «Розы», лишенной всяких безделок и «женских» пустячков, в редкие часы, когда Клер и Леклерк бывают дома, приходят пожилой Жак Ру и подвижный, говорливый юноша Жан Варле. Друзья Клер несхожи между собой. Самолюбивый Варле смешит Клер своей раздражительностью. Жак Ру внушает ей робость и почтение, он умеет долго молчать, исподлобья рассматривая собеседников, говорит кратко, жестко,— весь его облик напоминает пуританина, честолюбивого, фанатичного, упрямого, однако без умственной ограниченности; стройный Леклерк приобрел в скитаниях нарочитую грубость, наблюдательность и самоуверенность. Однородность политических взглядов скрепляет дружбу Клер с этими людьми.

Третьего апреля 1793 года на заседании Якобинского клуба Лакомб в своей речи требует ареста аристократов и их семей. Женский клуб, которым она руководит, ведет яростную кампанию в массах против жирондистов.

Во время антижирондистского восстания 1793 года «революционные республиканки» всю ночь проводят на лестницах Конвента. Они вооружены кинжалами и едва удерживаются, чтобы не избить ненавистных бриссотинцев — виновников голода и поражений на фронтах. В зале заседаний Конвента гул и крики, к которым напряженно прислушиваются «гренадеры» Лакомб.

— Наконец-то изменники ответят народу, гражданки, сегодня мы спасем революцию,— говорят они друг другу.

— Смотрите, вот пустомеля Верньо... Пропустите его, еще не пришло время распороть это сытое брюхо.

Верньо поспешно, мелкими шажками пробегает по лестнице. Женщины не сторонятся, осыпая его ругательствами.

Помимо участия в «походах революции», в женском клубе устраиваются диспуты, обсуждаются все мероприятия Конвента.

Как-то на заседании был поставлен вопрос о полезности и обязанностях женщины при республиканском строе. Председательствует «Роза». Докладчица-швея, горячась, доказывает, ссылаясь на исторические примеры, что «если женщины способны сражаться, то они не менее способны управлять государством». Но это было только желаемое: все попытки Клер Лакомб добиться участия женщин в совещаниях Революционного комитета встречают со стороны мужчин самый бесцеремонный отпор. Никаких подлинных прав, кроме права собираться в клубе, посещать и иногда выступать с петициями или приветствиями в Конвенте, кроме права сражаться на улицах и умирать за революцию, в это время у женщин нет. Естественно, что с трибуны женского клуба не раз раздавались чисто феминистские речи и обвинения мужчин в деспотизме. Женщины вспоминают отдаленные времена женского господства в семье, легенды о подвигах Жанны д'Арк, Далилы, Юдифи.

Одновременно с обострением внутрипартийной борьбы ухудшаются и взаимоотношения между «революционными республиканками»: не все из них сочувствуют крайним требованиям «бешеных», многие находятся под обаянием Робеспьера, слепо верят Марату, который незадолго до смерти в своей газете «Друг народа» нападал на «бешеных», своих недавних союзников против жирондистов. 4 июля, утром, Клер Лакомб, шагая из угла в угол своей комнаты, перечитывает статьи Марата, где он называет «бешеных» ложно экзальтированными патриотами.

В том же июле месяце одна из «революционных республиканок» выступила в клубе против друга Клер — Жака Ру, ведшего отчаянную агитацию против спекулянтов, обвиняя его в карьеризме и лживости.

Тринадцатого июля Шарлотта Корде убила Марата. Весть о смерти Друга народа с искренним отчаянием

встретили окраины, и «бешеные» сочли правильным, несмотря на предсмертный маневр Марата против них, откликнуться на горе народа и оплакать великого трибуна, объявив себя его преемниками,— разве не боролись они вместе с ним против попыток богачей создать новую аристократию богатства?

«Революционные республиканки» первые постановили воздвигнуть обелиск погибшему народному вождю. Коммуна колебалась, и 30 июля в церкви святого Евстахия, занятой в то время женским клубом, произошло по этому поводу бурное заседание. Против входной двери в готическом сумрачном зале на возвышении стоял простой узкий стол, за которым сидели председательствующая Клер Лакомб и секретари. Зал был переполнен, за решеткой в полчеловеческого роста толпились «гости». Было шумно и жарко; в кладбищенских аллеях, примыкавших к церкви, ожесточенно споря, жестикулируя, прогуливались санкюлотки. Клер Лакомб встала, театральным жестом поправила красный фригийский колпак и объявила собрание открытым. Зал затих, опоздавшие клубистки, стараясь не шуметь, занимали места и готовились слушать, заранее, впрочем, взбудораженные. Секретарша огласила «протест» против действий Коммуны, медлящей почтить память Друга народа: «Никто не может помешать нам поставить обелиск, мы не просим ничьего содействия. Марат поддерживал главным образом санкюлотов, санкюлоты хотят увековечить его память».

Одобрив обращение к Коммуне, «революционные республиканки» принялись тут же жертвовать на памятник те жалкие гроши, которые нашлись в обширных карманах их заношенных сборчатых юбок. В день освящения временного деревянного обелиска «революционные республиканки» внушительной процессией двинулись с кладбища святого Евстахия на площадь Карусель. Их обветренные лица отражали предельное удовлетворение,— гордо вытянутые руки поддерживали носилки, на которых находились стул, стол, перо, чернильница и бумага со следами крови Марата.

Однако положение клуба «революционных республиканок» было очень непрочным, якобинцы не без причин считали «Общество» Клер Лакомб одной из цитаделей «бешеных». Уже в августе 1793 года Максимилиан Робес-

пьер раздраженно заявил, что «этому обществу... пора прекратить свое существование... Оно начинает возбуждать смех, давать повод к злостным выходкам».

Зато Леклерк в газете, являвшейся продолжением «Друга народа» Марата, старался воодушевить «революционных республиканок». «Благородные женщины,— писал он,— ваше мужество и ваша энергия ставят вас превыше всякой похвалы. Так как низкие интересы не подавили в ваших сердцах естественных чувств, пробуждайте своими речами республиканскую энергию. Вам надлежит бить в набат свободы!»

Осенью 1793 года Теофиль Леклерк оставил Клер и женился на Полине Леон. Клер Лакомб мужественно перенесла этот удар. Под влиянием Леклерка она много читала, работала и умственно развивалась. Разрыв с ним не изменил направления ее деятельности.

В эту пору борьба против «бешеных» усиливается. Демулен травит их, хотя не называет еще имен; враждебность Робеспьера очевидна — он не раз резко критикует Ру с трибуны Якобинского клуба. В Конвенте, когда к решетке пытается протиснуться «бешеная» Лакомб, Максимилиан нетерпеливым знаком предлагает председателю не давать ей слова. Он тщетно пытается скрыть свое недовольство клубом «революционных республиканок» под гримасой язвительной насмешки.

Агитация «бешеных» за нормирование цен на необходимые беднякам продукты, за обложение налогами буржуазии и лавочников, предотвращающее накопление крупных капиталов и взвинчивание цен, встречает поддержку среди парижской бедноты. Но якобинцы считают «бешеных» опасными, слишком увлекающимися левыми требованиями, а женский революционный клуб к тому же способным скомпрометировать Гору в массах, на которые она опирается.

Клер Лакомб с трудом удается получить слово и зачитать петицию, обращенную к Конвенту, с требованием осуществления конституции и применения террористических мер против аристократов.

— «...Мы явились с тем, чтобы требовать исполнения конституционных законов,— читала Лакомб. — Докажите увольнением всех дворян, что среди вас нет их защитников. Делами докажите всей Франции, что не только для того с большими затратами со всех углов республики со-

брались сюда посланцы великого народа, чтобы просто разыграть патетическую сцену на Марсовом поле... Недостаточно говорить народу, что счастье его скоро наступит, необходимо, чтобы он мог почувствовать его результаты... Он с негодованием взирает на то, что люди, купающиеся в его золоте и разжиревшие от чистейшей его крови, проповедуют ему воздержание и терпение...

Мы уже не верим в добродетель этих людей, которым теперь приходится хвалить себя самих. Теперь нам мало одних слов... Не бойтесь дезорганизовать армию; чем способнее какой-нибудь злонамеренный генерал, тем настоятельнее его смещение... Вы декретировали заключение под стражу всех подозрительных, но разве этот закон не останется на бумаге, когда исполнение его поручается лицам, которые сами являются подозрительными?.. Вы должны учредить в достаточном числе чрезвычайные суды для того, чтобы патриоты, отправляющиеся на границу, могли сказать: «Мы спокойны за судьбу своих жен и детей; мы видели, как под мечом закона погибли все внутренние заговорщики».

Едва Лакомб дочитала последние строки петиции, в зале Конвента поднялся долго не смолкаемый сердитый гул. «Общество революционных республиканок» благодаря связи с «бешеными» было скомпрометировано в кругах «умеренных» якобинцев.

Вскоре после этого инцидента был арестован Жак Ру. Секция Гравильеров поспешила опротестовать арест своего вожака. Мелкие буржуа и сочувствующие «умеренным» спекулянты-богатеи, исподтишка оплакивающие жирондистов или короля, узнав, что «изверг» Ру в тюрьме, торжествовали и строчили доносы. Они приписывали своему беспощадному врагу разнообразные пороки: воровство, развращенность, контрреволюционные замыслы, взяточничество, растрату, даже обжорство. Клуб якобинцев большинством голосов выразил Ру порицание.

Желая помочь Ру, «Роза» в качестве председательницы клуба «революционных республиканок» предлагает Конвенту свои услуги для просмотра списков арестованных с тем, чтобы «освободить невинных и наказать виновных». Это требование, внушенное «бешеными», еще больше восстановило против нее Конвент.

В начале сентября Жак Ру был объявлен подозрительным, одновременно в «Обществе революционных респу-

бликанок» начался раскол. Клубистка Гобен, жена «умеренного» якобинца, женщина сварливая, злоязычная и истеричная, попробовала выступить с злостной критикой Леклерка. В ответ ретивые приверженки «бешеных» исключили «предательницу» из членов «Общества». Гражданка Гобен надела пышную трехцветную кокарду и поспешила в клуб якобинцев с жалобой.

Всякое обвинение «подозрительного» детища Клер Лакомб встречало у якобинцев сочувствие, и 16 сентября один из секретарей клуба в монастыре святого Якова критиковал «Общество революционных республиканок» как вступившее на ложный путь. Ораторы точно условились в этот день доказать, как обширны возможности клеветы и оговоров. Толстый Шабо, бывший монах, гримасничая и хихикая, выступил первым.

— Давно пора,— вскричал он,— сказать всю правду об этих мнимореволюционных женщинах. Я разоблачу их интриги и поражу вас.

Он неопределенно обвинял Лакомб в ее пристрастии к мужчинам-аристократам. Циничные намеки Шабо, несмотря на махровую пошлость, принимались слушателями с явным удовольствием.

— Госпожа Лакомб, ибо ее нельзя признать гражданкой,— продолжал далее Шабо,— и эти женщины позволяли себе нападать на Робеспьера и называть его господином Робеспьером. Я требую, чтобы вы приняли против них решительные меры, я требую, чтобы мы письменно обратились к ним с предложением очистить свое общество от всех имеющихся в его среде интриганок.

Шабо покинул трибуну под звучные аплодисменты. После него заговорил тщедушный, желчный Базир, закончивший свою бесцветную речь следующим предложением, касавшимся главным образом Клер Лакомб, Полины Леон и других «бешеных»:

— Я думаю, что «Общество революционных республиканок» само по себе чисто, но руководится интриганками. Я рекомендую обратиться к этим гражданкам с предложением произвести в своей среде основательную чистку и удалить всех тех женщин, которые оказали вредное влияние на деятельность общества.

Последующие ораторы точно так же главной мишенью своих несправедливых нападок избрали председательницу

«Общества революционных республиканок». Ее ругали за укрывательство преследуемого «мелкого воришки» Леклерка. Последним взошел на трибуну Ташро, как раз в момент появления «Розы».

— Лакомб суется повсюду. Сначала она требовала конституции, всей конституции (обращаю, кстати, ваше внимание на этот лицемерный выпад), затем она хотела подкопаться под конституцию народной воли, под революционные власти,— заявил он.

Выслушав Ташро, Клер потребовала себе слова. Зал ответил ей неописуемым шумом. Тогда несколько подруг Клер, так называемые «драгуны Лакомб», прорвались в зал и двинулись, потрясая кулаками, на растерявшихся якобинцев, встречавших их бессвязной бранью. С хоров и из-за решетки, отделявшей гостей, неслись крики женщин, враждебных «бешеным»: «Долой новую Корде, долой интриганок!» Тщетно председатель собрания Бурдон призывал собравшихся к порядку; потеряв терпение, он даже демонстративно надел шляпу, что значило «закрываю заседание».

Не скоро водворилось спокойствие. Получив возможность говорить, Бурдон сурово обратился к Лакомб, указав ей, что беспорядок вслед за появлением «революционных республиканок» подтверждает правильность выдвинутых ранее обвинений, так как «нарушение порядка в собрании, которому нужно спокойствие для обсуждения вопросов, затрагивающих интересы народа, составляет настоящее преступление против патриотизма».

Едва Клер покинула Якобинский клуб, раздались требования ее ареста, но предложение это не было принято. Собрание удовольствовалось следующей резолюцией:

«1) Обратиться к «революционным республиканкам» с письменным предложением очистить состав своего общества и удалить руководивших ими подозрительных женщин.

2) Обратиться к Комитету общественной безопасности с просьбой арестовать Леклерка, подозрительных женщин и следить за Лакомб, интригующей в пользу аристократии».

На следующий день в квартире Лакомб произвели обыск, и по городу пошли пересуды и измышления об ее аресте. Падкая на сенсационные слушки «Французская газета» поспешила оповестить читателей, что «женщина

или девица Лакомб наконец посажена в тюрьму и лишена возможности вредить. Теперь эта революционная вакханка пьет одну только воду. Известно, что она очень любила вино и что она не менее любила хороший стол и мужчин, как об этом свидетельствует дружба между нею, Жаком Ру, Леклерком и К°».

Прочитав эту ловкую клевету, «Роза» вне себя от злости написала следующее опровержение:

«Я докажу вам, что мои руки так же свободны, как и мое тело, так как они с удовольствием изобьют вас палкой, если вы не возьмете обратно своей лжи».

Гнусные измышления о «революционных республиканках» — испытанное орудие политической борьбы — продолжали занимать Париж. Подобно тому как некогда аристократы и жирондисты клеветали на женщин-революционерок, так теперь якобинцы оговаривали и высмеивали «бешеных» и их клуб на кладбище святого Евстахия. По примеру прошлого бралась под подозрение в первую очередь нравственность клубисток.

Желая обезвредить зловонную клевету, полившуюся со всех сторон, поредевшая армия «революционных республиканок» 18 сентября направила в Конвент требование ареста всех «распутных женщин, или аристократок, чтобы вернуть их к добронравию с помощью полезных принудительных работ (в домах заключения) и патриотического чтения».

Руководитель «бешеных» Ру, естественно, остается неизменным другом своих единомышленниц. Из тюрьмы он пишет «революционным республиканкам», величая их общество «оплотом Свободы, стражем Революции и грозой новоявленных тиранов». Жак Ру напоминает об их неоценимых услугах в дни похода на Версаль, когда «они повергли наземь приверженцев Капета и, презрев все опасности, сбросили его с престола». Но похвалы Ру, популярность «революционных республиканок» в недовольных секциях Коммуны и среди рабочего люда — им приговор. Не желая озлоблять предместья накануне процессов бриссотинцев и королевы, Робеспьер откладывает репрессии против клуба и оставшихся на свободе «бешеных», но исподволь готовит их гибель.

Это была гнетущая, тяжелая пора для Клер. Эшафот грозил Ру, Леклерку, Варле, отдельные члены «Общества

революционных республиканок» изменяют, покидают клуб, распространяя всевозможные небылицы о происходящем в церкви святого Евстахия. Несдержанная, вспыльчивая «Роза» утешается нападками на Робеспьера, которого считает виновником полурасправы с Ру. «Не понимаю,— сердито говорила она, когда речь заходила о Неподкупном,— за что превозносите вы его, теряя рассудок от восхищения, право же, он заурядная личность». Впоследствии это мнение о Максимилиане будет в числе обвинений против «бешеной» Лакомб.

В начале октября «Общество участников 10 августа», щеголявшее своим антифеминизмом, выступило в Конвенте против «антигражданских стремлений якобы революционных женщин». Их обвинения опять-таки были направлены главным образом против гражданки Лакомб и заканчивались требованием роспуска клуба «революционных республиканок».

Доносчикам, по поручению клуба, отвечала ставшая фактически обвиняемой председательница Лакомб. «Вчера,— говорила она,— была сделана попытка ввести вас в заблуждение... Нашлись интриганы, которые посмели уподобить нас разным Медичи, Антуанеттам и какой-нибудь Шарлотте Корде. Правда, природа произвела чудовище, отнявшее у нас Друга народа, но разве Корде принадлежала к нашему обществу?.. Наш пол дал одно лишь чудовище, тогда как в течение последних четырех лет нас предают и убивают бесчисленные чудовища, порожденные мужским полом. Наши права — это права народа, и если нас станут угнетать, мы сумеем оказать сопротивление угнетению».

Спустя несколько дней якобинцы аплодируют Клер Лакомб, гордо отвечающей на выкрики угрожавших ей гильотиной: «Я всегда исповедовала принципы Марата. Если ты хочешь обессмертить меня, подобно ему, рази, тебе представляется прекрасный случай. Я предпочитаю погибнуть от руки патриота, чем входить в сделки с разбойниками и изменниками». Но в самом конце октября враги женских революционных организаций приобретают значительное большинство не только в клубе якобинцев, Конвенте, но и в секциях Коммуны. «Общество революционных республиканок» агонизирует. Незначительное происшествие дало возможность дантонисту Фабру д'Эглантину, политическому прохвосту, полужулику, полу-

поэту, добиться репрессий против клуба «революционных республиканок».

Торговки с рынка «Невинных младенцев» не скрывали своего недовольства революцией. Невежественные, часто пьяные, они ненавидели левых и в особенности ретивых поборниц свободы «революционных республиканок».

Базарные торговки охотно, вздыхая, поплевывая, ища утешения в брани, вспоминали о былых временах, когда слуги аристократов — утонченных гастрономов — увозили с рынка груды упругих и матовых артишоков, холеной бледной спаржи, демократической моркови, гороха и картошки. В те времена вокруг торговок толпились покупатели, и фруктовщицы уносили пустыми корзины из-под разносортных яблок, сочных груш, колониальных бананов, ананасов и парижского винограда.

— Если наши мужья учредили республику,— угрожали рассвирепевшие от горечи воспоминаний торговки,— то мы-то уж наверняка сумеем своротить голову этой республике.

В дни казни короля и королевы рынок «Невинных младенцев» рыдал — на лягушечьи трупики, зеленые, как салат, на черных умирающих мулей и крабов, разложенных на прилавках, в кувшины с молоком, разбавленным водою, капали мутные слезы.

Гражданки «Секции общественного договора», торгующие на рынке, были обязательными посетительницами отдаленной пустынной площади Грев и просторной, поросшей травой площади Революции в дни работ «революционной бритвы». Многопудовые, заплывшие жиром или жердеобразные, крючконосые, часто бородатые и выносливые, как змеи, шли они за повозкой палача Сансона, обмениваясь циничными замечаниями по адресу смертников, если это были ранее прославленные революционеры. «Пусть эти чертовы патриоты сожрут поскорее друг друга»,— хохотали рыночные ведьмы. Эти фурии были в числе тех, кто плевал в лицо раненому Робеспьеру утром 10 термидора, в трагический день поражения его партии.

Вражда «революционных республиканок» и торговок была застарелой. 28 октября наиболее неугомонные клубистки собрались в поход: вооружившись пистолетами для острастки, надев колоколообразные панталоны и красные фригийские колпаки, они отправились «осан-

кюлотить», то есть прицепить традиционную кокарду гражданкам с рынка «Невинных младенцев». Постановление о ношении кокарды под страхом недельного тюремного заключения было принято, по предложению революционерок, за месяц до того Конвентом.

О предполагаемом «наступлении санкюлоток» рынок знал заранее и с восхода солнца готовился достойно встретить давнишних врагов. Гнилая картошка, твердая, как булыжник, репа, тухлые яйца, червивые сливы и красные, как свекла, женские кулаки были наготове. «Пусть-ка покажутся эти безмозглые обезьяны, бродячие сволочи!» — раздавалось со всех сторон. Наконец вдали показался долгожданный «отряд». Торговки сделали вылазку и ринулись в «атаку», помешав «революционным республиканкам» произнести хотя бы одно слово. В оторопелых «агитаторш» полетели пестрые «снаряды», а вслед за испорченными овощами пошли в ход камни, щепки и свирепые кулачищи. С тыла на пятившихся революционерок напала беспорядочная толпа лавочниц и усердной восхищенной детворы, подражающей матерям. Отступление стало невозможным. На крики, ругань, женский вой из близлежащих переулков прибежали мужчины, давно поджидавшие случая рассчитаться с «революционными бабами». К несчастью, защитников клубисток оказалось немного. В одно мгновение все перемешалось на просторном рынке. Ослабевшие революционерки, рьяно защищавшиеся после минутного остолбенения, потеряли не только свои кокарды и колпаки, но даже пышные, столь раздражавшие якобинцев панталоны. Полураздетых красноколпачниц безжалостно отстегали, а их предводительницу «высекли и вымазали грязью под бурное одобрение многолюдной толпы».

Эта неудача оказалась лишь звеном в длинной цепи последующих неприятностей.

В полдень того же дня Клер Лакомб с беспокойством подмечала небывалый наплыв «посторонних» в церкви святого Евстахия, откуда клубистки собирались отправиться на открытие памятника Марату. Однако ни Лакомб, ни ее разведка среди гуляющих в аллеях и сидящих на хорах женщин не обнаружили ничего подозрительного. Настроение казалось благодушным и спокойным, об утреннем происшествии помалкивали, и только исцарапанные физиономии и подвязанные руки отдель-

ных гражданок свидетельствовали о драке. Внезапно кто-то пустил провокационный слушок о том, что в сточных канавах Монмартра нашли припрятанную там муку. «Все это проклятые скупщики, долго ли еще Конвент будет церемониться с изменниками!» — закричала одна из женщин, худая и изможденная. «Не задевай Конвент, дуреха»,— шепнула ей соседка. Но, истомленные недоеданием, очередями, лишениями, женщины взбудоражились. «Господин Робеспьер позволяет лавочникам пить нашу кровь»,— визжал из угла чей-то слабый голос. «Долой якобинок!», «Бей красноколпачниц!» — отвечали с хоров. Скандал разразился. В зале началась жестокая драка. Дерущихся женщин бросились разнимать остальные, но передрались при этом сами. Брань перемешалась со стонами, заглушалась стуком падающих скамей, отчаянным визгом, звоном разбитого стекла.

— Да замолчите же наконец, отпустите друг друга, гражданки,— прозвучал могучий бас. Странное обстоятельство — мужской голос заставил очнуться сцепившихся женщин, усердно колотивших друг друга. Мировой судья Ленде и шесть подоспевших граждан внесли некоторое успокоение. Поглядывая все еще со злобой, враги стали приводить в порядок распустившиеся волосы, порванные платья и платки.

Но перемирие было кратковременным. Специально прибывшие с рынка «Невинных младенцев» и подосланные «умеренными» якобинскими секциями скандалистки, обнаружив в аллеях вокруг клуба значительное подкрепление, принялись снова дебоширить. «Долой красные колпаки!» — раздалось с разных сторон. Судья Ленде, враждебный «революционным республиканкам», потребовал, чтобы вице-председательница сняла колпак. Виктория Капитен, надеясь умерить пыл вражды, сняла свой традиционный головной убор. Послышались истерические вопли, мольбы не сдаваться и аплодисменты победителей. Но и этого оказалось мало. Потасовка возобновилась. Судья Ленде и шесть приведенных им граждан оказались на этот раз беспомощными зрителями. Видя себя окруженной со всех сторон, знаменосица клуба отдала охраняемое ею знамя одному из мужчин, отрывисто предупреждая: «Оберегай знамя... иначе поплатишься за него головой»,— и бросилась в бой, вооружившись скамейкой. Только вызванные канониры секции с трудом разняли

женщин и водворили порядок. В итоге на «поле битвы» осталось немало пораненных и избитых клубисток. Протокол, описавший этот плачевный случай, подписанный близким другом Клер Лакомб Викторией Капитен, одной из наиболее одаренных и красноречивых руководительниц «Общества», сообщает между прочим: «Предпочитая пасть жертвою заблудшего народа, заботясь уже не о своей личности, а об охране изображенного на знамени образа Свободы, одна из гражданок, член клуба, воскликнула: «Убейте нас, если хотите, но относитесь, по крайней мере, с уважением к эмблеме французского единства».

После подстроенного врагами скандала дни «Общества» были сочтены. Коммуна вместо выговора властям за бездеятельность при нападении на клуб выразила им благодарность за принятие мер к «недопущению собраний клуба». Не довольствуясь разгромом собрания клуба в церкви святого Евстахия, женщины — противницы «революционных республиканок» — понесли в Конвент жалобу. Фабр д'Эглантин и другие депутаты решили воспользоваться этим доносом, чтобы закрыть раздражавший их «вредный» клуб. Вертлявый дантонист обрушился на «крайне левых» женщин со всем талантом инсинуатора и пройдохи. «Вскоре,— говорил он о «революционных республиканках», поглаживая при этом пудреный парик,— они начнут требовать пистолеты, и в недалеком будущем вы увидите вереницы женщин, идущих за хлебом, как на штурм траншей». Этот довод произвел убедительное действие на депутатов, боящихся всяких народных бунтов. «Я заметил,— продолжал Фабр д'Эглантин,— что эти общества состоят не из замужних женщин, девушек из порядочных семей... а из разных авантюристок, эмансипированных девиц, кавалеристов в юбках». Речь д'Эглантина прервали аплодисменты. Слово взяла одна из жалобщиц. «Граждане,— кричала она,— мы требуем закрытия всех женских обществ, организованных в форме клубов, потому что именно женщина, Шарлотта Корде, принесла несчастье Франции». Конвент постановил передать вопрос об «Обществе революционных республиканок» в Комитет общественной безопасности, и 9 брюмера гражданин Амар в напыщенной речи докладывал результаты расследования. Он говорил между прочим: «Дозволяет ли женщине скромность выступать публично и бороться с мужчинами? По общему правилу жен-

щины не способны к возвышенным взглядам и к серьезным размышлениям. Итак, мы полагаем, что женщина не должна вмешиваться в государственные дела. Необходимо уничтожить эти мнимореволюционные народные женские общества». Амар кончил, его сменил Шарлье, который, невзирая на ропот собрания, попытался защищать право женщин на клубы. «Если вы не оспариваете принадлежности женщин к человеческому роду,— сказал Шарлье,— то не можете отнять у них право, присущее всем мыслящим существам». Он предлагал очистить клубы от «подозрительных», но не закрывать их окончательно. Конвент, заслушав доклад Комитета общественного спасения, утвердил следующий исторический декрет: «Статья 1. Женские клубы и народные общества, под какими бы наименованиями они ни существовали, запрещаются... Статья 5. Все заседания народных обществ должны быть публичны».

Закрытие клуба «революционных республиканок» совпало с общими гонениями против всех «закрытых подозрительных сборищ». Конвент старался предотвратить любую попытку объединений недовольных, которыми кишел в эту осень Париж.

Клуб Лакомб решил отстаивать право женских объединений — одно из существеннейших завоеваний женщин после революции. 5 ноября 1793 года одна из «революционных республиканок» пробралась к решетке Конвента. Прерываемая гиканьем, улюлюканьем, свистками и хохотом, она успела выговорить лишь несколько слов в защиту своего клуба: «Общество революционных республиканок»... это общество, состоящее в большинстве из замужних женщин, более не существует. Закон, вырванный обманом в результате лживого доклада, запрещает нам называть себя рев...» Едва она начала последнюю фразу, большинство депутатов повскакали с мест, оглушительно крича на петиционерку. Председатель тотчас же приказал приставам вывести женскую депутацию.

Неделю спустя, в конце брюмера, отвергнутые Конвентом революционерки во главе с Клер силой ворвались на заседание парижской Коммуны, стремясь обжаловать декрет о закрытии клубов. Встреча, оказанная им, была не менее бурно враждебной, нежели в Конвенте. Члены Коммуны, за малым исключением, вопили, заглушая сторонников женского движения: «Долой красноколпачниц!»

Влиятельный член Коммуны, прокурор Шометт, союзник Эбера, впоследствии продолживший агитацию «бешеных», был непримиримым противником «легкости нравов», которую порождали, по его мнению, излишние женские права. Редактор язвительного и дерзкого «Отца Дюшена» Эбер — щеголь, тонкий гастроном и весельчак — был почти равнодушен к «женскому вопросу», в то время как низкорослый прокурор Коммуны, одевающийся кое-как, живущий впроголодь, проповедовавший строгость и воздержанность в быту, требовал от женщин только служения семье и интересам домохозяйства. Шометт любил повторять патетически: «Природа сказала женщине: будь женщиной. Нежный уход за детьми, хозяйственные мелочи, сладкие тревоги материнства — вот твои труды, в награду ты будешь божеством домашнего святилища». Он искренне возмущался «бесстыжими бабами, напяливающими мужской плащ, меняющими данные природой прелести на пику и красный колпак». К тому же упорный атеист, Шометт презирал женщин за их невежественную тягу к клерикализму.

В парижской Коммуне Лакомб встретили грубыми насмешками и издевательствами. Якобинская партийная пресса точно так же одобрила декрет Конвента. В «Монитёре» в дни разгрома левых и женских клубов печатались поучающие и вместе с тем угрожающие статьи.

«За короткое время Революционный трибунал дал женщинам хороший пример, который, несомненно, не пройдет для них бесследно... Мария-Антуанетта... Олимпия де Гуж, одаренная экзальтированным воображением, приняла свой бред за внушение природы и кончила тем, что усвоила планы изменников... Госпожа Ролан, богатый ум, с большими планами, философ, разменивавшийся на мелочи... она была матерью, но она обрекла природу на заклание, пожелав возвыситься над нею; желание быть ученой женщиной довело ее до забвения своего пола, и это забвение, всегда чреватое опасностями, в конце концов привело ее к смерти на эшафоте.

Женщины! Вы желаете быть республиканками? Любите, исполняйте и проповедуйте законы, которые призывают ваших мужей и ваших детей к пользованию своими правами. Не ходите никогда на народные собрания с желанием говорить на них, но пусть иногда ваше присутствие придает духу вашим детям; тогда отечество бла-

гословит вас за то, что вы действительно сделали для него все, чего оно вправе от вас ждать».

Смерть зарезавшего себя в 1794 году Жака Ру, преследование друзей, постоянная слежка окончательно оттолкнули Клер от революции. Она начинала верить в то, что подлинная революция уже погибла одновременно с разгромом «бешеных». Робеспьер, Кутон, Сен-Жюст после смерти Ру представлялись подруге Леклерка только тиранами, палачами «друзей народа». Происходящее ужасало «Розу», но все же не трусость перед эшафотом заставила «революционную республиканку» отступить и покинуть навсегда свой революционный пост, а полное разочарование.

С начала 1794 года бывшая председательница клуба на кладбище святого Евстахия пытается возвратиться к давно покинутой профессии. Провинциальный театр, кочевая жизнь, карнавальная мишура сцены, блаженные перевоплощения в античных героинь вновь влекут к себе охладевшую революционерку. В марте 1794 года она получает ангажемент в отдаленный городок Дюнкирхен. Наконец-то, радуется Клер, жуткий Париж останется навсегда позади, два буйных прошедших года попадут в архив воспоминаний, а будущее, как знать, может быть, даст успех, славу — таковы постоянные надежды даже самых обойденных дарованием детей театра. Виктория Капитен, свидетель триумфов Клер, спешит снарядить подругу в путь. В одной из комнат дряхлого дома на Пти-Шан-Нёв обе женщины заняты укладкой скромных вещей «Красной Розы». Кретоновое пестрое тряпье — костюм страстной легендарной Ифигении — Виктория укладывает на дно корзины, накрыв его трехцветным шарфом, поднесенным «героине 10 августа» французским народом. Реликвия эта возвращает мысли подруг к счастливым дням их жизни. Они плачут, вспоминая Ру и его предсказания. Укрепившиеся буржуа, сообразно укладу мещанской жизни, отводят женщине только место домашней хозяйки. Женщины вытесняются из политической жизни. Победа принципов «бешеных» могла бы обеспечить женщине другие перспективы, но разбитая волна движения «бешеных» рассыпалась мелкой водяной пылью,

Неожиданный арест 2 апреля, накануне отъезда в Дюнкирхен, и долгое заточение расстроили планы Лакомб. Напрасно Виктория Капитен хлопотала об освобождении

подруги, не помогал даже отзыв «Секции Хлебного рынка» (знавшей и некогда любившей «Розу»), в котором говорилось, что «гражданка Лакомб выказала много патриотизма и не имела других доходов, кроме присвоенных по положению». Шестнадцать месяцев кочевала Клер из одной тюрьмы в другую. Она побывала в плохо оборудованном Порт-Либре, в Плесси, в Сен-Пелажи. В тюрьме Клер Лакомб узнала о торжестве термидорианцев. Она видит, как выпускают из тюрем уцелевших аристократов, жирондистов, дантонистов, которые обнимаются друг с другом на радостях, что «тиран пал». Но на прошения Лакомб нет ответа. Термидорианский Конвент помнит «Красную Розу» в дни ее политического цветения и боится неустрашимости и влияния на массы «амазонки Конвента».

Двадцать четвертого термидора Клер, подписываясь «Лакомб, свободная гражданка», опять обращается с ходатайством: «Я всегда вела себя как безупречная женщина, достойная той свободы, которую я всегда защищала. Я отдала три года моей жизни своему отечеству. Так как я не могу отдать ему ни мужа, ни ребенка, которых у меня нет, я почту за счастье служить отечеству лично».

Время шло. После термидорианского переворота опустевшие тюрьмы продолжают спешно заполняться робеспьеристами, членами парижской Коммуны, секционерами. Лакомб слышит громыхание повозки у ворот тюрьмы, ежедневно увозящей на казнь все новые и новые партии революционеров. В тюрьме Люксембург Клер Лакомб находилась вместе с сестрами Дюпле — Эмилией, «невестой Робеспьера», и Елизаветой, женой Филиппа Леба; здесь был также и Леклерк, арестованный одновременно с Леон. В четырех стенах тюрьмы Люксембург существовал свой мирок — арестованным разрешалось торговать и заниматься ремеслом. В качестве наиболее опытной «старшей» тюремной жительницы, имевшей необходимые связи с тюремным персоналом, Лакомб занялась обслуживанием менее приспособленных к тюремной жизни заключенных. Она поставляла им свечи, галантерею, письменные принадлежности. Сделалась ли она заправской лавочницей, выйдя из тюрьмы? Вернулась ли на сцену? Никаких сведений о ней с момента ее освобождения нет. Выйдя в последний раз, осенью 1795 года, за ворота тюрьмы, она смешалась с уличной толпой и канула в неизвестность.

## ЛЮСИЛЬ ДЕМУЛЕН

В одном из невысоких светлых залов музея Великой французской революции в Париже висит портрет молодой дамы, нарядно одетой по моде конца XVIII столетия. Масляные краски заметно потускнели на кукольном мечтательном лице. Это Люсиль Демулен, жена славолюбивого трибуна Первой республики, «нежная Люсиль», многократно воспетая поэтами и прославленная историками, несмотря на то что у нее не было никаких заслуг перед революцией, в кипучую и смутную эпоху которой она жила, никаких талантов, кроме умения быть «необыкновенной супругой».

Вот незатейливый узор ее жизни и характера.

В царствование Людовика XVI Люксембургский сад, расположенный в центре старого Парижа, был не менее посещаем, нежели теперь. На просторной, тщательно вычищенной площадке, где в большом бассейне плавали бумажные лодочки, погибавшие от порывов ветра, неизменно толпилась детвора, бросающая мячи вслед пестрым шуршащим змеям. Расфранченные кормилицы, служанки, чопорные воспитатели и кокетливые матери стерегли, окликали и подолгу поучали девочек, затянутых в корсеты, изнемогающих под тяжестью длинных, широких платьев, и мальчиков с туго завитыми кудрями, в широких шляпах, в атласных костюмчиках, отделанных кружевами.

В густых аллеях, где сквозь листву надменно смотрели каменные королевы Франции, статуи которых разбросаны были по саду, нередко мелькали пестрые тафтовые кафтаны элегантных кавалеров и шуршали затканные

цветами юбки богатых женщин, прячущих лица за веерами.

Люсиль Дюплесси, дочь богатого чиновника королевского министерства финансов, в течение многих лет была постоянной посетительницей Люксембургского сада, расположенного близ дома ее отца. Она приходила туда в сопровождении матери, удачно молодящейся красавицы, падкой до любовных утех. Мать и дочь были очень дружны и откровенны друг с другом, тем более что госпожа Доронна Дюплесси нуждалась в наперснице в дни сердечных треволнений. Люсиль, посвященная во все «тайны» матери, с детства видевшая раздоры родителей, рано потеряла интерес к несложным любовным приключениям и желала для себя большой, всепоглощающей любви к верному, доброму мужу. Имея сто тысяч франков приданого, барышня Дюплесси относилась недоверчиво к многочисленным, казавшимся ей расчетливыми поклонникам и мечтала о появлении бескорыстного «принца», которому отдаст «руку, сердце и деньги».

В небольшом имении родителей в лунные ночи Люсиль не спала до рассвета. Лунные ночи уподобляли неровный сад со множеством бугорков и клумб кладбищу, белые статуи фавнов и нимф — могильным памятникам и надгробьям. Но Люсиль не замечала этого и не думала о смерти, она плакала от нестерпимой жажды любви. Она была самой обыкновенной девицей, склонной к сентиментальности, выросшей в условиях довольства, роскоши и безделья.

Книги мало интересовали барышню Дюплесси. В дневнике она записывала по вечерам свои горести и печали, наибольшей из них была скорбь по мертвой птичке, найденной на террасе дома, или жалость к растоптанному цветку. Мать посвящала ее в свои сомнительные романтические приключения, и признания эти будоражили воображение шестнадцатилетней девушки.

В Люксембургском саду еще подростком Люсиль встречала бедно одетого студента, который долгое время смешил ее своим уродством и странным поведением. У него была рябая кожа, огромный вспухший рот и нос кривой, словно у верблюда. Люсиль часто видела, как неуклюжий незнакомец, думая, что находится в одиночестве, начинал говорить сам с собой, смеяться, встряхивать кудрями, ходить важно и прямо, но, едва замечал

чье-нибудь присутствие, тотчас же сгибался, замолкал и становился робким, словно обиженным. Видимо, он стеснялся своей некрасивости и потрепанного костюма.

Барышня Дюплесси всегда, сама не зная отчего, жалела молодого человека, и когда однажды, волнуясь, он подошел к ней в Люксембургском саду, отнеслась к нему доверчиво и внимательно. Очень скоро после знакомства студент, назвавшийся Камиллом Демуленом, родом из сонного городишка Гиза, признался девушке в любви, и любовь эта не была отвергнута. Люсиль ввела Камилла в родительский дом. Снисходительная к молодым людям госпожа Дюплесси-мать, теперь поверенная сердечных дел дочери, встретила гостя с большой добротой, но чиновник министерства финансов презрительно отвернулся, лишь только Камилл Демулен, заикаясь, начал рассказывать кое-что из своей биографии.

Сто тысяч приданого Люсиль легли непреодолимым препятствием между ней и Камиллом. Когда Демулен попытался попросить у господина Дюплесси руку его дочери, то получил столь краткий и решительный отказ, что не смог уже больше бывать в доме Люсиль; снова Люксембургский сад стал убежищем любви молодых людей. Чего только не говорил неутомимый в разговорах молодой адвокат горюющей невесте. Он предлагал ей обвенчаться тайно, умалчивая о том, что не имел постоянной квартиры и обеда даже для самого себя. Упрямый отец не слал ему денег, требуя, чтобы сын приехал заниматься адвокатурой в Гизе, как это сделал его школьный товарищ молодой адвокат Максимилиан Робеспьер, недурно устроившийся в родном городе Аррасе. Но Камилл предпочитал существовать впроголодь, оставаясь в Париже, где, он не сомневался в этом, его ожидало блестящее будущее. Уверенность Демулена в грядущих удачах подбодряла Люсиль, она твердо верила, что «гений» не может остаться незамеченным и нищим. 1789 год оказался волшебной палочкой, принесшей влюбленным желанный брак.

Люсиль, мало читавшая и образованная лишь настолько, насколько это было необходимо для девушки «с приданым», обрадовалась революции, как доброй свахе, которая облегчила устройство семейного гнезда. Камиллу революция дала славу, которую он ценил превыше всего.

Двенадцатого июля 1789 года, едва Неккер, считавшийся ставленником народа на министерский пост, получил отставку, Камилл Демулен протиснулся на страницы истории. Было около четырех часов дня. Нарастающий гул приближающегося восстания уже сотрясал Париж. Осушив для храбрости кружку вина, Камилл вышел из «Café de foi» и смешался с возбужденной толпой, переполнявшей Пале-Рояль. Потрясая пистолетом, он влез на стол, невзирая на вынырнувших со всех сторон полицейских. Несколько тысяч человек повернули с любопытством голову, выискивая глазами человека, который, заикаясь, громко кричал, требуя к себе внимания: «Граждане, нельзя терять ни одной минуты. Я сейчас из Версаля — Неккер получил отставку. Эта отставка предвещает новую Варфоломеевскую ночь для патриотов. Сегодня вечером выступят швейцарские и немецкие батальоны, чтобы уничтожить нас. Нам остается одно только спасение: взяться за оружие, установив условный знак, чтобы узнавать друг друга. Пусть всякий, подобно мне, прикрепит к своей шляпе лист с этих деревьев. Наступил час, страшный час столкновения между угнетателями и угнетаемыми, и у нас один лишь пароль: «Безвременная смерть или вечная свобода». Да раздастся клич: «К оружию!»

Страстность неизвестного оратора заразила толпу. Грозный клич: «К оружию!» — пополз, вспыхивая, как огонь по сухой траве. Двумя днями позже была взята Бастилия, и Камилла опять видели впереди восставших. Заикающийся трибун легко приобрел известность.

В коллеже святого Людовика, где он много лет жил в интернате вместе с Робеспьером, оба мальчика получили основательное классическое воспитание. Брут, Спартак, братья Гракхи, пафос древних ораторов не раз вызывали слезы восторга или вопли бешенства по адресу тиранов у впечатлительного школяра, и теперь революция сулила осуществление мечтаний Камилла и программы третьего сословия.

Бросив неудачные попытки стать знаменитым адвокатом, Камилл становится рьяным участником революционных схваток. Злопамятный, вспыльчивый, неглубокий, но остроумный, он легко обрел то поприще, которое может обеспечить ему видное положение и влиятельную роль. Камилл берется за перо, строчит и распространяет острые

и пронизывающие, как штык, памфлеты против контрреволюции, против иностранного монархического блока, против аристократов и вскоре против короля. Он основывает газету «Революция Франции и Брабанта», в которой, изощряясь в злых, но всегда поверхностных шутках, красноречиво отстаивает демократические идеи. Его ближайшие друзья этого времени: Робеспьер, Бриссо, Фрерон, Петион — все члены клуба якобинцев. Удача во всем следует за Камиллом, он добивается того, что теперь уже господин Дюплесси почитает честью для себя брак дочери с подающим столь большие надежды недавним оборванцем Демуленом.

Одиннадцатого декабря Камилл, получив согласие родителей Люсиль на брак с нею, раздираемый противоречивыми чувствами: любовью, бескорыстием, удовлетворением по поводу свалившегося богатства, пишет отцу: «Сегодня, 11 декабря, я наконец вижу себя на вершине своих желаний. Счастье долго заставило себя ждать, но наконец оно пришло, и я так счастлив, как только можно быть счастливым на земле. Наконец-то родители отдают мне прелестную Люсиль, о которой я так часто вам говорил, которую я люблю уже восемь лет, и она согласна. Только что ее мать принесла мне эту весть со слезами радости на глазах. Неравенство имущества — господин Дюплесси обладает 20 000 ливров — являлось до сих пор преградой моему счастью, отец был ослеплен предложениями, которые ему делали, он отказал претенденту со 100 000 франков, Люсиль отказала другому, с рентой в 25 000 ливров. Вы сейчас узнаете ее по одной только этой черте: как только мать, поручая мне свою дочь, провела меня к ней в комнату, я бросился к ногам Люсиль и, к великому удивлению, слышу ее смех; я поднимаю глаза и вижу, что с ее глазами дело обстояло не лучше, чем с моими, она совсем растворилась в слезах, слезы лились ручьями, но она вместе с тем и смеялась. Никогда еще не видел я такого очаровательного зрелища, я и в мыслях не мог допустить, что природа и чувство — два столь разительных контраста — могут в такой степени сочетаться. Отец ее сказал мне, что не намерен более откладывать наше бракосочетание, он хочет только передать мне раньше те 100 000 франков, которые он обещал в приданое своей дочери, и для этого он отправится со мною к нотариусу, как только я пожелаю. Я ответил

ему: «Вы капиталист. Вы всю свою жизнь копались в деньгах, я не могу и думать о брачном контракте, а такая сумма смутила бы меня. Вы слишком любите свою дочь, и мне незачем быть представленным при составлении контракта. Вы от меня ничего не требуете, поступайте, следовательно, с контрактом как вам угодно». Он, кроме того, дает мне половину своего столового серебра, которое стоит около 10 000 франков. Прошу вас, не предавайтесь слишком большой радости. Будем скромны и в довольстве... Мы можем пожениться в течение недели. Моя милая Люсиль и я не желаем, чтобы нас еще дольше разлучали. Не навлекайте этой вестью на нас ненависти тех, которые завидуют нам, и заключите вашу радость в сердце, как это делаю я, или дайте ей еще проникнуть в сердце моей милой матушки, моих сестер и братьев. Я теперь имею возможность помочь вам, и это составляет значительную долю радости. Моя возлюбленная — моя жена — ваша дочь — и вся ее семья обнимают вас...»

Двадцать девятого декабря 1789 года в церкви Сен-Сюльпис, величественной, суровой и печальной, как феодальный замок, по католическому обряду Демулен обвенчался с Люсиль, которая плакала от радости, принимая поздравления Бриссо, Робеспьера и Петиона, свидетелей бракосочетания. Пышностью брачной церемонии Камилл снова спешит похвастать перед родными в Гизе, всегда к нему столь несправедливыми и никогда не ценившими его должным образом. Старик Демулен дрожащими руками будет протягивать письмо сына друзьям и соседям, удивляясь втихомолку не тому, что «свидетелями были Петион и депутат Национального собрания Робеспьер, Бриссо де Варвиль и Мерсье — краса журналистов», а тому, что его непутевый сын, так выгодно женившись, породнился с почтенным буржуа, господином Дюплесси.

Можно ли описать счастье, переживаемое Люсиль; отныне навсегда исчезнут в ней склонность к меланхолии, слезливость и унылые речи, она становится неутомимой спутницей мужа, вникающей во все его дела, одинаково увлекающейся штопкой его чулок и перепиской его статей, которые волнуют ее своей страстностью. Квартирка Демуленов, удобно и хорошо обставленная тещей и тестем Дюплесси, согрета неутомимыми заботами молодой хозяйки. Усталые патриоты знали, что

ужин у гражданки Демулен всегда подадут отличный, вино будет старое и первосортное, разлитое по хрустальным графинам с переплетенными инициалами «К» и «Л». Женившись, Камилл получил все, о чем смел раньше только мечтать: жену, стремящуюся предвосхищать его желания, собственную квартиру в несколько комнат и деньги, обеспечивающие на много лет вперед отличное существование. Он чувствовал себя всеобщим баловнем и кумиром.

В имении Дюплесси, переименованном после революции в «Замок равенства» вместо «Замка королевы», прохаживаясь по дорожкам в саду, Демулен, жестикулируя, любил поораторствовать, репетируя предстоящие в клубе якобинцев речи. Господин Дюплесси слушал его подчас восхищенно, но чаще сердито ворча в ответ на слова зятя, казавшиеся ему то пустой болтовней, то возмутительной проповедью кровожадности. Господин Дюплесси боялся революции, но еще больше падения курса ценных бумаг, в которых заключалось его состояние. Одна Люсиль не уставала восхвалять все, что делал или говорил муж, и когда у нее не было убедительных доводов, она обиженно и упрямо повторяла: «Ну что ж, когда я и нахожу недостатки в Камилле, я их люблю».

К политической деятельности мужа Люсиль относилась, как относилась бы ко всякой другой его профессии. Будь Демулен врачом, Люсиль почитала бы медицину и лечила бы вместе с ним больных. Когда Камилл в 1792 году попробовал было заняться адвокатурой, Люсиль добросовестно вызубрила таблицы законов и утверждала, что юридические науки наиболее нужные и полезные для блага человечества. Если бы Камилл был монархистом, его жена ненавидела бы революцию, но Камилл был революционером, и этого было достаточно, чтобы определилось мировоззрение Люсиль. Главное и единственно необходимое для ее спокойствия было не расставаться с мужем, и она достигла того, что каждый день теснее соединял их. По вечерам, когда Камилл писал свои памфлеты и статьи для газеты, Люсиль обязательно сидела поблизости, занимаясь рукоделием или попросту раскачиваясь на качалке, покрытой веселыми подушечками. Едва Камиллу приходила в голову счастливая мысль, цветистое сравнение или цитата из древних, он патетически прочитывал жене, которая отвечала востор-

женным одобрением. Она гордилась тем, что не умела критиковать Демулена.

Шестого июля 1792 года у Люсиль родился сын, названный Горацием. Камилл собственноручно отнес сына в общинное управление, где мальчик получил республиканское крещение — без религиозных церемоний; его именем открыли первую книгу актов гражданского состояния. В заявлении о рождении сына Демулен писал: «Я хотел избегнуть упрека, который мог бы мне сделать когда-нибудь мой сын за то, что я клятвой связал его с теми религиозными взглядами, которые, быть может, не будут его взглядами, что при вступлении его в мир я связал его легкомысленным выбором с одной из 900 или еще более религий, исповедуемых людьми, тогда, когда он еще не узнавал своей матери».

После рождения ребенка Люсиль целиком отдалась семье, но события 10 августа, в которых участвовал Демулен, вырвали ее на время из сферы маленьких интересов домашнего быта. 10 августа 1792 года парижский люд штурмовал Тюильри и низверг Бурбонов, и в эти дни Люсиль впервые поняла, какую опасную профессию избрал ее муж. Она пишет в своем дневнике 12 августа:

«Восьмого августа я вернулась из деревни. Во всех умах царило уже сильное брожение. Хотели убить Робеспьера. Девятого у меня обедали марсельцы, мы были довольно веселы. После обеда все мы были у Дантона. Дантон был полон решимости. Я лично хохотала, как безумная. Они боялись, что из этого дела ничего не получится. Хотя я была далеко не уверена, я говорила им, как будто знала наверное, что удастся. «Но только как можно так смеяться?» — сказала мне мадам Дантон. «Ах,— ответила я,— это, может быть, предзнаменование того, что я сегодня вечером буду много плакать...» Погода была прекрасна, мы гуляли по улицам, было много народу. Мы снова вернулись и расположились перед кафе. Мимо нас прошли несколько санкюлотов с криками: «Да здравствует нация!», затем конные войска, наконец огромная масса народа. Меня объял страх. Я сказала мадам Дантон: «Вернемся домой». Она посмеялась над моими опасениями, но мой разговор об этом зародил и в ней беспокойство, и мы пошли. Я сказала: «Будьте здоровы, скоро вы услышите звук набата». Вскоре я увидела, как все вооружились. Камилл, мой

дорогой Камилл, пришел с ружьем. О боже, я спряталась в алькове, закрыла свое лицо руками и заплакала, но тем не менее я не хотела выказать свою слабость и не решалась сказать Камиллу, что мне нежелательно его вмешательство в эти дела. Однако я уловила минутку, когда я могла говорить с ним без боязни быть подслушанной, и я высказала ему все, чего я опасалась. Он успокоил меня и сказал, что не оставит Дантона. Между тем я узнала, что он подвергался опасности.

Фрерон имел вид, как будто он решился на смерть. «Я устал жить,— говорил он,— я желаю только смерти». Я перешла в пустую гостиную, где не горел свет, чтобы не видеть всех этих приготовлений. На улице было пусто. Все люди разошлись по домам. Наши патриоты собрались уходить. Я уселась возле кровати, подавленная, уничтоженная, несколько раз я засыпала, и когда я пробовала говорить, то получалась одна чушь. Дантон прилег. Он не имел вида занятого человека, он почти совершенно не выходил из дома. Приближалась полночь. Несколько раз заходили к нему. Наконец он отправился в Коммуну. Кордельерский колокол звонил, звонил долго. Совсем одна, в слезах, на коленях у окна, уткнув лицо в платок, я прислушивалась к звону рокового колокола. Напрасно приходили люди меня утешать. Мне казалось, что я догадываюсь об их плане отправиться в Тюильри. Рыдая, я сказала им об этом. Я чувствовала, что упаду в обморок. Напрасно мадам Робер спрашивала о своем муже, никто ей не давал сведений. Она думала, что он пошел с предместьями. «Если он погибнет,— сказала она мне,— я не переживу его. Но этот Дантон — центр всего. Если мой муж погибнет, я буду в состоянии его заколоть». Камилл вернулся в час, он заснул на моем плече. Мадам Дантон была рядом со мной; она как будто готовилась встретить известие о смерти своего мужа. Я тоже легла и заснула под звон набата, который раздавался теперь со всех сторон. Затем мы встали. Камилл ушел, обнадежив меня, что не будет подвергаться опасности. Вдруг мне показалось, что раздался пушечный выстрел. Мы слышали крики и плач на улице, мы думали, что весь Париж плывет в крови. Затем мы набрались мужества и отправились к Дантонам. Кричали: «К оружию!», каждый спешил туда. Мы хотим быть свободными. Ах, боже, как дорого приходится платить за это. Довольно долго мы

оставались в неведении. Потом пришли люди и сказали нам, что мы победили. На следующий день, двенадцатого, я узнала, что Дантон стал министром».

О тех же событиях и последовавших затем своих успехах 15 августа Камилл сообщает:

«Дорогой мой отец!

Из газет вы узнали о событиях 10 августа. Остается мне сообщить вам о том, что касается меня лично. Мой друг Дантон милостью пушки стал министром юстиции, этот кровавый день должен был, в частности для нас обоих, кончиться нашим возвышением к власти или к виселице.

Он сказал в Национальном собрании: «Если бы я был побежден, я был бы преступником».

Дело свободы победило. Вопреки всем вашим пророчествам, что из меня ничего не выйдет, я достиг высшего положения, которое было доступно человеку моего происхождения. Я далек от того, чтобы из-за этого стать более тщеславным, наоборот, теперь я гораздо менее тщеславен, чем десять лет тому назад, потому что теперь я стою меньше в отношении фантазии, пыла, таланта, темперамента и патриотизма, которых я не отделяю от чувства гуманности и любви к себе подобным, потому что все это остыло за эти годы.

Но моя сыновняя любовь не охладела, и сын ваш, ставший ныне генеральным секретарем департамента юстиции, или тем, что обычно называется секретарем печати, надеется, что вскоре сумеет доказать вам это».

Во время процесса Людовика Люсиль становится постоянной посетительницей Конвента. Ей немного жутко, когда сторонники и противники смертного приговора королю распаляются в дебатах до того, что вот-вот обе стороны готовы броситься в драку. Но она твердо помнит, что ей, по примеру Камилла, нужно быть за казнь короля, и, когда участь Людовика решена, она восклицает: «Наконец-то мы торжествуем!» Люсиль изливает с подогретым пафосом в дневнике свою ненависть к королеве. «О злодейка,— пишет она, обращаясь к Марии-Антуанетте,— женщина, не заслуживающая, чтобы тебе светило солнце. Как, ты думаешь, что месть небес не упадет на твою голову, что ты победишь? Нет, быть может, уже

близок день, когда бедствия, причиненные тобой, обернутся против тебя, ты будешь рыдать тогда, но будет поздно, никто не сжалится над тобой. Вспомни со страхом об участи королев, которые, как ты, творили зло. Смотри: одни из них погибли в нищете, другие взошли на эшафот, вот участь, которая, быть может, ждет и тебя».

События шли своим чередом. Жиронда, избравшая тактику гнилых компромиссов и протестовавшая против казни Бурбонов, сама попадает на скамью подсудимых в Революционном трибунале, а затем на эшафот. Люсиль была связана в самом начале революции благодаря Камиллу узами дружбы с Бриссо и Петионом; она впоследствии вспомнит о том, что Бриссо соединил ее руку с рукой Камилла. Но во время борьбы с Жирондой и разгрома жирондистов жена Демулена ни словом не отмечает происходящего в своем дневнике. Якобинец Демулен ведет бешеную атаку на Бриссо и бриссотинцев — и они перестают существовать для Люсиль еще раньше, чем их настигает кровавая развязка.

Разве могла она сомневаться в правильности того, в чем был уверен Камилл?! Люсиль знала и охотно повторила бы все его доводы в пользу казни недавних друзей; но, кроме господина Дюплесси, никто из окружавших ее и не пытался бы спорить и защищать врагов революции.

Едва навсегда замолкли жирондисты, как Демулен повернул оружие против недавних союзников в борьбе с бриссотинцами, против левых.

«Ужасные «бешеные» особенно возмущали Люсиль; не имея достоинств жирондистов, их изысканного красноречия, учености, изящества, они смели нарушать спокойствие состоятельных граждан, стремясь обеспечить чрезмерные преимущества беднякам, которых, по мнению Люсиль, вполне достаточно одарила революция. Их посягательства на право частной собственности и личной свободы попросту изумляли жену Демулена, как наглая бессмыслица. Какой вред, наивно спрашивала она, мог быть для свободы в том, что ее родные имели крупную ренту, имение и серебряные сервизы, составлявшие приданое и наследство дочери? Не только «бешеные», но и близкие к ним по настроению эбертисты вызывали ее возмущение. К тому же один из них, Шометт, который дошел до такой пакости, как не раз думала Люсиль, что посмел громогласно отрицать существование бога, был

нехорош собой, невежлив и не стеснялся в обществе дам выражаться так, как будто был «среди простонародья». Слушая Камилла, который ругал эбертистов за их налоговую политику, обременявшую богатых, Люсиль никогда не забывала напомнить о том, что «расфранченный грубиян», редактор «Отца Дюшена», опять, проходя мимо нее, «неприлично засмеялся». Его жене, госпоже Эбер, тоже неизменно доставалось от «нежной Люсиль» за пестрые, безвкусные наряды и простоватое лицо.

Узнав, что Камилл вновь приступает к изданию газеты, его жена громко высказывала свою радость, предвкушая расправу с эбертистами. Она знала по опыту с Бриссо, какая опасность таится в пере влиятельного журналиста. В конце 1793 года вышел первый номер «Старого кордельера», просмотренный еще благожелательным Робеспьером; впрочем, в дальнейшем, когда Робеспьер почувствует, что под видом нападения на ультралевых метят в него самого, политическая распря навсегда разбросает Максимилиана и Камилла по разным лагерям.

Равнодушная прежде к пролившейся крови главарей Жиронды, Люсиль все чаще пугалась теперь того, что террор принимает массовый характер и на эшафоте умирают то бывший поклонник матери, то родственник, то знакомая дама. В такие дни Люсиль не раздвигала кисейных занавесок и пряталась в комнате сына от страшных, еще ни на чем не основанных опасений, что и ее ждет смерть на помосте. В такие дни она встречала возвращающегося домой Камилла бессвязными мольбами немедленно бросить Париж и ехать в имение, где можно, занимаясь хозяйством, жить в мире и спокойствии. Но все же это были только редкие приступы, от которых оказался не свободным и Камилл — слабый, неврастенический и поверхностный политик, к которому и в 1793 году отлично подходила характеристика, данная ему тремя годами раньше Маратом:

«Несмотря на весь ваш блеск, вы еще неопытны в политике. Вы больше принесли бы пользы отечеству, если бы ваш шаг был увереннее и тверже, но вы в своих суждениях шатаетесь из стороны в сторону: сегодня порицаете то, что одобрите завтра. По-видимому, у вас нет представления о таких вещах, как план или цель».

Предчувствуя и опасаясь того, что будущее несет ему и Люсиль потрясения и беды, Камилл в письме к отцу

высказывает, между прочим, и такие беспокойные, пессимистические мысли: «Почему я не могу оставаться неведомым настолько же, насколько я известен? Где то убежище под землей, которое укроет меня с моей женой, моим ребенком и моими книгами от взоров всех?» Он тщетно ищет путей отступления: дезертировать поздно. И, надеясь, что спасение в победе, он развивает неистовое наступление на противников в лагере эбертистов. Но Люсиль еще гонит от себя страх перед надвигающимся несчастьем, она усердно приглашает гостей и старается воскресить прежнюю беспечность, царившую в ее доме на улице Одеона. Однажды, в тот момент, когда прислуга вносила в розовую столовую поднос, уставленный севрскими чашками с дымящимся шоколадом, Люсиль, ударяя по столу своей маленькой ручкой, с шутливым вызовом говорит, обращаясь к друзьям Камилла, которые предостерегают его от словесного поединка с Робеспьером: «Позвольте ему исполнить свою задачу, пусть он спасет родину». И, кокетливо ставя чашки на стол, очаровательная Люсиль добавляет: «Тот из вас, кто будет ему мешать в этом, не получит от меня ни капли шоколада».

Игривое настроение Люсиль, однако, длится недолго. В самом конце 1793 года она не раз делится своей тревогой с семнадцатилетней женой Дантона Луизой. Но робкая, религиозная подруга не интересуется политикой, боится крови и не знает, что ответить на горячие доводы жены Демулена о том, что нужно «убрать Шометта и его банду» для того, чтобы навсегда разобрать и сжечь гильотину. Порицая жену Дантона, Люсиль свысока говорила об ее умственной ограниченности, удивляясь тому, что могло так понравиться Дантону. Она осуждала Мариуса (кличка Дантона) за совершение брачной церемонии у неприсягнувшего священника, за охлаждение к государственным делам после женитьбы и за готовность пропустить заседание и оставить приятелей, лишь бы не уходить из дома или проехаться с Луизой в свое имение.

С начала 1794 года Камилл Демулен в «Старом кордельере» повел чудовищную кампанию против эбертистов. Не оставаясь в долгу, эбертисты отвечают нападками на дантонистов и Демулена, который в своей газете доходит даже до того, что требует восстановления религии — этого «рычага законодателя», и, готовя гильотину своим про-

тивникам, демагогически взывает о милосердии для всех прочих граждан.

Сперва обнадеженная полемическим воодушевлением мужа, Люсиль понемногу опять возвращается к страху, к прежней боязни предстоящего. Посещая Якобинский клуб, бурлящий и грозный, читая газеты, она начинает отдавать себе отчет в том, что попытка встать против революционной стихии несет ее мужа к бездне. Кто может еще спасти дело ее Камилла?.. Дантон?.. Но он самонадеян и уверен в том, что революция не решится посягнуть на головы его единомышленников; Фабр д'Эглантин беспринципен и невлиятелен; есть еще один друг — Фрерон, на его участие Люсиль может надеяться, помня, как упорно он уверял ее в своей любви. К Фрерону пишет Люсиль, умоляя его приехать в Париж на помощь Камиллу, и жалуется на травлю, поднятую против нее эбертистами:

«Эти чудовища осмелились упрекнуть Камилла в том, что он женился на богатой женщине... Ах, пусть они никогда обо мне не говорят, пусть они забудут о том, что я существую, пусть они поселят меня в пустыне. Я ничего не требую от них, я оставляю им все, чем я владею, чтобы только не быть вынужденной дышать тем же самым воздухом, что и они. Если бы я могла забыть их и все страдания, которые они нам причинили! Жизнь становится для меня тяжелым бременем. Сладкое, чистое счастье, тебя похитили у меня. Мои глаза наполняются слезами, я скрываю эту страшную боль в глубине сердца, я показываю Камиллу веселое лицо, я притворяюсь мужественной, чтоб и он был мужествен». Но Фрерон отделывается шуточным ответом и остается в провинции, не желая рисковать головой.

Неслыханно заостренные полемические наскоки Демулена вызывают озлобление демократических мелких буржуа, руководимых Робеспьером: они подозревают в нем предателя. Люсиль падает в обморок в клубе якобинцев, когда Эбер предлагает исключить Камилла из членского списка, по примеру клуба кордельеров. Две незнакомые женщины участливо выводят жену Демулена в еще безлистый, сырой от зимних дождей сад бывшего монастыря святого Якова и стараются ее успокоить, но она вырывается, падает на землю, стонет, точно уже слышит смертный приговор, произнесенный Демулену. Быть

исключенным из клуба, да еще по обвинению в сношениях с реакционером и изменником генералом Дилловом! О, Люсиль знает хорошо, чем это грозит. Когда она опять входит в зал клуба, с защитой Камилла выступают Дантон, Колло д'Эрбуа и, наконец, Робеспьер. Максимилиан, стремящийся в первую очередь уничтожить «крайних левых», в чем удачно ему помогал Демулен, еще не желает нанести удар дантонистам, хотя некоторые из них и кажутся ему излишне уклонившимися вправо.

В истерическом напряжении Люсиль ловит слова Робеспьера. С трудом она разбирает смысл речи Неподкупного; он говорит об очевидном безумии редактора «Старого кордельера» и предлагает не исключать его, а ограничиться только сожжением вредной и бессмысленной газеты.

Едва замолкает Робеспьер, на трибуну вскакивает посеревший, растрепанный Камилл. Непрестанно заикаясь, он старается перекричать ревущий зал. Теряя всякую сдержанность и осторожность, Демулен, чтобы разоблачить тонкую игру Робеспьера, заявляет, что «Старый кордельер» просматривался Максимилианом, и требует его к ответу как своего соучастника. Хладнокровно и кратко, нисколько не желая быть объявленным союзником дантонистов, Робеспьер напоминает Камиллу, что просмотрел не более двух номеров газеты. Изнемогающая от беспокойства и нервной дрожи, Люсиль присутствует при исключении Камилла из членов Якобинского клуба.

С момента исключения Камилла из клуба над его домом повис ужас. Стук о мостовую ружейного приклада, грузные шаги пешеходов, громыханье кареты или телеги бросали Люсиль к окну. Она прижималась к стеклу, плохо видя заплаканными глазами, шептала наивные молитвы и кутала лицо в занавеску, если не могла сдержать громкое рыданье, чтобы не слыхал Камилл, который то сидел, молчаливо и тупо уставившись в одну точку, то писал без конца, зачеркивая и начиная сызнова, то принимался неестественно весело играть с сыном. Иногда, не желая ни на минуту расставаться с мужем, Люсиль сопровождала его в Конвент или к друзьям.

В ночь с 30 на 31 марта Люсиль долго не ложилась спать. Камилл, опустив на руки голову, сидел у стола, на котором лежало письмо его отца, сообщавшее о смерти жены, суетливой и доброй старушки. Смерть матери, как

предзнаменование, потрясла Камилла. Люсиль тихонько вышла из столовой, оставив мужа наедине с его тяжелыми думами. Беспокойно прислушиваясь к ночной тишине, она принялась за свой ночной туалет: расчесала волосы и надела чепец,— как вдруг где-то на улице прозвучали, приближаясь, чьи-то шаги, ровные и гулкие, как бой барабана. Заслышав военную команду, Люсиль бросилась к Камиллу, растерянно поднимавшемуся из-за стола. Увидев жену, он прошептал, точно прохрипел агонически: «Меня пришли арестовать».

Люсиль закричала протяжно и жутко впервые уже тогда, когда улица смолкла и патруль, уведший в Люксембургскую тюрьму Камилла, скрылся за поворотом. Но вместе с вырвавшимся воплем, услышав который прислуга заохала, думая, что госпожа сошла с ума от горя, к Люсиль возвратилась непреодолимая потребность действия. Она рвалась к Камиллу, без которого не хотела жить, как тигрица к похищенному детенышу, и готова была любой ценой рассчитаться с теми, кто посмел забрать у нее мужа. Днем и ночью, неряшливо одетая, Люсиль металась по городу, по разным учреждениям или стояла, как загипнотизированная, в Люксембургском саду, против тюрьмы, где находился Демулен. Иногда на улице она вдруг разражалась бранью и угрозами по адресу правительства, вызывая пугливые, сострадательные взгляды прохожих. Желая разделить заключение Камилла, Люсиль стремилась быть арестованной. «Почему я на свободе? Думают ли люди, что я не осмелюсь поднять свой голос лишь потому, что я женщина? Рассчитывали ли они на мое молчание?» — говорила она.

Бросаясь от одного средства освобождения Камилла к другому, она пробует написать, напоминая о былой дружбе, Робеспьеру, которого считает наиболее влиятельным человеком в Париже. В ее письме к нему перемешаны мольбы и обвинения.

«Камилл видел, как зарождалось твое честолюбие,— пишет Люсиль,— он предчувствовал тот путь, которым ты пойдешь, но он помнил вашу старую дружбу, и, далекий как от черствости твоего Сен-Жюста, так и от твоей низкой зависти, он отбросил мысль поднять обвинение против своего школьного друга».

Робеспьер не ответил на письмо Люсиль, и его молчание она поняла как приговор. Отчаяние придает ей от-

вагу и толкает на безрассудные поступки. В бессонные ночи в ее воспаленной голове зарождаются невыполнимые проекты: то она хочет стать во главе восстания, которое освободит Камилла, то вдруг ей кажется возможным подкупить тюремщиков и устроить узнику побег.

Истерические стенания Камилла в его последних письмах к жене звучат в ушах Люсиль как призыв к мести, они разъедают ее мозг. В одном из них Камилл пишет, как бы упиваясь своими муками:

«...О, моя дорогая Люсиль! Моя горячо любимая. Я невинен, но часто чувствую себя слабым как супруг, отец и как сын. Если бы еще Питт или Кобург так жестоко обращались со мной, но не мои же коллеги: не Робеспьер, подписавший ордер на мой арест, не республика после всего того, что я сделал для нее. Вот награда за все мои добродетели и жертвы... — пишет Демулен, забывая о своих роковых ошибках и готовности ослабить силы революции пропагандой реакционных и вредных идей. Ничто не могло спасти его, когда он попытался задержать поднимавшийся все выше и выше революционный вал. — Я только что вернулся с допроса у комиссаров правительства,— продолжает он. — Меня спросили, не находился ли я в заговоре против республики. Какая чепуха! Неужели можно так позорить республиканца чистейшей воды. Теперь я вижу, какая участь ждет меня. Прощай... О, моя дорогая Люсиль. Прости меня, моя возлюбленная, настоящую свою жизнь я потерял в ту минуту, когда нас разлучили, прости мне, что теперь я живу своими воспоминаниями. Я должен был бы постараться, чтобы ты забыла о них. Моя Люсиль, мой добрый Лулу. Живи для Горация, рассказывай ему обо мне. Ты скажешь ему то, чего он от меня не сможет услышать, что я его очень любил.

Несмотря на то что я иду на казнь, я верю, что есть бог. Моя кровь искупит мои ошибки, слабости человечества, а то, что было во мне хорошего — мои добродетели, моя любовь к свободе,— будет вознаграждено богом. Я увижусь с тобой, Люсиль. Разве при моей чувствительности смерть, которая освободит меня от зрелища стольких преступлений, такое уж большое несчастье? Будь здорова, моя жизнь, моя душа, мое блаженство на земле... Я вижу, как бежит от меня берег жизни. Я вижу еще Люсиль. Я вижу ее, мою горячо любимую. Моя Люсиль,

мои связанные руки обнимают тебя, и голова моя, уже оторвавшаяся от туловища, глядит все еще своими умирающими глазами на тебя».

Накануне казни дантонистов Люсиль видели перешептывающейся со сторожем Люксембургской тюрьмы. Сен-Жюст в Комитете общественного спасения сообщил, что обезумевшая и разъяренная против патриотов жена Демулена пытается организовать мятеж в тюрьмах, что ее главным сообщником является генерал Диллон, гнусный изменник, заключенный в Люксембургской тюрьме.

Пятого апреля, в полдень, на опустевшей площади возле гильотины стояла телега, на которую, разговаривая о погоде, урожае, детях, палач и его помощники складывали тела только что казненных дантонистов. Головы их рослый мускулистый Сансон, любовно вынимая из корзины, подолгу рассматривал, прежде чем бросить на груду туловищ, сваленных раньше. Мертвый Камилл с открытыми, выпученными глазами не понравился Сансону, с брезгливостью вспомнившему, как дрожал и боялся Демулен гильотины.

Люсиль пошла в тюрьму, словно на зов Камилла, спокойно и радостно. Мистическая вера в бога сулила ей встречу с Камиллом, и смерть становилась желанной. После короткого допроса вдова Демулена была осуждена на смерть.

Хладнокровно выслушав приговор, Люсиль сказала: «Итак, я скоро буду опять иметь счастье видеть своего Камилла».

Из тюрьмы она написала матери прощальную записку: «Доброй ночи, моя милая мама, слеза падает из моих глаз — она для тебя. Я усну покоем невинности».

Разодевшись для казни, как для желанного свидания, Люсиль Демулен спустилась к воротам тюрьмы, где приговоренных ждала тележка палача. Ее белую вуаль, наброшенную поверх волос, как когда-то во время венчания в Сен-Сюльписе, то развевал, то пригибал к земле весенний ветер. В «тележке смерти» Люсиль увидела бывшего прокурора Коммуны Шометта и госпожу Эбер, которых, как и ее, везли на гильотину.

## ЕЛИЗАВЕТА ЛЕБА

Сколько их, погибших, сломленных в борьбе, не отмеченных историей, незаметных женщин. Матери, дочери, соратницы — их много, захваченных Великой французской революцией, и подчас, в моменты испытаний, проверки, они подлинно героичны.

Столяр Морис Дюпле в годы революционных потрясений жил на улице Сент-Оноре, в деревянном домике, вход в который был только через ворота со двора. Он нанял дом у монастыря Зачатия, расположенного рядом, на той же улице Сент-Оноре. К радости якобинца-столяра, во время революции вследствие конфискации церковных имуществ вся недвижимость монастыря вместе с домом, занятым семьей Дюпле, стала собственностью нации. Кроме одноэтажного узкого корпуса с окнами на улицу, по дворе столяра находились еще два флигеля, в одном из которых жил с 17 июля 1791 года Робеспьер. Он занимал одну комнату, необычайно скромно обставленную, всегда тщательно прибранную.

Благодаря большому мастерству и предприимчивости столяр Дюпле задолго до революции достиг сравнительного благосостояния. В его дворе под навесом, где непрерывно кипела работа, создавались пузатые шкафы, столики на рахитичных ножках, похожие на катафалк кровати.

После революции заказы на тяжеловесную, оживленную деревянным кружевом мебель — украшение дворцов и богатых особняков — сильно сократились, но Дюпле получал подряды для революционных учреждений, и попрежнему стучал молоток, пищала пила, пел рубанок,

летели стружки и пахло лаком и краской во дворе его дома. Жена столяра была женщиной добродушной, хлопотливой и гостеприимной. Подобно мужу, она мечтала, обеспечив материально своих пятерых детей, сделать из них мелких буржуа, не знающих нужды.

Меньший из детей четы Дюпле, единственный сын Яков, которого Максимилиан Робеспьер прозвал «наш маленький патриот», отличался сообразительным и пытливым умом и имел хороших учителей. Якобинское воспитание не пропало даром: Яков до конца жизни сохранял верность заветам якобинства.

Три дочери Дюпле (четвертая, замужняя, жила вне Парижа) во время революции были уже взрослыми девушками. Они получили хорошее по тому времени образование, пробыв по нескольку лет, как диктовал обычай для девушек зажиточных семей, в монастыре Зачатия. Монастырь не привил им ханжества и высокомерия; изучив музыку, поэзию, рукоделие, они охотно занимались стряпней и стиркой, не гнушаясь черной работой по дому. Элеонора, Елизавета, Виктория отличались цветущим здоровьем, твердостью и цельностью характеров.

Старшая из сестер, Элеонора, замкнутая, чуткая девушка, в 1791—1794 годах училась у знаменитого художника Ренье, студию которого в эту пору посещали преимущественно аристократические девицы, искавшие безобидных занятий, далеких от революционной действительности. «Мадам Робеспьер» (так дразнили они промеж себя якобинку Элеонору Дюпле, насмешливо подчеркивая вовсе не существовавшую близость ее с Максимилианом) была им совершенно чужда.

Елизавета Дюпле, вторая дочь столяра, была хороша собой, весела и подкупающе любезна в обращении с окружающими.

Виктория, неприметная и некрасивая, оставалась всегда лучшей помощницей матери в стряпне и хозяйстве.

В 1789—1793 годах девушек Дюпле можно было увидеть во дворе дома, в Якобинском клубе и в рядах революционных шествий. В квадратном дворике, где высыхала мебель — гордость столяра и сохло на солнце белоснежное белье — гордость женщин Дюпле, сестры появлялись, подоткнув юбки, с ведрами и метлами. Елизавета, выливая помои, лаская котят и собак, мурлыкала «Карманьолу» или шутила с рабочими, громко смеясь,

часто без всякого повода, от избытка сил, довольства собой и всем окружающим. Ей было двадцать лет.

В Якобинском клубе девушки бывали часто, терпеливо просиживали на длинных заседаниях, слушая внимательно часовые выступления ораторов, не всегда содержательные и оригинальные, но почти обязательно цветистые и полные декламаторского пафоса. В мрачном зале Якобинского клуба впервые прозвучали потерявшие теперь свою свежесть метафоры: «факел революции», «гидра тирании» и много подобных.

В день, когда после расстрела народной демонстрации на Марсовом поле столяр Дюпле, восторженный радикал, привел к себе в качестве постояльца Робеспьера, находившегося под угрозой преследования, быт семьи резко изменился. Начиная от хозяина до подмастерьев, бывших в доме столяра на правах равных, все старались угодить Неподкупному и показать ему свое преклонение, как бы отражая обожание, с которым тянулся к Робеспьеру мелкий люд Парижа.

Для него госпожа Дюпле, образцовая хозяйка, просила своих родственников присылать из деревни птицу и овощи; похвала обеду или варенью, высказанная Максимилианом, заставляла расплываться в счастливой улыбке ее широкое крестьянское лицо. Когда Робеспьер спал или работал, вся семья тихонько обходила его комнату, а когда заседание Конвента или клуба затягивалось до рассвета, какая-нибудь из женщин Дюпле поджидала его у низких ворот.

Выросший вне семьи, одинокий и недоверчивый, Робеспьер, естественно, отвечал большой привязанностью семье столяра, ставшей ему вполне родной. Он ввел в гостеприимный дом на Сент-Оноре своих друзей. Сент-Жюст, Кутон, Фукье-Тенвиль, Давид часто после длинных совещаний во флигеле, где жил Максимилиан, приходили в главный корпус — квартирку столяра. Там устраивались импровизированные вечеринки. Девушки пели, им иногда аккомпанировал Буонаротти, потомок Микеланджело, будущий друг Бабёфа. Сент-Жюст декламировал, госпожа Дюпле суетилась, угощая, Морис Дюпле, процеживая слова, рассказывал последние сплетни городской толпы и каламбуры Пале-Рояля, и обычно до рассвета друзья не расходились. Случалось, что вечеринки у Дюпле посвящались чтению классиков. Освещенный ог-

нем камина Робеспьер читал отрывки из Корнеля или Расина.

Как-то в сентябре 1972 года к Робеспьеру зашел двадцатисемилетний член Конвента Филипп Леба и с той поры стал приходить ежедневно с огромной лохматой собакой, носящей странную кличку Шелликем. Бывая у Дюпле, Леба обязательно поддразнивал Елизавету, спорил о живописи с Элеонорой, играл на скрипке, бренчал на клавесине, помогал в хозяйстве госпоже Дюпле и в ученье баловню Якову. Жизнерадостная, крепкая Елизавета понравилась Филиппу с первого знакомства. Немного сухая, всегда строго логичная Элеонора, влюбленная в Робеспьера, внушала Филиппу больше уважения, чем симпатии.

Леба благоговел перед Максимилианом Робеспьером, которого считал гениальным творцом революции. Робеспьер отвечал ему искренней симпатией, ценя в Леба честность, твердость, смелый ум и искренность.

К Елизавете Максимилиан относился с покровительственной нежностью и вниманием; обычно погруженный в себя, раньше других заметил он зарождающуюся любовь Елизаветы и Леба друг к другу.

В узеньком коридоре дома Робеспьер сказал Елизавете о своих наблюдениях и, всегда суровый в оценке людей, многозначительно глядя на нее, отозвался о Филиппе с горячей похвалой, смутившей девушку.

Первые главы любви Филиппа и Елизаветы обычны, но, однако, трогательно наивны и прекрасны,— в их романе были и беспокойство, и сомнения, и недоговоренные улыбки, взгляды, вздохи и слезы.

Однажды на заседании Конвента Елизавета с Шарлоттой, сестрой Робеспьера, сидела в первом ряду за барьером, отделяющим публику от депутатов. На ней было лучшее из ее платьев, серенькое в цветочках с косыночкой на плечах. Она показалась Филиппу красавицей, когда, глядя на нее, он подходил к решетке, но смущенной Елизавете чудилось, что молодой депутат посмеивается над ней. Однако странно было то, что с маленького пальца, небрежно барабанящего по скамье, Леба снял колечко и, забрав его, ушел, неуверенно улыбаясь. Елизавета, растерянная и подавленная неуловимостью происшедшего, проплакала всю ночь и, что было загадкой для окружающих, стала грустной и бледной. Бедняжка страдала, не

понимая поступка Филиппа, предполагая, что он подшутил, заметив, что она его любит, к тому же пропажа кольца, подарка родных, могла вызвать расспросы и догадки. Так продолжалось некоторое время, казавшееся девушке бесконечным: заболевший Филипп долго не появлялся. Наконец по деревянной лесенке, помахивая хвостом, вбежал Шелликем, а за ним Филипп, как всегда веселый и смеющийся. У него попросили вернуть колечко, и он, не менее тревожившийся, чем Елизавета, не выдержал долее —признался в своей любви.

Столяр Дюпле и его жена были польщены сватовством друга Робеспьера и с оформлением брачного контракта не медлили. Он был подписан 26 августа 1793 года.

Идиллическая любовь Елизаветы и Филиппа — одна из очень немногих романтических историй двух лет революции перед Термидором, когда уже заметно подготовлялся тот сдвиг в нравах, что достиг высшего предела при Директории. К любви относились упрощенно и грубо. Браки поражали кратковременностью, и разводы следовали один за другим. Не утруждали и не усложняли чувство проверками и сомнениями, отдавались любви спеша и не раздумывая.

Совместная жизнь Филиппа и Елизаветы Леба была овеяна тихой маленькой радостью. Они как бы осуществили для себя ненадолго ту незатейливую утопию мелкобуржуазного счастья, которую обещали массам якобинцы. Как и раньше, в доме родных, Елизавета занималась уборкой и шитьем в своей квартирке, просто и уютно обставленной госпожой Дюпле-матерью, по-прежнему после работы дома она уходила с мужем в Конвент, в клуб или к родным. Сын, родившийся у Елизаветы, был встречен бурным восторгом Филиппа и стариков Дюпле, даже неулыбающийся Робеспьер смеялся, глядя на барахтающегося в колыбели чистого и сытого ребенка. Однако с каждым месяцем все задумчивее и сосредоточеннее становился Филипп. Возвращаясь из Конвента весной 1794 года, он подолгу молчал, механически поглаживая блестящую шерсть Шелликема, или высказывал беспорядочные мысли о возможности катастрофы, которые пугали Елизавету. Она успокаивалась только в доме родных, где царило безмятежное счастье.

Столяр Дюпле, выполнявший большой и прибыльный заказ для Комитета общественного спасения, целыми

днями, окруженный помощниками, строгал, пилил, красил и демонстрировал во дворе полукруглые скамьи, столы, стулья — предметы, имеющие, по мнению Дюпле, наибольшее значение в повседневной жизни людей. Хорошему настроению столяра также способствовало назначение его присяжным Революционного трибунала. По вечерам, почистившись и причесав жидкие волосы, гражданин Дюпле шел в Якобинский клуб поспорить, пошуметь и послушать.

Лето 1794 года было на редкость душное и сухое. Вместе с сестрой Элеонорой, позади тихо разговаривавших Леба и Робеспьера, Елизавета под вечер прогуливалась в Елисейских полях. В конце XVIII столетия они еще не были застроены, выстрижены и приглажены, как теперь, представляя собой только поросшее кустарником поле в рытвинах и ухабах.

Непоколебимый фанатизм Леба заражал Елизавету. Ее уверенность в том, что Робеспьер и Филипп всегда и во всем правы, была такова, что стук тележки смертников, ежедневно проезжающей по улице Сент-Оноре, не омрачал счастья. Гильотина казалась гнетущей необходимостью, спасением, и Дюпле с тяжелым спокойствием отмечали количество отсеченных голов.

Незадолго до Термидора Дюпле, Леба и Робеспьер были в деревне. Под густой листвой сытно обедали среди смеха и веселья. Элеонора и Максимилиан под руку ушли в лес, и госпожа Дюпле, скрывая горделивую улыбку, провожала их красноречивым взглядом. Все, не высказывая вслух надежды, думали о скором браке Элеоноры с Робеспьером. Но поездка в деревню была лишь кратким отдыхом в тревожные дни.

Филипп все позднее возвращался домой и все чаще говорил с Елизаветой о том, как лучше устроить ей жизнь, когда его «не будет». Он отшучивался в ответ на ее горестные расспросы, но перед Максимилианом не скрывал своей тревоги. Леба не доверял Конвенту, чуял заговор термидорианцев и настойчиво предлагал заблаговременные решительные меры. Как и другие робеспьеристы, он понимал, что угроза якобинской власти была смертельно опасна для революции. Непосредственный практический склад характера толкал Филиппа к действию. Видя колебания и медлительность в решениях Робеспьера, он впадал в уныние, предчувствуя поражение.

За несколько недель до Термидора, во время праздника Верховного существа, идущий в процессии Леба улавливал смех, издевательства и недомолвки в рядах недавних дантонистов, уцелевших жирондистов и в «болоте», доселе безразличном и спокойном. Вернувшись после праздника домой потрясенным, он с жуткой уверенностью сказал Елизавете, что конец революции близок, если Робеспьер не будет решительным. В мучительные дни душного лета, насыщенного выжидательным молчанием, Елизавета мужественно прятала от Филиппа свои опасения. Внешне жизнь не менялась, и она пыталась утешать себя планами будущего.

Утром 9 термидора Леба ушел в Конвент. Робеспьер, готовившийся к решительному выступлению, уверил его, что красноречием подействует на депутатов и сохранит за собой большинство. О том, что произошло в Конвенте, Елизавета узнала вскоре на улице от женщин, безжалостно сообщавших подробности ареста робеспьеристов. Вскоре неожиданно для Елизаветы конвоиры привели домой арестованного Леба. В его присутствии произвели обыск и опечатали документы. В воспоминаниях об этом последнем пребывании Филиппа дома Елизавета утверждает, что в числе изъятых у Леба бумаг были документы, компрометировавшие дантонистов. Документы эти будто бы бесследно исчезли. После процедуры опечатания и конфискации бумаг Филиппа отвели в тюрьму Ла-Форс. Прощаясь с женой, Леба еще надеялся на скорое освобождение, рассчитывая на вмешательство парижской Коммуны и якобинцев предместий.

Двумя часами позже Елизавета, в смятении, с бешено бьющимся сердцем едет на извозчике к тюрьме, где заключен Филипп Леба. Она везет мужу то, что кажется ей необходимым и что должно скрасить одиночество камеры. Ее руки судорожно придерживают матрас, складную кровать, узел с одеялом, бельем, памятками о ней и сыне.

Перед плохо охраняемыми воротами тюрьмы она видит делегатов решившей сопротивляться Коммуны, присланных мэром Парижа Флерио. Они требуют освобождения робеспьеристов, и тюремные власти, подчиненные Коммуне, выпускают арестованных. Позади других появляется Леба. Не в силах сдержать вопля горя и надежды, Елизавета бросается к мужу. Тогда он поспешно

говорит ей слова, которые и пятьдесят лет спустя еще звучали в ее ушах. Он давал ей множество советов: «Корми маленького Филиппа грудным молоком», «внуши ему любовь к родине...», «скажи, что отец умер ради него». Леба был, как всегда, непоколебим, но в словах неотступающего якобинца не чувствовалось уверенности в победе.

Направляясь вместе с младшим Робеспьером в ратушу, он на ходу повторял жене: «Живи для нашего сына, воспитай из него борца, ты сможешь это. Прощай, моя Елизавета, прощай». Леба скрылся в подъезде, но Елизавета не уходила. Она провела долгие часы, не отрывая глаз от освещенных окон, следя за мелькающими силуэтами, в надежде еще раз увидеть Леба. Лишь к ночи Елизавета вернулась домой. Крошечный сынишка горько плакал, не получая необычно долго своей порции материнского молока.

В залах муниципалитета Филипп и брат Максимилиана встретились с Робеспьером, Кутоном, Сен-Жюстом, также только что освобожденными из тюрем, и командующим войсками Парижа Анрио. В течение всего вечера Леба часто поднимался из-за стола заседающих и подолгу смотрел на большую площадь перед ратушей. На ней царило неописуемое возбуждение. Быстро собранные отряды предместий, верные робеспьеристам, при свете факелов представляли полуфантастическое зрелище. Тщательно сложенные ружья внушительно выстроились длинными рядами. Грозовое небо, покрытое тучами, прорезывали молнии. Начинался крупный летний дождь, от которого, шипя, гасли огни факелов. Леба с нетерпением ждал действий Робеспьера, отмечая про себя, как много времени уже было упущено. Вооруженные силы Парижа под командой генерала Анрио были на стороне Робеспьера, артиллерия могла без труда разогнать Конвент, члены которого в течение первых часов ничего бы не могли противопоставить войскам. Почему же Конвент не объявлен немедленно распущенным, почему не схвачены Тальен, Баррас и другие заговорщики, почему новое, революционное правительство не объявляет о своем образовании народу? Леба не знает, что Робеспьер, быть может, ждет, чтобы восстание предместий само решило его судьбу и судьбу революции, рассчитывает, быть может, на возвращение к нему колебавшегося большинства Конвента. Быть может, Робеспьер учитывает не только Париж, но

и всю Францию, которую не легко поднять против сохранившей внешний престиж законной власти Конвента. А армия — не поддержит ли она Конвент, не останется ли она на стороне организатора победы Карно, не сотрет ли она с лица земли артиллерию Анрио? Не потому ли колеблются сами солдаты Анрио, не потому ли расходятся по домам, когда наступает ночь, якобинские добровольцы, что Робеспьер в их глазах бунтовщик, взывающий к новому восстанию против законной власти? Но было уже столько восстаний и переворотов, а дороговизна, безработица и голод бьют все больнее бедняков. Энтузиазм предместий не вспыхивает, как раньше, огненным факелом, освещающим исторический путь масс, Робеспьер не решается еще раз натянуть стальную узду — вздыбить усталый Париж. Леба бессильно сжимает кулаки. Льет проливной дождь. Анрио фанфаронствует.

Площадь перед ратушей почти пуста. Тогда белые добровольцы Барраса переходят в наступление. Их патрули рыщут по городу, объявляя Робеспьера вне закона. Два отряда движутся к Совету Коммуны, их ждет нежданная удача. Ратуша не охраняется, в освещенных залах делегации предместий и ораторы муниципалитета обмениваются приветственными речами, Робеспьер в кружке друзей приступает к организации восстания. Поздно. Солдаты Конвента врываются в ратушу. Они взламывают дверь в придавленный потолком зал, где заседают вожди якобинцев, и выстрел кончающего самоубийством Филиппа Леба заглушается падением тела раненого Робеспьера, опрокинувшимися стульями, топотом ног, проклятиями якобинцев и возгласами торжествующих термидорианцев. Младший Робеспьер бросается из окна на каменные плиты мощеной площади.

Когда трагическая весть о разгроме робеспьеристов дошла до Елизаветы, она, измученная ожиданием развязки бесконечной ночи с 9 на 10 термидора, потеряла сознание, и в течение двух дней оно к ней не возвращалось. К ее счастью, она не слыхала знакомого дребезжания тележки палача, провезшей мимо дома Дюпле Робеспьера и его единомышленников. Елизавета не видела, как озверевшая, воющая толпа, еще вчера поклонявшаяся Неподкупному, задержала «тележку смерти» у квартиры столяра и какой-то хулиган мальчишка мазал кровью закрытые ставни и ворота дома. Неподвижно лежавший с

раздробленной челюстью Робеспьер, казалось, не замечал издевательств, и глаза его были закрыты. Элеонора, верный друг Максимилиана, видевшая все в щель ставен, не была избавлена и от этой пытки.

С трудом оправившись, Елизавета тщетно разыскивала могилу Филиппа; вместе с Леба исчез Шелликем. Он пролежал на убогом холмике могилы Леба два дня и вернулся 12 термидора, жалобно повизгивая, к жене любимого хозяина.

Вскоре после Термидора на квартиру Елизаветы пришли агенты Комитета общественной безопасности и увели ее вместе с пятинедельным ребенком в тюрьму Таларю, туда же была заключена и Элеонора Дюпле. Сестры помещались в наскоро оборудованной из обыкновенного жилого дома тюрьме, в душной мансарде под самой крышей. По ночам Елизавета стирала тряпки, заменявшие пеленки ребенку, а Элеонора просушивала их под своим матрасом.

Столяр Морис Дюпле, его жена и сын были арестованы тотчас же после падения Робеспьера. Госпожа Дюпле, полагая, что ее ждет гильотина, повесилась 10 термидора.

Когда восемь месяцев спустя Елизавета вышла из тюрьмы, у нее не было ни жилья, ни денег. Она зарабатывала хлеб себе и своему ребенку тяжелым физическим трудом, стирая на реке белье. Преследуемая, одинокая, она гордится фамилией, которую носит, отказывается давать показания, и ни разу в тяжелые годы термидорианской реакции с ее губ не срывается слово раскаяния или сожаления.

Иначе держала себя Шарлотта Робеспьер. Арестованная после Термидора, она поспешно отреклась от своих братьев. Это обеспечило ей пенсию в 6 тысяч франков от Директории. Госпожа Каро, как стала отныне называться Шарлотта Робеспьер, ухитрилась сохранить пенсию, несмотря на частую смену правительств, до самой смерти. Свое позорное поведение она тщетно попыталась объяснить в мемуарах и завещании, в которых уверяла, что никогда не отрекалась от братьев.

Елизавету Леба не удалось подкупить термидорианцам, несмотря на ряд попыток. Она рассказывает в свои воспоминаниях, каким образом ей случалось отбивать от их настойчивых домогательств. Однажды, испугавши что хитростью у нее вырвут отречение от Филиппа Леб

Елизавета, не имея пера и чернил, разрезала руку и булавкой, обмакнутой в кровь, написала, что не примет никакой помощи от палачей мужа.

Впоследствии Елизавета вышла вторично замуж за брата Филиппа и овдовела в 1829 году. Вдова Леба умерла лишь в 1855 году. Незадолго до смерти она писала: «Я люблю свободу; кровь, которая течет в моих венах теперь, в семьдесят лет,— кровь республиканки».

Сын Филиппа и Елизаветы был талантливым ученым, отдававшимся науке с той же страстью и верностью, как его отец когда-то революции. По странному капризу истории профессор Филипп Леба, сын члена Конвента, в годы Реставрации был приглашен преподавателем за границу к одному молодому человеку, воспитанием которого руководил некоторое время. Его уроки были, по-видимому, восприняты своеобразно, так как из юноши не вышло якобинца.

Учеником Филиппа Леба был не кто иной, как будущий Наполеон III.

## ТЕРЕЗА ТАЛЬЕН

Два мускулистых носильщика осторожно опустили у мраморной лестницы золоченый портшез. Лакей, бежавший всю дорогу позади носилок, поспешил раздвинуть пурпурные занавески и уступил место аристократическому франту в белых атласных туфлях и гладком парике, который помог маркизе Фонтене выйти. В королевском Версале праздник еще не начался, но плоский, подстриженный на английский манер парк уже иллюминован. Ветер качает цветные фонари, и плутоватые тоненькие пастушки, барашки в локонах, телята в лентах, нарисованные на шелку и бумаге, пригибаются и оживают. Маркиза Фонтене, оправляя фижмы, прошла в полуосвещенную уборную, чтобы проверить прическу. Цветы, воткнутые в ее пышные, взбитые надо лбом волосы, не блекли — стебельки их были погружены в узкие вазочки, невидимые в кудрях.

В это время в будуаре близлежащего Трианона французская королева тоже занята туалетом. Диана Полиньяк и принцесса Ламбаль наперебой рассказывают Марии-Антуанетте пошленькие дворцовые сплетни, пока четыре парикмахера вот уже шестой час подряд трудятся над королевской прической. Триста второй локон на затылке упорно развивается, и парусная лодка, водруженная на взбитом коке, грозит свалиться. Королеве надоело прикрывать лицо бумажным щитком, и пудра, которой в изобилии были посыпаны ее волосы, белой массой облепила лицо. В углу будуара суетится мадам Бертен, портниха королевы, раскладывая с помощью десяти горничных на затканном цветами диване бальное платье из тончайшего китайского шелка и лионского бархата. Покончив с платьем, мадам Бертен принимается за разборку двух дюжин

круглых и продолговатых картонок, привезенных только что курьерами из Парижа. Она благоговейно вынимает носовые платки, на которых вогезскими кружевницами вышиты пасторальные картинки, ажурные чулки, пряжки на туфли, банты для корсажа, отбирая то, что сегодня понадобится Марии-Антуанетте.

Взрывы смеха в ответ на кривлянье фавориток затрудняли работу придворных парикмахеров, но королева не переносила скуки и требовала неустанных развлечений. Веселую беседу неожиданно прервала придворная дама. Поминутно приседая, она доложила, что на королевской ферме не все благополучно: желтая швейцарская телка, та самая, что носит розовый бант и фарфоровый колокольчик с миниатюрой Ватто, занемогла и не выходит из стойла. Огорченная Мария-Антуанетта вскочила с кресла, сбросила белый пеньюар и, выгнав парикмахеров, потребовала экипаж. Молоденький паж, дежурящий у двери, помчался за английским шарабаном и ветеринарным врачом. Парус лодки, прикрепленной к голове ее величества, отчаянно топорщился от ночного ветерка: королева отправилась на молочную ферму.

Двумя часами позже набеленная, нарумяненная Мария-Антуанетта под руку с королем открыла бал в зеркальной галерее Версальского дворца. Маркиза Фонтене, впервые появившаяся при дворе, дрожа от волнения, склонилась в особенно низком реверансе, завидя королеву, небрежно играющую веером. Когда «их величества» прошли, маркиза Фонтене поспешно выпрямилась и бросила гордый, чуть насмешливый, но благодарный взгляд в сторону своего титулованного супруга. Коротенькие атласные штанишки подчеркивали его подагрические колени, живот прорывал тугой корсет, и обильные краски не скрывали дряблой кожи щек, свисающих, как у дряхлого бульдога, на воротник из валансьенских кружев. Когда маркиз говорил, в углах губ появлялась слюна, сползавшая, размывая белила, на подбородок, глаза его походили на грязные мокрые заплатки. Однако де Фонтене, не довольствуясь красавицей женой, рад был при случае и поволочиться. Маркиза Фонтене, впрочем, не претендовала на его верность, терпя мужа лишь как досадное приложение к титулу, гербу, знатному родству, которое он ей доставил.

«Кто эта брюнетка? Аппетитный кусочек»,— сказал граф д'Артуа, щеголь, повеса и ничтожество, белотелой, пышногрудой, рыбоглазой пожилой даме, точно сошедшей с рубенсовской картины. Учтивая придворная сплетница вытащила чесалку из-под корсажа, почесала оголенную спину и, разыскав глазами Фонтене, сказала презрительно: «Это выскочка, дочь мадридского банкира Кабаррюс и какой-то испанки. Отец недавно купил дочери в мужья нашего бедного разорившегося Фонтене... а маркиз был когда-то очень недурен,— мечтательно вздохнула дама. — Девчонка его уже принята ко двору... таковы времена. Деньги, все деньги, ваша светлость».

Лишь на следующий день счастливая маркиза Фонтене вернулась в Париж. Едва переодевшись, она поспешила в свой салон, где ее ждало немало блестящих посетителей. Маркизе не терпелось порассказать о том, что и она отныне, подобно заносчивым Лозен, Конти, Роган, принята во дворце.

Гостиная Терезы искусно принуждала к восхищению хозяйкой. На белом клавесине небрежно разбросаны ноты — сентиментальные романсы, испанские песенки, с чувством и умением исполняемые маркизой; на мольберте начатый пейзаж — луга и стада; на затейливом диванчике — «Новая Элоиза», испещренная заметками; среди цветочных ваз забыто вышивание — пухлый амур, целящийся в беспечного пастушка.

Банкир Кабаррюс не раз похвалялся обожаемой дочерью. Маркиза Фонтене учена, как энциклопедисты, красотой пошла в мать, статную испанку, практичным умом — в отца, опытного дельца и спекулянта. В шестнадцать лет Тереза, мечтая о титуле и придворных развлечениях (за исключением этого, у нее все было), охотно идет замуж за беззубого, безденежного аристократа. Вместе с родными она обсуждала выгоды такого брака и торопила с его оформлением,— де Фонтене для нее был неизбежной ступенькой к славе и соблазнительным приключениям. Сделавшись маркизой, Тереза внимательно изучает двор и знать. Мадам де Ментенон, любовница и впоследствии жена Людовика XIV, не раз тревожила холодное и властолюбивое воображение дочери банкира. Но Людовик XVI, рыхлый, как сдоба, не замечал женщин. Тучный обжора, слабовольный, но упрямый дурак, он был лишь постоянной мишенью для насмешек, и Тереза,

внутренне бесясь, поняла, что лавров королевской фаворитки ей не добыть. Двор не оправдал ее авантюристических надежд. Бесконечные балы, любовные интрижки, мало льстившие требовательному самолюбию Терезы, скоро приелись. Незадолго до революции маркиза де Фонтене, падкая на все модное, попробовала развлечь себя либерализмом, впрочем, не без корыстолюбивых побуждений. Ей хотелось приблизить отца, ловкого финансиста, к делам катастрофически нищающего королевства. В эту пору ее нередкими гостями были Лафайет, братья Ламет, жаждавшие конституции. Безвестный швейцарец Неккер на глазах Терезы приобрел влиятельность, а его дочь, мадам де Сталь, далеко не такая красивая, как дочь господина Кабаррюс, прославилась как умнейшая и талантливейшая женщина Франции. Вот достойные зависти образцы для Терезы. Планы и надежды эти, однако, разрушил 1789 год.

Революция повергла маркиза Фонтене в смертельный страх, и однажды ночью он, не в силах переносить далее боязни, решился бежать из Франции. Тереза не могла сдержать веселого смеха, глядя на мужа, возбужденно шагавшего по нарядной спальне. У маркиза Фонтене не было зубов, и от страха у него дрожали только толстые, липкие губы, издавая при этом странный, шлепающий, как туфли, звук. Кутаясь в халат и теребя несколько волос на макушке, старик рисовал перед женой страшные картины будущего, когда «чернь» разграбит их поместья, сожжет дома и повесит господ на фонарях. Де Фонтене воспринял куплеты «Карманьолы», которые слышал на улице, как предсказание для аристократов. Терезе, однако, беспокойная Франция, принесшая власть и славу таким людям, как Лафайет, Мирабо, Бальи, казалась занимательнее, нежели эмиграция и родная Испания, где предстояло жить с надоевшим мужем в безвестности изгнанников.

Де Фонтене, жалкий, будто струсившая облезлая мышь, переодетый простолюдином, перебрался за границу. Тереза предприняла первую попытку выступить на политическом поприще. Она назвалась малоизвестной фамилией отца — Кабаррюс — и, отрекаясь от мужа, объявила, что «старый, развратный тиран, аристократ» покинул ее и бежал к контрреволюционерам. Свои собственные убеждения она изложила в петиции, прочитанной ею в Конвенте. Эта петиция была проникнута напыщенностью, фальшью и умеренностью.

«Граждане представители народа,— взывала Тереза Кабаррюс,— так как нравственность более чем когда-либо является предметом ваших великих совещаний, так как каждая из партий, которую вы побеждаете, все с новой силой приводит вас к столь плодотворной истине, что добродетель является жизненным содержанием республик и что добрые нравы должны сохранять то, что создано народными учреждениями, то не следует ли думать, что ваши глаза с великим интересом обратятся на ту часть человеческого рода, которая имеет столь большое значение. Горе женщинам, которые, игнорируя прекрасное назначение, к которому они призваны, будут лицемерно высказывать бессмысленное желание присвоить себе преимущества мужчин, чтобы освободить себя от своих собственных обязанностей. Они лишаются таким образом добродетелей своего пола и не в состоянии приобрести добродетелей другой половины человечества.

Было бы справедливо, чтобы во имя природы женщинам разрешили пользоваться теми же политическими правами, которые дают жизнь всем важным решениям и социальным планам.

В республике все, конечно, должно быть республиканским, и ни одно существо, обладающее здравым смыслом, не может, не покрывая себя позором, отказаться от служения отечеству. Вы, наверное, разрешите женщинам занимать должности в области народного просвещения, так как они ведь не помирятся с тем, что с ними не считаются, когда речь идет об уходе за детьми и особенно о воспитании детей, не имеющих матери.

С чем, однако, я сегодня предстала перед вами, полная величайшего доверия? Я требую почетного преимущества: чтоб женщин призвали во все священные убежища несчастья и страданий, чтобы доставить утешение и заботливый уход всем, достойным сожаления. Мне кажется, что эти учреждения являются самым подходящим местом для девушек в годы их учения, прежде чем они становятся женами. Повелите же, народные представители,— мы заклинаем вас,— чтобы все молодые девушки должны были проводить известное время в приютах бедности и страданий, должны были оказывать помощь несчастным и упражняться в тех добродетелях, которых общество имеет право требовать от них.

Граждане народные представители, та, которая в эту

минуту преклоняет перед вами свой ум, свои самые искренние чувства, еще молода, ей двадцать лет. Она мать, но уже не супруга. Все ее стремление, все ее счастье — иметь возможность одной из первых предаться этой чудной, восхитительной деятельности.

Соблаговолите с интересом принять это горячее пожелание, и да станет оно благодаря вам желанием всей Франции».

Конвент равнодушно выслушал этот адрес.

Париж привык к подобным заявлениям и не интересовался бывшей маркизой. Эта неудача отпугнула избалованную, самоуверенную искательницу приключений, у которой был изрядный запас наглости, но отсутствовало мужество. Добрые патриоты ей инстинктивно не доверяли. Друг Терезы — Лафайет позорно сошел с исторической сцены, Мирабо умер, но подготовляющееся предательство его обнаружилось; началась свирепая борьба с монархистами. Тереза Кабаррюс увидела, что революция не заманчивое приключение, много обещающее женскому тщеславию. Маркиз Фонтене, ее отец граф Кабаррюс были далеко, оставшиеся припрятанные драгоценности и деньги подходили к концу. На границе Франции сражались революционные армии, бежать было опасно. Струсившую Терезу поглотила одна мучительная мысль — как бы уцелеть, любой ценой сохранить жизнь.

В 1793 году она уезжает в Бордо, надеясь пробраться к испанской границе, с помощью отца покинуть Францию. Революция не оправдала ее надежд!

Желая отвести от себя естественные подозрения, бывшая маркиза старается участвовать в общественной жизни Бордо. Наиболее невинной и безопасной кажется ей педагогическая деятельность. Она составляет для одного из братских обществ доклад «О воспитании», предлагая ввести обязательное обучение в школах. Изучив историю Спарты и Афин, Тереза толково и занимательно, приводя исторические примеры, доказывает пользу физических упражнений в школах. Ее доклад имеет заслуженный успех — дочь банкира Кабаррюс действительно способная женщина. Недаром ее отец спокоен, считая, что дочь не пропадет... даже «при господстве черни».

Патриоты Бордо хоть и чуждались бывшей аристократки, но отдавали дань ее величественной красоте. В дни революционных праздников именно гражданка Ка-

баррюс приглашена изображать аллегорическую Свободу. Комиссар Конвента Тальен не отрывает глаз от бывшей маркизы, медленно шествующей в белой тунике, с распущенной черной косой, вскинувшей патетически руки, впереди праздничной революционной толпы. Тереза Кабаррюс улавливает и оценивает это восхищение. Тальен ей безразличен, но необходим. В Бордо его власть, власть доверенного представителя Конвента, безгранична. Маркиза Фонтене, отбившаяся от «своих» эмигрантов и контрреволюционеров, тщетно пытавшаяся примазаться и развлечься революцией, слишком трусливая, чтобы стать потом открытым ее врагом, обрадовалась неожиданному поклоннику, как спасению, как возможности не бояться отныне стука в дверь ночью, в час обычных арестов поры террора.

Не прошло и месяца, как гражданка Кабаррюс приобрела прежнюю самоуверенность, при случае подчеркивая дружбу с самим Тальеном. Терезе повезло, комиссар Конвента не был ни проницателен, ни настолько предан революции, чтобы не делать больших и малых подлостей. Это был чрезвычайно честолюбивый карьерист, легко поддающийся чужому влиянию, трусливый, мстительный, стремящийся «хорошо пожить», случайный чиновник революции. Бесконтрольная власть в провинции окончательно его изуродовала. Тереза Кабаррюс знала людей и умела использовать их недостатки. Тальен делал все, что она хотела. Тереза ловко вмешивается в дела своего «друга», главным образом ходатайствуя об уцелевших сомнительных знакомых.

По прошествии нескольких месяцев в Париже стали известны темные делишки, творящиеся в Бордо. Желая оправдаться, Тальен попытался изобразить революционную ретивость: усилил террор, надеясь расправой с «подозрительными» доказать свою преданность Конвенту. Но Робеспьера и Комитет общественного спасения трудно было обмануть. В Париже, куда Тереза уехала вслед за вызванным в столицу Тальеном, ее арестовали. Неподкупный приписывал главным образом влиянию бывшей маркизы недопустимые поступки Тальена.

В тюрьме Ла-Форс Терезе Кабаррюс отвели одиночную камеру, лишенную всякой обстановки, кроме соломенного матраса, из которого, жестоко царапаясь, вырывались сухие стебли. Тюремный режим был очень строг,

никакие уловки, попытки подкупа и притворства заключенной не действовали на тюремную администрацию. Тереза в бешенстве металась по темнице, осыпая Тальена мало льстящими ему эпитетами. Ах, если бы только повидать его и воспользоваться своей над ним властью. Бездеятельность воскрешала перед молодой испанкой прошлое. В сущности, отчего против нее так ополчились? — недоумевала она. Никогда дочь финансиста, бывшая маркиза, не стремилась всерьез играть политическую роль. Ее принцип был любить, веселиться, «быть могущественной повелительницей, но не соперницей мужчин». Разве красота с детства не обеспечивала ей этого? В Бордо через Тальена она спасала от эшафота тех, кто когда-то украшал ее салон, кто приятно волновал ее лестью и восхищением, танцевал с нею на балах в Версале, присылал по утрам зимой корзины васильков, лютиков, ромашек. Какое дело Терезе до того, что теперь эти люди — шпионы Питта, враги революции. Маркиз де Паруа говорил маркизе Фонтене когда-то: «Ваши таланты всеобъемлющи, ваша доброта превосходит их, но ничто не может сравниться с вашей красотой». Такой изысканный комплимент, по мнению гражданки Кабаррюс, заслуживал того, чтобы автор его был спасен от эшафота. Конечно, Тереза любила наряды, танцы — все, что украшало и делало ее красоту неотразимой. Если революция лишила Фонтене богатства, то что же плохого в том, что Тальен отчасти возмещал потерянное, исполняя прихоти возлюбленной, хотя бы даже компрометируя тем себя и Конвент.

Вскоре режим арестованной изменился. Она получила возможность гулять по мощеному тюремному дворику. Тальен не забывал своей «жены», как он стал называть Терезу, хлопоча об ее освобождении; из окна расположенного напротив тюрьмы дома, где мать его для этой цели наняла комнату, он мог видеть Терезу и знаками переговариваться с узницей. Ему удалось наладить также кой-какую переписку с ней.

В тюрьме Ла-Форс заключенные не засиживались. Пропускная способность гильотины повышалась день ото дня. Крепкий палач Сансон едва управлялся с работой и жаловался на то, что не успевает пообедать, а детей своих не видит вовсе, уходя из дому поутру и возвращаясь ночью. Тереза понимала, что медлить нельзя, каждый наступающий день грозил ей смертью,— она старалась все-

лить в Тальена мужество и внушала ему мысль о расправе с Робеспьером, считая его виновником своего ареста.

В Конвенте в летние дни 1794 года выжидательно шушукались многочисленные недовольные. Тощий скептик, фанатический атеист Вадье, член Комитета общественной безопасности, потихоньку распространял компрометирующие Робеспьера слухи о мистицизме Неподкупного, желавшего будто бы возродить религию с помощью невежественной полоумной старушки, пророчицы Екатерины Тео, прозванной поклонниками «матерью божьей». Подозрительный и помнящий мелкие обиды Вадье давно учредил слежку за Робеспьером, не предполагая, впрочем, что и Максимилиан, в свою очередь, следил за ним. Взяточники и шкурники, будущие деятели Директории Баррас и Фрерон, опасавшиеся за целость своих голов, мечтали о том, чтобы низвергнуть безупречный триумвират — Робеспьера, Кутона и Сен-Жюста.

Поведение Робеспьера было выжидательным по тактическим соображениям. Вместо того чтобы, как хотели некоторые робеспьеристы, решительно перейти в наступление на проворовавшихся интриганов и опасных заговорщиков, отправив их по заслугам на эшафот, Максимилиан медлил и ограничивался лишь волнующими всех депутатов намеками, без прямых указаний, кто же виновные. Настроение страны и Парижа не обещало поддержки последовательным якобинским революционерам. Наиболее левые элементы городского населения, лишенные вождей, казненных весной 1794 года, озлобились против робеспьеристов, недовольная налогами и притеснениями крупная буржуазия оплакивала жирондистов, в парижских секциях Коммуны развивалось пагубное равнодушие и неверие. Разбогатевший на революции жулик, мот, политический интриган Баррас один из первых попытался, не без успеха, повести тайную агитацию за свержение «тирана Робеспьера» среди членов «болота», которое было решающей, но дремлющей силой Конвента. Зорким глазом он определял своих союзников в среде депутатов. Тальен был отмечен одним из первых.

Бывший комиссар Конвента являл собой в первых числах термидора жалкое зрелище. Любовь и боязнь бросали его от одного настроения к другому. Он ненавидел Робеспьера тем более сильно, что боялся его. Баррас без труда выяснил все касавшееся Тальена и Кабаррюс, сооб-

разив, на что способен в качестве заговорщика этот обезумевший от страсти трус. Желая заставить Тальена действовать, Баррас убедил его, что Тереза будет казнена не позже 10—12 термидора. За кружкой вина он посвятил Тальена в план низложения Робеспьера, уверив его, что на стороне заговорщиков большинство Конвента.

Седьмого термидора Тальен получил письмо от Терезы, которое окончательно разрубило ниточку его колебаний.

«Только что от меня ушел полицейский комиссар. Он пришел известить меня, что завтра я должна буду предстать перед Революционным трибуналом, то есть пойти на эшафот. Это мало походит на тот сон, который мне приснился сегодня ночью: Робеспьер будто бы перестал существовать, и двери тюрьмы открылись. Но благодаря исключительной трусости французов во Франции скоро не будет человека, способного осуществить мой сон».

Баррас, Фрерон, Вадье, Колло д'Эрбуа и Тальен, главари подготовляемого переворота, ждали заседания Конвента 9 термидора как дня решения их участи. Накануне 9 термидора Тальену удалось бросить во двор тюрьмы, где гуляла Тереза, записочку следующего содержания:

«Милостивая государыня, будьте столь же осторожны, как я буду мужествен, и думайте о том, чтобы вернуть себе спокойствие духа».

Утром 9 термидора Тальен с решимостью самоубийцы (он мало верил в успех термидорианской затеи) осмотрел кинжал, который согласно разработанному заранее плану должен был выхватить из-за пояса во время своей речи в Конвенте, угрожая заколоть Робеспьера. Подумав «для бодрости» о Терезе, он содрогнулся при мысли, что ее восхитительная голова может оказаться в сырой корзине Сансона. В Конвенте Баррас, как всегда свежевыбритый и одетый нарядно, послал ему ободряющий взгляд, хоть сам едва сдерживал дрожь в коленях. Спокойным казался лишь сухопарый Вадье, прогуливавшийся будто без цели среди скамей депутатов.

Разыгравшаяся в Конвенте трагедия превзошла ожидания термидорианцев — «болото» всколыхнулось и погубило Неподкупного. Тальен «был подобен богу», по мнению Барраса, когда потрясал гораздо лучше, чем дома, во время репетиции, своим новеньким кинжальчиком, рыча: «Смерть тирану!»

Десятого термидора, в час смерти Робеспьера, Тереза Кабаррюс вышла из тюрьмы Ла-Форс. Влюбленный Тальен, «герой дня», вместе с галантным Баррасом и толпой вынырнувших из подполья приверженцев «нового режима» приветствовали бывшую маркизу Фонтене у ворот тюрьмы. Любезные термидорианцы, очарованные Терезой, твердили наперебой, что именно ей страна обязана «освобождением». Это она вдохновила Тальена на подвиг. Какой-то светский повеса назвал красавицу «Богородицей Термидора», и прозвище это стало неотъемлемым титулом молодой госпожи Тальен (Тереза поспешила обвенчаться с Тальеном в Париже).

Наступили «золотые дни» в жизни Терезы. Директория, вернее директора, и галантные поклонники госпожи Тальен короновали ее царицей красоты, изящества, мод. Перед «избушкой», как называла Тереза свой нарядный особнячок в Шайо, до самых пустынных тогда Елисейских полей каждый вечер растягивались кареты, кабриолеты, шарабаны. «Золотая молодежь», богатые легкомысленные женщины, жаждущие, как и Тереза, веселья после «тяжелого поста — революции», дельцы, политики, правители стремятся побывать в салоне Тальен,— одни, чтобы порисоваться туалетами, пофлиртовать и потанцевать, другие, чтобы устроить дела, повидать «нужных людей». Госпожа Тальен, конечно, ни в чем не превзойдена, никто не может равняться с ней в изысканности, оригинальности и смелости туалета. То она появляется одетая по рисунку Давида, наподобие Прекрасной Елены. Легкая полупрозрачная туника, схваченная двумя камеями по плечам, небрежно падает к ногам, обутым в золотые греческие сандалии. Сбоку от бедра до ступни туника разрезана. Фатоватые юнцы в взлохмаченных париках «под отрубленные головы», с пышными бантами на шеях и пискливыми хлыстиками в руках, жадно разглядывают упругую тонкую ногу Терезы. Иногда мадам Тальен приезжает на балы одетая вакханкой. В белокурый парик (моду на парики разных цветов ввела она) вплетены небывалые атласные цветы, платье настолько прозрачное, что позволяет различить тело, одна грудь как бы случайно обнажена. Парижанки не поспевают подражать своей «королеве», даже артистка Ланж, виконтесса де Богарне и прекрасная Рекамье признают себя побежденными в этом постоянном соревновании вкуса и изобретательности.

В пору начала власти Директории в Париже вошли в моду салонные политические заговоры, похожие на водевильную забаву или потешный маскарад. Тереза не отставала и в этом занятии. Она примкнула к нескольким светским истеричкам, расфуфыренным буржуазным сынкам и трясущимся старичкам, для которых течение жизни остановилось при Людовике XV, объявлявшими себя сторонниками возведения на французский престол испанского короля. Госпожа Тальен рассчитывала в случае осуществления этого достаточно беспочвенного плана добыть портфель королевского министра своему отцу графу Кабаррюс. В парижских салонах заговорили о ночных сборищах заговорщиков-монархистов, в числе которых находилась и жена Тальен. Напуганная Тереза поспешила ретироваться, так как заманчивая интрига грозила превратиться в неудобный скандал. С той поры госпожа Тальен потеряла навсегда охоту претендовать на политическую значимость и вполне довольствовалась безраздельной властью в салонах.

В течение года после 9 термидора положение Тальена заметно пошатнулось: слишком революционное прошлое, казни аристократов в Бордо, родственники которых снова появлялись в Париже и приобретали влиятельность. Шквал реакции относит Францию вправо, подготовляет империю и реставрацию Бурбонов. Тальен сделал свое дело и больше не нужен. Баррас, стремясь удержаться у власти, охотно жертвует бывшим другом. Термидорианцы Фрерон, Вадье, Тальен оказываются слишком подозрительными для новой эпохи, приход которой они подготовили, и лучшие из них, как Колло д'Эрбуа, кляня свое безумие и преступление перед якобинцами, пытаются восстать и кончают жизнь на каторге, на «сухой гильотине» — в Кайенне. Видя, что Тальен теряет политическое влияние и власть, Тереза не медлит с выводами и оставляет его, забирая с собой маленькую дочку по имени Термидор. Она живет в подаренном ей доме под покровительством элегантного Барраса. Жизнь ее мчится прежним темпом в увеселениях, флиртах, трудных измышлениях все новых и новых украшений и туалетов. Но расчетливый Баррас не склонен содержать чрезмерно расточительную любовницу, он с удовольствием передает ее Уврару, одному из отъявленных спекулянтов и скупщиков, бешено нажившихся на голоде революционных лет.

После безобразного маркиза Фонтене, тусклого эгоиста Тальена, откормленного циника Барраса возле Терезы оказался коротконогий чванливый Уврар. «Избушку» сменил дворец с толпой слуг, с английскими полукровками и новенькими каретами в конюшнях. Каждый год на протяжении пяти лет Тереза рожает Уврару детей, и предусмотрительный банкир тотчас же отсылает их в деревню к надежной кормилице. Иногда госпожа Тальен отправляется в дальнюю деревню, чтобы потрепать их розовые щечки.

В числе близких друзей Терезы — генерал и генеральша Бонапарт. Госпожа Тальен не без оттенка покровительственности любит Жозефину, менее красивую, чем она, но такую же праздную и жадную до развлечений. Ранее Тереза увлеченно помогала Баррасу, которого слегка ревновала, просватать обедневшую виконтессу за талантливого корсиканца-генерала. Во время Египетского похода, куда с Бонапартом поехал отставленный от государственных дел Тальен, Жозефина — частый гость в доме Терезы. Подруги проводят долгие часы на удобных кушетках, рассматривая себя в зеркала, вскрикивая при виде новой морщинки, поверяя друг другу свои однообразные, большей частью любовные тайны. Тереза уже слегка пресыщена слишком пышной и пустой жизнью, в то время как темпераментная Жозефина, живущая небогато, развлекающаяся неразборчивыми чувственными интрижками, тянется к роскоши. Иногда Тереза напоминает Жозефине о своем знакомстве с Наполеоном. Как-то вскоре после осады Тулона к ней явился незнакомый офицер. Подобных посетителей бывало в приемной госпожи Тальен так много, что она почти его не разглядела. Описав свою нужду и заслуги и показав прорванный на локте рукав куртки, проситель сказал: «Гражданин Тальен всемогущ, не может ли он помочь герою Тулона получить кусок сукна по твердой цене?» Госпожа Тальен обещала походатайствовать у мужа и через несколько дней доставила Бонапарту сукно. Впоследствии он стал гостем ее салона.

Уже в конце девяностых годов внимательная к себе красавица Тальен, замечая в темных волосах одинокий седой волос, белый, как лунный луч на черном ковре, начала подумывать о том, чтобы прочно обосновать свою жизнь, выйти сызнова замуж за богатого, солидного, как ее отец, человека и уехать в поместье. Содержавший ее

банкир Уврар не казался ей подходящим для такой цели.

Лишь в 1805 году она осуществила свое намерение и вышла замуж за графа Карамана, впоследствии получившего от Наполеона титул принца де Шиме. К свадьбе Наполеон прислал Терезе поздравление, а Жозефина, недавно коронованная императрицей, даже удостоила ее посещением. Но приглашения в императорский дворец принцесса де Шиме никогда так и не получила. Бывшая жена Тальена, подруга Барраса даже под другой фамилией не подходила к императорскому двору. Это было постоянным огорчением «Богородицы Термидора», и утешилась она лишь в пору реставрации Бурбонов, к ней благосклонных.

«Моя жизнь — изумляющий роман»,— говорила в тридцатых годах прошлого века седая старушка, уединенно проживавшая в своем поместье Шиме.

В 1834 году к ней съехались дети: седой маркиз де Фонтене-младший, похожий на своего отца, пожилая дочь Тальена — Термидор, олицетворявшая дни былой славы, сыновья Барраса и банкира Уврара и, наконец, три молодых принца де Шиме.

В сентябре, вскоре после смерти «Богородицы Термидора», Париж опять заговорил о ней. Трое детей Уврара, записанные Терезой под фамилией Кабаррюс, затеяли процесс, требуя предоставления им права на титул принцев Шиме. «Законные» дети принца, не желая упускать наследство, протестовали. Так как умерший в нищете и забвении в 1820 году бывший комиссар Конвента не отрекся от детей Терезы, родившихся до формального ее развода с ним, то суд присвоил сыновьям Барраса и Уврара фамилию Тальен, отклонив их претензию стать принцами.

Это была злостная судейская шутка — имя Тальена давно стало позорным клеймом, которое уже на склоне дней всячески старалась отмыть престарелая принцесса. Нашумевший судебный процесс в последний раз напомнил ступени, по которым прошла ее жизнь: от маркиза Фонтене к якобинцу Тальену, потом через главу Директории Барраса к миллионеру Уврару и от Уврара к принцу Шиме. Эти этапы замечательным образом точно отражали кривую нисхождения великой революции — Тереза Кабаррюс ухитрилась прожить свою жизнь в соответствии с политическими веяниями.

## ЖОЗЕФИНА БОНАПАРТ

Если и теперь острова в Карибском море кажутся экзотически прекрасными и тревожат фантазию европейца, тем более в XVIII веке остров Мартиника, сулящий богатство, таинственный, далекий, являлся естественной приманкой. Франция в течение пятидесяти лет упорно боролась с Англией за Мартинику. Находилось немало искателей приключений, прокутившихся аристократов, которые последнюю ставку ставили на тропический плодородный остров и оседали на Мартинике в качестве плантаторов. Руки черных рабов и плодоносная земля очень скоро пополняли опустевшие карманы колонизаторов. Один из них, Жозеф Таше де ла Пажери, был владельцем сахарной плантации, на которой, кроме наемных рабочих, трудились лично ему принадлежавшие двадцать рабов. Плантатор женился на красивой туземке, и в 1763 году родилась у них дочь Мария-Жозефина-Роза Таше де ла Пажери. Маленькую креолку передали на попечение нянь-туземок, и девочка росла среди суеверных, насильно окатоличенных язычниц в своеобразной обстановке большого дома плантатора.

Воспитываясь без надлежащего присмотра, Роза оставалась в большой мере невежественной. Она не была мечтательной — гигантские деревья, подавляюще пышная растительность, тропические ливни не тревожили воображения девочки, суеверия ее были грубы, ум — практический и трезвый. Унаследовав от отца чувственность, рано развившись физически, Роза тянулась к любовным удовольствиям.

В семье де ла Пажери в годы отрочества Розы жил бывший на несколько лет старше ее Александр де Богарне. Его отец, маркиз де Богарне, был в течение долгого времени губернатором Мартиники. Любовь к тетке Розы госпоже Реноден сблизила де Богарне с Таше де ла Пажери. Когда англичане в первый раз захватили у французов остров, маркиз бежал во Францию. Он оставил Александра на Мартинике, но взял прекрасную Реноден с собой в Париж. Виконта Александра отвезли во Францию учиться, когда Розе минуло девять лет. Обучение девочки было кратким и поверхностным. Врожденное кокетство и легкомыслие внушали тревогу ее отцу, и, воспользовавшись приглашением госпожи Реноден, плантатор отпустил пятнадцатилетнюю дочь к тетке.

В Париже тетка Реноден, не откладывая, принялась за осуществление своего давнишнего желания: женить сына маркиза де Богарне на красивой племяннице. Прежний друг детских лет Розы превратился к этому времени в неглупого молодого офицера. Под влиянием своего наставника Александр проникся передовыми идеями, боготворил Вольтера и Руссо. Подобно Лафайету, он участвовал в американском походе и, подобно Бриссо, будущему вождю Жиронды, стал в Америке квакером. Александр грезил о революции, вращаясь при этом, благодаря титулу, в «высшем свете» королевской Франции и легко завоевывая благосклонность красавиц Парижа. Креолка с Мартиники, бойкая провинциалка, мало чем привлекала Александра, однако тонко затеянная игра госпожи Реноден, сентиментальные воспоминания детства и уговоры отца повлияли на податливого виконта.

К огромной радости Розы, в 1779 году она стала виконтессой де Богарне. Очень скоро, впрочем, обнаружилась непрочность этого союза. Равнодушие и пренебрежение к Розе все усиливались у Александра.

В 1781 году, после рождения сына Евгения, отношения между виконтессой и мужем значительно обострились, и Александр уехал в Италию, оставив жену в доме старого маркиза. Во время его отсутствия госпожа Реноден посвящала Розу в секрет того, как «повелевать мужчинами» и нравиться в светском обществе. Стареющая опытная красавица под брюзжание подагрического маркиза и треск сгорающих в камине поленьев рассказывала Розе веселые подробности своей жизни. Но школа тетки не

помогала,— едва Александр вернулся, семейные недоразумения начались с прежней силой. Виконт охотно вновь уезжает на Мартинику — воевать с англичанами. В эту же пору у виконтессы родилась дочь Гортензия, и она восторженно отдалась радости и заботам материнства. Детей своих Роза любит страстно, по-звериному, ревниво оберегает их.

Вернувшись с Мартиники с молодой возлюбленной, Александр решает ликвидировать свой брак. На добровольный разрыв Роза не согласна, и настойчивый виконт Богарне затевает судебный процесс, требуя разделения имущества и обвиняя виконтессу в безнравственности и неверности.

Католический брак нерасторжим, но аристократический суд может разделить супругов. Роза благоразумно надевает на себя маску смирения и уезжает с детьми в монастырь. Она с большим умением разыгрывает «оскорбленную невинность» и очаровывает напудренных старцев судей. Ее признают «добродетельной», присуждают большую ренту и оставляют детей.

Торжествующая виконтесса, вполне обеспеченная материально, свободная, безупречная в общественном мнении, спешит наверстать потерянное в стенах монастыря время.

Прогулки верхом, пастушеские идиллии, томные вздохи и легкий флирт, мечтания и откровенный разврат царят в среде, где вращается виконтесса. Но Роза еще не отшлифована: она слишком громко смеется и любит чрезмерно яркие наряды, ее находят в «свете» невоспитанной и болтливой. Дочь плантатора с Мартиники, почувствовав это, уезжает с детьми на остров к родным. Там она уверенной хозяйкой обходит плантации, подсчитывает барыши от продажи сахарного тростника, командует на заводах отца, целуется с офицерами гарнизона, гадает с рабынями и скучает по Парижу.

Так проходят три года, пока корабли из Франции не привозят вести о революции. На Мартинике начинается восстание рабов. Испуганная плантаторша поспешно возвращается в Париж, где Александр де Богарне, избранный дворянами в Генеральные штаты, голосовавший с третьим сословием, уже популярен в предместьях. Виконтессу он встречает дружелюбно и бывает частым гостем в ее квартирке. Гражданин Богарне в этот период целиком

охвачен фанатической страстью к революции. Поверхностный, но искренний, он влюблен в революцию, как в женщину: ей он верен, ради нее одевается как истый санкюлот, перебарщивая в количестве трехцветных кокард.

Розу Богарне революция мало интересует, но она быстро замечает, что цена денег падает, что привозимый из Индии ее любимый полосатый муслин дорожает, что Александр Богарне добился власти и окружен могущественными людьми. Ее мечтой становится создать блестящий салон. Франция XVIII века культивирует женские салоны: куртизанок, фавориток короля, знатных дам. В эпоху революции аристократическим салонам демократия противопоставляет клубы — «салоны» бедняков. Клубы якобинцев, огромной сетью раскинувшиеся по Франции, погибнут вместе с поражением революции, и салоны начнут возвращать свое политическое влияние, опираясь на реакцию. Салон Розы Богарне был, однако, всего-навсего изящной светской гостиной, которую благодаря Александру Богарне, ставшему вскоре руководителем Учредительного собрания, посещали депутаты Собрания, комиссары провинции и молодые полководцы. Так завязала она впоследствии значительные для ее жизни знакомства с Тальеном и Баррасом.

Торжество якобинской партии оказалось роковым для политической карьеры свободомыслящего дворянина, каким оставался Александр Богарне. Конвент в момент тяжелого положения на фронте назначает его, как революционного генерала, командующим Рейнской армией. Но, философ и резонер, генерал Богарне не оправдывает своей репутации участника революционной войны в Америке и теряется в сложной обстановке отрезанной противником армии. Он сдает Майнц и получает отставку. В Париже свирепствуют обостренная партийная борьба и террор. Казни заподозренных в измене генералов следуют одна за другой. Не имея надежды на спасение, генерал Богарне приезжает в Париж. Он фаталистически ждет ареста и спокойно уходит в тюрьму. Хорошенькая Дельфина де Кюстин, ожидающая, как и он, эшафота, становится его последним увлечением.

Понимая, что, подобно другим женам обвиненных в измене аристократов, она будет арестована, госпожа Богарне энергично готовится к тюрьме и устраивает детей.

Мальчика отдает будто бы в учение к столяру, дочь — к портнихе. Все это, впрочем, фикция: дети будут на попечении верной гувернантки, как и крошечная собачка Фортюне. По-видимому, виконтесса относилась к происходящему, как к урагану, который видела в детстве. Сносило дома, уничтожало богатство плантатора, погибали люди, однако со временем все восстанавливалось, и попрежнему свистал хлыст в руках ее отца и надсмотрщиков.

Прочитав небрежно приказ об аресте, Роза поцеловала детей и, напевая, пошла в тюрьму Карм. В ее узелке, давно приготовленном, было немного белья, много пудры, были пуховка и помада для губ — предметы, наиболее необходимые в обиходе виконтессы Богарне.

Парижская тюрьма Карм, сырая и мрачная, в 1794 году была охвачена, подобно другим домам заключения, любовным безумием. Мужчины и женщины, не отделенные друг от друга, жили в чувственном чаду, ожидая с минуты на минуту вызова в Трибунал и оттуда на гильотину. Боязнь одиночества, страх смерти, у женщин надежда на беременность, отсрочивающую казнь, бросали незнакомых, чуждых людей друг к другу. Они отдавались страсти безудержно, оправдывая мимолетные связи и эротические оргии лязгом ножа гильотины, который пугал их неотступно. Аристократы, ремесленники, менялы, знатные сердцеедки, солдаты переполняли тюрьмы. Злостный контрреволюционер и эбертист, истерическая дама-мистичка, расстрига поп, поэт, торговец, герцогиня, перемешанные вместе, угрюмые или неестественно веселые, ждали смертного часа. Роза Богарне в этой человеческой гуще столкнулась с храбрецом генералом Гошем, меланхоличным и суровым. Роман их был типично тюремным: стремительный, лишенный любви, слов, ничем, кроме призрака гильотины, не внушенный. Когда после Термидора тюрьмы выплюнули заключенных, Гош, надежда и опора Директории, с озлоблением и отвращением вспоминал о своих отношениях с госпожой Богарне. Наполеон, однако, судя по его письмам и воспоминаниям современников, забывая о многочисленных связях своей жены, болезненно ревновал ее именно к Гошу.

Пятого термидора был казнен Александр Богарне. Он умер твердым атеистом; его последнее письмо семье полно поучений и торжественного самолюбования. Прибли-

жался финал и для Розы, но 9 термидора принесло ей освобождение.

Гильотина работает по-прежнему на площади Грев, но отныне падают иные головы; тюрьмы очищают, чтобы заполнить их новыми заключенными — членами парижской Коммуны, якобинцами, робеспьеристами. Героем дня ненадолго становится Тальен, один из вождей термидорианского переворота. С его женой, Терезой Кабаррюс, Роза Богарне сблизилась, и теперь, после избавления от тюрьмы и гильотины, мадам Тальен приглашает «прекрасную креолку» к себе, учитывая, каким украшением ее «избушки» она может явиться.

Сближение мадам Богарне с всесильным диктатором Баррасом несколько улучшило ее пошатнувшиеся финансовые дела, но расходы росли непомерно. Париж распоясавшейся «золотой молодежи» и очаровательных доступных женщин веселился и сорил деньгами. Госпожа Богарне должна была всячески изворачиваться, чтоб внушительных денежных сумм, получаемых от Барраса, хватало на ту жизнь, которую она избрала. Моды менялись ежедневно, шали, туники, котурны, сложные и тонкие платья по рисункам Давида стоили невероятных денег. Парики, драгоценности, лошади и экипажи — все это было необходимостью. Ловкая госпожа Богарне не без труда удерживалась в ряду «элегантных звезд» — госпожи Тальен, Рекамье и Ланж.

В своих мемуарах Баррас с хвастливой откровенностью заявляет, что подсунул надоевшую любовницу простачку Бонапарту в расчете оказывать на него влияние в интересах Директории. Так ли это было или нет, но Баррас, во всяком случае, поддерживал устройство этого союза и помогал госпоже Богарне принимать застенчивого генерала с показной роскошью.

Познакомилась госпожа Богарне с Бонапартом случайно. Сын ее, Евгений Богарне, обратился к Наполеону с просьбой возвратить ему конфискованную по постановлению Конвента отцовскую саблю. Он добился личного свидания с генералом, и просьба его была удовлетворена. Госпожа Богарне сочла нужным отблагодарить Бонапарта, тем более что это было удачным предлогом для знакомства. Шурша шелками и внося с собою крепкий аромат модных духов, она появилась в канцелярии командующего войсками Парижа. Легко себе представить, как эта

искусная кокетка, тщательно проверив дома перед зеркалом наиболее неотразимые взгляды и улыбки, пустила в ход весь арсенал средств для прельщения неуклюжего ободранного фронтовика, которому приходилось прибегать к протекции госпожи Тальен, чтобы выхлопотать отрез сукна на новый костюм. Она добилась, к радости Барраса, очень многого. Бонапарт появился в уютном домике на улице Шантерен и вскоре стал постоянным посетителем и близким, интимным другом госпожи Богарне, которую, предпочтя это имя ее другим именам, стал называть Жозефиной, взамен Розы, как ее звали с детства. Бонапарт был беден и ничего не мог дать Жозефине. Вино в ее погребок, дичь, фрукты, столовые сервизы и белье — все это поставлялось Баррасом, получавшим от Жозефины полезные для Директории сведения об опасном генерале. Жозефина не любила Наполеона и не раз удивлялась, что интересного находит Баррас в маленьком, часто грязном корсиканце, таком невежливом, неизящном. Ее злили его манеры фронтового солдата, его грубые шутки и ласки. Но Баррас был высокого мнения о Наполеоне и побаивался его влияния, богатые парижане наперебой его приглашали, газеты превозносили, и Жозефина не могла не ценить этого.

Когда влюбленный, терзаемый ревностью Наполеон предложил ей обвенчаться, желая этим упрочить их отношения, Жозефина не колебалась: она была бедна, несмотря на внешний блеск, опутана долгами, выход замуж за революционного генерала прочно страховал ее, вдову казненного аристократа, от преследований или придирок нового режима. Очарованный Наполеон не без удовольствия отмечал знатный титул и светский такт красивой любовницы. Брачный контракт Наполеона и Жозефины полон сознательных неточностей и выдумок; ради Жозефины, которая была на шесть лет старше Бонапарта, неправильно указаны годы брачащихся: Наполеон прибавил себе два года, Жозефина сбросила четыре, и разница лет исчезла. Свидетелями гражданской брачной церемонии были Баррас и Тальен. Уже через два дня после свадьбы Бонапарт отправился в Итальянский поход. В частых письмах с фронта он не перестает умолять Жозефину приехать к нему. Эти письма, полные страстного бреда, свидетельствуют о необузданной, чувственной любви к жене. Он ревнует, болезненно подозревает ее в из-

менах, опять и опять вспоминает их поцелуи и ласки. Между тем Жозефина не отказывается ни от одной случайной любовной интрижки и едет к Наполеону лишь из-за желания поразвлечься, но отнюдь не гонимая тоской. Кроме того, шумные победы Бонапарта, популярность его имени, зависимость от него Директории — все заставляет Жозефину поверить в возвышение Наполеона и предстоящее соблазнительно блестящее будущее.

Скользя по кровавым полям сражений, точно по ковру светской гостиной, Жозефина разъезжает по Италии. Ее осыпают подарками, окружают восторженным поклонением молодые офицеры. Звон шпор и стройные мужские талии сводят ее с ума, но при всех своих частых увлечениях она, однако, не забывает в письмах в Париж с наибольшим восторгом описать полученное от Мюрата ожерелье и оценить стоимость очередного бала. И в то время как по Италии смерчем движутся войска Наполеона, Жозефина, образец современной буржуазки, неоднократно подсчитывает, во сколько обойдется имение Мальмезон, купить которое она хотела еще при жизни Александра Богарне.

Возвращение Наполеона из Италии было восторженно встречено парижанами. Чтоб отвести от себя подозрение директоров, растущее одновременно с завистью, он держится в тени, избегая оваций, и ведет замкнутый, подчеркнуто простой образ жизни,— генерал и генеральша Бонапарт бывают лишь у избранных друзей. В эту пору уже Наполеон через Жозефину следит за Баррасом.

Соединение тонкого политического расчета и полуфантастического военного замысла порождает в голове Наполеона план похода на далекий Египет. Свыше года отсутствует Наполеон, и все это время Жозефина предоставлена самой себе. Из итальянской армии в Париж вместе с ней приезжает штабной офицерик Ипполит Шарль. Пронырливый молодой человек легко втирается в дома богатых парижан, удачно помогает дамам в денежных операциях и сочетает в себе приятную чувствительность с деловым нюхом. В Венеции и Милане Ипполит Шарль носил шаль Жозефины и был чем-то вроде пажа генеральши; в Париже, по-прежнему не лишенный ее благосклонности, он становится чиновником для коммерческих поручений. Кроме непрерывно сменяющихся романтических

забав, о которых говорит Париж, Жозефина успешно поправляет материальные дела семьи и через Ипполита Шарля упрочивает сложные отношения с торговой фирмой «Компания Бодэн». Военные поставщики в эпоху Директории быстро и сказочно богатели, умело делясь своими миллионными барышами с Баррасом и близкими к нему людьми, игравшими роль негласных посредников и передатчиков. Жозефина удачливо принимала участие в проталкивании дел и элегантном вручении взяток. Ее собственные доходы растут за счет щедрых подарков и субсидий; давнишняя греза о дворце и имении Мальмезон становится выполнимой. Вместе с Ипполитом Шарлем она осматривает поместье, торгуется, покупает его и обставляет дом с вычурной роскошью.

Еще в Египте Наполеон узнает о проделках и поведении оставшейся во Франции жены. Не покупка Мальмезона или коммерческие затеи Жозефины раздражают генерала — эти качества он всегда ценил и будет ценить,— но слухи об Ипполите Шарле и длинном, приумноженном сплетней списке случайных любовников нестерпимы самолюбию Бонапарта. В Египте, измученный ревностью, неверием и разочарованием, он изживает любовь к Жозефине и твердо решает развестись с ней. Однако, возвратившись в Париж, он не осуществил этих намерений: связи и популярность Жозефины в кругах нужной Бонапарту старой и новой буржуазии Парижа явились существенным к тому препятствием, покаянные обещания жены и ласки ее укрепили решение Наполеона отказаться от предполагавшегося развода. Не до переустройства личных дел было первому консулу, пожизненному консулу, твердо идущему к короне.

Во время консулата Жозефина приобретает большое влияние. Она сохраняет простоту и доступность, снисходительна к чужим грехам и слабостям, но в нужных случаях умеет блеснуть величественностью и знанием этикета.

Через мужа и его приближенных она помогала в продвижении по службе, выхлопатывала доходные места, помогала добиваться звания и титула, но все это за большое вознаграждение.

Не забывая о своих выгодах, жена консула непрерывно занята накоплением. Ее сундуки полны тканей и драгоценностей, она любит дорогие подношения.

В Мальмезоне в эпоху консулата нередко устраивались музыкальные вечера и блестящие приемы. Кроме лучших итальянских вокалистов, гостей развлекал талантливый Тальма, о котором Наполеон язвительно заметил однажды, приведя слова Гете, что «пафос его требует дистанции». В Мальмезон Жозефина выписывала тропические растения и животных из жарких стран, стараясь окружить себя привычной с детства обстановкой. Но жена консула не была еще той исключительной мотовкой, какой она стала, будучи императрицей.

Наибольшим горем Жозефины была бездетность в браке с Наполеоном, и мысль о том, что это может стать причиной развода, ее постоянно преследовала. Чем больше ширилась слава Бонапарта, чем больше утверждались его власть и вытекающие отсюда почести и богатство, тем сильнее цеплялась Жозефина за звание жены Наполеона, в то время как он, давно уже ее не любя, с каждым годом все чаще изменял ей. Они поменялись ролями: равнодушие Жозефины, так мучившее некогда Наполеона, сменилось безудержной страстью и сценами ревности стареющей женщины. Особенно страшилась она того, что какая-нибудь из многочисленных фавориток, родив сына, займет ее место. Преследуя Наполеона слезами, вмешиваясь в его дела, укрепляя свои связи в Париже, выдав замуж дочь Гортензию за брата Наполеона — Луи, Жозефина старается застраховать себя от возможной отставки. Это ей удается в течение нескольких лет настолько, что в 1804 году Наполеон коронует ее императрицей. Накануне коронования Жозефина еще раз решает сделать невозможным развод Наполеона с нею — она прибегает к помощи церкви. Задобрив вызванного из Рима в Париж для коронации папу подарками, Жозефина сообщает ему о том, что не состоит в церковном браке с Наполеоном. Ночью вызванный папой Бонапарт был обвенчан с Жозефиной по всем правилам католицизма.

Коронованная императрицей, Жозефина бросается на казну страны, безумствуя в тратах, одурманенная возможностью все иметь и купить. И, как в течение ряда предыдущих лет, она не только бесцельно швыряет деньгами, питая страсть к мишурной роскоши, но и неустанно откладывает запасы в любимом Мальмезоне. Этот своеобразный дворец — смесь хорошей молочной фермы с позолоченным цирком—полон уродцами и выдрессированными

зверями. Императрица продолжает выписывать птиц из Австралии и Африки, животных из Азии, дрессировщиков со всего мира. Вместе с тем она занята и другими делами: сватовством, устройством браков. Наполеон создает новую знать, и Жозефина помогает французским буржуа, с женами которых дружна, получать титулы. Эта признательная и близкая к Жозефине парижская буржуазия поддерживала ее, когда встал вопрос о разводе, на который император, желая укрепить династию рождением наследника, в конце концов решился, и встречала новую императрицу с явным недоброжелательством.

Некрасивая, отмеченная вырождением Мария-Луиза Австрийская, одна из чистокровнейших принцесс Европы, конечно, нисколько не годилась в жены недавнему воину, императору, всячески старавшемуся загладить свое неродовитое происхождение, и не подходила к его двору, где очень часто под пышным титулом скрывался солдат либо лавочник, разбогатевший выскочка, подчас недавний член Конвента или раскаявшийся якобинец. Племянница Марии-Антуанетты, породнившая Наполеона с Бурбонами, Габсбургами и другими монархами, оставалась безнадежно чуждой честолюбивому императору и его многочисленным родственникам, награжденным большими и малыми тронами.

Жозефина подчинилась решению о своей отставке, лишь только поняла, что дальнейшие притворные обмороки, истерики и скандалы бесполезны и могут оказаться для нее невыгодными. Ей оставалось только одно: заявить, что она уходит в интересах Франции, которой нужно укрепление новой династии. Титул императрицы был ей оставлен, она получила громадную пенсию, Мальмезон и торжественно, не без театральности, покинула дворец Наполеона вместе со свитой.

Очутившись в своем имении, она, как всегда, полна деятельного безделия. В глубине души императрица считает, что разрыв с ней — роковая для Бонапарта ошибка. И когда через четыре года в Мальмезоне становится известным поражение и отречение Наполеона от престола, Жозефина видит в этом подтверждение своих мудрых прорицаний.

Она искренне верила, что предприимчивый корсиканец, сделавший такую фантастически быструю карьеру, не сумел оценить ее должным образом. Своим связям,

своему содействию приписывала Жозефина его назначение в итальянскую армию; и после, в день 18 брюмера, полулежа на изящной кушетке, не она ли обеспечила успех перевороту, пленяя директора Гойе, томными недомолвками и нежными пожатиями задерживая его у себя, по поручению Наполеона, до того момента, когда в Сен-Клу трагикомедия была окончена. Разве не она ловко усыпляла подозрения Барраса лживыми россказнями. Все эти второстепенные детали успехов и возвышения Наполеона казались Жозефине полными решающего значения.

В момент, когда корабль отвозил Наполеона к берегам Эльбы, окруженная почтительными и любезными вступившими в Париж государями-союзниками, Жозефина была по-женски довольна, что новая жена, царственное родство и желанный наследник не принесли Наполеону удачи. Она готова была даже великодушно заступиться за изгнанного императора перед своим новым поклонником — русским царем, чтобы всем убедительно и неопровержимо доказать, как велико ее значение в судьбе Бонапарта. Ходили слухи, что оставленная императрица собиралась отправиться навестить Наполеона в изгнании. Но в самый разгар празднеств в честь союзных армий в Париже в 1814 году она заболела ангиной и умерла.

В эпоху Второй империи признательный внук Жозефины Наполеон III тщетно попытался создать культ своей бабушки.

Но «Якобинская санкюлотка», как называла себя гражданка Богарне в 1794 году, авантюристическая генеральша Бонапарт, легкомысленная и жадная императрица Жозефина, конечно, никак не годилась в национальные героини.

Женщины, подобные ей, как ядовитые пестрые грибы, вырастали и добивались влиятельности лишь в пору упадка и гнилой реакции. История госпожи Тальен, жизнь госпожи де Кюстин — «героинь» Термидора — во многом напоминают судьбу госпожи Богарне.

Вскормленная Директорией, беспринципная и цепкая Жозефина отлично приспособлялась ко всем режимам. С редкой ловкостью она ухитрилась перебросить необходимый мостик из старой, королевской и дворянской, в новую, буржуазную и плутократическую, Францию.

## МЕРИ ВУЛСТОНКРАФТ

В конце 1792 года из Дувра в Кале на маленьком парусном суденышке во Францию плыла молодая женщина, страстно увлекшаяся идеями Великой французской революции. Это была Мери Вулстонкрафт, борец за женское равноправие, автор известной в Англии книги «Обоснования прав женщин». Всем сердцем стремилась она в тогдашнюю Мекку вольнолюбцев и интеллектуальных бунтарей — Париж. Это был отважный шаг для англичанки. Французские роялисты в это же время плывут в Англию, спасаясь от народного гнева. Английский премьер-министр Питт отозвал посла из Франции в знак протеста против преследования королевской семьи. Жирондисты господствовали в Конвенте. Людовик XVI ждал суда. Франция была накануне войны с Англией.

Мери Вулстонкрафт родилась в Лондоне в 1759 году, в царствование послушного парламенту Георга II, известного в истории тем, что скрепил своей подписью декрет, воспрещавший преследование заподозренных в чародействе.

Ко времени рождения Мери нашествия чумы почти прекратились на острове. Наибольшим повальным бедствием оставалась свирепая, неодолимая оспа. Страх перед ней был не меньший, нежели перед чумой. Мужчины отказывались жениться на девушках, не переболевших оспой, так как опасались разрушительных последствий болезни, иногда гибельно отражавшихся на женских лицах.

Пожары все еще продолжали опустошать деревянный Лондон, и по-прежнему в нечеловеческих условиях

рождались, существовали и умирали жители столичных припортовых районов.

Эдуард и Елизавета Вулстонкрафт, родители Мери, принадлежали по рождению к так называемому среднему сословию. После смерти отца, ирландского текстильного фабриканта, Эдуарду достались в наследство 10 тысяч фунтов, сумма по тем временам достаточно большая, чтобы будущность семьи Вулстонкрафт оказалась вполне обеспеченной.

Но Эдуард не годился в предприниматели и купцы в противоположность своим предкам. Это был неудачный прожектер, слабовольный, непоседливый, увлекающийся и быстро остывающий ко всякому делу. Он продал фабрику отца и попытался заняться сельским хозяйством. Роль помещика ему особенно льстила.

Из этой затеи ничего не вышло, как, впрочем, и изо всех предприятий Эдуарда. Он бросил деревню, продал за гроши землю, инвентарь и перебрался в город изрядно разоренным. Остаток денег мистер Вулстонкрафт не столько проедал, сколько пропивал, пристрастившись к вину.

Мери, второй ребенок, появилась на свет, когда от былого материального благополучия семьи не осталось ничего, кроме полупустого, неотапливаемого домика, тоже предназначенного на продажу. Семья Вулстонкрафт принуждена была перебраться на городскую квартиру. Вместе с потерей благосостояния их связь с чванным, сытым средним классом прервалась. Елизавета мучилась этим гораздо больше, чем бедностью.

Как старшая дочь, Мери обязана была нянчить четырех младших детей и помогать матери, подрабатывавшей поденной работой у соседей. Мери никогда не знала мать моложавой, жизнерадостной, смеющейся. Трепетавшая перед грубияном мужем, нередко жестоко ее избивавшим, Елизавета находила своеобразное удовлетворение в том, что, в свою очередь, тиранила детей. Брань и незаслуженные тумаки заменяли им материнские ласки.

Для впечатлительной, нервной девочки, какой росла Мери, наибольшим горем были, однако, постоянные семейные скандалы и раздоры родителей.

Двуличие буржуазной морали, беззащитность и зависимость жены от мужа, уродства, порожденные одной постелью и одним кошельком двух случайно сошедшихся, ненавидящих друг друга и прикованных пожизненным

браком существ, глубоко запали с детства в сознание Мери. В каждом соседском доме, она знала, гноилась тоже тщательно скрываемая семейная рана. Но больше, чем бескрайний, узаконенный, властный эгоизм мужчин, поражала Мери полная готовность подчиняться в рабски мыслящих женщинах.

В XVIII столетии даже самые знатные английские дамы отличались предельным невежеством. Грамотность среди них встречалась как исключение.

Гадалки, многочисленные астрологи правили женщинами всех классов. Госпожа и служанка в одинаковой степени руководствовались в своих поступках пророчеством шарлатанов.

Неисчислимые предрассудки — основоположники традиций — и строжайше разработанный кодекс пуританской морали обрекали женщин на печальное существование разукрашенных автоматов, производивших детей, ведущих домашнее хозяйство.

Бесправные и зависимые, они не только безропотно воспринимали свою участь, но свирепо восставали против бунтарок, пытавшихся начать войну за равенство. Буржуазные женщины были одним из устоев реакции. Они являлись наиболее суровыми блюстителями нравов. Заподозренная в «вольном поведении» девушка не могла рассчитывать на их пощаду. Она погибала у позорного столба под злобное улюлюканье. Изгнанная семьей, кварталом, преследуемая своей средой, «грешница» шла в кабаки и на проезжие дороги Англии. Обычно после тягостных испытаний отверженную обществом ждало последнее убежище в адских женских тюрьмах, где арестанток секли, морили голодом и добивали непосильной работой.

Образованных женщин, которых в ту пору было так много среди господствующей аристократии Франции, в Англии преследовала и высмеивала толпа бессчетных невежд. Грамота считалась вредной, излишней даже для имущих.

Буржуазные маменьки воспитывали дочерей в соответствии с запросами брачного рынка.

Немногие английские писательницы XVIII века, как Франсес Берней, не смели опозорить предков и печататься под своим именем. Мужские псевдонимы служили им прикрытием. Если уловка разоблачалась, их донимали назойливым сарказмом.

Нескольким выдающимся богатым женщинам, отстаивавшим свое право на образование, был прилеплен издевательский ярлык «синий чулок», удержавшийся в обиходе врагов феминистского движения целых полтора века.

В 1791 году к кружку «синих чулок», вожаками которого считались писательницы-моралистки Ханна Мур, миссис Чапоне, миссис Весей, примкнула и Мери Вулстонкрафт. Доктор Джонсон, либеральный литератор, поэт, политик, был верным другом и защитником этой бравой, шумливой, но беспомощной кучки. Главным делом оставались, однако, разговоры на «возвышенные гуманные темы» за нарядно сервированным столом.

В богатых пансионах девиц учили молиться, грациозно изгибаться в менуэте, играть на клавесине две-три сентиментальные пьески, которыми следовало прельщать женихов, но тотчас же позабыть по выходе замуж, десяти видам рукоделия, светской болтовне, рисованию цветов и птичек.

Учебные заведения более передовые, предназначенные для девиц среднего сословия, включали в свои программы обучение стряпне, ведению хозяйства и уходу за детьми. Обращаться с многометровым змеевидным повивальником, в который заворачивали ребенка, было вовсе не легко.

Детство Мери Вулстонкрафт прошло однообразно и грустно. Девяти лет она совершила свое первое путешествие из Лондона в Бедерлей, где ее отец, получивший кое-какое денежное подкрепление, рассчитывал опять заняться землепашеством.

Девоншир — красивейшее место в Англии. Просторные луга перекатываются через невысокие холмы, спускающиеся к морю. Теплые ветры Гольфстрима согревают берег и тропические растения, мужественно пробившиеся в скалистых щелях туманного острова.

Маленький городишко казался Мери прекрасным. Свежий воздух, пахнущий травами, доселе не виданные ею платаны, газоны, поросшие маргаритками,— все это было так непохоже на сумрак лондонского дня, на бессчетные крыши домов и камни столичных улиц.

Мери не любила кукол, с малолетства она была нянькой. Рукоделия, развлечения более счастливых ее сверстниц были ей недоступны. Ее уделом стали стряпня, уборка дома, починка белья.

Спустя несколько лет, в 1774 году, Эдуард Вулстонкрафт надумал покинуть Бедерлей и искать нового пристанища и дела. Он успел не только прожить все, до последнего пенни, но и перессориться со всеми городскими обывателями. С годами характер обедневшего рантье становился все неприятнее для окружающих. Несдержанность его под влиянием пьянства граничила с буйством. Он сек все чаще жену, детей, собак, затевал драки и ссоры с соседями, нарушая пьяными выходками покой провинциального города.

Навсегда отказавшись от фермерства, Эдуард решил заняться коммерцией в Хокстоне, северной части Лондона. Там, по соседству с Вулстонкрафтами, жил на покое протестантский священник мистер Клер.

Отставной священнослужитель, страстно увлекавшийся поэзией, давно томился отсутствием почтительного слушателя его прочувствованного чтения. Жена пастора предпочитала Гомеру и Мильтону разведение кур и сплетни соседок. Помимо поэзии, у мистера Клера была давняя потребность облагодетельствовать кого-нибудь в дополнение к домашней стае кошек и собак. Это являлось тем «христианским делом», которое должно было возвысить священника в его собственных глазах, во мнении друзей и к тому же устлало бы ему путь в рай розовыми лепестками.

Из шестерых соседских детей он избрал для этой цели Мери и не ошибся. В это время совершенно невежественной, не умевшей писать и читать мисс Вулстонкрафт было уже шестнадцать лет.

Словоохотливый мистер Клер не мог бы найти лучшего ученика. Мери быстро нагоняла упущенное время и платила семье Клер преданностью и дружбой, сохранившейся до самой смерти отставного священника. Впервые в жизни она чувствовала себя почти счастливой. Кроме обучавшего ее грамоте и поэзии старика, Мери нашла друга в Франсес Блууд, девушке ее же лет.

Семья Блууд во многих отношениях походила на семью Вулстонкрафт: то же обнищание, бездельничающий пьянчуга отец, изможденная, раздражительная, проклинающая судьбу мать, тот же выводок неудачных, болезненных детей. Восемнадцатилетняя хрупкая Франсес, продававшая свои рисунки и рукодельные работы, была единственной опорой родителей.

Блууды жили в противоположном от Хокстона конце города, и подруги не могли видаться часто. Переписка заменяла им свидания. Каждодневные эпистолярные монологи, с которыми Мери обращалась к Франсес, примиряли ее с тоскливым однообразием родительского дома. Вокруг деревянного, освещенного сальной мигающей свечой стола, за которым писала Мери, с сумерек до ночи просиживала вся семья Вулстонкрафт. Мать перешивала наизнанку холщовые штаны меньшого Чарли, две сестры шипели друг на друга, как обуглившиеся поленья, догоравшие рядом в открытой печи. Появление Эдуарда сопровождалось резким стуком, грозившим сорвать с петель входную дверь, отчаянным дрожанием пламени сальной свечки, испуганным вздохом Елизаветы и мгновенным прекращением перебранки между праздными младшими девицами Вулстонкрафт.

Пример независимой, энергичной Франсес толкал Мери к самостоятельному труду. После долгих поисков работы мисс Вулстонкрафт поступила компаньонкой-чтицей к богатой даме, проводившей бо́льшую часть года в своем обширном пустынном доме на фешенебельном курорте Басс. Миссис Даусон славилась несносным, придирчивым характером и барскими причудами, но мисс Вулстонкрафт, прошедшая отличную школу деспотизма в родительском доме, отличалась исключительной терпеливостью и умением ладить с людьми. Несмотря на бестактные выходки, привередливость и обиды, наносимые ей сумасбродствующей дамой, Мери прожила в Бассе два года. Все зарабатываемые деньги она отправляла домой. Потребности девушки были очень скромны; книги, без которых ученица мистера Клера не могла более существовать, ждали ее на полках пыльной и угрюмой библиотеки, составленной предками миссис Даусон и доставшейся ей вместе с домом.

Дни аристократических семей, лечившихся минеральными водами Басса, протекали во всевозможных развлечениях. Концерты, театральные представления, балы с многочасовым менуэтом, картежные игры следовали непрерывной чередой.

Мери впервые присматривалась к представительницам высшего общества, которые разнились от женщин ее класса только более дорогими туалетами и постоянной праздностью. Их умственные запросы были ничтожны,

надменность беспредельна. Мери, наемная компаньонка, оставалась, конечно, совершенно чужой, не замечаемой важными столичными дамами, с которыми встречалась, сопровождая повсюду миссис Даусон. На загородных пикниках, покуда аристократическая молодежь в огромных париках и пышных фижмах бегала по лугу, подражая пастушкам модных французских гобеленов, покуда жеманные старухи, рассевшиеся на раздвижных стульях под деревьями, вязали и злословили, Мери с помощью лакеев в ливреях, слезших с запяток огромных карет, занималась сервировкой и приготовлением закусок. На балах она одиноко сидела где-нибудь в углу среди старух, дожидалась, когда ее хозяйке надоест картежная игра или брюзгливый разговор с приятельницами.

Болезнь матери вернула Мери в Лондон. Елизавета умирала в полном одиночестве. Эдуард пропадал по целым дням, а возвращаясь домой, укорачивал жизнь жены хмельной руганью и попреками. Заботы дочери скрасили ее агонию.

— Еще чуточку терпения — и все прекратится,— прошептала Елизавета, умирая. Ни рая, ни возмездия злу, ни вечности, а конца долгих мучений хотела эта женщина.

Со смертью матери ничто более не удерживало Мери дома. Отец ее буянил, беспробудно пьянствовал, играл в карты. Мери Вулстонкрафт перебралась в дом Блуудов.

Быт родителей Франсес воскресил перед ней нудную трагедию ее собственной семьи, но она покорно сносила пьяные выходки мистера Блууда, сетования его жены, драки детворы, лишь бы быть возле подруги и скорее достичь намеченной цели. Мисс Вулстонкрафт, научившаяся грамоте в шестнадцать лет, решила стать учительницей. Потребность дать другим то, чего она сама была так долго лишена, толкала ее к этой тяжелой в те годы профессии.

Мери мечтала создать небывалую новую школу.

В написанной много лет спустя книге, давшей ей славу, утвердившей имя мисс Вулстонкрафт как основоположницы феминизма, идее этого учебного заведения уделено много места.

В идеальной школе Мери мальчики и девочки должны были учиться совместно. По тем временам это считалось безнравственным и общественно опасным. Тем более не-

допустимо и революционно звучало в ушах буржуа предложение мисс Вулстонкрафт слить школы богатых и бедных и уравнять имущих и неимущих перед лицом науки. «Во избежание соперничества в туалетах учащиеся девочки будут одеты одинаково... Школа должна быть окружена лугом, на котором дети смогут играть... Но этот отдых надо также использовать для элементарного воспитания. От формы изложения предметов зависит и их восприятие. Ботаника, механика, астрономия, естественная история, чтение и письмо заполняют учебные часы, не мешая, однако, спортивным играм на воздухе. Элементы философии, истории, политики следует подносить детям по методу, которым пользовался Сократ в беседах с учениками». С девяти лет дети, получившие в подобной школе хорошую подготовку, должны были учиться преимущественно тому, что станет впоследствии их специальностью.

Мальчикам, по мнению Мери, предназначаются технические, точные науки, девочкам, помимо общего образования, нужно изучать «искусство домохозяйства».

Мисс Вулстонкрафт не смеет посягнуть на семейное благополучие мелкого буржуа. Ее дерзания не идут далее того, чтобы создать счастливый, вполне, однако, буржуазный брак, в котором муж добывает деньги, а жена ведет его хозяйство. И хотя Мери видит в будущем девушек — инженеров, докторов, фермеров, дельцов, членов парламентов и правительств, она, населяя мир идеальными собственниками, пытается воспитать для них достойных ученых жен.

В годы, когда на текстильных фабриках по четырнадцать часов в сутки работают пятилетние дети, когда работницы нещадно эксплуатируются и получают гроши потому, что они «женщины», Мери Вулстонкрафт занята размышлениями о развитии девушек своего класса. Наивность и близорукость укрепляют ее веру в то, что с помощью школ и разумного отношения родных и особенно мужей можно перевоспитать и уравнять женщину с мужчиной.

Женщины фабрик, деревень и городских окраин, составлявшие большинство в тогдашней Англии, ускользали из поля зрения воспитанницы священника Клера.

Однако планы Мери открыть с помощью друзей собственную школу покуда не осуществились. Младшая дочь

Вулстонкрафтов, Элиза, желая избавиться от тягот и неустроенности родительского дома, безрассудно связала себя браком с заносчивым ничтожеством мистером Бишопом. Муж принялся укрощать свою вспыльчивую жену с таким усердием, что довел ее до умопомешательства.

Несколько месяцев, проведенных в доме Бишопа, были самыми тяжелыми в жизни мисс Вулстонкрафт. В минуты просветления сестра рассказывала ей вопиющие подробности своих отношений с лживым, попрекавшим ее каждым куском хлеба супругом.

После родов рассудок вернулся к Элизе, но отношения ее с Бишопом не улучшались. Однажды, после очередной ссоры, поздней ночью в дребезжащем дилижансе Мери увезла сестру по направлению к столице. Элиза оплакивала оставленную Бишопу дочь. Будущее было слишком неприглядно, чтобы обрекать на него ребенка, имеющего все необходимое в отцовском доме. Припадок отчаяния все усиливался у беглянки. Она сломала обручальное кольцо, и истерический плач сменили судороги и беспамятство. Мери понимала, какой опасности они подвергались. Закон мог тотчас же вернуть мужу жену и потребовать ответа от подстрекательницы, посягнувшей на чужое достояние. Несмотря на боязнь погони, болезнь Элизы задержала сестер в пути. Они провели ночь на постоялом дворе, трепетно прислушиваясь к голосам прибывающих в почтовых каретах людей.

В Лондоне Мери ждало всеобщее порицание. Многие из ее друзей прекратили с ней знакомство. Даже мистер Клер был озадачен и встретил воспитанницу требованием тотчас же выдать Элизу мужу. Отверженная близкими, угнетенная сознанием ответственности за беспомощную сестру, Мери поспешно принялась за устройство школы.

Зашнурованные в корсеты, едва волочащие парчовые длинные юбочки, завитые и жеманные дочери знати вовсе не годились для экспериментов Мери. Она рассчитывала на детей победнее, предоставленных себе и потому не столь исковерканных. Но попытка открыть школу на окраине окончилась неудачно. Бедняки не могли вносить даже ту ничтожную учебную плату, которая покрыла бы расходы Мери.

Пришлось перебраться в Нювингтон-грин, жители которого принадлежали к зажиточному среднему классу и могли оплачивать обучение своих детей. Штат учителей

был невелик: хозяйственной частью ведала Элиза, педагогической — Мери. Пылкие планы мисс Вулстонкрафт, надеявшейся устроить свою школу по античным образцам, оказались невыполнимыми. Недостаток средств и сопротивление родителей, боявшихся всяких новшеств, недовольных уже и тем, что Мери исключила телесные наказания из школьного обихода, вынудили сестер Вулстонкрафт к созданию рядового, ничем особенным не выделявшегося учебного заведения.

Тогдашняя Англия погребла не одно смелое начинание. Мери смирилась, продолжая в теории отстаивать иную систему обучения.

В это время быстро развивающиеся события на заокеанском материке приковали к себе всеобщее внимание. В 1781 году началась война Америки за независимость и отделение от Англии. С растущим интересом следила за происходящим Мери Вулстонкрафт. Ее протестующий против всякого насилия чуткий разум жадно впитывал бунтарские идеи, проникавшие из Америки и из Франции, приближавшейся к революции.

Вдохновенные статьи Томаса Пейна разрушали былые предрассудки, привитые Мери священником Клером. Она легко отметает наивные политические заветы учителей своей юности. Мисс Вулстонкрафт восторженно желает Америке победы над Англией.

По мнению самой Мери, ей предстояло пожизненное девичество. Вряд ли кто-нибудь мог соблазниться бесприданницей, да еще отличающейся столь независимым характером. Молодые люди торгового, чиновного и военного звания искали невест если уж не богатых, то, по крайней мере, кротких. Мисс Вулстонкрафт, считавшая себя дурнушкой, восставшая против угнетения женщин в браке, привыкла довольствоваться ролью поверенной в сердечных делах других.

Около года купец Хуг Скейс посещал домик Блуудов, всячески подчеркивая свой интерес к Франсес. Молодая девушка отвечала Скейсу откровенной любовью. Но купец, занятый подсчетом своих потерь от союза с девушкой, не имеющей ни приданого, ни наследства в будущем, не решался жениться на ней. Мери негодовала.

Лишь выгодная деловая поездка Хуга Скейса в Пор-

тугалию придала ему смелость, и он обвенчался с девушкой, живущей своим трудом.

В феврале 1785 года молодая пара покинула английский берег. Мери, ненавидевшая купца за его расчетливость, болезненно восприняла разлуку с подругой.

Дела школы были в плачевном состоянии: даже те незначительные новшества, которые сестры ввели в учебу, оказались чрезмерными. Родители отказывались доверять Мери детей, заявляя, что она «мудрствует» и прививает ученикам непослушание, критическое отношение к старшим и к существующему порядку.

Приглашение от Франсес пришло весьма кстати. Призаняв денег, Мери отправилась в Португалию. Морское путешествие от Англии до Лиссабона длилось тридцать суток. Пиратские корабли нападали, грабили, топили торговые суда, февральские штормы в тот год отличались особым неистовством и силой. Всю дорогу Мери отхаживала больных и разгоняла шутками и примерным спокойствием панический страх перед разбойниками, охвативший пассажиров.

Встреча подруг была невеселой. Франсес боялась родов, от которых действительно умерла через несколько недель после приезда мисс Вулстонкрафт.

Спустя много лет, незадолго до своей смерти, Мери все еще оплакивает ее смерть: «Могильная земля сомкнулась над моим единственным другом, другом моей юности. Но ее ласковый голос всегда звучит со мной рядом».

По возвращении в Лондон директриса нашла свою школу в полном упадке. Сварливая Элиза доконала неудачливое педагогическое начинание сестры. Мери оставалось только выпутываться из долгов, укрощая и уговаривая кредиторов. Частные уроки, которыми она занялась, давали ей малый заработок, едва хватавший на то, чтобы спасти родителей умершей Франсес от полной нищеты.

Один из верных друзей, издатель Джонсон, пришел на помощь мисс Вулстонкрафт, заказав ей книгу по педагогике. «Размышления об образовании дочерей, поведении и важнейших обязанностях женщин в жизни» — скучное и незрелое произведение. Оно было издано и навсегда забыто, как и три не менее бесцветные повести для детей и взрослых, написанные тогда Мери.

Десять гиней, полученных от издателя, едва-едва покрыли долги девушки. Мисс Вулстонкрафт пришлось

опять искать работу. Леди Кингсборо, жена богатого вельможи, наняла ее в гувернантки.

Жизнь в ирландском имении доставила не меньше пищи пытливому и наблюдательному уму Мери, нежели двухлетнее пребывание в Бассе.

Леди Кингсборо, невежественная и бесстыдная, ничуть не скрывала своих пороков. Любовные похождения, пьянство, гульба сановной дамы не являлись тайной в округе. В ее доме господствовали три огромных охотничьих пса, к которым были приставлены особые слуги, исполнявшие беспрекословно любые их капризы.

Рядом с замком, за густой завесой дубов, находились ирландские деревни. В халупах, похожих на стога, купно со свиньями, баранами и птицей жили полудикие люди.

Мери избегала этих пугающих человеческих становищ, как обходила в Лондоне припортовые смрадные улицы. Она жалела крестьян, которые умирали от голода у подножия дворца леди Кингсборо в неурожайные годы, так и не выпросив отсрочки платежей за землю. Но сострадание ее было бесплодным. Она поняла, однако, что жизнь крестьян, которую опоэтизировал и ввел в моду как новую маскарадную забаву Руссо, в действительности была безобразна и страшна. Вместо разряженных в парчу пастушек, едва передвигающихся в туфельках на высоких посеребренных каблучках, Мери встретила рахитичных, болезненных, робких девушек, выпрашивающих подаяние полуголых детей и низкорослых испуганных босых юношей, гнавших в поля голодный тощий скот.

О замке и быте леди Кингсборо Мери, между прочим, писала:

«Мне трудно убедить себя, что это не сон. Это место окутано такой торжественной глупостью, что моя кровь стынет в жилах...»

За год до начала Великой французской революции гувернантка взяла расчет и вернулась в Лондон. Источником ее существования стала отныне литературная работа. Опять Джонсон привлек ее к работе в философском журнале «Аналитическое обозрение». Мисс Вулстонкрафт пишет критические статьи, дает отзывы на поступающий в редакцию литературный материал, переводит из иностранных журналов философские заметки.

Благодаря Джонсону Мери проникает в кружки богемы и некоторые светские салоны, где в подражанье

французской знати хозяева кормят ужинами писателей, политиков и художников.

Англичанин Томас Пейн, приехавший на родину в 1787 году, по окончании американской кампании, тоже бывает в кружке Джонсона. Мери особенно польщена знакомством и вниманием, которым дарит ее герой освобождения Америки.

«Там, где нет свободы, там моя родина»,— ответил Пейн Франклину, заявившему, что там, где свобода, там мой дом. С этим девизом, повторенным впоследствии Байроном, уезжавшим на войну за свободу Греции, жил и боролся Томас Пейн.

Сын деревенского столяра Норфолкского графства Англии, основавший первую газету Нового Света, подобно Мери, выучился грамоте, будучи взрослым. Брошюра в защиту повышения заработной платы рабочим навлекла на него бешеную злобу фабрикантов, принудила покинуть Англию. Впоследствии борьба за освобождение негров и учреждение «Общества врагов рабства» стали поводом для многообразных нападений на него со стороны американских рабовладельцев. Но в годы борьбы за независимость американские буржуа не смели преследовать любимца восставшего американского народа.

Матрос, астроном, ученый, имевший немало научных технических открытий, Пейн в своей филадельфийской газете отстаивал крайне социальные меры: равноправие женщин, право развода, пересмотр судебных законов, интернациональный арбитраж, способный вмешиваться в споры государств и предотвращать войны. Он проповедовал запрещение и наказание за акты кровной мести и дуэли — порождение ложного понятия чести. Сын квакера, атеист Пейн восставал против преследования англичанами ирландских католиков и угнетения индусов.

Памфлеты Пейна, объединенные под заголовком «Американский кризис», имели для победы повстанческой американской армии не меньшее значение, чем оружие и обмундирование, которое французы, сводившие счеты с Великобританией, пересылали через Франклина на заокеанский материк.

Отдельные статьи Пейна знала наизусть вся американская армия. Они были для нее тем же, чем «Марсельеза» Руже де Лиля для французских революционеров, баллады Кернера для немецких патриотов в наполеонов-

ские войны, чем является теперь гимн «Интернационал» для борющегося с капитализмом всемирного пролетариата.

Томас Пейн, заслышав призыв французского революционного набата, поспешил на континент. Этот человек, называвший себя гражданином вселенной, с оружием в руках ворвался в Бастилию. Лафайет передал ему символ падения тирании — ключ от разрушенной королевской тюрьмы. Лидер английских радикалов, вождь американских повстанцев был избран в члены французского Конвента.

По ту сторону баррикад, в числе отъявленных врагов французской революции находился влиятельный мракобес Эдмунд Берке, особенно ненавидимый Пейном человек. Ирландский простолюдин-самоучка, стыдившийся своего незнатного происхождения, Берке на протяжении всей жизни выслуживался перед знатью.

Облагодетельствованный, подкупленный Людовиком, к которому ездил с поручением от английского двора, Берке после революции упорно направлял вместе с Питтом общественное мнение английской буржуазии и готовил удар в тыл молодой революции. Он с помощью банкиров Сити переправлял через пролив оружие монархистам Вандеи, подстрекал католических священников, помогал французским дворянам-эмигрантам, клеветал в английской прессе на великую революцию.

В одной из своих статей Эдмунд Берке призывал молодежь к «священной войне» за Марию-Антуанетту. «Мог ли я думать,— писал он между прочим,— что доживу до несчастья, постигшего бедную королеву в стране галантных мужчин, людей чести и служения даме.

Увы, эпоха галантности проходит во Франции. Софисты, экономисты, калькуляторы пришли ей на смену, угрожая погубить славу Европы навсегда...»

Не только Томас Пейн, но и Мери Вулстонкрафт, два друга французской революции, прочитав гнусный памфлет реакционера Берке, тотчас же схватились за перо.

«Бес собственности всегда бывал наготове, чтобы нарушить священные права человека,— пишет Мери.— Изо всех ваших убедительных доводов и остроумных примеров ваше презрение к бедноте выступает отчетливо и возбуждает мое негодование. Права человека, если вам угодно, милостивый государь, иметь краткое определение этого оспариваемого права,— суть такая мера свободы, гражданской и религиозной, какая совместима со свобо-

дой других лиц, с которыми этот человек связан общественным договором.

Я вижу, что для того, чтобы тронуть ваше сердце, горе должно быть одето в шутовской наряд; вы бережете свои слезы для театральных декламаций и для несчастий королев, но горе бесчисленных трудящихся матерей, насильственно лишенных их кормильцев, но голодный крик беспомощных детей — «низкие несчастья», неспособные вызвать в вас сострадание».

Полемика с Берке мгновенно сделала мисс Вулстонкрафт знаменитостью среди англичан, сочувствовавших революции французов. Впервые в своей литературной работе Мери сумела найти нужные слова, подчинив их своим мыслям.

Вслед за «Ответом Берке» естественным было появление «Обоснования прав женщин». Эта мужественная книга, написанная несколько напыщенным слогом, была немедленно переведена на три основных европейских языка и стала евангелием феминизма. В ней Мери Вулстонкрафт выступает смелым изобличителем Руссо, объявившего, что «женщина должна преклониться перед мужем, подобно плющу, обвивающему ствол дерева».

Вспоминая своего никчемного отца, пьяницу Блууда, тупицу Бишопа и посредственного Скейса, Мери восклицает:

«Увы, мужья нередко только переросшие, испорченные, к тому же незрячие дети. И слепым дозволено вести слепых. Не надо свалиться с неба, чтобы понять, какие бедствия это предвещает».

Говоря о женщинах, мисс Вулстонкрафт объявляет их невежественными, праздными, перенимающими вред цивилизации без ее пользы. Мать, сестры, миссис Даусон из Басса и светские дамы в имении Кингсборо проходят опять перед судом Мери, и она выносит им беспощадный приговор. Они достойны своей жалкой участи. Чтобы претендовать на права и равенство, надо хотя бы осознать значение этих слов. Каких мужчин могут воспитать подобные матери? — Достойных их, отвечающих им заслуженным презрением. «Разнообразны пути, по которым вольно или невольно мужчины следуют к власти и славе, и, хотя они и сталкиваются друг с другом, ибо люди одной и той же профессии редко бывают друзьями, все же остается еще гораздо большее число людей, с ко-

торыми они никогда не приходят в столкновение. Но женщины поставлены в совершенно другое положение в отношении друг к другу: они все — соперницы.

До замужества их задача — понравиться мужчине; после замужества, за редкими исключениями, они идут по той же дорожке со всей упорной настойчивостью инстинкта. В обществе даже добродетельные женщины никогда не забывают, какого они пола, поскольку они все время стараются быть *приятными*. Красивая женщина и умный мужчина одинаково заняты тем, чтобы сосредоточить на себе внимание всех присутствующих; а взаимная вражда умных вошла в поговорку.

Удивительно ли, после всего сказанного, что раз все честолюбие женщины вращается около ее красоты и выгода еще усиливает действие тщеславия, удивительно ли, что отсюда возникают постоянные соперничества. Они все участвуют в одних гонках, и добродетель их была бы сверхчеловечной, если бы они не смотрели друг на друга с подозрением и с завистью.

Непомерная любовь к нарядам, к удовольствиям и к господству — страсти, свойственные дикарям; страсти, владеющие непросвещенными существами, не успевшими расширить пределы своего понимания, не научившимися еще мыслить с силой, необходимой для того, чтобы достигнуть той отвлеченной последовательности мысли, которая порождает принципы. А что женщины, вследствие их воспитания и вследствие настоящего состояния цивилизованного общества, находятся именно в таком положении, не может, мне кажется, быть оспариваемо»,— пишет Мери.

Она обращается в своей книге к подрастающим поколениям, требуя от женщин должных знаний, умения трудиться, без которых они бессильны преодолеть установленный порядок, превращающий их в игрушку мужчины.

Первое увлечение настигло Мери в тридцатилетнем возрасте. Швейцарец Фузели, работавший, как и мисс Вулстонкрафт, в философском журнале Джонсона, с первой встречи привлек ее внимание. Она бывала во всех салонах, где Фузели выступал с политическими проповедями. Соотечественник Руссо и Марата исповедовал учение обоих. Его цветистая пропаганда их идей нравилась одинаково воинствующей богеме, стремящейся в Париж, и сытым либеральствующим буржуа, уверенным, что

революционное безумие не может переброситься с континента на дремлющий остров. Мери заслушивалась искрящейся, но поверхностной болтовней салонного революционера. Ее замечательные, хоть и не вполне соответствующие узким требованиям классической красоты, умные, отвечающие на каждую мелькнувшую мысль, обведенные каштановыми ресницами глаза, с неровными упрямыми дугами бровей, не отрывались от Фузели, когда он самодовольным ярким павлином прохаживался по гостиным. Пламя свечей и каминов не раз освещало седовласого красавца, склонившегося над неспокойной Мери, когда она задерживала его вопросом. Бархатный кафтан Фузели был обычно того же цвета обожженной бронзы, что и волосы молодой феминистки, выбивающиеся из-под темного муслинового чепца.

— Я всегда вылавливаю что-нибудь драгоценное, навсегда памятное в потоке его речей,— говорила мисс Вулстонкрафт, считавшая Фузели гениальным.

Она писала ему письма, в которых среди показных философских и политических высказываний пробивались робкие, неумелые признания в любви, не встретившие, однако, ответа у избалованного краснобая, принимавшего как должное преклонение и привязанность.

В самом конце 1792 года Мери Вулстонкрафт прибыла во Францию и нашла в Париже Томаса Пейна в маленьком деревянном флигеле в переулке подле улицы Ришелье. Вместе с ним она бывает в Конвенте и в салоне мадам Ролан. Лидеры жирондистов — один из немногих защитников женских прав Кондорсе и галантный Бриссо — производят на любознательную иностранку самое благоприятное впечатление. В доме миссис Кристи, где бывают американцы, Мери встречает капитана Жильбера Имлея.

В феврале 1793 года английские реакционеры во главе с Питтом объявляют войну французской революционной республике. Положение английских граждан становится в Париже двусмысленным. Опасаясь быть обвиненной в шпионаже, мисс Вулстонкрафт переселяется в деревушку Нейльи, в трех верстах от столицы.

Несмотря на отсутствие денег, Мери решает остаться во Франции. Но не столько развертывающиеся революционные события, наблюдательницей которых она является, удерживают ее, сколько Жильбер Имлей, отставной американский капитан, торгующий лесом в Европе. Его объ-

емистая фигура загородила для мисс Вулстонкрафт весь мир, отодвинула и затмила все былые ее интересы. Тридцатичетырехлетняя, лишенная с детства заботливой любви, девушка отдалась полностью своему первому чувству.

Все то, что в каждом другом могло бы вызвать лишь ее насмешку и раздражение, в Жильбере оправдывалось его прелестной «непосредственностью».

Мисс Вулстонкрафт могла без конца наблюдать за тем, как ширококостый сильный Имлей то сгибал, то разгибал спину, легко орудуя лопатой в «их садике». Он любил физическую работу и мог одной рукой перенести стол, уставленный блюдами с едой, из комнаты под яблоневое дерево, подхватив на ходу другой рукой Мери. Она благоговейно вытирала капельки пота вокруг его бровей и усов, когда, отдуваясь и смеясь, он усаживался затем в качалку.

Падающие цены и кризис сбыта лесоматериалов волновали отныне Мери больше, чем известия с фронта. Желая угодить Жильберу, она подолгу слушала его отчеты о затруднениях в торговле. Мери хотела бы конца революции. К чему дальнейшие волнения, когда принципы свободы и справедливости торжествуют и друзья прогресса могут спокойно наслаждаться жизнью, соответствующей требованиям разума, заявляла она.

В прохладные дни любовники гуляли по полям, взбирались на холмы-виноградники, пили вино в трактирах на пыльных проселочных дорогах. Мимо них, дребезжа, проезжали телеги. Провиант, оружие, солдаты отправлялись на фронт. Мери махала войскам трехцветным платком, желала им победы и подхватывала куплеты «Карманьолы», но мысли ее были далеко от находящегося рядом Парижа.

Борьба партий усилилась, начался голод, изменяли генералы, отступала под натиском отлично снаряженных врагов полуодетая, плохо вооруженная революционная армия. Париж лихорадило. Мисс Вулстонкрафт сажала цветы и готовила возлюбленному национальные американские блюда к обеду.

В день смерти Марата сосед-садовник вбежал в домик Мери, крича сквозь слезы:

— Гражданка, горе Франции, Марату прокололи сердце!

Англичанка опустила багровые, как слипшаяся кровь, георгины, которые срезала, чтобы украсить стол к возвращению Жильбера. Ее сердце, в котором «демагогия» Друга народа не находила отклика, содрогнулось,— только бы смерть Марата не помешала лесоторговцу вернуться вовремя домой. До полуночи простояла мисс Вулстонкрафт у калитки, поджидая Имлея. Остывал на столе под деревом обед. Мимо по дороге в Париж бежали люди с факелами. Карета отставного капитана едва пробралась в Нейльи.

Во время частых отлучек лесопромышленника Мери пробует писать историю французской революции, которую почти не знает и совсем не понимает, но откладывает начатое ради эпистолярного бреда, ради возможности говорить в письмах к Имлею, что жизнь без него лишена всякого смысла.

Назойливое, усложненное, болезненное чувство Мери очень скоро начинает угнетать и раздражать Имлея. Он не знает, как избавиться от утомительной патетической любовницы. Уезжая, он не шлет о себе вестей, но Мери настигает его в Марате (так назван был тогда Гавр), и ее отчаяние, ревнивая ярость, унизительные мольбы вновь обезоруживают Имлея. Он лжет и соглашается на все, отступив перед потоком слов и слез.

В Париже в это время судят отступников-жирондистов. Единственный друг Мери на континенте, Томас Пейн, покидает Францию. Он подрывает к себе доверие, отстаивая взгляды бриссотинцев. Мелкобуржуазный анархист, обзывавший всякое правительство адским исчадием, отказался голосовать за смерть короля и требовал отмены суда над Бриссо и его партией. Пейн охладел к делу французской революции. Он не перешел, однако, подобно другому «герою американской войны» — Лафайету, в стан контрреволюции, но попросту отошел в сторону.

На английском острове, где Талейран, гениальный политический прохвост, учуявший острым носом гиены приближающуюся гибель революции, сменил национальную кокарду посланца Конвента на монархический значок эмигранта,— Пейн попытался обосновать свое бегство поверхностными анархическими теориями. Он предал анафеме отныне и навеки всякую власть как королей, так и конвентов и заявил: «Общество во всех своих видах благословение, правительство всегда зло. Оно, как фиго-

вый листок, является метой потери нашей невинности». Фразеология остается до последних минут жизни утехой Пейна, но и слова способны вырождаться. В годы наступившей реакции никто не зачел Пейну его милосердия по отношению к Бурбонам, но зато поспешили припомнить участие в Конвенте, близость с Бриссо и попытку добыть свободу неграм. Он умер в нищете и одиночестве.

Перо, наносившее поражение английским армиям, ведшее массы на осаду Бастилии, определившее в двух декларациях «права человека», превратилось к концу жизни Пейна в тупую булавку, уколы которой были неприятны, но безвредны.

В 1794 году, за два месяца до рокового термидора, у Мери родилась дочь, названная в память умершей подруги — Франсес. Мисс Вулстонкрафт не состояла в узаконенном браке с Имлеем — купец никогда не предлагал этого; Мери, в свою очередь, считала себя связанной принципами, отвергавшими брак в существовавшей тогда форме. Помимо того, в годы французской революции регистрация любовной связи не считалась обязательной. Новорожденную записали под именем отца, на которое по английским законам она не имела права.

Пребывание во Франции все больше тяготило мисс Вулстонкрафт. Революция отныне представлялась ей хищником, вырвавшимся из клетки и пожиравшим все без разбору. Так думали и все контрреволюционеры. Историческая трагедия Франции все меньше интересовала англичанку, для которой страна эта была лишь негостеприимной, некомфортабельной чужбиной.

После падения робеспьеристов из щелей и подполья выползла загнанная, парализованная революцией пошлая рутина, ожили замороженные гады — предрассудки. Внебрачная связь с Имлеем позорила Мери во мнении знакомых буржуа, соседских домохозяек и торговок квартала.

Безденежье, необходимость просить не слишком щедрого Жильбера о материальной помощи, постоянное унижение, беспокойство, ревнивые подозрения, одиночество подрывали душевные силы мисс Вулстонкрафт. Она с трудом вымолила согласие Имлея на встречу в Англии. Мери пыталась вызвать в Жильбере любовь к маленькой Франсес, чтобы с помощью дочери вернуть себе охладев-

шего любовника. Не было жертвы, которая казалась бы ей чрезмерной в борьбе за воскрешение былого счастья. Но лесоторговец тяготился ею.

В Лондоне мисс Вулстонкрафт скрывает от посторонних подлинную сущность отношений с Жильбером и называет себя миссис Имлей. Это спасает ее от бойкота и общественной изоляции.

Деспотизм буржуазной морали так силен, что брат и сестры, которым Мери поверила тайну своей внебрачной связи, тотчас же порывают с нею.

Но поглощенность одним предметом, маниакальная любовь к Имлею, заставляет ее относиться ко всему безразлично и искать уединения. Она всегда возле своего ребенка. Суета города доносится до нее отдаленным гулом, протяжным, как удары ветра по кирпичу каминных труб.

Английские газеты неизменно хулят революцию, восторженным ревом сопровождая ее агонию. Берке исходит ядовитой слюной. Питт не скрывает беспокойства по поводу выдвижения неведомого доселе офицера Бонапарта. Светские салоны отвернулись от болтливых либералов и подкармливают эмигрантов, рассчитывая на их благодарность в дальнейшем. При дворе поговаривают о возвращении Бурбонов, и вельможи спорят о достоинствах претендентов на французскую корону. Неосведомленность английского обывателя о происходящем во Франции баснословна. Матери пугают детей непонятным страшным словом «якобинец», а на завалинке старухи в сумерках рассказывают друг другу о небесных знамениях, предвещающих великую кару французам. Газеты называют мертвых Марата и Робеспьера людоедами. В благородных пансионах воспитанницы вырезают из черной бумаги силуэты Шарлотты Корде. Англия ткет саван революции...

От злоязычной коварной прислуги Мери узнает о новой любовной связи Жильбера. Набросив пелерину, криво надвинув капор, бежит она по указанному адресу и натыкается на убедительную, уничтожающую последние иллюзии сцену. Имлей рад, что обстоятельства сами собой освободили его от надоевшей любовницы.

На рассвете пасмурного ноябрьского дня Мери заканчивает свои «прощальные» письма и выходит из дому с тем, чтобы никогда более не возвращаться. Она идет на мост Темзы. Ее мозг затуманен, как лондонское небо.

Одна мысль, одно желание преследует ее — смерть. Она проходит по людной набережной. Обида, беспомощная мстительность, ощущение краха, усталость, жалость к себе — все вместе толкает ее к воде. Бурное небо усугубляет пессимизм и тягу к самоубийству. Мелкий монотонный дождь всхлипывает, ударяясь о землю.

«Крикуньи» — уличные продавщицы, подоткнув юбки, шлепают по мокрым тротуарам, выхваливая свои товары:

— Щетки, щетки половые, одежные, сапожные!

— Крабы, крабы, крабы!

— Голландские носки шиллинг, шиллинг!

— Теплые булочки!

Тряпичница высунула голову из мусорной ямы и торжествующе помахала над головой уловом — рваным сапогом.

Мери проходит мимо, ничего не замечая. На одном из мостов пустынно. Со спокойствием и уверенностью безумца она, перешагнув через перила, прыгает в реку. Ее спасают.

Прикосновение смерти излечило, вернуло мисс Вулстонкрафт волю к жизни. Несколько друзей и неизменный Джонсон пришли ей на помощь. Она занялась опять литературной работой. Дни ее текли мирно. Любовь к Имлею, попытка самоубийства вспоминались Мери как приступы страшной душевной болезни.

Она опять спокойна, сильна, работоспособна. Ее новый сборник очерков, посвященных путешествию по Скандинавии, пользуется большим успехом.

Перелистывая «Обоснования прав женщин», мисс Вулстонкрафт предполагает продолжать писать эту книгу, развить множество недовысказанных мыслей. Оставленные было на время социальные интересы, борьба за женское равноправие снова сосредоточили на себе ее внимание.

Она развивает перед друзьями прежние идеи:

«...Из преклонения перед собственностью вытекают, как из отравленного источника, большинство зол и пороков, которые превращают мир в столь мрачное зрелище для созерцательного ума.

...Налоги на предметы первой необходимости дают возможность многолюдной семье праздных принцев и принцесс парадировать с бессмысленным блеском перед глазеющей толпой, которая почти молится на роскошь,

столь дорого ей стоящую. Это великолепие лишь пережиток феодализма.

...Разве не безумие подчинять судьбу тысячи людей капризу королей, самое положение которых неизбежно ставит их ниже самого ничтожного из их подданных. Но не следует низвергать одну власть с тем, чтобы превозносить подобную же, ибо только равенство между людьми даст счастье обществу.

...Не следует ли признать весьма несовершенным правительство, которое не обеспечивает честных независимых женщин и не помогает им занять почетное положение? Но для того, чтобы личные достоинства женщин служили на благо обществу, нужно, чтобы государство предоставляло им гражданские права, безотносительно к тому, замужем ли они или нет.

«...Воспитывайте женщин, как мужчин,— сказал Руссо,— и чем более они будут походить на наш пол, тем меньше власти они будут иметь над нами». Это как раз и составляет мою цель. Я хочу, чтобы они проявляли свою власть не над мужчинами, а над собой.

...Пагубная роскошь и есть то, что превращает развитие цивилизации в проклятие и до того искажает мышление, что люди чувствительные сомневаются, создает ли рост культуры больше счастья или бедствия. Но природа яда указывает, каково должно быть противоядие, и если бы Руссо поднялся на одну ступень выше в своих изысканиях или если бы его взор пронизал туманный воздух, которым он почти гнушался дышать, его деятельный ум устремился бы вперед и созерцал бы совершенство человека в созидании подлинной цивилизации, вместо того чтобы бешено бросаться назад, во мрак чувственного невежества.

...Чрезвычайно важно отметить, что характер каждого человека создается его профессией.

...Сколько женщин тратит попусту жизнь в недовольствии, хотя они могли бы быть врачами, управлять фермой, заведовать лавкой и гордо поднять голову, живя собственным трудом, а не клонить ее под бременем слезоточивой чувствительности, убивающей красоту, которой прежде она давала блеск.

...Указывая на права, за которые должны бороться женщины наравне с мужчинами, я не пыталась преуменьшать их недостатки, а только старалась доказать,

что эти недостатки являются естественным следствием воспитания женщин и их положения в обществе. Если это верно, то разумно предположить, что они изменят свой характер и освободятся от своих пороков и безрассудств, когда им позволят быть свободными в физическом, нравственном и гражданственном отношении.

Пусть только не будет в обществе организованного принуждения, и тогда в силу естественного закона равновесия оба пола займут свои надлежащие места.

...Пора произвести революцию в женских нравах, пора восстановить утраченное женщиной достоинство. Нужно, чтобы она, как часть человечества, преображая себя, работала над преображением мира. Пора провести грань между неизменной моралью и нравами меняющейся среды».

В 1796 году мисс Вулстонкрафт сблизилась с одним из выдающихся людей своего времени, Вильямом Годвином.

Мери Вулстонкрафт и Годвин познакомились еще в 1791 году, но в первую встречу не понравились друг другу. Вспоминая об этом, Годвин пишет: «Наша встреча не была счастливой... Мери и я отнеслись один к другому скептически. Я не читал «Обоснования прав женщин» и, поверхностно просмотрев ее «Ответ Берку», заметил в нем только грамматические ошибки и другие недостатки в композиции. Я был не столько заинтересован встречей с мисс Вулстонкрафт, сколько знакомством с Томасом Пейном, который пришел с ней. Пейн, по обыкновению, был в течение всего вечера молчалив и лишь вставлял отдельные словечки и замечания в разговор, который главным образом велся мисс Вулстонкрафт и мной... Мы касались различных тем и особенно много обсуждали привычки выдающихся людей. Мери, склонная видеть вещи с худшей стороны, в излишне мрачном свете, порицала все казавшееся ей в людях мало-мальски сомнительным. Я, наоборот, имел склонность к благоприятным оценкам, особенно когда находил то или иное отмеченным гениальностью. Мы перебрали таким образом характер Вольтера и других, которые были в равной мере предметом пламенного обожания и сурового осуждения. В вопросах религии наши мнения почти совпадали».

Мисс Вулстонкрафт была, однако, менее убежденной и последовательной атеисткой, нежели Годвин.

В юности реакционер и тори, Годвин перешел к ви-

гам незадолго до французской революции. Исключительно образованный, дерзко мыслящий, он оказался чрезмерным вольнодумцем для избранной им партии и был обречен идти одиночкой, своим особым путем.

«Бытие определяет сознание и формирует человеческий характер»,— писал в своей нашумевшей книге ученик Гольбаха и Локка.

«Добродетель и грех не следствие врожденных свойств, а следствие обстоятельств».

«Инстинкты и наследственность едва ли существуют и, уж во всяком случае, не играют решающей роли в формировании человека».

«Брак безнравствен, поскольку связанные люди не могут следовать велениям своего рассудка».

«Вещи должны принадлежать тем, в чьих руках они наиболее продуктивны...»

Одновременно анархист Годвин отрицал не только монархический, но и всякий иной правительственный строй, подобно Томасу Пейну обвиняя всякую власть в насилии. Коммунизм, по мнению Годвина, идеальная система, которую может осуществить только высоко развитое умственно и нравственно общество.

Мери и Годвин принуждены были обвенчаться. Иначе не только ни одна домохозяйка не сдала бы им квартиру, но и самые свободомыслящие друзья отказались бы принимать их в своем доме, ссылаясь на опасный пример для молодежи.

Предрассудки владычествовали в такой мере, что истина прежних отношений с Имлеем, выяснившаяся во время бракосочетания мисс Вулстонкрафт и Годвина, послужила для многих знакомых основанием к полному с ними разрыву. Внебрачный ребенок «запятнал» навсегда репутацию знаменитой феминистки.

Счастливая, полная высоких духовных радостей, совместная жизнь Мери и Годвина длилась всего год. 10 сентября 1797 года Мери умерла от родов.

Судьба двух ее дочерей необычна. Младшая, Мери Годвин,— талантливая писательница — была женой великого поэта Шелли. Франсес Имлей сблизилась с Байроном. Однако связь эта кончилась трагически: когда Байрон охладел к своей любовнице, она утопилась.

*1929*

# Одна из вас

повесть

## НАЧАЛО ЖИЗНИ

У меня не осталось воспоминаний раннего детства. Когда окружающие рассказывают о том, что они переживали детьми, я не верю им так же, как не верит глухой в существование звуков. Может быть, причиной тому — частые болезни той поры, которые сделали смутным минувшее. К тому же вокруг не было людей, своими рассказами сохранивших для меня начало моей жизни. Близкие умирали, и с ними исчезали воспоминания о моих детских словечках и шалостях — начале пробуждения человеческой личности.

Мать является мне каждый раз как новый образ, созданный воображением. Не помня ее живой, я люблю и тоскую по ней.

Родственница матери взяла меня к себе, когда мне минуло семь лет. И началось мое детство в странном несчастном доме, который мне суждено было называть отчим. Меня приняли в нем ласково и очень скоро предоставили самой себе.

Теперь, издалека, я начинаю по-иному понимать свое прошлое.

Жизнь — что восхождение на гору. С каждым шагом открывается новая панорама. Все как будто то же и вместе с тем другое, с каждым новым уступом оставшееся позади представляется в новых очертаниях.

Девочку, которая стала моей нареченной сестрой, звали Катей. Сначала я ей завидовала. У нее было много игрушек, ей позволялось капризничать. Позднее я поняла, что она попросту была дурно воспитана, вернее, никто по-настоящему о ней не заботился. Впрочем, ее мать,

отец и дед полагали, что она, наоборот, избалована чрезмерным вниманием.

Рядом с комнатой, в которой находились мы, была комната нашего деда. В человеке этом старость олицетворялась во всем могуществе его разрушения. Седые волосы, морщины, вставные челюсти, пустые, глубоко запавшие глаза, дряблые губы, искривленная спина, руки, жизнь которых проявлялась в вечной дрожи, желтые руки, всегда что-то перебирающие. Когда руки деда бывали спокойными, они, казалось, умирали. Часто, наблюдая старика спящим и глядя на его синеватые затвердевшие пальцы, я с трудом сдерживалась, чтобы не закричать:

— Дедушка умер!

Но он жил. Жил напряженным сожалением о прошедшем, сожалением о напрасно прожитой жизни.

Он был атеистом. Смерть не обещала ему ничего, и тем мучительнее были для него мысли о прошлом. Это было унылое подведение итогов нелепо растраченных лет. Теперь я поняла его трагедию, которую домашние называли старческими причудами. И старик этот всегда будет олицетворять для меня суровый вопрос: так ли живешь?

Жизнь его прошла бурно. Были в ней любовные похождения, кутежи, карты, брак по расчету, богатство и разорение, честолюбивые взлеты и падения, множество детей, законных и незаконных.

И вдруг годам к шестидесяти проснулся человек сразу состарившимся и огляделся вокруг. Отчего это произошло? Старик не знал сам, чем объяснялось то, что он считал «просветлением». Но внезапно он оставил вздорную вдову, с которой много лет был в связи, объявил всем, что стар, болен и готовится к смерти.

Иногда он читал нам отрывки из своего исторического романа — по преимуществу длинные рассуждения, вялые и лишенные смысла. Над ним смеялись.

Анна Павловна и Петр Петрович, родители Кати, очень долго казались мне такими, как положено быть взрослым.

Я воспринимала их, как все дети воспринимают родителей, не задумываясь ни над их внешностью, ни над возрастом, ни над особенностями характеров.

Однажды, лежа в зарослях бурьяна, росшего под окнами дома, и радуясь тому, что остаемся невидимыми, мы с Катей заговорили о них. Катя, грустно глядя вверх, сказала:

— Опять Ольга приехала. Снова пойдет канитель, мама будет плакать, а мне придется кривляться. Ольга любит папу. А мама говорит, что у всех детей должен быть папа и что Ольга гадкая. Как мне все это надоело! И маму жалко.

Катя была некрасивым ребенком. Лицо ее, слишком бледное, часто выглядело изможденным, а голубые глаза с легко краснеющими веками неестественно блестели.

Сейчас, говоря о родителях, Катя была похожа на взрослую. На лице ее появилось выражение усталости и притворства, как у зрелой, много испытавшей женщины. Я оторопело взглянула на нее.

— Тише,— шепнула Катя,— они идут, папа и Ольга.

Мы замолчали, преувеличивая опасность, и, жадно стремясь подслушать, поползли, осторожно раздвигая траву. На скамейке спиной к нам сидели Петр Петрович и женщина, вид которой не внушал мне никаких враждебных чувств. На затылке ее вились каштановые волосы, широкий пояс охватывал тонкую талию. Мы ждали. Чего? Катя хмурила брови.

— Сейчас поцелуются,— сказала она равнодушно.

Так оно и случилось. И сразу же со стороны дома раздался пронзительный женский крик. Анна Павловна тоже следила за парой на скамейке.

— Мамочка, бедная мамочка! — каким-то ненатуральным голосом вскричала Катя.

Глаза ее, и без того большие, еще расширились. Она бросилась навстречу растерянно поднявшемуся Петру Петровичу и тем же голосом крикнула:

— Папа, ты подлец!

Мы побежали к дому. На террасе громко плакала Анна Павловна, судорожно вздрагивая и прижимаясь к отцу. Старик разводил руками.

— Вольному воля,— шептал он. — Любви ведь у Пети к тебе нет. Впрочем, живите, как вам нравится.

Вскоре я привыкла к подобным происшествиям и знала наперед, как будут разворачиваться события и какие будут произноситься слова героями этого скверного фарса.

Анна Павловна была из тех слабых и добрых женщин, которые в молодости дерзают следовать модным теориям, чтобы потом, в течение долгих лет, жить, не обновляя и не пополняя свой незначительный и быстро устаревший интеллектуальный запас. Она мечтала о простом маленьком счастьице, о верном муже и материнстве. В ней было что-то птичье: и слишком круглые глаза, и тонкий голосок. И, как птица, неутомимо она стремилась вить «гнездо». В большом городе она умудрялась на маленьком пространстве выращивать чахлые овощи, хотя ими в изобилии торговали в соседней лавчонке и на базаре. Анна Павловна могла быть счастлива где-нибудь в лесу с тихим однолюбом мужем, на досуге копающимся в огороде. Она могла бы раз навсегда сбросить корсет из чуждых, сдавливающих ее жизнь понятий и дать наконец волю маленькому сердцу и уму. Населив мир здоровыми детьми, так и не выглянув за плетень своего двора, она умерла бы после долгой и беспечной жизни. Всегда встречая женщин, усталых от желанного бремени материнства и хозяйства, я вспоминаю Анну Павловну. Жить для нее значило угождать Петру Петровичу. Ее слепая привязанность возрастала от праздности и мелкой тирании мужа. Было что-то рабское в ее желании во всем угодить ему.

Но едва новое увлечение мужа становилось угрозой семейной рутине, Анна Павловна находила в себе необычайные силы и энергию. Обмороки сменялись стратегическими планами и расчетами. Она безжалостно втягивала нас в этот водоворот. Я относила письма предполагаемой разлучнице. Умело эксплуатируемая жалость гнала Катю к отцу. Начинались уговоры, скандалы, угрозы, кончавшиеся долгим изнуряющим плачем. Катя очень умело проводила свою роль, но трудно сказать, чего больше — отвращения или грусти — было в ней после «представления», как она сама называла свои патетические монологи, обращенные к отцу.

Петр Петрович знал наизусть «Евгения Онегина» и на всякий жизненный случай любил приводить оттуда цитаты. Он был профессиональный говорун и никогда не задумывался над тем, что могло испортить ему настроение. Ни во что не веря, он норовил жить без трудностей, суету называя жизнерадостностью. В погоне за впечатлениями, в нежелании и боязни одиночества он бросался

от одной женщины к другой. Дедушка говорил ему иногда: «Всех не перелюбишь»,— на что Петр Петрович отвечал, поглаживая кудри: «Сколько успею».

Дом, который меня приютил, был вполне благоустроен, но внутренне порочен и безалаберен, как и его хозяева.

У дома не было особых примет. Не было ни плюшевых скатертей, ни толстенных альбомов с фотографиями маленьких деток, впоследствии превратившихся в усатых, лысых, ожиревших транжир и скупцов. Не было и декадентских бронзовых ламп с лилиеобразными полуодетыми девами, запрокинувшими над головой лиловые абажуры, репродукции «Острова мертвых», боттичеллиевской «Весны», меховой шкуры и низкого дивана. Не было и нарочитой простоты: одинокого глобуса, вырванной из учебника карты Австралии на четырех кнопках, кактуса в глиняной миске и Венеры Милосской на ничем не покрытом рояле. Все тут было случайным и неопределенным: обыкновенный буфет, английские металлические кровати, этажерка для нот и книг, стулья и лампы. Не было определенного внешнего стиля и никаких попыток создать его.

* * *

Дети любят порядок. Они требуют от взрослых плана и чувства ответственности за происходящее.

Катю искалечили в детстве слезы, упреки, беготня Анны Павловны по улицам, брань и нелепые примирения. Мы с нею были подобны молодым растениям, чуть тронутым гниением.

— Только ради Кати я еще раз прощаю,— умиленно лгала Анна Павловна, осчастливленная тем, что муж снова ночует не в кабинете, а в спальне.

— Они помирились ради меня,— говорила Катя, и губы ее подергивались, как у очень усталой женщины.

И только дедушка хмурился и сердился:

— Ребенка пожалеть надо, разошлись бы наконец.

— Ведь у всех детей должен быть папа,— полуспрашивала, полуутверждала Катя.

А я думала почти с облегчением: «У меня его нет»,— и засыпала, помечтав перед сном о родителях, которых

любила представлять себе очень дружными и верными друг другу.

Таков был дом, где протекало мое детство. Об окружающем мире мы знали мало. Самым неприятным явлением в нем была школа. Я никогда впоследствии не могла объяснить себе той глубокой враждебности, которую она мне внушила. Школа эта не была «казенной». Группа учителей радикальных умонастроений содержала ее на деньги щедрых общественных деятелей и филантропов. Правда, директор школы, по фамилии Ястреб, был монархистом, но зато дочь одной из классных дам — эсеркой и даже попала в ссылку. Анна Павловна не сомневалась, что дети получают правильное воспитание в таком передовом учебном заведении. Сама она кончила «казенную» гимназию в провинциальном городе, где ученицам запрещалось выходить из дома после шести часов вечера, и даже двадцать лет спустя в числе тягостных ее сновидений были те, где ей являлись гимназия, учителя и экзамены.

Поэтому нас отдали в школу, где учителя не устраивали внезапных налетов на квартиры учеников, где было совместное обучение мальчиков и девочек — порядок в те годы почти небывалый, где школьная одежда была просторной и красивой. И все же я возненавидела эту прогрессивную школу, ласковых, «психологически» изучавших нас педагогов и в особенности Ястреба. Школа была первым принуждением, которое я испытала в жизни.

В среде, где я выросла, всех детей отдавали в школы. Я не задумывалась о том, бывает ли иначе, и считала, что дети, хотят они этого или нет, должны учиться. Значит, нужно было терпеть. Ведь все люди, которых я знала, получали профессию в школах и университетах, а профессия означала заработок и самостоятельность. Жизнь в моем представлении делилась на несколько неравных частей. Сначала долгое принудительное учение, потом неизбежная служба — зарабатывание денег и, наконец, старость, когда не учатся и не работают, но в полном бездействии и беззащитности чего-то ждут. Смерти? Старость была страшна, учение только скучно, служба неопределенна, а у некоторых даже заманчиво легка.

Женщине могла выпасть и иная доля — замужество вместо службы или в дополнение к ней. Но я была бес-

приданницей и на замужество твердо рассчитывать не могла.

— На всякий случай надо иметь свой кусок хлеба,— торжественно изрекала Анна Павловна. — Брак по любви всегда горе для женщины, брак по расчету — позор.

Мне оставалось примерными успехами и поведением добывать свое счастье. Но в первый же год в школе я поняла, как это нелегко.

Учили нас скучно, безразлично. День проходил уныло, тягуче. Окончив заданные уроки, я отправлялась спать. И тут, зарывшись в подушку, я вызывала в памяти любимые картины, сцены из книг, пока усталость не затуманивала мыслей. Потом, для того чтобы уснуть, я почему-то вызывала в воображении рыжего верблюда и приказывала ему идти впереди меня в золотые пески. Он шел медленно, покачиваясь, рыжий, как пустыня, и я следила за ним. Верблюд никогда не успевал исчезнуть вдали: я засыпала раньше.

Каждый свободный миг я отдавала чтению. Ни салазки, ни купанье не казались мне достойными конкурентами бесчисленных приключений, восторгов и печалей, даримых с такой щедростью книгами.

Книги донесли до меня ароматы всех стран, сохранили тоску по лучшему, дали волю к борьбе. Ни дом, ни школа не могли побороть влияния книг.

Были и иные радости. И первая из них — кинематограф, холодный деревянный лабаз на задах общественного сада, где на «третьих местах» с одним и тем же билетом нам удавалось просиживать по два-три сеанса.

Здесь я жила одной жизнью с нелепо двигающимися по полотну мигающими тенями, как глухонемой, стараясь понять по движениям их губ неслышные слова. Знала наперед, что случится на экране, где после пятиминутных вздохов над прощальным письмом какая-либо тень обязательно выпьет яд и упадет на пол, вращая глазами, размахивая руками и трагически паясничая. Это было комично и ложно, но я верила всему. Вера Холодная, Полонский, Максимов — мы любили их, вычурных, беспомощных и скучных, не стараясь вникнуть в суть их печалей и в причины трагедий. Бесприданницы и бравые офицеры на протяжении всего фильма не покидали темных, заставленных мебелью комнат. Беззвучно разговаривали, много жестикулировали и наконец

умирали от чрезмерно счастливой либо неразделенной любви.

Кинематограф заражал нас болезненной чувствительностью, разочарованием в людях. «Камин потух», «Разбитое сердце» — все эти мелодрамы были похожи на заунывные романсы, которыми на рояле сопровождала фильмы таперша. У нее всегда болели зубы. Отводя мокрые глаза от экрана, я видела черную сатиновую повязку, носик, загнутый вверх, как у чайника, и седую лепешку из волос, пришпиленную к затылку.

После драмы на экране кувыркались Глупышкин или Макс Линдер. Начиналась драка. Опрокидывали тещу, посудный шкаф или телеграфный столб. Я выходила из кино с остановившимся, как у Полонского, взглядом, чуть покачиваясь, как Вера Холодная. Я мечтала о моложавом Максимове, всегда таком отзывчивом и безответно влюбленном.

Если у меня оставалось копеек пять, я покупала шоколадный шар и несла его бережно, оттягивая чудесный момент, когда я надкушу его и, засунув внутрь мизинец, притронусь к сюрпризу. Знала, что это будет сердечко-медальон, брошка с собачкой, похожей на поросенка, или жестяное колечко, и все же надеялась на неожиданное.

В дни школьных каникул Анна Павловна брала нам билеты в театр. Особенно мы любили «Потонувший колокол» Гауптмана. Вернувшись из театра, мы разыгрывали виденное на сцене. Распустив волосы, Катя надевала материнскую ночную рубашку и начинала монолог нежной феи Раутенделайн. Мне же больше нравился леший, и, выскакивая из-за шкафа в халате деда, я угрожающе выкрикивала:

— Бреккекекекекс!..

Однажды, застав нас за этой игрой, Анна Павловна присоединилась к нам. Вытянув вперед руки с вазочкой из-под варенья, она, пошатываясь, пошла вперед с трагической миной и остановившимися глазами.

И мы, тотчас же превратившись в детей из спектакля, спросили, подражая артистам:

— Что ты несешь?

— То слезы матери... — без запинки отвечала Анна Павловна репликой из пьесы, которую мы видели в зимние каникулы.

Много дней подряд мы повторяли по всякому поводу, не совсем понимая, слышанные на сцене слова: «Флейты весны, трубы лета, скрипки осени и безмолвие зимы...»

Но это были радости быстро проходящих праздников. В будни же полагалось учиться и не выходить за пределы дома и двора, единственным украшением которого был бурьян.

К счастью, я недолго пробыла под школьной опекой. Дело в том, что я писала стихи. Да и кто не писал их хоть раз в своей жизни!..

Неуклюжая, длиннорукая, я была мечтательна и восприимчива к музыке и поэзии. Я перевоплощалась то в Татьяну, то в Тамару и меньше всего умела оставаться сама собой.

Хотелось мне быть и Верой Фигнер, о которой весьма путано рассказывала нам Анна Павловна в тех же выражениях, что и о Жанне д'Арк.

По мнению Анны Павловны, рассказы о таких женщинах должны были развивать во мне и Кате наклонность к героизму и закалять наш характер.

Жанна д'Арк не полюбилась мне. Но женщинам-революционеркам в знак восхищения я посвятила неумелые стихотворные строчки. Тщеславие и жажда похвал побудили меня показать написанное учительнице словесности. Стихи были такие:

На бой с тиранами без страха ты пошла,
Народу молодость ты в жертву принесла.
И в царском каземате заперта ты, как всегда,
Спокойна и сильна.
И мы с тобой...

Учительница была вдовой социал-демократа и боялась, что из-за мужа может потерять место. Поэтому она сочла нужным показать мои стихи директору школы.

Директор Ястреб был существом неопределенного пола. Щупленький и смазливый, с лицом черноглазой, румяненькой маленькой девочки, он очень гордился тем, что окончил три факультета, и считал себя поэтому всезнающим человеком. В школе никто никогда не осмеливался подвергать сомнению его таланты, знания и ум.

— Помилуйте, три факультета! — говорили о нем.

Родине Ястреб желал монархии, себе — достаточно денег, чтобы собрать лучшую, чем у Остроумова, коллекцию икон.

— Я сделал в жизни все, что мог,— говорил он нам. — Я кончил три факультета и призываю к тому же и вас.

Поговаривали, что Ястреб проел деньги матери и двух незамужних теток. Его считали в семье гениальным. А чем не пожертвуешь для сверхчеловека?

Мне довелось дважды видеть Ястреба очеловеченным и непохожим на размалеванную бездушную куклу: в первый раз, когда он допрашивал меня, одиннадцатилетнюю девочку, и во второй, когда много лет спустя я допрашивала его, офицера белого Дроздовского полка.

— Вы выбрали опасный путь и можете скатиться в бездну, революция — это дурман. Гибель мира таится в торжестве грядущего хама, и всякие там Фигнер добиваются этой гибели,— говорил он мне в первой из этих бесед, размахивая старой лупой в серебряной оправе.

Во время второго разговора лупы не было и в помине, а вместо нее на столе между нами лежали браунинг и найденные у Ястреба при обыске шпионские документы.

Но вернемся к Ястребу 1913 года. Он исключил меня тогда из школы за опасное «направление» мыслей, выраженное в моих стихах.

Анне Павловне в те дни было не до моих злоключений. Петр Петрович грозил ей разводом. Но дедушка ласково и дружески утешал меня. Он уводил меня прочь из дома в мир, рассказывал о том, что происходило за стенами дома, за узким кругом маленьких бед и метаний, в котором едва видимой пылью кружились Анна Павловна, Петр Петрович, Катя, Ястреб, я...

— Деревня,— говорил дедушка мне и Кате,— это наш позор. За триста лет она не переменила своего облика. Художники врут, когда рисуют или описывают мужичка добродушным человеком с медвежьей ухваткой, в начищенных сапогах.

В эту пору в нашу жизнь ворвалась религия. Тайком мы с Катей бегали в церковь и, дрожа, склонялись перед иконами. Нас гнал страх. По ночам мы будили друг друга и рассказывали сны, путаные и бессмысленные. Мы прятали под подушками иконки и ладанки. В доме, где в библиотечном шкафу стояли Вольтер и Дарвин, мы росли смертельно запуганными суеверными дикарками.

И хотя взрослые никогда ни в чем не проявляли интереса к существованию бога, мы верили в него и смертельно боялись неминуемого, по утверждению Анки-стряпухи, конца света.

## ЖЕНЩИНА, УРОНИВШАЯ СВОЮ ЖИЗНЬ

В этот год наших религиозных метаний, мрачных предчувствий и суеверий была объявлена мировая война. Помню, как в первые ее дни Анна Павловна, разложив на столе карту, заявила:

— Немцы неминуемо захватят наш город. Надо решать, куда перебираться, когда Петю мобилизуют.

Петр Петрович сердился:

— Наша армия непобедима, и поверьте, друзья мои, не пройдет и месяца, как падет Берлин. Терпение, друзья мои! Очень скоро война будет победоносно закончена. Мы живем в двадцатом веке, в светлом веке культуры!

— Те же слова я слышала накануне русско-японской войны,— водя пальцем по карте, отвечала Анна Павловна.

— Россия — страна трагическая,— заявил дед.

Первое время я мало задумывалась и еще меньше понимала происходящее. Город суетился. Петр Петрович надел френч и сапоги и начал работать «на оборону». Он был теперь по преимуществу весел. Анна Павловна ходила на дежурство в госпиталь. Ее неудовлетворенное, всегда чем-то обиженное женское, «куриное», как говорил дедушка, сердце билось учащенно. Неиспользованная энергия нашла выход в благотворительности и внезапно нахлынувшей любви к ближнему. Стоило ей представить, что на месте раненого, которому она зажигала папироску или оправляла подушку, может лежать Петр Петрович, как нежность и ужас вызывали у нее слезы. Вечная боязнь за мужа заставляла ее бессознательно мечтать о мире любой ценой. Ей было все равно, кто победит, лишь бы скорее миновала опасность остаться одной. И, растерянная, дрожащая перед будущим, она готова была вымаливать мир как пощаду. Война была так опасна: раны, болезни, молоденькие сестры милосердия...

Неожиданно определилась и моя участь. Когда Петру Петровичу в связи с его работой на оборону понадобилось

отправиться в другой город, ближе к фронту, Анна Павловна, не колеблясь ликвидировала дом и отправилась за мужем, взяв с собой Катю и препоручив меня и дедушку заботам своей кузины Веры Ивановны. Все это произошло до крайности быстро, так как поступками Анны Павловны руководила жгучая ревность.

Итак, нашего дома больше не стало. Вещи спускали через окно прямо в бурьян, мой и Катин бурьян, наше укрытие, где мы мечтали, плакали, откуда подсматривали за взрослыми и дрожали в ожидании близкого конца света.

В то время я училась в местной женской гимназии. Как и некогда в прогрессивном заведении директора Ястреба, каждый день, торопясь к началу уроков, я трепетно надеялась увидеть вместо скучного казенного здания неприглядное пепелище. Иногда я тешила себя мыслью, не случилось ли что-нибудь с учителями, и торопилась перечитать расписание: арифметика, русский, немецкий, рисование,— выбирая очередную жертву.

Неужели ни один из этих бесконечно чуждых мне людей не захворал, не попал под трамвай, не вызван телеграммой куда-нибудь в другой город! Но нет. Школа неизменно встречала меня хмурыми грязными стеклами, по коридорам торопились учителя. День начинался. Вяло тянулись часы. Скучные учебники, скучные формальности, злые девчонки вокруг. Они называли меня подкидышем.

Ненависть к школе усугублялась недовольством собой, одиночеством. Все запретное, неведомое влекло, беспокоило. Незадолго до своего отъезда Анна Павловна сочла нужным рассказать нам, девочкам, как зарождается жизнь, как начинается все живое. Не выдавая себя ничем, мы слушали неуклюжие пояснения о размножении растений, рыб, зверей, птиц. Под конец, запинаясь, Анна Павловна начала объяснять нам, как проходит все это у человека.

В услышанном меня больше всего заинтересовало то, что у цветов есть пульс и они дышат. Остальное, в особенности то, что так смущало Анну Павловну, мы с Катей давно уже знали. Помню, как, лежа в бурьяне, мы клялись жить отшельницами и никогда не испытывать того, о чем так много думали. Отвращение перемешива-

лось у нас с любопытством. Родители наши казались нам опозоренными правдой, которую мы теперь знали.

Что же до Анны Павловны, то она облегченно вздохнула, окончив свой урок сравнительной физиологии, и мы слышали, как она сказала дедушке:

— Они ровно ничего не смыслят и не интересуются тем, что я объясняла. Напрасно поторопилась. Они еще слишком малы. Инстинкт у них еще не проснулся.

— Наоборот, поздно. Они давно уже знают все,— ответил дедушка. Как он, однако, был наблюдателен.

Теперь Катя уехала. Я и дед перебрались к Вере Ивановне. У нее было две комнаты, из которых одну она отдала нам.

Вера Ивановна жила на небольшие проценты с капитала. Кое-что прирабатывала уроками музыки.

В нашей комнате, очень узкой и светлой, стоял стол, покрытый желтой клеенкой с голубыми гирляндами незабудок. Он был моей партой, на нем писал свой неоконченный роман дедушка, за ним полагалось есть, беседовать, работать. Стол был причиной постоянных неурядиц и столкновений, особенно если Вера Ивановна превращала его в гладильную доску.

Вера Ивановна страдала частыми мигренями и не менее частыми приступами сердечной тоски.

В поисках одиночества я уходила в сени и влезала на сундук. Этот сундук был подлинным волшебником, он вдохновлял меня и превращался то в хоромы, то в ковер-самолет, то в тропический лес или в вершину горы.

В двенадцать — тринадцать лет девочки рассеянны, меланхоличны, легко ранимы и крайне мечтательны. Вероятно, физиология объясняет эти свойства. Я населяла фантазиями окружающий меня мир, сочиняла длиннейшие и запутаннейшие сказки или пьесы, в которых сама исполняла все роли. Это длилось часами и полностью заполняло мой досуг. Я была дикаркой с тропического острова, бедуином в Сахаре, принцессой, певицей или просто пленительной женщиной, невероятно великодушной и неприступной. Последняя из прочитанных книг, либретто опер, которые я собирала, создавала почву для очередной мечты. Жизнь вокруг меня была однообразна, ничто не питало, не воспитывало мой ум. Оставалось самой заполнять затянувшиеся досуги.

Вера Ивановна очень долго, почти до самой нашей разлуки, оставалась для меня чужой.

Мы с дедом принесли с собой непривычную сумятицу в жизнь этой женщины, сосредоточившей всю свою нежность, все заботы на самой себе. Постепенно она, однако, с удовольствием убедилась в том, что нам от нее ничего не нужно, и вернулась к прежнему, строго размеренному образу жизни. Мы были для нее только соседями.

У Веры Ивановны не было близких, не было забот, не было целей. Она уперлась в самый беспросветный тупик — тупик эгоизма. Сосредоточившись в самой себе, она считала мир мрачной чащей, населенной чудовищами, которых надо остерегаться. Самый воздух казался ей обиталищем микробов, земля — логовищем пресмыкающихся и хищников. Спасалась она десятками микстурок, рецепты которых были оставлены ей еще родителями и их наследством — эгоистическим сознанием: я никому ничего не должна, и никто мне не должен.

Дедушка говаривал мне частенько: «Берегись быть эгоисткой, не то иссохнешь сердцем, как Вера. В себе самом человек не может найти достаточного питания для роста и счастья. Эгоизм — это безвоздушное пространство, потому что человек общественен и может быть удовлетворен лишь тогда, когда дает что-то окружающим. Давая, мы берем. Такой обмен — основа бытия. Но все это не всегда вовремя поймешь. Я вот поздно спохватился и иссох».

Так говорил старик, когда, погасив керосиновую лампу, принимался раздеваться за ширмой, где стояла его кровать — простая солдатская койка. К этому времени я не только привыкла к дедушке, но и полюбила его. Старческая его ласка больше не пугала меня. Иногда я гладила его руки, те самые, что раньше вызывали во мне лишь страх.

Мои мечты были разнообразны. Я мечтала о том, чтобы увидеть мир с воздуха. Посмотреть на город сверху, как птица. Воображение мое создавало значительно больше, нежели могла дать действительность. Особенно чудесны были неведомый мне Багдад, дальние острова архипелагов и веселая белая Венеция.

Шло время. Как-то в маленьком окраинном кинематографе я увидела Багдад, город сказок «Тысячи и одной ночи».

Грязные провинциальные улочки, неровная мостовая, лужи. В иных закоулках автобусу не развернуться. Зато повсюду навьюченные ослы, верблюды и лошади. Мрачные дома с окнами во двор, отсутствие цветов. Нищета, едва прикрытая европейским нарядом. Так вот куда я столько раз собиралась бежать, вот где надеялась найти сказочную страну.

В справочной книге я прочла:

«Численность населения Багдада подвержена большим колебаниям вследствие эпидемий, наводнений, голода, частых неурожаев».

В то время когда столица Харун ар-Рашида казалась мне прекраснейшим, счастливейшим городом вселенной, несколько держав уже дрались там за «лампу Ала ад-Дина» — за нефть.

«Берлин — Босфор — Багдад»,— слышала я, но смысл этого соединения слов оставался для меня загадкой.

Однажды Вера Ивановна остановилась перед моим сундуком и, будто впервые увидев меня, о чем-то задумалась.

— Эх ты, чудачок,— сказала она, вероятно, с самыми ласковыми интонациями, на которые была способна, и разрешила мне войти в ее комнату.

Вера Ивановна была так же одинока в мире, как я. Лицо ее преждевременно состарилось. Пройдя два шага, она непроизвольно останавливалась и сжимала узенькие плечики. Гримаса обиды и скуки искажала ее рот. У нее не было больше возраста.

В двадцать лет Веру Ивановну выдали по сватовству замуж за врача, которому нужны были деньги, чтобы начать практику. Вера Ивановна не любила праздности. Она часами натирала безукоризненные полы, мыла и без того чистую посуду, писала счета пациентам, читала книги, которые попадали ей в руки, и либеральные газеты, чтобы было о чем говорить с мужем.

Казалось, так и пройдет вся жизнь. Но началась русско-японская война, муж Веры Ивановны уехал на Дальний Восток. Дом опустел. Сервизы исчезли в сундуках. Теперь не нужно было натирать до блеска полы, начинять кремом пирожные, ругать кухарок за непредвиденные расходы. Вера Ивановна сдала жильцам три комнаты из пяти. У нее оказалось вдруг много свободного времени. Почувствовав, что лет ей немного и силы не израсхо-

дованы, она пыталась учиться, читать. Оглянулась вокруг, прислушалась. *Вокруг пелись песни о свободе*, о конституции. Конные жандармы врезывались в толпы демонстрантов, топча копытами людей. Мертвых героев несли под красными знаменами. Похоронные песни прерывались свистом нагаек. Вера Ивановна начала проводить дни на улицах. Стала преподавать в воскресной школе, проникла даже в кружки, собиравшиеся в таинственных квартирах вокруг тусклых керосиновых лампочек.

Но революция кончилась. Дни подъема и борьбы за свободу миновали. Вихрь ослабел, и Вера Ивановна, как маленькая, поднятая с земли пушинка, упала, опрокинутая стихией, которой не поняла. Никто больше не поручал ей, не заподозренной полицией докторше, хранить в комоде под бельем прокламации, никто не доверял ей партийных тайн. О ней забыли. Ее никто не преследовал, немногие друзья и случайные соратники исчезли в тюрьме. Зато внезапно вернулся из Порт-Артура ее муж, долго бывший в плену. На вокзале торопливо и неловко она попросила у него развода. Он был удивлен, но не опечален. Через полгода они развелись. Почему? На это нелегко было получить ответ, так же как и на то, почему они повенчались. Вера Ивановна поселилась одна. Пробовала давать уроки, но оказалось, что она легко устает и нервничает больше, чем следует. Интересы ее сузились, одиночество стало полным.

Она плакала и желтела от горя, от разочарования, от незнания, чем и как жить. Она становилась все более несчастной и все более тягостной для окружающих.

И только мне, тринадцатилетней девочке, она поверяла свои печальные, безысходные мысли. Но что я могла в этом понять, как я могла ей помочь?

В 1915 году, за полтора года до революции, Вера Ивановна отравилась. Умерла она от бессмыслицы, какой стала ее жизнь.

Передо мной сейчас лежит ее записная книжка — исповедь женщины страшных лет реакции, пришедшей на смену первой революции. Вот несколько выписок оттуда:

«1907 год. Я потеряла главное. Буквы, которые я вывожу, как истерический смех, то взвиваются, то падают. Я потеряла основное — ожидание завтрашнего дня. Он будет походить на сегодняшний, зачем же дожидаться его?»

И дальше:

«Нужно сказать себе, что не вышла жизнь, но признаться в этом не значит ли отступить. Мелочи меня придавили.

С тех пор как прошли месяцы пробуждения (речь идет о минувшем революционном времени), я вижу в людях только злобу, чувствую лишь острые локти и кулаки.

Сегодня арестовали Иванова. Три дня назад был повешен рабочий Исаев. Я видела его однажды на похоронах убитого революционера. Он стоял над могилой товарища и говорил. Слова его звали к мести, к борьбе, к победе. И вот каков итог... По ночам вижу его тело, раскачивающееся на виселице. Я не гожусь для борьбы, я боюсь того, о чем мечтаю. Предчувствие грядущих потрясений порождает во мне смятение. Так мечутся в поисках убежища звери и птицы во время затмения солнца, когда на землю наползает мрак».

В день своей смерти Вера Ивановна после многолетнего перерыва записала:

«Осень 1915 года. Война, смерть, крушение. Мир в дыму, в крови. Отчего я боюсь смерти? Я — стареющая женщина, проживающая приданое, возвращенное мне мужем. Кстати, он женат, у него уже двое детей. У меня не было этой радости. Я берегла его добро. Нынешняя жена его проматывает все, и она любима и счастлива. Он взял ее без приданого, без согласия отца, а меня в качестве досадного приложения к деньгам. Теперь я хорошо знаю, как следовало бы жить, но сил уже нет. Каждый день война бессмысленно уносит сотни тысяч жизней. Может быть, пойти сестрой милосердия на фронт и умереть, как надо? Нет и на это больше сил... А любила-то ведь я только раз — Исаева, пошедшего на виселицу за попытку поднять солдатское восстание. Я помню, как мы шли со сходки, пели «Варшавянку». В переулке была устроена засада. Началось побоище. «За мной!» — крикнул кто-то и втащил меня в подворотню. Я увидела пробитую пулей фуражку и лицо веселое и спокойное.

«Ну, барышня, держитесь за меня, в каталажку попасть успеем»,— сказал он, и мы побежали. Я потеряла калошу и держала своего спасителя за рукав пальто. Ноги у меня намокли, стали противно холодными.

Двор оказался проходным. Впрочем, мы прошли много чужих дворов. С разных сторон стреляли. Рабочие

окраины готовились к бою. Это было так давно. Теперь для меня все решено...

Мне не дожить до революции...»

На этом кончались записки Веры Ивановны.

## ОТРОЧЕСТВО

Мне минуло четырнадцать лет. Мы жили с дедушкой. Анна Павловна и Катя разъезжали следом за Петром Петровичем. По утрам я покорно ходила в школу. Училась, чтобы стать «человеком», по выражению Анны Павловны. Странное определение. Когда дедушка, приходя из банка, тяжело вздыхал и говорил, что мы «проедаем капитал», я мечтала скорее вырасти и начать зарабатывать деньги, чтобы он мог спокойно ждать конца, читая газеты и съедая столько приторных грушевых леденцов, сколько ему захочется,— дед был сластеной. Нужно ведь было жить и работать для кого-то, и мне хотелось жить хоть для этого беспомощного старика. Поэтому я радовалась, что денег у нас становится все меньше, надеясь, что скоро начну сама зарабатывать.

Наступил 1917 год.

По утрам дедушка читал вслух газеты, где сообщалось об отречении царя, о революции. Я слушала, взволнованная предчувствиями и желанием понять, что́ все это означает для моего будущего. В те дни мой мир был мал, и жила я только собой. По утрам вплетала красную ленточку в косы и, пропуская школьные уроки, глазела с тротуара на веселые демонстрации, на алые флаги, читала волнующие, чудесные лозунги. Пела неведомые мне раньше песни, увлекаясь новыми мелодиями и словами.

А дед встревоженно говорил о надвигающейся смуте.

Нежданно приехала Анна Павловна с мужем и дочерью. Я отвыкла от них и по-иному смотрела на Катю. Обе мы подросли. Она уже начала хорошеть, я же оставалась длиннорукой, худой, неуклюжей. Катя относилась к окружающему с недетской трезвостью.

— Надо уметь жить,— говорила она, хмуря широкие брови.

— Что ты понимаешь под этим умением?

— Не принимать всерьез личные неудачи, быть самостоятельной, уметь пользоваться обстоятельствами и

людьми — словом, знать, что к чему, и не терять из-за пустяков голову.

Катя казалась мне умной, недосягаемо сильной, и я перед ней преклонялась.

Революция, врывающаяся с весенним ветром в дом, мало занимала мысли Кати. По приезде в наш город у нее тотчас же завязался роман. Я с завистью следила за его развитием. В Кате пробудилось чисто женское тщеславие. Она сумела заставить гимназиста седьмого класса писать ей письма. Собственно, это и было основной ее целью. Каждое любовное письмо становилось событием для нас обеих. Мы читали их, обсуждали. Иногда Катя уходила на свидание, назначаемое на берегу реки, в городском саду, у театра.

Стоял нежный лиловый апрель. Прошли подснежники. Приближалось цветение сирени и белой акации. Революция все еще походила на бесконечный карнавал. Красные полотнища развевались над высокими цилиндрами, студенческими фуражками, рабочими шапками. В этом смешении было что-то необычное. Я читала запоем «Девяносто третий год» Гюго и недоумевала, почему же то, что я видела вокруг, было так легкомысленно и так парадно?

Петр Петрович во френче и галифе после обеда прохаживался по комнате. Он остерегался полнеть и выглядел моложаво и изящно, как никогда. Он стал теперь несносно говорлив. Казалось, он только тем и занят, что репетирует предстоящие выступления. Перед нами он проверял тембр своего голоса, счастливо найденный жест, позу, в которой ничего не было забыто. Слушая его речи о свержении самодержавия, о «восхитительной свободе», об Учредительном собрании, о победоносном продвижении наших войск, я следила за тем, как летала его рука, как распрямлялись пальцы, такие холеные, такие ленивые, с такими отточенными ногтями. При чем тут революция?

По вечерам Петр Петрович был всегда занят. «Митинги, заседания, совещания»,— говорил он. Но Анна Павловна плакала чаще, чем раньше. Петр Петрович никогда не был более весел, чем в эти дни. Революция и Тамара Ивановна, революция и Ксения Львовна, в салоне которой встречались люди умеренных партий. Петр Петрович не сумел бы определить, что увлекало его. Револю-

ция давала возможность блеснуть красноречием, сулила выгодную карьеру, славу, веселье.

Катя, как я уже говорила, развлекалась преждевременными сердечными треволнениями. Дед читал книги о Стеньке Разине. А я ждала чего-то и наконец дождалась. Это «что-то» оказалось вестью о моем отце. Я никогда не вспоминала о нем. Для меня ведь он никогда прежде не существовал.

Когда после моего рождения он внезапно бросил мать, она тяжело заболела. Спустя несколько лет отец отыскал нас опять, и краткое счастье и последовавший за этим грубый разрыв окончательно подорвали слабые силы матери. Она умерла. Потом в течение долгих лет об отце ничего не было слышно. И вот теперь, в ясные дни весны семнадцатого года, когда никто ничему не удивлялся, Анна Павловна однажды с какой-то многозначительной и растерянной улыбкой вызвала меня в прихожую. Там на коленях спиной ко мне стоял тучный, широкоплечий военный и снимал рыжий ботик с ноги женщины в пушистой меховой шубке.

— Вот,— сказала робко Анна Павловна,— ваша дочь. — И она подтолкнула меня вперед, но я, как в раннем детстве, цепко ухватилась за ее руку, невольно испугавшись, что останусь одна с этими чужими, пристально разглядывавшими меня людьми. Тяжело дыша, офицер встал на ноги. Он был очень высок, и я увидела перед собой широкий ремень, уродливо перерезавший его живот, деля его на две неравных выпуклости.

Женщина, наклонив набок голову, сказала жеманно:

— Здравствуй! Какая ты, однако, веснушчатая.

Отец приподнял мою голову. Растерянная улыбка появилась на его лице, и я внезапно почувствовала, что он боится рассердить женщину в мехах, и невольно, сама приподнявшись на носках, протянула к нему губы и руки. Голос мой прервался, и я скорее выдохнула, чем выговорила заветное, желанное слово «папа», которое никогда еще не произносила. Но женщина резко позвала отца. Он торопливо отстранился от меня и подошел к ней. Я уловила удовлетворенную усмешку на ее лице. Сердце мое забилось...

Уходя, отец сунул мне несколько кредиток и поцеловал меня куда-то между виском и ухом.

— Не знаю, когда и где увидимся,— проговорил он

печально и тихо. — Мы с Ниночкой собираемся в Крым, там много друзей, а оттуда, видимо, махнем за границу. Медлить нельзя.

Анна Павловна спросила плаксиво:

— А что будет с Наталкой? Время ведь такое трудное.

— Видите ли, я женат, Ниночка сама почти ребенок. — Он замялся. — Конечно, добравшись до цивилизованных стран и устроившись там, я позабочусь о ребенке, поверьте...

Дальше я слушать не стала. Проводив гостей, Анна Павловна разыскала меня в темном углу, за шкафом. Когда ее рука коснулась моей щеки, я залилась слезами. Но боль скоро утихла. Чувство внезапной любви к этой тоже по-своему одинокой женщине охватило меня.

Я целовала ее маленькие руки, и она отвечала мне истинно материнской лаской.

В этот вечер мы долго сидели рядом, прижавшись друг к другу. Я точно сразу выросла.

Детство мое кончилось.

## ПРОБУЖДЕНИЕ

В декабре в Киеве к власти пришли большевики, и в начале 1918 года Анна Павловна с мужем и дочерью уехали в Москву, пообещав вскоре забрать туда и нас с дедом. Оставшись одни, мы поселились на окраине, где жизнь стоила дешевле.

Недалеко от нас высилось желто-серое здание Арсенала, к которому по утрам двигались длинные вереницы рабочих. Невдалеке, внизу, между темными соснами пригородного бора, блестел Днепр. По песчаной дороге к городу шли с фронта изможденные, усталые люди в солдатских шинелях. Иногда дед выходил на улицу, чтобы поговорить с ними, а я бежала в дом и выносила молока и хлеба.

Люди эти говорили о мире. От них я впервые услышала о Брестских переговорах, о предательстве украинских националистов, об опасности нашествия немцев.

Однажды меня разбудил гул канонады. Дед сказал, что рабочие собираются в Арсенале. Они решили сопротивляться.

*К городу подходили войска Украинской Рады и немцев.* Я вышла на улицу. Недалеко упал, не разорвавшись, снаряд. Обезумевшие женщины уводили детей в подвалы и погреба. Дед звал меня из окна. Но какая-то ребяческая удаль подхватила меня. Впервые, еще не сознавая этого, я увидела опасность воочию. Но разве не любила я с детства грозу, не смеялась когда-то над Катей, когда, заслышав раскаты грома, она прятала голову под подушку?

Началась многодневная осада города, а затем Арсенала. В эти дни я впервые услышала стоны раненых и умирающих, которых проносили мимо. Взметая пыль и комья снега, разрывались снаряды, горели дома. Ужас охватил меня. Забившись в угол, недоумевающая, растерянная, я сидела возле деда и прислушивалась к канонаде. Хотела и боялась тишины — ведь она могла означать поражение арсенальцев. Так оно и случилось. Однажды вместо артиллерийского грохота раздался бой барабанов, и в Киев вошли немцы. В тот же день одинокие выстрелы оповестили о начавшейся расправе с рабочими. Их расстреливали на большом пустыре у завода.

Так на немецких штыках утвердилась власть гетмана Скоропадского.

Красные флаги были заменены желто-голубыми полотнищами буржуазно-помещичьей Центральной Рады. А на окраинах все продолжались расстрелы рабочих.

Вскоре после прихода немцев я отправилась на Крещатик, заполненный нарядной толпой. Дребезжа, проезжали пушки, походные кухни, повозки с продовольствием, снарядные ящики. Из открытых настежь дверей пивных и ресторанов вырывались звуки расстроенных роялей и сиплый граммофонный рев. Многоголосый шум господствовал всюду. Приоткрытые двери домов казались раскрытыми настежь.

На окраине было безлюдно и тихо. Я увидела груды камней, разрушенные дома, выставившие напоказ искалеченное нутро — стены с покривившимися литографиями, безногую кровать, спинку шкафа, клочья матраца, обломки мебели. Всюду валялись камни, земля и остатки вещей. Так, вероятно, выглядела Мессина после землетрясения, о котором я читала когда-то.

Карабкаясь по развалинам, я заглядывала в дома сверху. Кое-где крыши были снесены либо пробиты.

Иногда, как на сцене театра, комнаты были отгорожены от внешнего мира лишь с трех сторон. В одном месте разорвавшийся снаряд причудливо разрезал жилище. В детской люльке на одном из дворов лежала невредимой тряпичная кукла, а в лавке гробовщика не пострадал ни один гипсовый ангел. Но гробов в лавке не было. В ту пору в них очень нуждались.

Блуждая среди мусора и битых кирпичей, я не встречала людей. Иногда, вспугнутая шорохом осыпающейся штукатурки, из-под ног у меня выскакивала горемычная кошка.

Среди обломков я нашла разорванную большевистскую листовку, слова которой были для меня не новы.

Напряженно я старалась проникнуть в смысл трагедии, о которой твердили здесь камни. Думы мои прервали донесшиеся из глубины переулка женское причитание и детский плач. Я стремглав бросилась к дому, откуда доносились эти звуки, убогому, но уцелевшему, и, пробежав угрюмые сени, открыла дверь в комнату. Навстречу мне поднялась женщина.

— Вот,— сказала она сипло, вытянув вперед руку,— они сказали, что так поступят с каждым большевиком.

В полутьме, на столе, я увидела мужчину в белье. Меня поразили его голые, посиневшие ступни, его простреленный, с коричневыми, как медяки, пятнами лоб. Это зрелище никогда не исчезнет из моей памяти.

Старуха мать, горбатая от горя, тщетно пыталась опустить веки мертвеца. В остекленевших его глазах не было испуга. Надменный вызов выражал слегка приоткрытый в усмешке рот.

Что же сделал этот человек, умерший с презрением к своим убийцам? Какая правда дала ему силы?

— Да, не все в этом мире ладно,— произнес кто-то за моей спиной.

Я обернулась. Позади меня стоял низенький человек в пестрой ситцевой рубахе, с узкой бородкой и сухими блестящими глазами.

— Скверно устроен этот мир,— повторил старик, кивая мне головой. Он говорил со мной так, будто знал меня давно и нисколько не удивился моему появлению.

Вечером мы похоронили Андрея — так звали рабочего Арсенала, одного из многих погибших в эти дни в нашем городе.

Я стала бывать у новых друзей и снова встретила там человека, которого все звали просто Лукой. Этот невысокий старик, с глазами необычайной зоркости, точно рентгеновскими лучами пронизывающими собеседника насквозь, с козлиной бородкой вокруг пухлого веселого рта, особенно нравился мне.

Сердце мое тосковало о правде, о равенстве, о счастье для всех людей на земле, но разум был еще слеп. И вот в лачуге расстрелянного рабочего случай свел меня с тем, кто знал, как бороться со злом в огромном мире богатых и сытых.

Лука позвал однажды меня с собой на прогулку. Он долго и настойчиво расспрашивал о моем детстве, о людях, которые меня окружали.

— Значит, сиротка,— сказал он, выслушав мой рассказ.

Мы сидели в саду. Внизу плескался Днепр. Старик рассказал мне, стараясь говорить просто, о Спартаке, о Робин Гуде, о декабристах, о народниках и большевиках. Как все это было не похоже на болтовню Анны Павловны и Петра Петровича! Мне казалось, что я впервые увидела мир, впервые задумалась о судьбе людей. Леденящим холодом повеяло на меня, когда я поняла, какая смертельная борьба разыгрывается вокруг.

— История за нас,— говорил Лука. — Наш век принесет победу самым обездоленным, самым несчастным.

Я вбирала в себя его слова, как откровение, и мне казалось, что я уже знаю, в рядах какого войска буду сражаться. Лука дал мне тогда на прощание несколько книг, предупредив, чтобы я никому их не показывала. Это были «Манифест Коммунистической партии» и «Что делать?». Я читала их ночью, в часы, когда дедушка засыпал, не все понимая, но вбирая сердцем их смысл.

Дед страдал старческой бессонницей, и трудно сказать, кого это больше мучило в те дни, меня или его.

Однажды Лука дал мне маленький пакетик и велел отнести в миссию Красного Креста, только что прибывшую к нам из Москвы.

— Это опасно, но я тебе верю,— сказал он.

Я с трудом нашла товарища Брониславу в многолюдном учреждении. Лицо ее ничего не выразило, когда я тихо назвала имя Луки.

— Посидите, я сейчас поговорю с вами,— сказала она

громко и, как мне показалось, безразлично. Я была несколько разочарована и, ожидая, неприязненно наблюдала за этой светловолосой, подвижной, улыбающейся женщиной.

Но вот Бронислава встала и позвала меня глазами. В полутемном коридоре она обернулась и взяла у меня из рук пакет. Лицо ее больше не улыбалось, и я почувствовала робость под ее суровым взглядом.

— Вот что, товарищ,— сказала она.

Я вздрогнула. Ко мне впервые обратились с этими словами.

Бронислава, видимо, поняла это. Она снова улыбнулась и протянула мне тоненькую трубочку:

— Это можно передать только Луке. Если вас выследят, проглотите записку немедленно. Помните, в ваших руках судьбы людей. — Она помолчала и добавила тихо: — Я вам верю. Я вам верю, товарищ.

Выйдя из миссии, я побежала по улице, преисполненная гордостью и счастьем. Лука ждал меня в условленном месте, но, когда я приблизилась, из-за деревьев быстро вышли два человека в военной форме гетманских офицеров и, вынув револьверы, подступили к нему. Еще не отдавая себе отчета в том, что произошло, я, повинуясь взгляду Луки, сунула в рот записку. Лука понял все. Я уловила это по его глазам. Мне следовало пройти мимо, но желание хоть чем-нибудь помочь другу было сильнее рассудка. Напрасно Лука повернулся ко мне спиной и принялся спорить с арестовавшим его военным.

— Лука,— со слезами в голосе закричала я, все еще давясь проглоченной папиросной бумагой. — Куда вас ведут?

Офицеры повернулись ко мне.

— Кто эта девчонка? — спросил один из них.

— Я вижу ее второй раз в жизни,— сказал Лука. — Правда? — повелительно спросил он меня.

Однако меня тоже арестовали. Впрочем, уже на другой день дед отыскал меня и взял на поруки.

Когда именно был расстрелян Лука, мне так и не удалось никогда узнать. Его исчезновение было самым большим моим горем тех лет.

Недолго длилось господство гетмана Скоропадского. Кайзер в Берлине был свергнут, и немецкие генералы увели свои войска с Украины. Снова в похожем на

сундук здании киевской столыпинской думы обосновался Совет рабочих депутатов.

Киевляне принялись убирать улицы, чинить мостовые и дома с той же быстротой, с какой строили баррикады в часы революционных восстаний. Люди пели за работой новые песни, которые принесла с собой революция. Я работала вместе со всеми.

Однажды во время передышки я вышла за ворота. Та ли это улица, где я недавно блуждала с отчаянием и недоумением в душе. С порога убогого домика мне улыбнулся вымазанный сажей мальчуган. Где-то вдали уже гудели заводы.

Когда в тот день мы расходились после работы, один из моих сверстников сказал мне:

— Что же ты не приходишь в комсомольский комитет? Или с буржуями жаль расстаться? Приходи сегодня. Давно пора.

И в тот же вечер я пошла в розовый купеческий особняк, в окна которого так часто заглядывала.

В запущенном саду, прижав к бедру лук, стояла мраморная Диана. На дорожках валялись ржавые, как оттаявшие осенние листья, пустые патронные гильзы. Я вошла в дом.

В пыльной, узкой, как молельня, комнате с лилово-зелеными узорчатыми стеклами в окнах среди плакатов и воззваний, готовясь к отправке на фронт, сидели комсомолки. Женщина-врач с огромной косой, едва приколотой к затылку, говорила, слегка наклонившись и прижав руку к плечу сидящей перед ней девушки:

— Накладывать жгут и повязки, если оторвана верхняя конечность и кровопотеря угрожает жизни, нужно вот так.

Я присела в углу и затаив дыхание прослушала лекцию.

На другой день я начала делать то же, что и все мои сверстники. Мы выполняли поручения, которые давали нам товарищи из киевского бюро комсомольского комитета. Я почти перестала бывать дома.

Дед против этого не возражал.

— Действуй,— говорил он.— Не Аннушкой и не Катей быть тебе в жизни. Я вот сохну, но лучше сохнуть, чем гнить. А ты сильная, живая. Действуй, иди!

В городе вскоре объявили военное положение. Антанта, белые генералы, Петлюра — все силы тьмы шли на

юную Республику Советов. Тишину ночей пронизывали вражьи пули. Враг приближался к нашему городу, выползал из щелей, где перед тем притаился. После многих бессонных ночей я нередко засыпала подле телефонного ящика, у которого все мы по очереди оставались на ночное дежурство.

В те дни комсомольцы были накрепко спаяны опасностью и общей борьбой, единством мыслей и целей. Мы писали листовки и организовывали ячейки на заводах, мы ходили в ночные патрули, учились стрелять и перевязывать раны. Твердо зная, что впереди тяжелые испытания, мы неустанно тренировали свою выносливость, волю. Мы мечтали о всемирной коммунистической революции и о том, чтобы стать хоть немного похожими на Ленина.

А тремя месяцами позднее комсомольский комитет направил меня в Красную Армию.

## ПАРТИЙНЫЙ БИЛЕТ

Седьмое ноября 1919 года. Красная Армия справляет вторую годовщину Октябрьской революции. В овчинном полушубке и просторных сапогах я танцую вальс, опираясь на плечо незнакомого красноармейца. Как крепко пахнет от его шинели смолой и махоркой!

В сельской школе, где происходит торжество, морозно, и танцы едва-едва согревают нас.

— «Русскую»,— предлагают бойцы.

Мы поем и пляшем. Давно взошла луна. В ушах у меня все еще звучат звуки «Интернационала» и обрывки речей ораторов.

— Товарищи! Не только с русской, но и с мировой буржуазией воюем мы! Товарищи, вперед, к победе за величайшие идеалы человечества! За коммунизм, товарищи, в последний, решающий бой! За нашу партию!

Мою партию! Я вся — клубок радости. Всего несколько дней назад меня приняли в партию. В избе было так многолюдно, что казалось, потолок опирается на человеческие головы.

Десятки людей внимательно и строго разглядывали меня. Я ловила их взгляды, то поощрительные, то недоверчивые, и не опускала глаз.

Это была моя семья. Она должна была знать обо мне все до конца. Впервые одиночество, с детства бывшее со мной, словно тень, ушло от меня. И хотя никто меня ни о чем не спрашивал, я торопилась пересказать все этим людям, готовым принять меня в свои ряды. Было лишь очень обидно, что моя исповедь оказалась такой короткой, обычной, бесцветной.

Одновременно со мной приняли в партию троих красноармейцев. Их биографии так разнились от моей. Казалось, время, как жнец, связало для них в сноп все беды человеческого существования: унижения, бесправие, нищету. Октябрь расковал их цепи, дал им в руки оружие. Они сражались за себя, за право быть людьми. Как я была не похожа на них! Однако отныне мы пойдем вместе.

Собрание кончилось. Мы вышли вместе, четверо новых членов партии, и пошли по тихому селу. Волнение и гордость прогоняли мысли о сне, да и ночь предстояла тревожная. Наша армия отступала. Мы стояли на московском тракте. И, однако, ни уныния, ни сомнения не было в наших мыслях. Говорили о неизбежном переломе, о скорых победах, о том, что крестьянство поймет нас и, узнав, чья правда, с нами вместе пойдет на врага.

Мы шли по деревне, убогой и некрасивой, состоявшей из нескладных, тяжелых сараев-домов.

Нигде не видно было ни плетня, ни уютной скамеечки. Все было сожжено, разрушено.

— Хорошо знать, за что борешься. Так-то и умирать не досадно,— говорил телеграфист Ваня. — А жить еще лучше, еще распрекраснее...

Издали послышались выстрелы.

Мы побежали к штабу. Я больше не боялась теперь грохота пушек, не оплакивала безымянных бугров в поле, под которыми лежали наши товарищи. Смерть не казалась мне бессмысленной. Я мечтала о том, чтобы пробраться в тыл противника, взрывать артиллерийские склады, я хотела своим примером доблести вывести из бездействия тех, кто еще не верил нашим словам, я готова была погибнуть, лишь бы моя смерть была полезной, помогла партии.

Подошли к дому. Монотонно, как дятлы, стучали ключи Морзе. Рядом в клетушке комиссар и начдив работали над картой. Чадила печь. Я села на деревянную скамью,

Через несколько минут по телефону передали приказ:
— Деревню оставить.

Ночь пробудилась. Началось знакомое, быстро нарастающее оживление. Улицы наполнились людьми, глухо задребезжали подводы. Штаб готовился к отправке.

Понимаю всю бесплодность, всю нелепость своих мыслей и не могу удержаться.

— Не надо отступать, это невозможно, нам пора перейти в наступление! — говорю я со слезами в голосе. — Мы отходим к Москве! Может быть, тут ошибка?

Начдив и комиссар смотрят на меня, сначала улыбаясь, потом серьезно.

— Бунтуешь? — сурово спрашивает начдив. — А еще большевичка! Ну, о чем ты ревешь? Эхма, пускай вашего брата в армию!

Выбегаю на улицу. Былой рассудительности нет и в помине. Опять отступать? Что же это? Мы подрываем веру в мощь рабоче-крестьянской армии, мы недостаточно упорно сопротивляемся. Революция в опасности, а мы отходим к Москве!

В эти дни начальник одной из наших дивизий Станкевич, бывший кадровый генерал-майор, был повешен белыми. На качелях сельской школы в занятой белыми деревне долго висело его неестественно выпрямленное последней судорогой тело. На голой груди, как орден, висела табличка с надписью: «Большевик».

Любовь к людям, верным одной цели, бесстрашным и твердым, поднимается во мне. Моросит дождь, и я подставляю ему горячее лицо.

Бегу на край села в красноармейский клуб. На этот раз он находился на одном месте в течение недели. Целую неделю задержался штаб дивизии на одном месте.

В большой хате на лавке спит мой помощник Василий Иванович. Бужу его невежливым толчком в бок.

Он просыпается легко и, ничего не спрашивая, принимается за дело. На деревянных столах разложены газеты, изрядно зачитанные. Складываю их в ящик, который служит нам также и табуретом. Снимаю книги с кухонных полок, реквизированных для клуба. Мы возьмем их с собой. На полу расстилаю дырявую рогожу под наш скарб. Долго тру слюной обложку «Анти-Дюринга», измазанную чьими-то грязными пальцами. Василий Иванович все это

время возится с брошюрками. Их много, и они так непрочны.

— Ветер какой-то, а не книги,— говорит он хриплым спросонья голосом.

Я лезу на стол, чтобы снять со стены портрет Ленина. Мое лицо на одном уровне с его прекрасными, неуловимыми глазами, смотрящими далеко в мир и следящими в то же время за какой-то своей мыслью. Этот бесконечно проникновенный взгляд, как всегда, заставляет меня подтянуться и ощутить бодрость и спокойствие. Осторожно передаю портрет Василию Ивановичу и снимаю с гвоздей два плаката. На одном вошь и страшное предупреждение о ее могуществе, на другом — красноармеец требовательно поднял руку. Он зовет в бой и предвещает гибель контрреволюции.

Клуб свернут и готов к эвакуации. Я по-хозяйски осматриваю оголенные стены, заглядываю в сени и клеть, помогаю Василию Ивановичу грузиться на подводы. Потом бегу к дому, где жила на постое. У ворот мои приятельницы Варя и Ольга, с которыми я вместе живу, уже грузят наши вещи на телегу. Ольга взбивает сено и расстилает тулупы. Моя неизменная корзинка с чересчур большим замком, предназначенным не столько охранять имущество, сколько удерживать откидывающуюся крышку, лежит на снегу. К нам подъезжает начдив Зубов, красивый, точно сошедший с литографии, изображающей древнерусского богатыря. Ему уже лет под тридцать. Мы все значительно моложе его. У него много достоинств: смелость, ораторский дар, работоспособность, и большие недостатки, к которым я причисляю его красоту.

— Все готово? — спрашивает начдив.

Светает. Я вижу его усталое, побледневшее лицо, и необычная симпатия побеждает мое недоверие.

— Нет сомнения, это последний переход назад. Вперед мы будем продвигаться во много раз быстрее. В этом мы все уверены.

Я молчу, широко улыбаюсь своим мыслям. Ольга ищет где-то затерявшийся чайник и котелок.

— Найдется, а нет — добудем,— смеется, отъезжая, начдив.

«Нет, он, пожалуй, хороший парень»,— думаю я.

Ольге все не сидится.

— Нужно попросить квартирьеров найти нам избенку,

получше,— заявляет она, соскакивая с облучка на землю. Однако квартирьеры уехали до рассвета. Варя и я встречаем это известие безразлично, но Ольга расстроена. Она домовита и суетлива.

— Ну не все ли равно, как провести эти несколько дней, которые придется прожить на новом месте,— уговариваем мы ее.

— Каждую минуту жизни надо проводить по-человечески,— убежденно отчеканивает она. — Я не вижу оснований относиться ко всему со свинским безразличием.

Ольгу не переспорить, и мы умолкаем.

Мимо проводят дезертиров и самострелов. Простреленные пальцы перевязаны грязным тряпьем. Откуда-то становится известно, что белые заняли Орел.

Лошади нетерпеливо топчутся на месте. Но вот знак подан. Трогаемся. Лезу под кожух и пытаюсь уснуть. Не могу. Ольга и Варя перешучиваются и жуют пресные, черствые лепешки, грязно-серые, как подметки наших сапог. Я вспоминаю о партбилете, который получу скоро, и чистая, ребяческая радость стирает беспокойство.

Будущее мое предрешено минувшим вечером.

Жизненные рубежи. Сколько каждый из нас преодолевает их на своем веку! Случается — самое трудное, решающее давно осталось позади, а мы все еще не отдали себе отчета в происшедшем. И вдруг спохватываемся, оглядываемся по сторонам и понимаем: что-то кончилось или началось.

«Сумею ли я когда-нибудь подвигом, делом, верным служением оправдать происшедшее накануне?» — думаю я.

Ольга читает воззвание:

— «Всем, всем, всем. Один из кордонов на Большой Московской дороге пал. Тяжелый генеральский сапог занесен над Советской страной. Притаившийся мир взирает на беспощадную схватку прошлого и будущего. Для рабочих нет выбора. Смерть или победа...»

— Неужели ты думаешь, Ольга, что «они» могут победить и все, все погибнет?

— Деникин, что ли? — Ольга точно пробуждается. — Глупости, этой мысли я и не допускаю... Пришло наше время. Но людей, человеческих жизней жалко... Степа Максимов, Петро Анов... Сколько их... Погибли в боях, в петлях... А какие все люди!

— Только рабочий класс установит социализм,— изрекаю я торжественно.

Ольга сердится.

— Чушь несешь, рабочий класс без крестьянства, что штаб без армии...

Я давно преклоняюсь перед Ольгой, перед ее умом, спокойствием, уверенностью. Вот кого хотелось бы мне иметь другом.

Вспоминаю о Кате. От нашей с ней дружбы ничего уже не осталось.

Мы не виделись со времени отъезда ее в Москву. В редких письмах, которые я получала, Катя осуждала меня за вступление в комсомол.

«Ты интеллигентка, и тебе нечего делать с девушками из простонародья. Они тебя не поймут, да и вообще это измена»,— писала она.

Катя стремилась уехать за границу. «Я — предмет роскоши,— говорилось в одном письме. — Мне нечего делать в Совдепии».

Плетемся до сумерек по светлым, холодным полям. Вдалеке деревеньки. Покосившиеся избенки, безлюдные дороги. На опушке леска низкие ели притаились, словно волчья стая. Очень тихо. Кто-то позади затянул песню. Засыпаю опять.

— Добрались наконец.

Открываю глаза. Ржут кони. Разведены костры. В походной кухне готовят баранью похлебку. Темный дом едва вырисовывается среди сосен. Василий Иванович разминается у костра.

— Живее тащи лампу.

Ольга зажигает ветку. Мы входим в дом со свечами, лампами, факелами. Странное шествие. Кривые отсветы передвигаются по стенам и лестницам. Кто-то роняет рыцаря в доспехах, сторожащего прихожую. Долго отдается в ушах звон доспехов.

Василий Иванович чертыхается. Он едва не поджег гобелен, лохмотьями свисающий на полосатые панели. Ольгу напугало чучело великана медведя.

— И как это жили тут люди среди всего этого хлама? — не перестает она удивляться.

Я хищнически посматриваю на кресла. Мне давно хочется иметь кожаную куртку. Но нас опередили. Обивки на креслах нет, пружины, как переломанные позвонки и

ребра, вылезли из сиденья. Отделяюсь от остальных и со свечой бреду по анфиладе комнат. Жутко и притягательно. Вот кровать под балдахином. Пара женских поношенных туфель у ночного столика. Стараюсь представить себе прошлое незнакомого дома. Он сильно искалечен. В семнадцатом году его подожгли крестьяне. На доме вымещались столетние горести. Если бы человеческие слезы не испарялись, этот проклятый дом давно утонул бы в них, если бы человеческий гнет жег, то от этих стен остался бы пепел.

За окнами лес, высокий, дремучий. Однако куда я забралась, мансарда выше сосен. Выхожу на балкон. Огромные ветки стряхивают снег на крышу. Земли не видно, только колючие черные вершины сосен да между ними багровые чадящие костры. Голоса людей, ржанье коней да вой ветра. Так, верно, выглядели вандейские замки, захваченные войсками Конвента. Былые революции и гражданские войны мерещатся мне.

Снова блуждаю со свечой. Заглядываю во все каморки мансарды. Портреты крепостных фавориток и пейзажи украшают стены.

В разбитое окно врывается снег. Началась метель, и ветер все яростнее бушует в трубах. Иду вперед. Витая лесенка. Спускаюсь, рассматривая литографии, висящие на стенах. Осада Майнца и лагерь Генриха IV. Стараюсь вспомнить, где Майнц и чем памятен французский король.

«Что-то такое с курицей, кажется». — Напрягаю память и не могу вспомнить.

«Медлительность, с которой раскрывается цветок истории,— говорил дедушка,— поистине ошеломляюща». Это даже не столетник, не виктория-регия, смотреть цветение которой водили меня когда-то со школьной экскурсией.

И вот сейчас, здесь, вокруг, рядом с нами, зацветают эти небывалые цветы. Мы очевидцы, мы не только зрители — мы творцы. Я родилась в лучшие дни земли...

Нужно улучить минуту и записать все это в дневник.

Василий Иванович ищет меня по всему дому. Он очень сердится. Это видно по тому, как дрожит его борода. Я слежу за его тенью на кафельной поверхности печки.

Во дворе походная кухня начала выдачу обеда. Нужно подумать, где и когда выгружать наш клуб. Красноармейцы

спрашивают газеты. В деревне же, по рассказам, все битком набито. Идем, беседуя, и в полутьме долго ищем выхода. Время от времени кричим, прислушиваемся, идем на голоса. Василий Иванович голоден и потому особенно придирчив.

— С вами всегда кутерьма. Размечтались, а клуб либо вымокнет, либо на цигарки мужики, что с подводами пришли, растащат. Брошюра — это соблазн.

Вдруг ни с чем не сравнимый запах тления тронутой грибком ветхой кожи, особой книжной пыли останавливает меня. Так и есть, нашла. Я ведь затем весь дом и обшарила. Тащу за собой оторопелого Василия Ивановича. Он, бывший пастух, казалось бы, по профессии обязан быть сметливым, а ни о чем не догадывается. Мы открываем дверь и поднимаем лампы. Так и есть — вокруг библиотечные шкафы.

— Какая удача, Василий Иванович! Библиотека! Поняли? Книги! Здесь-то уж мы пополним наши клубные полки!

Я прыгаю на одной ноге с ликующими воплями удачливого кладоискателя. Вот так повезло, вот так пожива! Но Василий Иванович хоть и любит читать, но еще больше привержен к бараньей похлебке. Он упирается и тянет меня назад. Мы старательно по пути расставляем условным образом мебель, чтобы найти дорогу обратно. Длинная шеренга из ломаных стульев, столов, этажерок, картин и цветочных ваз выстраивается следом за нами.

Помните, как мальчик с пальчик раскладывал камешки, отмечая дорогу в избу дровосека?

Василий Иванович никогда не интересовался мальчиком с пальчик. Он выучился читать по Псалтырю двадцати лет от роду.

Вечером мы возвращаемся в библиотеку и до полуночи роемся в шкафах.

Какая досада, что здесь так много книг на иностранных языках!

Я любуюсь золотым обрезом, переплетами, виньетками. Католики и атеисты стоят здесь рядом на книжных полках: Уриэль Акоста и тора, на которой он отрекался от своих убеждений, Библия и Четьи-Минеи, процесс Марии Стюарт и любовная хроника Елизаветы Английской. Мы, точно два купца, ненасытны и возбуждены среди внезапно найденных сокровищ. Я кладу на рваный

ковер серые томики Толстого, Тургенева, Гоголя. Обнимаю бюст улыбающегося слепыми глазами Пушкина. Мы решаем унести и его с собой. Василий Иванович с трудом успевает складывать и завязывать книги. Он вспотел и насвистывает: «Не осенний мелкий дождичек». Вместо бечевки нам служат золоченые шнуры, кое-где висящие на окнах.

— Придется теперь вторую подводу под клуб запрягать, когда отсюда назад поедем, то есть, значит, вперед,— говорит Василий Иванович с гордостью.

Раскопки клада окончены, и мы укладываемся спать на полу. День не потерян, как случается часто, когда переезжаешь с обозом дивизионного штаба на новые места.

* * *

Рассвет залил серыми, блеклыми красками дом. Василий Иванович замерз и подкинул в потухающий камин отсыревший, почерневший и облупившийся стульчик. Я долго смотрела, как горели его витые позолоченные тоненькие ножки, смешные и ненатуральные, как эпоха рококо, из которой он выскочил.

В комнате при дневном свете не оставалось ничего загадочного. Грязные стены, потрескавшиеся полы, мебельный хлам — какое это было убогое зрелище!

— Эту рухлядь разве что на слом,— заключил мои размышления Василий Иванович. Мы допили чай, вскипяченный в камине, и доели черный хлеб, казавшийся мне удивительно вкусным, несмотря на шелуху и разноцветные примеси, которые, как изюм, мы выгребали из мякиша пальцами.

На рыночной площади полусела, полугородка нашлось единственное еще не занятое помещение — бывший лабаз. Оно почти не освещалось дневным светом, а отеплять его пришлось с помощью наспех сложенной печки. Но Василий Иванович был великий организатор. К вечеру мы открыли наш клуб. Я разложила на ящиках-столах новые газеты, приколотила портреты и плакаты. Книжные полки были необычны — сплошь заставленные книгами, и какими: кроме классиков, мы захватили Жюля Верна, Дюма, путешествие Свен-Гедина, приключения

Луи Жаколио и даже отчеты экспедиции английских исследователей в Тибете.

В первый вечер я должна была провести беседу по политграмоте. Поэтому Василий Иванович выдавал собравшимся красноармейцам только брошюры на политические темы. Исключение мы сделали лишь для брошюр по борьбе с сыпным тифом. Книги беллетристического содержания я решила пока придержать как обещанье на будущее.

— Вот когда пробьемся на Украину, когда начнется перелом на фронте и поражения сменятся победами — найдется время почитать о прошлом.

Никто из нас не сомневался, что это будет скоро.

Василий Иванович относился почтительно к таким писателям, как Жюль Верн, но о некоторых наших классиках отзывался с пренебрежением.

— Дохлое дело! — говорил он. — Буржуйские книги!

На этом же основании бюст Пушкина был им покуда упрятан в ящик с запасным инвентарем.

Целых две недели пробыли мы в селе, примостившемся у барского, разрушенного революцией дома.

Все это время я по нескольку раз в день забегала в штаб, приставала с вопросами к командирам, дежурила подле телеграфисток и наконец не стерпела: попросилась в бригаду, ближе к передовой, где решалась судьба операции. Повод был как будто уважительный — проверить работу передвижных бригадных и полковых клубов.

— Ну, какие теперь еще клубы,— ворчал комиссар дивизии, сам бывший в непрерывных разъездах. Долго он откладывал мою поездку, но наконец дал согласие и подписал мандат. Выехала я ночью, в мужском костюме, с револьвером на поясе под тужуркой.

## ТРУДНОЕ ЗАДАНИЕ

Штаб бригады я разыскала на станции. Здесь выгружался пришедший на подмогу полк. Улицы и хаты близлежащей деревни ожили и зашумели.

Комиссар, несмотря на бороду и усы, выглядел юношей — так молоды были его глаза и движения статного тела. Увидев меня, он сразу же сердито предложил мне отправляться обратно.

— Только девушек здесь не хватало! Возвращайтесь, некому тут с вами возиться, ежели в первой же переделке перетрухнете и запроситесь к маме. Никаких клубов здесь нет!

Но я не сдавалась.

— Раз нет клубов, я могу помочь в чем-нибудь другом. Я ведь ветеран.

Но комиссару было не до шуток.

— Понимаете ли вы, что эти дни решают судьбу армии, отступать больше невозможно... Предстоят горячие схватки.

«Отступать больше невозможно!» Наконец-то!

К комиссару подошел человек с забинтованной головой и что-то тихо сказал ему. Они вошли в штаб бригады. Вскоре туда позвали и меня. Комиссар задал мне несколько вопросов и посмотрел документы. Военный с повязкой на голове внимательно наблюдал за нами.

— Я вас знаю,— сказал он и вдруг назвал меня по фамилии. — Мы приехали одновременно сегодня: вы из дивизии, я из штабарма. Видите ли, нам необходимо немедленно отправить в Орел надежного человека. Поручение опасное. Может стоить жизни. — Он понизил голос.— Вы согласны?

Сердце мое запрыгало.

— Еще бы...

— Надо раздобыть точные сведения о частях белых, находящихся теперь в городе. Примерное количество орудий, бронепоездов, самолетов. Прибывают ли им на подмогу марковские и дроздовские полки. Понятно? Мы переоденем вас крестьянкой...

Он замолчал, продолжая строго и испытующе смотреть на меня.

— Прошу вас не сомневаться во мне,— ответила я.

— Хорошо. Задание получите позже, когда будут заготовлены документы. Сейчас вы свободны до полудня.

Беременная крестьянка, охая и жалуясь на судьбу, на войну, на голод, согласилась дать мне немного молока в обмен на пшено — паек, взятый в дорогу. Я уселась у окна избы, едва прислушиваясь к протяжным сетованиям женщины.

— Не доносить мне живого, ой, чую — рожу недоноска. Страху-то сколько, надрожалась вся!

Беспокойством пропитан был здесь самый воздух. Медленно тянулось время. Стреляли где-то вблизи. За холмом, в десятке километров, был Орел. Мысль о том, что, быть может, ночью придется пробираться к противнику, вызывала то безотчетный страх, то нетерпеливое ожидание. Вот она, возможность помочь, сделать что-то важное, нужное. Волновалась все больше, не могла есть, не могла усидеть на месте. Как это произойдет, удастся ли? Мысль о гибели, о смерти притаилась, я ее чувствовала, но отгоняла.

А несколькими часами позже маленькая, ободранная машина на высоких колесах повезла меня к переправе.

— Счастливо,— сказал мне красноармеец, сидевший за рулем. — Будем вас ждать.

Я осталась в кустах на промерзшей земле. Рядом были белые. Оправила платок, кожух, ощупала под холщовой рубахой цепочку и ладанку со стертым святым, где лежал полотняный пропуск, и быстро пошла по мерзлому, трескучему снегу. Перейдя по льду через реку, принялась взбираться на противоположный берег, когда за спиной раздался голос:

— Стой, баба, куда?

На мосту, перекинутом через убогую, кривую речушку, стоял часовой с винтовкой наперевес. Пошла ему навстречу. Лицо у часового было простецкое, глаза усталые, воспаленные. Затараторила, что, мол, орловская, что ходила за хлебом, обменивала. Показала мешочек с мукой и черную лепешку.

— Какие времена-то пошли. Покуда шла, дважды власть в деревнях переменилась. Не поймешь, чего делается и кто вы — белые, красные,— не распознаешь никак. Пропусти, дяденька, миленький.

Подъехал верховой патруль. Долго допрашивал меня, потом отвели к командиру. Врала и ему, не путаясь. Отпустили под утро.

— Глупа очень,— сказал офицер в башлыке и прибавил вслед: — Иметь, однако, на примете: не шпионка ли?

Странно. Переход оказался не страшным. И на допросе не растерялась. От холода, однако, знобило. Или не от холода только? Пошла по деревне. Избы были как вымершие. Навстречу двигались белые части. Всматривалась в лица. Опять крестьяне. Глаза у всех безразличные или покорные. Иногда злые, недоверчивые. Офицеры по-

хожи на Петра Петровича. Хотелось, чтобы морды у них были звериные, шакальи, рысьи... Ненависть требовала пищи. Почему они тоже люди?

Ждала сумерек. В ровном затухающем свете безопаснее выбраться из деревни, потеряться на дороге, исчезнуть вместе с лучами солнца. На снежных и бугристых полях было шумно и многолюдно. По вышитым на рукавах черепам я узнавала корниловцев. Кто-то заунывно пел. Дребезжа, проезжала мимо меня артиллерия. Эти орудия должны быть нашими. Скорее бы. Нужны патроны, нужны пушки, нужно продовольствие. Чего только нам не нужно!

Крестьянские розвальни подвезли меня к городу. Расплатилась мешочком с мукой. Вошла в Орел не с большой дороги, а с поля. Город начинался низкими избенками и уходил в гору. Знала его лишь по плану, который, приказав изучить, развернул в бригаде товарищ из штабарма. Там, где торговые ряды,— центр, бывший губернаторский дом, гимназия, собор. Русские провинциальные города строились по одному образцу. И, входя в Орел, я мысленно представляла себе серую реку, решетчатый скрипучий мост через нее, общественный сад с деревянной раковиной для духового оркестра, створчатые дома торгового ряда, два-три купеческих особняка с великолепными дубовыми дверьми, губернаторский дом с облупившимся орнаментом, колоннами и длинными, узкими окнами.

Все было так, но город, разматывавший передо мной свои улицы, был полон зловещих предзнаменований. Купеческие особняки были исцарапаны штыками, окна губернаторского дома выбиты пулями.

Я узнала дом, который искала, по неустанному стуку аппаратов Морзе, прорывавшемуся на улицу, по раздраженным лицам выходящих из подъезда людей в офицерских бекешах с кокардами на шапках, по караулу на тротуаре и за стеклянными дверьми. Но город еще раньше выдал мне секреты врага...

Как описать военный лагерь перед отступлением, как определить словами угрюмое предчувствие поражения, которое уже прокралось и наполняло собой Орел в этот вечер! Особая суета господствовала повсюду. Хотя в окнах домов местных жителей и мерцал свет, хотя какие-то осмелевшие гимназистки флиртовали с офицерами у

ворот продовольственных складов, город напряженно ждал перемен. Стук копыт, приближающаяся стрельба, какое-то торопливое движение на улицах предрекали отступление белых.

Меня арестовали на пороге квартиры, где я надеялась найти друзей. Все, что было мне нужно, я уже выпытала, узнала. Оставалось передохнуть и возвращаться назад. Я едва передвигалась от голода и усталости. Шли вторые сутки моих странствий. В общественном саду, сидя на скамье, я подвела итоги собранным мной сведениям. Увы, враг был еще силен. Много жертв понадобится, чтобы одолеть эту мрачную стихию, восставшую против нас.

Был холодный вечер; ветер с шумом нес по аллеям сухие листья. Я продрогла и решила пойти по условленному адресу, прежде чем пуститься в обратный путь. Но не успела я дернуть звонок, висевший на двери, как меня задержали.

— Большевичка! — закричал безусый мальчишка в костюме с чужого плеча, в распахнутой бурке и с георгиевской ленточкой над карманом гимнастерки. — Я тебе покажу, как с чужими паспортами шляться! Двадцать девять лет? Да тебе и девятнадцати нет!

«Ничем не выдать себя, сдержаться, молчать», — так думала я, поеживаясь от брани вчерашнего гимназиста, который командовал двумя безмолвными казаками. Каждое неосторожное слово могло ускорить мой конец. И я молчала, послушно и глуповато улыбаясь.

Меня ввели в полутемный одноэтажный дом и втолкнули в какую-то комнату. Офицер с круглыми, черными, выпуклыми глазами долго рассматривал мой документ. Потом с не меньшим вниманием он принялся разглядывать меня.

— Зачем вы, мадемуазель, пробрались через фронт? Чему, извините за любопытство, мы обязаны столь приятным визитом? Видимо, мы повесим вас завтра утром, если вы будете скрывать от нас ваши планы. Однако снисхождение возможно, если вы признаетесь во всем и дадите нам нужные сведения касательно ваших. Я имею в виду Красную Армию. Для вас ведь не тайна, что мы тесним противника и скоро войдем в Москву?

Я непонимающе поводила плечами и поправляла платок.

— Да я ж ничего не знаю. Я ж из Курской губернии. Отпустите меня, ваше благородие.

Офицер невозмутимо позволял мне божиться и ненатурально всхлипывать.

— Обыскать,— сказал он внезапно.

Тут я заметила, что мальчишка в гимнастерке с чужого плеча стоял в полутьме у дверей. И началось то, что является мне до сих пор, как галлюцинация в ночи болезни и бреда.

Меня раздели, пытали. Я кусалась, дралась и царапалась.

Пучеглазый офицер подошел ко мне и потянулся к цепочке на моей шее.

— Барахло! — сказал он, рассмотрев ладанку и бросая ее мне. — Это для маскировки! Вы ловкая сволочь, опасная дрянь, мадемуазель Ляпунова.

— А миленькая девчонка,— сказал мальчишка с георгиевской ленточкой. — Большевистская Диана. Прежде чем мы ее повесим... — Каждый из нас понял, чего он не досказал.

Одевалась я как автомат, чувствуя себя непоправимо оскверненной их прикосновениями, их взглядами, ненавидя свое тело.

Но допрос продолжался. Я овладела собой и снова вошла в роль курской крестьянки-мешочницы, заблудившейся между линиями фронтов. Меня уговаривали, стращали. Внезапно безусого поручика срочно куда-то вызвали. Я продолжала уклоняться от ответов, хитрить. На мгновение воля мне изменила, захотелось, чтобы меня скорее прикончили. Силы уходили быстрее, чем время.

И снова телефон пришел мне на помощь. Офицера, допрашивающего меня, также вызывали в штаб.

— Я скоро вернусь,— сказал он угрожающе. — Советую подумать и уступить. Мы шутить не любим и расправимся с тобой по заслугам. — Он открыл дверь, и я увидела широкую спину часового и кончик его штыка. Где-то поблизости гулко рвались снаряды.

— Смотреть за арестованной в оба! — крикнул офицер, торопливо надел на ходу шинель и ушел.

Я осталась одна в обществе спины и винтовки у двери. Надежда, последняя надежда на спасение возвратила мне силы и обострила сознание. Я обвела глазами комнату и увидела в углу тяжелую ширму красного дерева

и над ней полоску двери, обитой войлоком. Стук сердца показался мне таким громким, что я испугалась, как бы его не услышал часовой. Но спина осталась неподвижной. Жизнь моя зависела от того, сумею ли я неслышно добраться до двери. А если за ней такая же спина и винтовка? Что тогда? Но нельзя было терять ни минуты. Часовой закашлялся. Если он обернется — смерть. Но его кашель заглушил мои шаги. Я потянулась рукой и нащупала ручку двери. Она была заперта. За нею слышались голоса. Я погибла! Ужас сжал горло мне, но я победила его, встала и подошла к часовому.

— Товарищ, брат,— прошептала я.

Часовой молчал.

Я видела его профиль, курносый, веселый нос, крупные губы и умный выпуклый лоб. Но он даже не повернулся ко мне.

Некоторое время прошло, как в агонии. Грохот канонады все усиливался. Я знала, что спасение было близко, но доживу ли до этого? И вдруг где-то рядом разорвался снаряд. Оглушенная, упала я на пол. Очнувшись, увидела над собой растерянное лицо часового.

— Жива? — спросил он, помогая мне встать.

— Слышишь,— зашептала я, едва понимая происходящее и хватая его за руку. — Это наши, твои братья, товарищи подходят к Орлу.

Все приближающийся орудийный гул подтверждал мои слова.

— Ты кто? Крестьянин? — продолжала я. — За кого же ты борешься?

Я говорила долго, несвязно, но от всего сердца, как говорят перед смертью.

— Бежим со мной к красным!

Часовой вышел из комнаты. Канонада приближалась. Внезапно он вернулся и сказал:

— Идем... Я тебе помогу, а ты уж замолви за меня словечко...

Он вывел меня с винтовкой наперевес, как арестованную. Выйдя на улицу, мы пошли рядом.

Свобода!

Навстречу попадались бредущие толпами части белых. Они отступали. Немного усилий, и Орел будет взят. Задыхаясь от мороза, спешки и радости, я не чувствовала под собой ног. Скоро мы вышли из города.

* * *

Первое известие, которое мне сообщили в нашей бригаде после того, как я отчиталась во всем, было, что ранен комиссар. И, выполнив все поручения, я бросилась на станцию в санлетучку. Врач задержал меня в тамбуре. Комиссар еще не пришел в себя. Но рана менее опасна, чем казалось вначале. Если бы только одним сантиметром ниже, не миновать бы смерти.

В ту же ночь красные взяли Орел.

## ДРУЗЬЯ

Вскоре я снова получила приказание отправиться в Политотдел армии за инструкциями и политической литературой, пришедшей из Москвы. В те же дни Ольга собралась в отдел снабжения за топорами, в которых мы испытывали крайнюю нужду. Выехали вместе. Отыскали в теплушке сухое местечко и улеглись на досках перед дымящей буржуйкой, с головой укрывшись шинелями. На мгновение Ольга, мягкая, женственная, показалась мне матерью. Разговорчивая, она охотно слушала и других. А я и вовсе не умела сдерживать своих мыслей. Поведав ей о своем детстве и юности все, что казалось мне интересным, я попросила ее рассказать о себе. Это показалось ей трудновыполнимым.

— Не люблю говорить о прошлом, неприятное оно, так зачем к нему возвращаться,— заговорила она. — Сделанного не переделаешь. Пережитого не воротишь. Ну его к буржуям! А хорошего мало что было. Вот и сейчас только и припомню, что детский визг — нас было у матери семеро — да вонь от помойки под окнами. Фабрика была грязная, темная, сырая. Чертово логовище.

— Ты не любила свою фабрику? — спросила я со священным ужасом, почти оскорбленная.

— Я ее ненавидела,— ответила Ольга.

Мне показалось, что она на себя клевещет. Сколько раз за последние годы с завистью смотрела я на тех, кто рос возле доменных печей, железных станков, чье детство было похоже на рабство. Заводы, фабрики, которых я никогда не видела вблизи, казались мне мифическими кузницами героев. А из рассказа Ольги вырисовывались

одни лишь тоскливые контуры мощеного фабричного двора, казарменных корпусов, замызганных окон, смрадных конур, работы до изнурения.

Но это ведь была правда.

В юности Ольга мечтала о том, чтобы иметь пеструю шаль, как у взрослых работниц. Других желаний у нее не было. Одиннадцати лет она поступила на табачную фабрику. Клеила коробки. Получала полтинник в день.

В февральские дни сняли с поста у фабричных ворот городового, в октябрьские привезли на фабрику пять гробов для убитых рабочих. Плакала вместе с их детьми, женами. А в восемнадцатом году ушла на фронт. Вот и все.

Ольга замолкла, а я никак не могла отогнать дум, побороть бессонницы. Ни перебранка колес, ни метель, бушевавшая за стенкой вагона, не усыпляли меня. До сих пор мне казалось, что я вижу мир во всей его широте. Теперь я поняла, что глаза мои только начали слегка приоткрываться.

Так иногда, вспоминая прошлое, мы с мысленным удивлением останавливаемся перед упорством, с которым отстаивали какое-нибудь мнение, нынче вызывающее улыбку снисхождения или досаду. Разговор с Ольгой показал мне, что многое еще следует передумать, проверить и перечувствовать. И внезапно подкралась боязнь. Я испугалась.

В Мценске мы с Ольгой пересели на случайно встретившуюся нам санитарную летучку. Недавно присланные из Москвы вагоны казались необычайно нарядными. Нас стесняла белизна чехлов на сиденьях, сестры милосердия в накрахмаленных косынках и сборчатых юбках.

Монотонное повизгивание колес и мягкие диваны располагали ко сну. Мы проспали Орел и проснулись, когда поезд подходил к Становому Колодцу.

Красные оставили станцию с вечера. Поезд подкатил к вокзалу и остановился. Нас поразила тишина.

— Почему не слышно выстрелов? — ни к кому не обращаясь, нервно сказала Ольга.

На перроне станции вповалку лежали больные. Санитары подбирали их, клали на носилки и относили в вагоны. В теплушках полки были в несколько ярусов. Бред, стоны, команда врача сливались с завыванием осеннего ветра. Под вокзальным колоколом, заложив в карманы руки, будто посторонний наблюдатель, стоял начальник

станции. Изредка он напряженно к чему-то прислушивался и поворачивался в сторону чуть видного леса.

— Там белые,— сказала мне Ольга, следя за ним взглядом. — Он их с нетерпением ждет. Нужно предупредить старшего врача. Тут саботаж и измена.

И она побежала по платформе, громко крича:

— Не позволяйте отцеплять паровоз! Оста...

Докончить ей не дал извивавшийся на земле в беспамятстве сыпнотифозный. Неожиданно он поднялся на ноги и с закрытыми глазами, фиолетово-желтый, двинулся навстречу Ольге, хрипло твердя:

— По коням!.. Сволочи!.. Офицерня поганая!..

Сделав несколько неверных шагов, он всей тяжестью грохнулся на бегущую ему навстречу Ольгу. Оба упали. Когда, очнувшись от падения, покачиваясь, Ольга приподнялась, отцепленный паровоз стоял уже у водокачки. Санитары кончили погрузку и задвинули двери теплушек.

Тучи на востоке желтели, неподалеку раздались первые выстрелы.

— Нас предали,— сказала Ольга врачу эшелона. — Начальник станции саботирует, машинист сбежал, мы в ловушке, через час белые займут станцию.

Врач растерянно махнул рукой и, как будто что-то вспомнив, бросился в вагон.

— Идиот, шляпа! — крикнула ему вслед Ольга и пошла вдоль поезда.

Из теплушек по-прежнему доносились стоны больных. Я видела, как Ольга с внезапной решимостью выпрямилась, вынула из кармана наган и, позвав двоих санитаров, пошла к вокзалу.

Через минуту она появилась в одном из окон вокзального домика. Я слышала каждое ее слово и видела сидящего в глубине комнаты за письменным столом начальника станции.

— Немедленно прицепите паровоз, добудьте машиниста и отправьте санлетучку. Даю вам пять минут времени,— крикнула ему Ольга.

— Напрасно горячитесь, сударыня, наше дело маленькое,— ответил ей начальник станции. — Без машиниста далеко не уедете. А я бессилен помочь.

Первые лучи солнца скользнули по зданию вокзала, по санлетучке. В ту же минуту от водокачки с торжествующим присвистом отделился паровоз и, то приближаясь,

то отступая к эшелону, точно заигрывая и дразня, начал маневрировать. Завидя его, Ольга выскочила прямо через окно на перрон. С площадки вагона удовлетворенно посмеивался врач.

— Спокойствие, главное — спокойствие, товарищ Ольга,— предупредил он. — Пока вы стращали начальника, я разыскал машиниста. Наш фельдшер, оказывается, сын машиниста и вырос на паровозе.

Спустя десять минут санлетучка вздрогнула и побежала к Орлу.

Солнце взошло, и белые, обстреливая Становой Колодец, перешли в наступление.

Штаб армии расположился в маленьком уездном городке.

Поутру я зашла в госпиталь. Комиссар бригады, тот самый, что недавно направлял меня в Орел, чувствовал себя уже лучше. Меня впустили в палату, где он лежал. Я передала ему яблоко и приветы от товарищей. Он был теперь без бороды и усов, только по глазам я отличила его от других раненых.

Говорить нам было почти не о чем. Я пыталась рассказывать с развязностью, едва скрывающей неловкость, о мелких происшествиях последних дней.

— Завтра я встану,— сказал он мне на прощанье и с ребяческой настойчивостью попросил навестить его еще раз.

День казался мне бесконечным. Надо бы, не откладывая, возвращаться в дивизию, но я оттягивала отъезд. На следующий день, едва дождавшись времени, когда можно было снова пойти в госпиталь, я побежала туда. Комиссар ждал меня в коридоре.

— Я хотела бы спросить вас,— начала я не без робости. — Как вас зовут и сколько вам лет?

— Анкета? — улыбнулся он. И терпеливо принялся заполнять каждую графу.

Его звали Павлом, и родился он в 1895 году. Если бы не Октябрь, он был бы токарем по металлу, так же как его отец и дед.

— А теперь я солдат революции,— закончил он свою исповедь.

— Какое счастье, что рана оказалась несерьезной,— вырвалось у меня вдруг, вне связи с предыдущим.

Павел взглянул на меня пристально, прищурясь.

— Я тоже рад. Умирать очень не хочется! Продавать свою жизнь надо подороже. А мое ранение было в общем непростительно. Я сам во всем виноват. Вылез раньше времени. Ну и поделом. Еще один урок. Но я знал, что не умру... — Он замолчал. — Мы шли по степи. Не смейтесь. Сам знаю — бессмыслица. Но у меня странное убеждение: убит я могу быть только в лесу.

— Это попросту атавизм,— важно сказала я. — В лесу мы чувствуем себя менее защищенными, как наши далекие предки.

— Атавизм, вы говорите? Черт его знает что это. Чушь, конечно. Но знаете, такие вот невысокие ветвистые от самой земли деревья, особенно синие ели, внушают мне какое-то беспокойство. И когда я думаю о смерти, я обязательно вижу себя лежащим под елью, на лесной опушке. А в этот раз я был ранен в поле...

— Надо вам отдохнуть,— вырвалось у меня.

Мы встретились с Павлом опять месяцем позже. Была ли это уже любовь и какова она вообще, первая любовь, в этом я тогда не могла отдать себе отчет. Он казался мне более развитым и умным, чем я. Сомнения и неуверенность делали меня угрюмой. Обижалась на него из-за каждого пустяка, мучилась чем-то новым, неиспытанным, избегала встреч и хотела их. Навязчивость, с какой настигали меня мысли о нем, вызывала ужас. Иногда думалось: он меня не любит, так почему же я тоскую, почему?

«Работать, работать»,— твердила я постоянно, но слова не помогали. Сердце, ловкий соглашатель, умудрялось незаметно вызывать мысли о нем.

Сколько раз я читала о любви, и, однако, то, что теперь происходило со мной, было так не похоже.

Ничто не препятствовало нашим встречам. Нередко долгие предательские ночи мы сидели оба над планами работы, принимали сводки и приказы дивизии, готовились к очередной политбеседе.

Армия наша двигалась на юг. Белые, отчаянно сопротивляясь, отступали. Штабарм следовал за наступающими красными частями.

Мы приближались к Харькову.

Часто во время долгих переходов мы дремали в седле. Где-то вдалеке раздавался выстрел, и снова все стихало. Крестьянин проезжал на телеге. «Здоровы булы!» —

слышался голос, и человек пропадал в белой пыли. Иногда встречался автомобиль полевого штаба. Будили нас солнечные восходы — серые, блеклые и печальные. И, глядя на горизонт, на холодное, зеленоватое солнце, я грустно думала о себе и о своем будущем.

## ЛЮБОВЬ

Сомнения опутали меня. Хотелось рассказать все Ольге и Варе. Но они были далеко.

Казалось, Павел позабыл, что я женщина. И вот то, что я ценила недавно превыше всего — равенство, товарищество, то, чего добивалась так настойчиво, внезапно обесценилось, стало даже обидным. Мне хотелось нравиться, быть привлекательной именно в так недавно презираемом «женском» смысле. Не потому ли из-за ворота моей гимнастерки часто высовывался теперь воротничок блузки, не потому ли я раздобыла себе сапоги с узкими носками и высокими каблучками? Убогое, тщетное кокетство! Павел упрямо ничего не замечал.

Но однажды, когда мы возвращались лесом из полка в бригаду после беседы с красноармейцами, он вдруг начал разговор, которого я ждала так давно.

— Сознайся,— промолвил он,— ведь ты давно уже знаешь, что я влюблен в тебя по уши.

Я задохнулась от счастья и задумалась, проверяя себя. Знала ли я, что он меня любит? Нет. Считала, что я добрый товарищ, «верный друг», и больше ничего. Молча я дернула уздечку. Лошадь рванулась, я покачнулась в седле, свесилась набок и едва не опрокинулась в сугроб. Павел не заметил, каких усилий мне стоило удержаться в седле, и продолжал, точно подводя итог:

— Не знаю только, любишь ли ты меня. Частенько, хоть не о том бы думать надо, загадываю я о твоих чувствах. Возраст у тебя уж очень ненадежный. Обязательно в кого-нибудь втюриться полагается. Я, конечно, человек для тебя неподходящий. Книг, беллетристики разной читал мало, и на этот счет придется подтянуться, сравняться. Я не шибко еще грамотный. Но, конечно, что касается до партии, до ленинского учения, тут я посильнее тебя... Кроме того, ко мне, знаешь, ребятишки очень льнут. С ними я умею ладить. Я ведь девяти лет

на завод пошел. Отец пил, надо было матери подсобить. А люблю я тебя здорово!

Мне показалось, что он говорил слишком спокойно. Такие слова, как я тогда думала, надо говорить задыхаясь или уж так прокричать, чтобы Большая Медведица в небе задрожала. Ведь мне в первый раз в жизни говорили слова любви. Я ждала их так долго, так давно. И вот они растаяли в тишине. Как удержать их, продлить, заставить звучать еще? От неожиданной радости я почувствовала слабость и приникла головой к жесткой гриве. Мы выехали из лесу. Деревня впереди сияла огнями. Огни скрашивали уродство ее домишек и сараев.

Прекрасно было и украинское небо над нами. Бесчетные звезды приводили на ум мысли о бесконечности вселенной.

— Наталка,— шепнул Павел,— когда ликвидируем белые банды, наступит иная пора, и мы поедем с тобой в Москву. Будем вместе учиться, работать. Хочешь? Жизнь станет прекрасной. А покуда,— он помедлил,— давай не мешать друг другу, будем верить в наше будущее и ждать его. Сберечь любовь и себя — право, великое дело. У меня все планы и надежды связаны с тобой, и торопиться нам нечего. Негоже соединять наши судьбы, не проверивши и себя и другого. В себе-то я уверен, а вот ты-то как? Поженимся потом. Что ты об этом думаешь?

— Я люблю тебя, и это самое главное.

Павел поцеловал мои волосы, и хотя я повернулась к нему и ждала, он не коснулся моего лица и пришпорил лошадь.

— Заболтались мы,— сказал он. — Поезжай в трибунал и, если надо, допроси пленных. Удастся ли сегодня вздремнуть? Устала ты, бедненькая? А к утру нужно ждать стычки. Подозрительная тишина.

Он посмотрел в сторону леса, опушкой которого мы только что ехали.

— Видимо, будет дело.

Мы расстались у околицы. Я пришпорила коня. В избе трибунала все было готово к допросу.

— Пятеро пленных, из них два офицера,— доложил часовой.

Кем только не приходилось каждому из коммунистов быть в эти трудные дни на фронте! И санитаром, и политруком, и бойцом в цепи, и следователем Особого отдела,

и лектором, и разведчиком. Павел нередко говорил о себе: кем прикажет партия, тем и буду. Так думали все.

Я сбросила шинель и села к столу. Браунинг лежал наготове возле листа бумаги. Вслед за мной вошел товарищ из штаба бригады. Что-то спросил. Я ответила невпопад. В мыслях все еще был Павел. Радость мешала сосредоточиться. Вдали к станции с грохотом подкатил броневик, верстах в трех взорвался снаряд. Я научилась распознавать звуки войны, определять расстояние.

Часовой ввел офицера. Я подняла на него глаза и опешила. Да ведь это Ястреб. Однако я ничем не показала, что узнала его.

— Ваш чин?

— Бывший штабс-капитан, возвращаюсь из плена домой, к родным.

— Фамилия?

— Смородинов.

Часовой подает бумажник, проверяю бумаги. Они на имя Смородинова.

— Ваша фамилия Ястреб.

Вижу, как вздрагивают его пальцы.

— Вы ошибаетесь.

— Это не ваши документы. Вы перешли фронт со шпионскими целями и пробираетесь в наш тыл. Напрасно запираетесь.

Товарищ из штаба бригады одобрительно кивает и вспарывает тончайшую двойную стенку бумажника. Оттуда выпадает сложенный вчетверо кусок полотна. Шифр. Ястреб, командир дроздовского полка.

— Да, это вам не икона шестнадцатого века! — вырывается у меня.

Вижу, как меняется брюзгливо-капризное лицо Ястреба.

— Вы правы. Моя фамилия Ястреб. Я — враг тому, что называется большевизмом.

Какие маленькие, красные у него губки и сколько злобы в глазах!

Допрос продолжается недолго.

— Вы скатились в бездну, как я и предсказывал,— говорит он мне. Какая блестящая, однако, у него память.

— Препроводить в Особый отдел армии,— предлагает товарищ из штаба бригады.

Допрос окончен. Ястреба уводят.

За окнами зловещее оживление. Павел присылает мне записку. Иду в штаб. Приказывают немедленно ехать с пакетом в дивизию. Автомобиль подъезжает за мной и товарищем из трибунала раньше, чем я успеваю потребовать, чтобы меня оставили в бригаде. Пакет передает мне в штабе сам командир. Я стою на крыльце и жду. Свет падает из окна и ложится продолговатым пятном на снег, плетень и кузов машины. Павел наконец выходит.

— Ну, ну, будь спокойна, все будет хорошо.

Как он догадался о моих опасениях? Он стыдливо и неловко целует меня в щеку и мгновенно отстраняется.

Шофер, чертыхаясь, тщетно пытается завести мотор. Мы подталкиваем сзади машину.

Павел наклоняется ко мне.

— Помни, я тебя очень, очень люблю.

Мне чудится, будто он едва не произнес — любил. Что бы это могло значить? Я оборачиваюсь, но никого уже нет. Мне виден силуэт Павла у освещенного низкого окна, но лицо его в тени. Наконец кое-как, отчаянно ворча, автомобиль срывается с места.

Я остаюсь работать в дивизии, в клубе.

Армия продвигается в глубь Украины. Сводки приносят все новые вести о победах. Собираясь в короткие часы досуга, мы поем грозные песни и мечтаем о будущем. Зима подходит к концу. Села, в которых останавливаются наши войска, изобильны и живописны. Я радуюсь лаю собак, выбегающих нам навстречу, блеянию овец, мычанию коров.

Дни бегут галопом. Получила коротенькое письмецо от Павла. Он очень занят, но бодр.

Я по-прежнему веду ежедневно политбеседы, выдаю газеты и книги в клубе и помогаю Ольге в устройстве бань и противотифозных пунктов. Варя упрямо держится вдалеке. Иногда с лукавыми оговорками она просит нас не возвращаться на ночь домой, и мы остаемся спать где-нибудь на скамье в Ольгиной бане или в моем клубе. Прежде чем уснуть, мы судачим о Варе. Ольга относится к Варе менее строго, нежели я.

— Пусть балуется,— говорит она. — Варька достаточно хитра, чтобы причинить себе вред. Может, она права и не стоит откладывать на завтра сегодняшние радости?

«В этом ли радость!» — думаю я.

## ПОЛИТОТДЕЛЬСКИЕ БУДНИ

Варя работала письмоводительницей в Политотделе. Она штемпелевала дела и бумаги, вписывала номера исходящих и входящих. Большая книга в клетчатом, как старушечий платок, переплете, склонившись над которой приходилось проводить дни, казалась ей священной, а работа доставляла немало страданий. Гнетущими были даже сновидения. То она путала номера отношений, то забывала проставить число и месяц. Варя признавалась нам, что завидует завканцу Петрову, бывшему волостному писарю, обладателю на редкость разборчивого почерка. Трудны были и ночные дежурства в безлюдном Поарме.

В Мценске Политотдел расположился в великолепном здании екатерининских времен. В высокой сумрачной комнате с узкими окнами, с выбитыми кое-где цветными итальянскими стеклами, занятой канцелярией, валялся хлам двух столетий. В углу лежали останки резного венецианского шкафа, стопятидесятилетней деревянной мумии.

По стенам висели потемневшие от времени портреты важных сановников в пунцовых и васильковых кафтанах с бриллиантовыми пуговицами, генералов в аксельбантах, полуобнаженных дам в диадемах на взбитых прическах. Кто-то неведомый, избрав их мишенью, прострелил ордена и броши, пробил нарисованные глаза.

Во время ночных дежурств Варя пыталась мобилизовать все свое мужество. Керосиновая лампа до рассвета освещала только один угол канцелярии, «ремингтоны» на овальных столах казались черными надгробьями. Всю ночь она боролась с холодом, поддерживая огонь в камине.

Прикорнув на некогда обтянутом кожей стуле, Варя часами принуждала себя не глядеть в темноту. Там, казалось, притаилась опасность, оттуда раздавались разнообразные звуки, потрескивали стены, обваливалась штукатурка, вздыхая и кряхтя, рассыпалась мебель.

Но не всегда дежурный по Поарму бывал одинок во дворце. На втором этаже нередко коротало ночи еще одно человеческое существо — инструктор агитотдела со странной фамилией Канцелярчик.

У Семена Канцелярчика были глубокие темные глаза. Ни оживление, ни смех не могли стереть печального их

выражения. Глаза и чахотку Семен унаследовал от отца, глухонемого сапожника из города Седлец. Канцелярчик всего себя отдал работе, но у него было много врагов. Они объявили его карьеристом и честолюбцем на том основании, что, не довольствуясь дневными часами, Семен нередко оставался в Поарме на целые ночи. Никто не догадывался о том, что побуждало его к этому. Он знал на память всех политработников армии, артистов передвижных коллективов, названия рекомендованных Москвой книг, пьес, брошюр. С помощью чернил и бланков он вел в наступление свою армию, смещал и назначал заведующих клубами, руководителей кружков, перебрасывал актеров, утверждал репертуар, выносил благодарность либо порицания, организовывал снабжение, отпускал клубам литературу, шахматы, плакаты, театрам — грим, парики, реквизированное тряпье, политшколам — учебники, карандаши, тетради.

Только рассвет прерывал работу Семена. В пять часов утра он замечал, что его память объявляла саботаж, мысли падали под откос и разбивались в щепы, в голове отдавалась канонада. Семен отчаянно боролся, громко повторяя всегда одну и ту же фразу: «Черт, как слаб человек»,— но в конце концов, собрав негнущимися от усталости руками недописанные инструкции и повторяя наизусть «Башню» Гастева, отправлялся в кабинет начпоарма. Там стоял диван, весь в крапинках от раздавленных клопов. Ложась на него, Семен ежился, мерз, кашлял и стонал. Засыпая, он думал о том месте, которое уготовано его поколению в истории.

— Великие дела, великие люди,— шептал он.

Заворг Поарма Вячеслав Линев охотно говорил при случае о своей жизни. Детство его прошло подле отца и деда в старой покосившейся кузнице. Вячеслав любил вспоминать завалинку, где на самом солнцепеке, среди ароматного прелого навоза, в одной пестрой рубашонке, перешитой из материнской юбки, сиживал он в раннем детстве. Вячка не боялся лошадей, он страшился только цыган и городовых. Цыгане, по словам матери, крали детей, а появление городового предвещало горести.

Отец Линева нередко запивал, и кузница в эти дни безмолвствовала.

Оставшись один, Вячеслав иногда принимался размахивать молотом, подражая отцу. Рука его была

нетвердой, и однажды удар пришелся по ноге. С той поры он стал прихрамывать. Немного позже мальчик начал помогать отцу всерьез. Он узнал, что из прута церковной решетки можно выковать пару подков, и в дни запоев отца отправлялся по городу, хищно высматривая железные предметы, пригодные для кузнечных поделок. Несмотря на хромоту, он обещал быть отличным кузнецом. Плечи его раздались, и когда он опускал руку, вооруженную молотом, железо искрилось, будто горящее полено. Отец гордился работой сына, и крестьяне охотно доверяли ему своих лошадей. В часы отдыха Вячеслав шел в клуню, влезал на чуть отдающее гнилью сено и читал затрепанные книжки о похождениях Ника Картера или Шерлока Холмса. По воскресеньям он гулял по «кругу» городского сада и, когда темнело, шел в кинематограф с Танюшей — горничной генеральши. Из-за нее-то неожиданно и изменилась вся его жизнь.

Генеральшина дочь любила студента Петрова. Любовь их была тайной, запретной. Каждый день Танюша относила Петрову конвертики. Однажды, поленившись, она послала вместо себя с розовой «секреткой» Вячеслава.

— Пришел я,— рассказывал, улыбаясь, Вячеслав,— к учителю. Щупленький такой, ничем не примечательный паренек был. Конвертик он сунул в карман, потом уставился на меня и повел всякие там разговоры. Был он на деле гнилой интеллигентишка, из той породы, что приобщается к революционной работе, агитируя среди девчонок. Но я тогда ничего ни в людях, ни в идеях не смыслил. Внимание его вскружило мне голову. Домой, помню, приволок какую-то нелегалишку, ночью прочел ее и обалдел. Студентику я быстро надоел, и он передал меня товарищу Сергею Ивановичу Руму, которому я всем и обязан. Был он снаружи грязный, волосы седые, настоящий вечный студент, но ума и души был необычайной. До тридцати лет только и делал, что перебирался из тюрьмы в университет и обратно. В тюрьме изучил греческий, переводил на латинский «Коммунистический Манифест» и решал астрономические задачи. Сергей-то и свел меня с большевиками. Попал я тогда в нелегальный кружок, руководила им товарищ Наташа, по кличке Незабудка, чудесный была человек. Каюсь, много я из-за нее подков перепортил.

Спустя полтора года Линев получил предписание устроить под кузницей подпольную типографию. Отец его в ту пору уже помер от белой горячки, мать ушла на богомолье. Не одну неделю, как крот, еженощно рыл он с товарищами землю, ставил подпорки, клал настил.

— Пьет кузнец, весь в отца,— говорили сострадательные соседи, глядя на свет в окне кузницы. Линев рад был такой славе.

В подземелье работа шла без устали. Стук молота о наковальню заглушал скрежет «американки». Полгода существовала типография. Десятки тысяч прокламаций вышли из-под земли. На седьмой месяц полиция выследила и осадила кузницу.

С молотом в руке защищал Линев шаткую дверь, пока друзья выбирались из типографии через другой выход. Наконец жандарм свалил его выстрелом в упор. И после этого восемь монотонных лет провел кузнец в одиночке.

— Проба! Теперь я крепче своих предков,— заканчивал он свои воспоминания.

Заворг отлично разбирался в людях. Подполье научило его осторожности и наблюдательности.

— Иногда даже скучно,— говорил он,— видишь парня в первый раз и думаешь: вот сейчас он скажет то-то и обязательно таким голосом. И что же? Действительно, говорит так и то, что ему полагается; и голосенок у него такой, как я предугадывал.

В кабинете заворга на письменном столе постоянно валялись груды папок. Размашистым неровным почерком Линева на них были сделаны краткие, но выразительные надписи: «заглядывать почаще», «хлам», «полезное», «пусть полежит».

Политработников, приезжающих из центра, Линев невидимо ощупывал: «просвечивает», «добротный», «с изъяном», «напористый», «кипяток»,— писал он на анкетах. И комиссары, направленные в части Линевым, редко не оправдывали его оценки. Случалось, что рвавшихся в бой и кичившихся храбростью он упрямо оставлял в тылу.

— Брешет, потому что пороху не нюхал, пустомеля, в первом же бою полезет в кусты,— докладывал Вячеслав начпоарму.

* * *

Начпоармом у нас была Гортензия Сергеевна Рейс. Храбрость ее вошла в поговорку. В критические дни на фронте Рейс однажды задержала отступление, собственноручно расстреляв нескольких дезертиров. Она водила в атаку полки и одерживала победы.

Меня удивляло, что она невысока ростом. Низенькая, одутловатая от болезни сердца, нажитой в годы подполья, Рейс ничем внешне не напоминала героические образы, рисовавшиеся моему воображению.

На партийном собрании в первый же день по приезде Рейс спросила, тыча бесцеремонно пальцем в угол, где сидела Варя:

— Это что за барышненка?

Семен, пригнувшись, прошептал ей что-то.

— Не выйдет из нее толка,— решительно заявила она.

Однажды Рейс вызвала меня. Шагая через две ступеньки лестницы, я побежала на желанное свидание. Моей затаенной мечтой было стать похожей на эту отважную революционерку. В коридоре у двери ее кабинета я услыхала пискливый прерывающийся голос:

— Шкурни-ик, весь мир смотрит на большевиков, а вы смеете позорить партию... пьянствовать на фронте?! Знаю все! Молчать!.. Знаю!.. Отправляйтесь сейчас же в полк, трус вы этакий!

Из кабинета выскочил какой-то мужчина с испуганным лицом и обвисшими усами. Я вошла туда, оробев.

Рейс сидела у письменного стола, постукивая карандашом. От бессонных ночей и постоянных волнений глаза ее болезненно, фанатически блестели. Не выдержав испытующего, подозрительного их взгляда, я опустила свои.

— Вы просили сапоги, я, конечно, отказала.

Я посмотрела на грязные портянки, вылезавшие, как бурые языки, из моих когда-то франтоватых сапог.

— Красноармейцы ходят раздетые и босые, а политотдельцы выпрашивают белье и сапоги,— продолжала Гортензия.

На поясе ее рядом с кольтом висела связка ключей от бельевого склада.

Мне вдруг стало стыдно.

— Вы правы,— сказала я.

Рейс мгновенно смягчилась.

— Придет время, и все у нас будет. Потерпите.

* * *

Редактором армейской газеты был рыжебородый Митрофанов, он же поэт «Дед глаз».

— Штат газеты у нас невелик,— говаривал Митрофанов. — Я да Ваня Васев, порученец, он же фельетонист и он же правщик корректуры и выпускающий — богато одаренное существо.

Васев был мальчонка лет четырнадцати, утонувший в огромной кавалерийской шинели.

Когда мне случалось заходить в редакцию за газетами для клуба, Митрофанов говорил сурово:

— Не снимайте тужурки, замерзнете.

Раз как-то Митрофанов спросил меня:

— Вы статьи писать умеете?

— Нет, то есть не знаю... В гимназии шла не последней по сочинениям.

— Значит, не умеете,— сухо заключил «Дед глаз». — А жаль! Мне срочно нужно что-нибудь изобразить насчет соглашателей; в Харькове процесс меньшевичков начался.

Изо дня в день Митрофанов сочинял для своей газеты стихи, писал фельетоны и правил красноармейские письма, а Васев бегал в типографию, в штаб и Поарм за «материалом».

— Учитесь писать, Вася, у этого красного воина,— патетически восклицал «Дед глаз» и читал вслух очередное письмо красноармейца из передовой части:

— «Свою боевую задачу мы выполнили, показали генералам кузькину мать,— значилось в письме.— Хоть сейчас мы на отдыхе, но день наш полон. Учимся сами и другим, чем можем, помогаем. Нужен крестьянину ученый человек, нужно знание. Один старичок говорит нам: «Не пустим вас, милые, из села, поживите. Генеральский сор нелегко нам одним из избенки вымести»,

* * *

Семен, Линев и Митрофанов жили на углу площади Маркса и Энгельса и улицы Шопена. В просторной горнице помещались походная кровать и три табурета. Девять окон щедро пропускали свет и холод. На подоконнике лежали гитара, многолетняя спутница Линева, и принадлежащий ему же изодранный «Анти-Дюринг». Грязное полотенце, крохотный обмылок и гребешок свидетельствовали о тяге обитателей комнаты к чистоте.

Мы часто заходили к ним с Ольгой.

Однажды после ужина, состоявшего из сухой пшенной каши, Линев разложил на полу карту Южного фронта и, хмурясь, принялся отмечать крестиками занятые белыми города и деревни.

— Теперь-то уж разберут крестьяне, кто свои, кто чужие,— сказал он и поднялся с пола.— Ребята, надо ехать на передовые позиции! Поарм — это тыл!

— Не преувеличиваешь ли ты, Вячеслав, безопасность нашего «тыла»? — отозвался Семен.

Линев не ответил и, сопя, зашагал по комнате. Он не только говорил, но и молчал шумно.

В ту пору я часто вспоминала о Павле. Снова медленно ехали мы с ним рядом по лесу. Подкрадывалась ревность, неясные опасения. Ведь я ничего не знаю о нем. Кому так же, как и мне, он говорил ласковые слова?

Возвращаясь к себе, мы заставали Варю то в слезах, то веселую, иногда беспричинно хохочущую.

— Жизнь коротка, бери, что можно,— любила она говорить.

Однажды она сообщила нам, что боится, не забеременела ли. Ольга уронила от волнения утюг, которым гладила гимнастерку, я охнула. Положение Вари казалось нам безвыходным — оставаться в армии ей было теперь невозможно.

— Поеду в Москву,— сказала она,— сделаю аборт и вернусь назад.

«Не может быть большего наказания,— думала я,— чем вынужденный отъезд из армии. В такие дни стать даже по нечаянности дезертиром — вот он, позор, вот истинная мука!»

В день отъезда Варя помалкивала и ждала чего-то.

— Из всех, кого я любила здесь, этот оказался самым

бессердечным,— сказала она, грея на свече щипцы для завивки волос.

— А разве ты многих любила? — спросила я недоверчиво.

— Вообще или в армии? — Варя принялась накручивать на раскаленные щипцы прямые опаленные волосы.

Я растерялась от этого уточнения и, не осмеливаясь повторить вопрос, смотрела на подругу во все глаза, точно никогда раньше не видела этой широкоскулой, по-особому миловидной девушки.

— Какая же это любовь? — вырвалось у меня против воли.

Варя равнодушно вытерла щипцы о лист старой газеты.

— Ханжество,— сказала она.

Вошла Ольга. Разговор оборвался.

## ТИФ

Ольга сразу же начала выкладывать свои заботы.

— Мыла бы прислали, мыла и обмундирования. Варя, голубка, поразведай в Москве, какие перспективы, скажи, что очень нам белье исподнее нужно.

Ей казалось, что чистота — верная порука скорой расправы с тифом. Мыло было ее оружием. И его не хватало. Глядя в окно на желтоватый пятнистый снег, Ольга страстно звала солнце, лето. С теплом уменьшалась нужда в шинелях, в теплом белье. Вода, солнце должны были служить борьбе с тифом.

— Ах, Варька,— говорила она, снаряжая подругу в дорогу,— твою бы энергию да на дело пустить.

Варя уехала. Ольга все худела от бессонных ночей и непрерывной работы. Наступил март. Тиф все свирепствовал.

По утрам к санчасти армии, занимавшей полуразрушенный дом и оранжерею бывшего городского садоводства, подавали телегу для прививочного отряда.

Ровно в восемь врач и Ольга трогались в путь. Дорога пролегала полями, деревнями, молчаливыми, неприветливыми. Не раньше полудня прививочный отряд добирался до места назначения.

Во дворе церкви уже толпились красноармейцы. Пока врач надевал халат и засучивал рукава, Ольга расставляла банки с йодом и ватой. Красноармейцы подходили «колоться» один за другим, сняв гимнастерки.

Ольга видела только спины, худые, с выпуклыми лопатками, будто крыльями, толстые в жировых бегемотьих складках, гладкие, с четким орнаментом крепких мышц, прыщавые, с опущенными плечами, хитро и трусливо сжатые, лицемерно вогнутые, фатовато выпрямленные. Спины, к которым она прикасалась йодным тампоном, постепенно заменили ей лица, внушая то симпатию, то брезгливость, то равнодушие.

Под вечер Ольга возвращалась домой. Жили мы на постое у сектанта-евангелиста. На полу одной из двух комнат были разложены половики, вдоль стен поставлены выписанные из Орла фисгармония и венские стулья. Раз в неделю вот уже много лет тут собирались двенадцать сектантов-евангелистов.

Со времени нашего постоя хозяева дома перебрались в сарай, где, кроме них, разместились полинялый тарантас без колес, сбруя давно издохшей лошаденки, тощая коза и столетний, пахнущий мертвецкой хлам.

Старая хозяйка — ее звали Авдотья — благодаря нам, «большевичкам», обрела наконец постоянное занятие. Каждый вечер залезала она в угол, срезанный фисгармонией, и погружалась в созерцание и подслушивание. В большую щель видно было происходящее в соседней комнатке, узкой и низкой, как купе вагона.

Меня увлекали в ту пору идеи двух фронтов — трудового и боевого. Карты висели над моей кроватью.

Донецкий бассейн был свободен. С Грозного мы должны получить нефть.

Украина, Брянские леса снова были свободны от вражеского нашествия.

Мысленно я подолгу обозревала огромные лесные угодья, растянувшиеся от далекой, уходящей в потолок тайги до зарослей Закавказья. Нефть, уголь, руда, лес означали богатство, изобилие, свободу.

Белые холмы соли предлагали себя, нефть лавой рвалась из земных недр. Все было доступно — и золото, и самоцветы, и каменный искрящийся уголь.

— Каждый пуд угля, нефти, каждый исправленный паровоз побеждает разруху. Еще несколько месяцев, и

мы уничтожим белых. А как будет интересно, трудно, замечательно жить! — восклицала я.

За стеной Авдотья, охая, покидала наблюдательный пост. Еще один вечер не принес ожидаемых развлечений. В дверь стучались евангелисты. Вскоре глухие воющие аккорды фисгармонии разносились по дому. Старческими дребезжащими голосами сектанты затягивали псалмы.

— Перекрыть их, что ли? — спрашивала Ольга, невидимая за густым, дерущим горло дымом махорки, и запевала низким контральто: «Мы кузнецы, и дух наш молод». Я подхватывала. В ответ за стеной, пытаясь приглушить наши голоса, кричали псалмы сектанты.

В эти дни я получила приказ отправиться в штаб армии. Из Москвы прибыла литература и новые инструкции по организации клубного дела в военных частях.

Штаб армии расположился в южном городе. После долгого перерыва снова ходила я по мощеным улицам и с удовольствием разглядывала трехэтажные дома. В витрине аптеки стояли витые флаконы духов. На базаре юркие торговцы исподтишка предлагали фильдеперсовые чулки и шелковые шарфы. Иногда ветер приносил запахи близкого моря и цветущих деревьев.

Вечером я зашла в местный театр. Армейская труппа ставила «Ревизора». Театр — деревянная коробка с оштукатуренным потолком и двумя открытыми ложами — был переполнен красноармейцами. Артисты играли слишком старательно и потому фальшиво. Зрители щедро им аплодировали.

Я почти не следила за происходящим на сцене. Мне вспоминался иной театр: с голубым занавесом и креслами, обитыми атласом. Я была в толпе девочек в гимназических платьях. Катя сидела рядом, жевала конфеты и облизывала вымазанные шоколадом пальцы.

Как давно это было! Сколько лет я не расчерчивала мелом тротуары, сколько лет не прыгала на одной ноге за метко брошенным в нумерованную клетку камешком, сколько лет не играла в никогда не надоедавшие «классы».

На сцене Хлестаков неловко падал на колени перед Марьей Антоновной, как некогда артист Райский, в которого сразу же влюбилась Катя.

А до этого дня казалось, что не было и нет ничего, кроме сел, деревень, провинциальных городов, мимо ко-

торых идет Красная Армия. Много месяцев не было других мыслей, слов и забот, кроме тех, которыми живем мы все, я и те, что вокруг меня. Оказывается, за этой чертой есть что-то другое, есть даже гимназисты, сидящие в театре с голубым занавесом и возвращающиеся из театра домой, чтобы играть в фанты и флирт цветов. Есть города, где маленькие девочки с опаской переходят улицы и спорят о чепухе. Поразительно! За месяцы пребывания на фронте я позабыла о существовании других стран. Я говорила о международной буржуазии, об Антанте, но не ощущала в этих понятиях живых людей. Мир делился для меня на две части: на Советскую Россию и пространство, занятое ее врагами. Два знамени развевались над землей — красное и белое. Два стана. Я была в том, который побеждал мрак, дикость, жалкие судороги сметаемого класса, побеждал самое время.

В Поарме мне повстречался начдив Валерьян Зубов — красавец с лицом былинного богатыря. Он с подчеркнутой горечью сообщил мне, что переведен на работу из дивизии в армию.

— Это, конечно, почетно, но я по натуре воин,— сказал он.

Пошли вместе обедать в штабную столовую. На лестнице пахло навозом и псиной. Но ничто не могло испортить нашего аппетита. Суп из мясных консервов казался пределом кулинарных возможностей. Мы грызли корки черного хлеба, белящего зубы получше зубного порошка, которого не было в армейских складах. Десерт был поистине «буржуйский» — чернослив в шоколаде фабрики «Жорж Борман», захваченный и доставленный в отдел снабжения армии из недавно занятого Харькова.

Оказалось, что начдив любит стихи. Во время обеда он декламировал строки о скандинавской чаровнице Ингрид и еще о каких-то необыкновенных изломанных девушках с фиалковыми глазами.

Таится в Ингрид
Под лесофеей демимонденка,
Играет Ингрид,
Она поэзит, она поет...

Валерьян утверждал, что Игорь Северянин в общем очень смелый и радикальный поэт. Я не знала, что отвечать. За все время пребывания в армии я прочла,

кроме разного рода брошюр, только «Башню» Гастева да «Красную звезду» Богданова.

— А знаете,— сказал на прощание Зубов,— я давно неравнодушен к вам, маленькая малайка. — Он задержал мою руку в своей.

О, если бы это был не он, а Павел! Расставшись с начдивом, я взяла горсточку несвежего снега и потерла им руку. Хотелось смыть нечистое, как мне казалось, прикосновение.

С нерассуждающей гордостью первого женского самоотречения я шептала имя моего далекого возлюбленного.

* * *

Через некоторое время штаб наш подъезжал к городку, куда переехал из Киева дед.

По случайным письмам я знала, что он служил кассиром на вокзале.

Приближалась середина марта. Поезд медленно полз по рыхлому полю. Спустив ноги, я сидела в дверях вагона. С Днепра дул влажный ветер. Начинался ледолом, и с приглушенным воем рвались льдины. Накануне во сне мне привиделся дедушка, строгий, худой, но молодой,— такой, каким я знала его лишь по фотографиям. Мы сидели молча в незнакомой сумрачной комнате. Внезапно, сломав стену, с ревом, как стадо зверей, ворвался танк, неровный, серо-зеленый, могучий. Равнодушно пошел он по паркету, ломая мебель. Шел прямо к роялю. Завизжали рвущиеся струны, а с улицы сквозь дыру в стене повалили люди, голося и угрожая кому-то. И когда танк исчез в противоположной стене, не разрушив, а как-то распластавшись на ней, из-под черных лакированных обломков те же чужие люди выгребли бездыханное тело дедушки. Таков был сон.

Чем меньше оставалось ехать, тем быстрее возрастало мое беспокойство. Я мысленно торопила поезд, невольно напрягая мускулы, точно хотела помочь паровозу. Деду ведь было за семьдесят, а старость приносит с собой хворь и слабость.

«Если бы воля к жизни решила вопрос о смерти, дед никогда бы не умер»,— думала я, все более внутренне убежденная, что он тяжко болен.

«Надо верить в то, что никогда не умрешь и будешь Мафусаилом. Мы умираем после того, как допустили мысль о своем уничтожении и сдались»,— частенько говаривал сам старик.

«И сны и дурные предчувствия — все от усталости, от переутомления. Если бы не разлука с Павлом, если бы можно было оказаться сейчас вместе, поговорить, успокоиться, сесть рядом, взять его за руку...»

Поезд остановился у закрытого семафора. До кирпичного здания вокзала было недалеко. Я соскочила с подножки и пошла по перекрещивающимся путям. Иногда, как в детстве, взбиралась на один из рельсов и балансировала на нем, будто канатоходец. Хмурый железнодорожник недружелюбно смотрел на мои шалости и долго не отвечал на вопросы.

— Далеко от вокзала до деревни?

— Тут вокзал не вокзал, а сыпнотифозный барак, одни умирающие,— сказал он нехотя.

Прибавила шагу. На платформе никого. Касса закрыта. Вошла в здание. Полутьма. Смрад. На полу плотная серая масса человеческих тел.

Переступаю через неподвижных людей. Один внезапно поднимается. Бессмысленный взгляд, худые руки вылезают из ободранных рукавов.

— Да здравствует советская!.. — Он не договаривает и падает навзничь.

Кто-то застонал и попросил пить. Наклоняюсь, ловлю бессвязные слова бреда, женские имена, произносимые призывно и печально. Отцы, мужья, братья каких-то неведомых мне Машенек, Анюток, Дунь лежат без сознания на каменном полу и на деревянных скамьях, в шапках с пятиконечными звездами. Кто из них вернется к жизни? Два санитара тащат носилки.

— Наталочка, радость моя, женушка, ты со мной наконец! — Какой-то незнакомый, обросший бородой человек без возраста — болезнь стерла приметы — хватает меня за руку.

Странное совпадение: я не ослышалась, он назвал мое имя, но я его не знаю. Я не отнимаю руки. Глажу обросшие, горячие щеки. Он засыпает. Медленно высвобождаю руку и зову санитара. Мы вливаем в сопротивляющийся рот лекарство и накрываем больного шинелью. Иду дальше, к двери. Желание помочь всем этим людям, боль за

всех так велики, что решаю остаться до прихода санлетучки и помогать выбившимся из сил санитарам. И вот в эту-то минуту у окна на скамье узнаю седую бороду деда. Мои предчувствия оправдались. Тормошу его, обнимаю, расспрашиваю. Широко открытыми глазами дед смотрит на меня без удивления и вопроса.

Мы переносим его в подошедший наконец поезд. Температура — сорок. На груди и животе мелкая сыпь. Он не бредит, и трудно определить, насколько затуманено его сознание.

Старший врач, сумрачно покусывая губы, выслушивает старческое сердце. Он говорит, отвернувшись, что старики и дети иногда легче переносят тифозную инфекцию, чем сильные, но нервно истощенные молодые люди. Врачу жалко меня. Утешения, однако, напрасны. Я знаю, дед не выживет.

— Дедушка, узнаете ли вы меня? — спрашиваю я, наклонясь вплотную к больному.

Иногда он отвечает, опуская веки, иногда чуть двигает губами, но большей частью остается безучастным. И все же какие-то мысли и чувства живут в нем. Его жестикуляция стала отчетливей.

В день кризиса он звал умерших родителей, сестер, жену. Я присутствовала при этой встрече мертвых.

Худое, воспаленное лицо деда менялось с жуткой быстротой, и я увидела его в разные периоды жизни. Одна за другой спадали маски. В старческих чертах я открывала облик мальчика, юноши, зрелого мужчины.

Болезнь развивалась. Им овладело буйство. Он метался, кричал, вставал и падал. Это была стихия, неукротимая и грозная. И все же то была агония.

Он боролся со смертью всю ночь. Наконец затих, сдался. Медленно, все реже и реже поднималась костлявая, по-отрочески узкая грудь. Руки едва касались одеяла, за которое еще недавно хватались с такой жадной силой.

* * *

Похоронив деда, я поехала назад в дивизию. Нашла своих близ Мелитополя. Дивизионный штаб не выгружался из вагона, все время был на колесах. Ольга при-

несла в вагон букетик влажных, ярких подснежников и торжествующе затараторила:

— Цветы! Вот новый залог наших окончательных побед. Зима кончается, и лето идет нам на помощь. Здорово? Подснежники и те на службе у советской власти. Каково? Даже цветы за нас!

Мы обнялись. Ольга потащила меня осматривать свои избы-лазареты, бани и прачечные.

— Большое хозяйство, и неплохо ведется,— сказала я.

Мы обсуждали будущее. К лету или к осени поедем в Крым. Я никогда не видела ни моря, ни гор, ни цветущей мимозы, ни виноградников. Мы предвкушали прелесть оливковых рощ и беспокоились, не разрушат ли белогвардейцы крымские дворцы.

— Крым будет всероссийской здравницей, дворцы — санаториями,— мечтала Ольга. — А я буду директором.

Мы смеялись. Все казалось таким осуществимым.

— Одним героизмом советскую власть не построишь; нужны знания,— важно утверждала я. — Обязательно двину учиться в Москву, и не одна: со своим другом, с Павлом. — Я смутилась от своего неожиданного признания.

Ольга резко обернулась.

— Какой это — Павел? Комиссар бригады?

— А ты его знаешь?

— А ты его любишь?

Я насторожилась. Эти вопросы мгновенно разбередили во мне чисто женское беспокойство, вызвали подозрение. Какое ей дело, или она тоже?..

— Люблю. Ну и что с того? — промолвила я надменно.

— Видишь ли... — Ольга опустила глаза. — Видишь ли... Не люби ты его, пожалуйста. Он тебе не нужен. Найдутся другие. Ты такая молоденькая...

— Уж не тебе ли он нужен?

Щеки мои то холодели, то разгорались. Стало жарко. Я сорвала шапку. Ольга вдруг показалась мне злой, лживой, невыносимой. Повернулась, чтоб бежать.

— Стой ты... Я твоего Павла даже не знаю. Слышишь? Никогда и не видела. Ах, дикарка, дурочка этакая, ну, постой же, я тебе все скажу.

И вдруг лужи, крыши домов, тополя переместились, закружились в глазах. Я расслышала два слова, словно два коротких выстрела:

— Он убит.

У меня подкосились колени, и я упала. Очнулась оттого, что Ольга мокрой рукой проводила по моим щекам и лбу. Медленно я встала на ноги. Болел затылок — я ударилась, падая, но не плакала, не было слов для жалоб.

— И давно ты его полюбила? — спросила Ольга.

Трудно было на это ответить. Я так мало знала Павла. Может быть, он и не подходил мне, как и я ему. Как знать? И нужно ли оплакивать то, что смерть сделала неосуществимым? Павел был героем. Ему не было двадцати пяти лет, когда его убили. У него было смелое лицо, проницательные глаза, он умел ладить с людьми...

— Большевикам не пристало так относиться к смерти, и к какой еще смерти! Героической, революционной. Берись за дело. Клуб твой с виду хорош, однако Василий Иванович ведет подчас весьма странные беседы с красноармейцами. Он утверждает, например, что Энгельс — имя Маркса.

Так пыталась меня развлечь Ольга. Без возражений я поплелась к клубу и на его пороге впервые расплакалась. Василия Ивановича не было — он ушел за пайком. Несколько номеров «Красноармейца» лежали на скамье, и я увидела черную кайму некролога.

«Героическая смерть, пал, ведя за собой...»

Эти слова, относящиеся к Павлу, вызвали у меня новый поток слез. Я плакала громко, не стыдясь, ни от кого не пряча своего горя.

— Не отложить ли лекцию нынче? — спросил вошедший Василий Иванович.

Я, не задумываясь, возразила:

— Нет, зачем же отменять: я успокоюсь, это пройдет.

В ответе этом не было рисовки. Мне некуда было идти отсюда. Мой дом был здесь, вокруг были друзья. Я расскажу им о нашем общем горе, может, даже не удержусь и заплачу, но они поймут и не осудят.

Мы потеряли друга и вместе помянем его.

## ОЛЬГА

Мы крепко подружились с Ольгой. Теперь каждая из нас знала все о другой. Все, что можно было высказать словами. Мы привыкли отчитываться друг перед другом и требовали беспощадности и прямоты. Это было не-

легко. Себе самой многое прощаешь; всегда отыщутся какие-либо смягчающие вину обстоятельства. Не то, когда тебя судит другой.

Если Ольга хвалила меня, я чувствовала себя уверенней, но неохотно слушала ее упреки. Случалось, они вызывали во мне не только раздражение, но и ярость. Я пыталась спорить, возражать, но позднее про себя задумывалась, проверяла и постепенно научилась признавать свою неправоту либо, найдя доводы в свою защиту, вынуждала к этому Ольгу. Так вырабатывали мы самоконтроль и преодолевали ложное самолюбие.

Ежедневно мы составляли распорядок дня и старались не отступать от него. Рано утром, преодолевая лень, бежали в сени и обтирались снегом, потом та, которой выпадал черед, кипятила воду, готовила еду, а другая стелила постель, убирала комнату и читала вслух газету или книгу. Потом мы уходили на работу до поздней ночи.

Иногда в свободные часы мы пели. У Ольги был чудесный голос. Хотелось зажмурить глаза и отдаться мягким, согревающим его звукам. Ольга пела, я тихонько ей вторила. Сумерки прокрадывались и поглощали окружающие предметы, а мы пели то громче, то тише. Устав, принимались вспоминать происшествия минувшего дня, поверяли друг другу все, о чем думали, все, что слышали. И обязательно загадывали о будущем.

— У меня планов миллионы,— говорила Ольга.

— Вернешься на завод?

— Может, и вернусь. Ведь теперь завод будет другим. Нарядным, светлым, как оранжерея. Вот говорю, а представить себе не могу...

Иногда мы говорили о своей женской судьбе. Задумывались о том, почему не было среди женщин гениев.

— Даже повар кухарку за пояс заткнет, все у него лучше получается,— сердилась Ольга.

— Даже женскими модами в Париже заправляют мужчины,— вторила я.

Раз Ольга сказала:

— Я поняла, почему мы бываем хорошими исполнителями и плохими творцами. Потому что создаем самое важное на свете — людей. Все гении выношены и рождены нами. Наша честь — материнство. Неплохая честь, великая заслуга перед миром.

Но меня одно материнство не удовлетворяло, и я при-

знавалась Ольге в своем стремлении добиться совершенства хоть в каком-нибудь деле. Она улыбалась покровительственно.

— Валяй, авось выйдет. Головастик ты, Наталка, чучело головное.

Однажды мы услышали стрельбу и громыханье артиллерийских повозок. Это отряд Махно ворвался в деревню. Спокойно и быстро Ольга зарядила револьвер, потом выгребла из ящика запасные патроны. Я делала то же, но не могла побороть смятения. Звон, грохот, отрывистые выкрики команды, трескотня пулеметов и ружей да красное, дымчатое от пожаров небо спутали мои мысли и чувства. Я растерялась.

Мы осторожно выскользнули из избы. Тачанки бандитов неслись навстречу нам по широкой улице. Ольга властно повалила меня на землю. Нас загораживали от вражеских глаз густые, голые кусты низких акаций... Махновцы подъехали ближе. Ольга прицелилась. Щелкнул затвор. Запряженная в одну из тачанок лошадь поскользнулась и тяжело упала. С тачанки соскочили люди. Я тщетно пыталась спустить предохранитель браунинга.

— Смелее, девочка,— приказала Ольга.

Мы ползли по снегу вдоль изб. Навстречу из-за церкви вырвался отряд нашей конницы. Махновцы повернули оглобли.

Ольга стала целиться в их спины. Внезапно она тихо охнула.

— Рука... Ах... дьяволы! — выговорила она и как-то прямо, не сгибаясь, растянулась на земле без сознания.

Я приподняла ее,— откуда только силы взялись,— и потащила в сторону. В пустом сарае распахнула тулуп и разорвала гимнастерку. Грудь и плечо Ольги были в крови.

— Очнись, Оля,— шептала я, чуть не плача. — Очнись же,— просила я, прикладывая к ране тряпье, которое срывала с себя.

Внезапно Ольга пришла в себя. Ни стоном, ни жалобой не выдавая своих страданий, она помогла мне получше перевязать рану.

— Поклянись,— сказала она,— что убьешь себя и меня, если бандиты найдут нас.

Я взяла револьвер в руки.

— Клянусь!

Уложив Ольгу, я вышла из сарая и стала на страже. Ветер играл в небе пламенем горящих изб.

Махновцы бежали. Я привела на помощь Ольге друзей. Рана ее оказалась не тяжелой, и скоро она вернулась к работе.

* * *

Снег исчезал с полей. Эпидемия тифа утихла. Известия о победах шли с севера, востока, запада, юга. Враги отступали, раздвигались границы земель под советскими знаменами. Сбылась моя мечта. Армия шла только вперед, и Москва оставалась далеко, далеко позади.

Я знала, что крестьянка в деревне под Орлом, с которой когда-то свела нас судьба, спокойно кормит теперь своего ребенка, что на полях опять работают мужики, а землю теперь взрыхляют не снаряды, а плуги. Еще голодно, тяжело, но худшее все-таки позади.

И однако, несмотря ни на что, часто хочется плакать.

— Развинтилась,— печалится Ольга. Она говорит о том, что мы молоды, что жизнь лишь начинается и будет прекрасной. Я не спорю, все это верно, но мне почему-то грустно. Смерть прошла слишком близко, слишком рядом, смерть коснулась меня. Не ранила, но оглушила.

Я страстно ищу все, что осталось, все, что может напомнить о Павле. Если встречаю похожего на него человека — иду за ним, если слышу похожий голос — оборачиваюсь, мгновенно теряя покой.

Перебираю вещи в деревянном сундучке Павла, присланном из бригады. Пара холщового нижнего белья, расческа без трех зубьев, кисет из зеленого атласа с незнакомыми инициалами. Не женскими ли? «Анти-Дюринг», пожелтевший номер «Правды» с речью Ленина, записная книжка, карта, бинокль, портрет мужчины в косоворотке, глаза которого так похожи на глаза Павла. Еще какая-то женщина с двумя детьми на коленях и временный партбилет, выданный в армии взамен искалеченного в бою. Осторожно я разглядываю розовую книжечку, которую, как я знала, нашли у мертвого.

Я разыскивала с тупым упорством всех, кто мог опять и опять рассказать мне об этой страшной ночи. Я уже знала все, и все же мне было мало.

Вечером, накануне боя, Павел выступал перед красноармейцами.

— Помните, товарищи,— говорил он,— не только с русской, но и с международной буржуазией мы вступили в последний, решающий бой. Мы победим, мы не можем не победить!

Потом он писал письмо, но оно погибло.

Чуть рассвело, началась атака. Павел шел впереди бойцов. Он был окружен и долго отбивался; кровь лилась из его рассеченного лица и рук. К нему пробились слишком поздно — он лежал мертвый рядом с трупами врагов.

Носилки с телом комиссара принесли в отвоеванное же ночью село, и вокруг его могилы не прекращались бои.

Я не довольствовалась рассказами и не могла уверить себя в том, что Павел убит. Мне казалось, что я успокоюсь только тогда, когда сама увижу место гибели Павла, его могилу. Наконец я добилась разрешения и выехала на фронт.

## ПО ДОРОГАМ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

Какой могущественной казалась я себе, прикрепляя к поясу браунинг и перечитывая полученный мандат. Мне разрешалось носить холодное и огнестрельное оружие, предоставлялось право пользоваться телефоном, телеграфом и всеми средствами связи, всеми средствами передвижения — пассажирскими и воинскими поездами, штабными, служебными, делегатскими вагонами, обывательскими подводами — за счет Реввоенсовета армии. Всем, всем предлагалось оказывать мне содействие.

Я гордилась собой.

Мандаты гражданской войны! Потемневшие, обветшалые, стершиеся в карманах гимнастерок и револьверных кобурах, испещренные помарками — «взят на довольствие», «суточные оплачены», «прибыл», «отбыл», они неповторимы, как лихие тачанки, отбитые у Махно, как знамена, сшитые из атласных балдахинов разрушенных будуаров, как вся наша молодость.

Я снялась с довольствия, получила у дивизионного каптенармуса на дорогу хлеб и крутые яйца, анисовые капли и смену белья у Ольги и, уложивши все в мешок,

пошла на станцию, расположенную в трех верстах от села, чтобы ждать там попутного поезда. Никто не мог мне сказать, когда он прибудет.

На платформе перед полуразрушенной станцией пожилой человек в грязной форме железнодорожного служащего на треноге варил картошку. Запах ее показался мне до крайности соблазнительным. Я подошла поближе, но встретила взгляд, полный ненависти. На мое предложение обменять картофелину на яйцо железнодорожник отвечал отказом.

— Вот до чего довели,— сказал он и очертил в воздухе полукруг.

Подле рельсов лежал на боку паровоз, и пониже под откосом валялись разбитые вагоны. В соседнем небольшом депо было пусто. Сажа траурными лентами обвила настежь распахнутые, бесполезные двери. Могильной насыпью лежала груда угля. И такая тишина была вокруг, что казалось, никогда не придут сюда поезда.

— Вот чего понаделали. Все разрушили. Как дохлая скотина, валяются паровозы. Да ведь скот что? Сегодня падеж, завтра народится. А вот паровоз сделай-ка. Не очень выйдет без фабриканта. Не сумеете! Не получится! — Он злобно ухмыльнулся. — Вот Бельгийское общество, оно все может, оно всякие чудеса выделывает. Видели международного общества вагон? Вот оно, чудо! Плюши разные, лампочки, умывальники всевозможные. Вам такого никогда не сработать. Так и будете век в теплушках странствовать, да нет, и того не будет. На быках или на ослах потащитесь к своему коммунизму. Секрет надо знать. Это вам не лошадей плодить. Тут мужицкого знанья мало будет!

Трудно было спорить с этим человеком, но я попыталась. Не знаю, что именно понял железнодорожник из моих слов, но только вдруг он угостил меня картошкой. А к вечеру мы пошли осматривать потерпевший крушение паровоз. Земля уже начала свою неустанную работу могильщика. Ветер помогал ей возводить погребальный курган. Несколько лютиков расцвело вокруг поверженного железного гиганта.

Мой случайный собеседник стал рассматривать паровоз, как внимательный врач, стараясь поставить диагноз и найти признаки возможного излечения. Он был некогда машинистом и, видимо, хорошо знал свое дело.

Во время нашего разговора издалека, из-за леса, раздался пронзительный свист. Приближался поезд. И солидный, уверенный шум, сопровождавший его движение, оживил поля. Исчезло мгновенно ощущение оторванности, заброшенности. Мир был снова доступен и близок, как на глобусе. Рельсы не бежали, как мне раньше казалось, в пустоту, а лежали, опять прочно опоясывая землю. И казалось, нет им конца.

Поезд остановился у водокачки.

Последний освещенный салон-вагон по контрасту с сырой темнотой станции показался мне дворцом на колесах. Часовой спрыгнул с подножки. Я протянула ему мандат.

— Не могу,— сказал он. — Едет инспекция пехоты. Не полагается пускать. Секретно.

Я послушно хотела отойти к другим вагонам, но увидела в окне знакомый профиль начдива, читавшего мне когда-то стихи Игоря Северянина. Постучала в стекло. Он выскочил на площадку, и минутой позже я входила в салон. За столом, заваленным картами и планами, несколько человек пили чай с конфетами. Я увидела недоконченный пасьянс на откидной деревянной доске. Как не похоже все это было на избы и вагоны наших штабов.

Валерьян отвел меня в купе и оставил одну.

Я проснулась, когда поезд подъезжал к Мелитополю.

Выйдя на привокзальную площадь, уселась па подводу. Густая грязь летела из-под колес. Медленно проехали мы мимо кладбища, мимо покинутых заводских корпусов. Кое-где в поросших юной травой дворах валялись куски порыжевшего железа, дырявые бочки. Крюки механических кранов раскачивались, как петли виселиц. Словно смерч разогнал людей, опустошил эти когда-то многолюдные здания. Босоногие ребята играли «в салки» и восторженно визжали, точно ничего не случилось вокруг них. Мы подъехали к центру города.

Соскочив с подводы и расплатившись с возницей, я вошла в партийный комитет. Люди в коридорах, несмотря на занятость и тревогу, улыбались мне. Мой воинственный вид был здесь привычен. Я была дома, среди соратников. В одной из комнат заседал ревком. Я показала мандат, вошла и села у кафельной печи.

— Слащев причинил значительный урон нашей армии, нужны подкрепления, нужно быть начеку,— говорил

один из сидевших в комнате. — Противник проник в наш тыл, он готов на любое коварство, чтобы заманить нас в ловушку.

Город жил в эти дни одной волей, одним стремлением к победе. Одно сердце билось в груди нескольких тысяч человек, готовящихся к защите. Одно знамя колыхалось над вооруженной толпой. И напряжение слов было неслыханно велико. Даже не злобу вызывало малодушие и страх обывателей, иногда осмеливавшихся высунуть носы из провинциальных подворотен, а только презрение.

«Потомки,— думалось мне,— будут завидовать нам. Мы видим, мы создаем то, чего никто никогда не видывал и не создавал».

Город готовился к схватке, когда я оставила Мелитополь. Долго, пешком, на тендере паровоза, на крестьянской телеге, на артиллерийской повозке, я догоняла бригаду Павла. Штаб стоял в деревне Ново-Алексеевке.

Комиссар бригады, увидев меня, обрадовался.

— Наконец-то вас прислали. Наша сестра ранена, а врач в тылу.

— Я не сестра, но раз это нужно, буду ею,— сказала я, сама дивясь своей решимости. Фронт приучил меня быстро учиться тому, что требуется в данный момент.

Санитары в запятнанных кровью халатах непрерывно доставляли в село раненых. В крайней избе, бывшей школе, меня встретила деятельного вида пожилая женщина.

— Санитарка, Фекла Ивановна, по прозвищу «Пулемет» — очень уж я быстра на слова,— представилась она с явной гордостью. — А вы — сестра? Оно и видно: худенькая, бледненькая. Я, знаете, здесь за всех одна. Нынче пинцетом осколок выковыряла. Что ж поделать! Не помирать же бойцам без помощи. Потом йодом полила, ничего, получше стало. Обошлось, заживет. Был у нас тут фельдшер, он меня всему обучил, а потом самому, бедняге, ногу оторвало. Ну, идем же, моя милая. На меня не обращайте внимания.

Я пошла за Феклой Ивановной, стараясь восстановить в памяти уроки ухода за ранеными. Припомнился яркорозовый купеческий особняк с каменной Дианой в саду, где помещались комсомольский комитет и клуб. Давно это было или совсем недавно, если справиться по календарю? Меньше года.

Там, на курсах медсестер, комсомолки поочередно перевязывали друг друга. Мы дурачились, изображая раненых. Война представлялась нам веселой, забавной. Как и все, я рвалась тогда в бой. И все-таки, учась перевязкам, я не представляла своих товарищей ранеными. Случилось, что Диана, которую мы решили убрать как неподходящее для комсомольского сада украшение, падая с пьедестала, ударила меня, исцарапав до крови. Появился наконец долгожданный случай проверить на практике наши знания. Меня торжественно ввели в комнату бюро комсомола. Десятки рук предлагали свои услуги. Принесли бинты и сообща принялись за дело. Но никто не сумел ни остановить кровотечение, ни забинтовать мне щеку.

Все это мне припомнилось теперь, когда я подошла к красноармейцам, чтобы перевязать их раны. Они уже размотали тряпки, сорвали почерневшие бинты. Непривычное зрелище нагноившихся ран едва не лишило меня чувств.

К счастью, хлопотливая, наблюдательная и весьма опытная Фекла Ивановна тотчас заметила мою растерянность, определила уровень моих знаний и пришла на помощь. Хладнокровие скоро вернулось ко мне, и я принялась за дело.

Работая на медпункте, пока не приехали настоящая сестра и врач, я обучилась за это время кое-чему у Феклы Ивановны, которой удавалось все, за что бы она ни бралась. Она была подлинной маркитанткой, одинаково умелой и бесстрашной у пулемета, у операционного стола, в обозе. Она научила меня разбирать винтовку, варить борщ и петь украинские песни.

Муж Феклы Ивановны, красногвардеец, был убит во время Октябрьских боев, сын погиб под Орлом, в одном из полков нашей дивизии. Другой сын воевал против белых на Восточном фронте. Фекла Ивановна с гордостью рассказывала о своей семье, о том, что двадцать лет работала ткачихой.

— А закрыли фабрику, пошла служить курьершей в ревком. Вместе с ревкомом отступила из города, когда подошел Деникин. Поехала к сыну, но опоздала. Убили его.

Она отказалась покинуть армию, и, как я узнала потом, полковой командир ни разу не пожалел, что уступил

ее просьбам. Пулеметчика, врача, повара сменяла, когда надо было, Фекла Ивановна, всегда одинаково бесстрашная, веселая, ловкая.

Любила она помечтать о будущем, о невиданной никогда Москве, о Кремле, где жил и работал Ленин. О Ленине она могла говорить без конца, и когда однажды я посмела заявить, что он среднего роста, Фекла Ивановна пришла в ярость.

За эти два напряженнейших дня мы сдружились с Феклой Ивановной на всю жизнь.

И все это время я настойчиво стремилась пробраться с любым поручением туда, где была могила Павла.

Комбриг, которого я видела мельком, не хотел брать меня в самое «пекло»,— так называл он в эти дни соседнее с Ново-Алексеевкой село, переходившее из рук в руки. Я настаивала.

— Поедем на рассвете,— сказал он как-то вечером, остановив лошадь у походного госпиталя.

Было еще темно, когда мы выехали. Пара добрых крестьянских коней легко тащила по бездорожью большой рыжий фаэтон. В каждой бригаде имелась такая колымага, но наверняка ни у кого в нашей армии не было фаэтона более скрипучего, полинялого, вместительного и неуклюжего, чем тот, в котором комбриг отправился со мной в Н-ский полк. Огромный мятый верх фаэтона, откинутый за ненадобностью (дождя не предвиделось), был пробит пулями, а на зеленой вытершейся обивке я заметила темный и густой, как ржавчина, след крови. Видимо, фаэтон побывал в боях.

Мы беспрепятственно въехали в деревню. Патрули донесли, что все спокойно, с вечера противник отступил.

«Павла убили за холмом, там, где развалины разрушенной снарядами церкви»,— вспоминала я рассказы очевидцев. Вот и гора, и угрюмое пепелище. Дальше на все стороны степь и бескрайнее небо. И лес на горизонте лежит черной полоской.

Вихрастая девчонка сопровождает меня. Похороны комиссара она хорошо запомнила.

Вот и могила. Насыпь и деревянная сломанная дощечка. Пустые гильзы от пуль валяются в песке. Едва различаю буквы, те, что остались от надписи: «Комиссар... Пал геро... коммунизм. Мы... продолжим... дорогой...»

Ни одного деревца поблизости. Ничем не украшенное, одинокое кладбище, вдали покинутая старая мельница с обломанными крыльями.

Сажусь у дощечки, готовая дать волю слезам, но не ощущаю уже ничего, кроме усталости, сухого жара, желания уснуть. Думала, по-иному все будет. Но этот серый песок, эта ширь неба и равнины отвлекают меня от грустных мыслей. Павла больше нет. Теперь я это чувствую ясно. Только для себя самой мне хочется украсить его могилу, хочется, чтобы не была она так заброшена и печальна.

Я прошу девчонку помочь мне, и мы бежим к разрушенной церкви. Там мы выкапываем еще не зацветший куст сирени и в поломанном ведре тащим для него землю. Красноармейцы смотрят на нас недоумевающе. Мы долго возимся, сажая и поливая деревце. Когда делать больше нечего, я понимаю, что пора возвращаться.

И вихрастая босоногая девчонка, как и я, измазанная землей, говорит просто:

— Який бидненький, тильки житя почалось, житы б та житы.

На пути к Ново-Алексеевке, где стоял штаб бригады, мы услышали первый выстрел из невидимого орудия. Комбриг, привезший меня, сидит на облучке. Возле меня примостился политрук. Неподалеку разрывается снаряд. Противник нас заметил. Мы — отличная мишень в открытом поле. Стрельба усилилась. Комбриг успокаивает меня, шутит, заверяет, что его, а значит и нас, снаряд не берет: снаряды, мол, боятся большевиков. Лошади скачут галопом. Наш фаэтон скрежещет всем своим железным костяком.

— Пуще всего на свете боюсь бабьего визга,— внезапно проговаривается комбриг.

Снаряд разорвался впереди. Кучер подгоняет лошадей. Они тревожно ржут и то кидаются вперед, то встают на дыбы. Политрук приподнимается и подносит бинокль к глазам. С особой, свойственной женщинам наблюдательностью я замечаю заплатку на его гимнастерке, кавказский пояс в серебряных с черным бляшках, чьи-то инициалы на тыльной части его руки. И в ту же секунду что-то больно царапает мне щеку и какие-то брызги на мгновение ослепляют меня. Инстинктивно защищая голову, я оглядываюсь в поисках спасения. Рядом со мной

на сиденье полулежит обезглавленное туловище политрука. Вижу его шею, по которой будто прошел нож гильотины. Кровь пенится и стекает по гимнастерке.

Я закричала и потеряла сознание.

Открыла глаза в избе. Фекла Ивановна хлопотала возле меня.

— Не думал, что тебя этак скрутит. Долго мы с тобой бьемся, хотя не всякий бы выдержал,— сказал комбриг, наклоняясь надо мной. — Редчайший случай. Снаряд, не разорвавшись, снес голову нашему политруку, сорвал верх с фаэтона и зарылся в землю. Разорвись он, мы все были бы убиты на месте.

Я осторожно двинула ногой, потом оперлась на локоть и села.

— Чем кончилось? Отступили? — Мне показалось внезапно, что прошло много дней и случилась какая-то беда.

Но комбриг обернулся с порога.

— Наоборот, дела хороши: одних взяли в плен, других оттеснили к морю. Путь до Перекопа свободен, а там и до Крыма рукой подать. Поправляйся, я еду в полк, думаю, не увидимся больше, тебе пора назад, в тыл.

— Как не увидимся?

Я вскочила и, пошатываясь, пошла за комбригом.

— Я хотел сказать — увидимся скоро, но в Н. — Он назвал город, где стоял штаб армии. — Ты смотри, не бунтуй, тебе приказано ехать немедленно. Понятно?

С необычайной для меня покорностью я согласилась. Мне было стыдно за свою слабость, за обморок и болезнь. Изгнание было заслуженной расплатой.

Фекла Ивановна, огорченная предстоящей разлукой, собрала меня в обратный путь. Крепко обнялись мы с ней на прощание.

* * *

Назад до Мелитополя я ехала на крыше вагона. Одолевает приятное ухарство, когда сидишь вот так, болтая ногами и рискуя свалиться вниз.

Снова, как редко в жизни бывает, понимаю до конца, какое это счастье — жить. Даже страшно от этой огромной, внезапно нахлынувшей радости, уверенности, что молода, сильна, что все открыто, доступно.

Под вечер, пробившись в теплушку, я снова встретила людей, о существовании которых по временам забывала. Мы называли их обывателями. Они смотрели на то, как сменялась власть, сквозь садовую жимолость и фикусы на подоконниках и завидовали тихо продремавшим свою жизнь, скончавшимся под мурлыканье кошек предкам.

Девушка в кофте с облезлым котиковым воротником, с лицом нежным и приятно расплывчатым сообщила мне, что умеет играть на рояле. Она ехала в Харьков, не зная точно, куда идти учиться — в консерваторию или в балетную школу. Поначалу она удивила меня отрешенностью от того, что волновало всех нас. Но потом сострадание к ней охватило меня, будто я увидела парализованного ребенка или калеку. Мне показалось, что теперь есть только одна цель, одна радость — борьба за победу революции. Музыка — это прекрасно. Но сегодня?! Она этого не понимала. Она была слепа. Как исцелить ее, как вернуть ей зрение?

Девушка пожаловалась на то, что в Мелитополе мало хлеба. Восхваляла музыкальные инструменты фабрики Шредер и брокаровские духи. Правда, она слыхала, что меньшевиков зовут соглашателями, но несколько раз называла коммунистов фанатиками.

— Как вы думаете, есть в Харькове балетные туфли и можно ли выменять их на муку? — спрашивала она и отвечала поспешно сама: — Я слышала — есть.

Еще ехал с нами юноша, которого звали Игорь. Он читал нам какие-то неизвестные мне стихи и восторгался ими.

Девушка повторяла, прикрыв глаза, слова, показавшиеся мне глупыми: «Усатый персик!»

Мне нечего было сказать. Огрубевшая, никогда не слыхавшая о поэте, написавшем эти стихи, я чувствовала себя в чем-то более правой, чем мои спутники. Неловкость все возрастала. Я была среди чужих. Когда я попыталась рассказать им о величии нашей эпохи, они засмеялись.

На нарах сидел еще один молодой человек с старомодными бакенбардами, носивший, однако, гимнастерку, сапоги и шапку со звездой, как я. Из пестрой компании, в которой были злобные пожилые дамы и пузатые, нарочито фамильярничающие со мной мужчины, он

единственный говорил и держал себя запросто. Я подсела к нему. Он оказался музыкантом.

Небо, поля, ночь врывались в открытую дверь теплушки.

Молодой человек достал свою флейту и принялся наигрывать арии из «Князя Игоря», полные истомы, лукавства и степной шири. Все приумолкли: и жеманный юноша, и злобные дамы, которым осталось в жизни только прошлое. Мне вспомнился дедушка и его рассказы о нашествии половцев и былинной удали. В полночь, в молчании, охваченные думами, мы улеглись на нарах.

* * *

В первые дни мая меня вызвал к себе начальник в Политотдел армии. Он был недавно назначен, но уже известен своей энергией. Я слышала его речь в годовщину падения самодержавия. Был он неказист собой, но силен умом и волей. Его ораторская манера очень мне нравилась. Он избегал жестикуляции и говорил убедительно и просто.

Я вошла в кабинет, оробев от добрых чувств и уважения, которое он мне внушил с трибуны.

Разговор наш был коротким. Начпоарм дружески предложил мне ехать в Москву учиться.

— К нам прибыло подкрепление: десятка два политработников. Они, правда, еще не обстреляны, но ребята сознательные и смелые. Все больше пролетарии — кто из Петрограда, кто из Москвы... А вам надо отдохнуть, да и поучиться. Пора: с таких, как вы, молодых, партия много спросит. Нужно расти, набираться знаний, учиться и еще раз учиться. В Москве вас направят в школу по выбору.

Я не ждала такого предложения и насупилась, не находя ответа. Но он угадал мои мысли, принялся уговаривать, хвалить за сделанное в армии, подбадривать. И это получилось у него так искренне и добродушно, что я успокоилась и, попросив месяц отсрочки, приняла его предложение.

Москва опять приблизилась ко мне. Предстояло брать еще один перевал.

* * *

В тихом, сытом Александровске внезапно заболел Семен Канцелярчик. По прихоти квартирьеров он и Линев жили в рябом от пуль особняке на краю города. На рассвете кровь, хлынувшая из горла Семена, залила недописанную инструкцию. Канцелярчик скатился с рояля, на котором лежа писал. Басовые струны протяжно всхлипнули и смолкли. Линев уложил больного на кровать под кружевным балдахином и тщательно укутал его. В разбитое окно проникал ветер. Линев прикрыл Семена шинелью, дырявым одеялом, персидским ковром, поднятым с пола, и палевым японским панно, содранным со стены.

— Умереть от чахотки, на фронте, в армии... — тоскливо прошептал Канцелярчик. Он высвободил из-под тряпья узкую руку и погрозил кому-то с трагическим отчаянием. — Умереть бесцельно, нелепо... Умереть, не увидев мировой революции...

## ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ В АРМИИ

С грустью я начала замечать, что все реже вспоминаю Павла. Его образ отходил от меня все дальше, терялся в глубинах памяти, как отражение в стекле. Все более идеальный в своей отдаленности, он становился все более чужим. Труднее стало воскрешать мелочи и подробности наших встреч и разговоров. А главное — не хотелось делать это. Я постепенно забывала черты его лица, звук голоса. Это было печально, но непоправимо.

Вернулась потребность жить, действовать, веселиться. Дольше обыкновенного я теперь заплетала косу, до блеска чистила сапоги. С трудом раздобыла глицерин, чтобы смягчить кожу рук. Выменяла двухнедельный паек на кусок сатина и сшила из него платье. День, когда я надела его, прикрепив у ворота белый бантик, был полон острого беспокойства.

Начала понемногу готовиться к отъезду в тыл. Приехавшие из Москвы политработники рассказывали о последнем выступлении Ленина, о том, чем жила теперь столица. Я слушала волнуясь. Казалось, я от всего отстала, мало прочла, мало думала.

Как-то под вечер Валерьян Зубов позвал меня кататься на лодке. Акации уже цвели и осыпали город своими пушистыми гроздьями. Белели в садах яблони.

У реки, взяв лодку, мы принялись по очереди грести. Течение относило лодку назад, и весло натерло мне ладонь. Валерьян пел песни о Ермаке, декламировал стихи и признался, что сам когда-то хотел быть поэтом.

Доплыв до леса, мы вылезли на песок. Валерьян расстелил шинель. Звезды одна за другой загорались в небе, и мы смотрели вверх, отыскивая созвездия и планеты. Потом Валерьян шутливо предложил мне вернуться на землю.

— Нам надо поговорить, моя прелесть,— сказал он.

Меня больно резануло это обращение, но я промолчала.

— Я тебя люблю, это факт,— продолжал он.

Мне и это не понравилось. Стало вдруг как-то тяжело, неловко. Но я прислушивалась. Было интересно — что скажет он дальше? Его слова как-то обволакивали меня, дурманили. Никто не говорил со мной так.

— Люблю я тебя всю, словом, по-серьезному люблю.

— А как же можно еще любить? — удивилась я.

Валерьян зажег самодельную папиросу. Я заметила, что он улыбался.

— Как же любят? — приставала я. — Ах, я догадалась. Вы имеете в виду загс и то, что можно обойтись без него.

— Я на все согласен, будет, как ты решила. — Голос Валерьяна показался мне чужим, незнакомым.

— Мне всего этого не требуется,— отрезала я.

Разговор становился для меня все более трудным, и продолжала я его уже зло.

— Прежде чем говорить о себе, надо бы обо мне порасспросить, нужны ли мне ваши признания.

— Да пойми же ты меня и перестань, пожалуйста, выкать,— рассердился Валерьян. Он больше не улыбался и жадно курил. — Пойми,— продолжал он,— что я не лгу. К чему тут притворяться. Мне казалось, что ты стала ко мне относиться по-иному, оттого я и полез со своими чувствами. Но если велишь, я могу тотчас же свернуться.

— Нет, продолжай.

— Спасибо. Я тебя давно люблю и не первый раз говорю об этом. Хотел бы серьезно связать наши жизни,

Решай. Жаль, что нельзя перед каким-то алтарем, по какому-нибудь, ну хоть папуасскому условному обряду обвенчаться. Хочу вместе жить, работать, умереть вместе. Поняла? Вот как ты меня приворожила. Сам не пойму, как ты это сумела. Все лучшее во мне подняла. Но боюсь, развалится все наше благополучие при твоем «ндраве». А может, «ндравом» и взяла...

Я молчала.

— Ты скоро уедешь, и уедешь надолго,— снова начал Валерьян.

— Я буду ждать тебя в Москве,— с трудом проговорила я.

— Но где гарантия, что ты не позабудешь меня? Дай мне, по крайней мере, слово, поклянись.

— Слово можно уничтожить другим словом,— сказала я, рассмеявшись, и поднялась на ноги.

Он попытался обнять меня, но я испуганно оттолкнула его.

Он остался сидеть, опустив голову. И внезапно мне стало жалко его. Наклонившись, я погладила его волосы, лоб. И вдруг полушутя, полусерьезно он предложил мне составить и подписать договор о любви и верности.

Предложение это показалось мне таким необычным и привлекательным, что я согласилась.

И вот при свете зажигалки на листе, вырванном из блокнота, тупым карандашом Валерьян написал: «Клянемся любить и быть верными друг другу, где бы мы ни находились. Клянемся быть вместе, когда позволят обстоятельства, когда это не будет помехой партийному долгу и революции, никогда не скрывать свои подлинные чувства, не лгать, даже из жалости. Нас связывает любовь. Если она исчезнет у одного, это дает свободу обоим».

Мы подписались и очень холодно обнялись. В лодке Валерьян снова пел, и я ему вторила.

Вернувшись домой, я не могла уснуть всю ночь.

«Договор» лежал у меня под подушкой, и нет-нет я прикасалась к нему рукой.

Из отдельных случайных рассказов Валерьяна я узнала, что отец его, богатый чиновник, умер от запоя и детство прошло бесцветно, с угрюмой матерью и скупыми ворчливыми тетками. В университете он пробыл до начала мировой войны, а затем стал офицером. Он писал

стихи, увлекался женщинами, кутежами — одна из теток, умирая, оставила ему наследство. Мечтал дослужиться до генерала.

В 1918 году скуки ради он побывал в Москве в клубе анархистов и увлекся их программой. Смеясь, он рассказывал мне, что, будучи анархистом, носил черный плащ, зачитывался Бакуниным, мечтал об анархии. Но, прискучив и этим, ушел добровольцем на фронт. В Красной Армии, где пригодились его знания военного специалиста, он порвал с анархистами. Их бунт чуть не стоил жизни отряду, которым он командовал. Знающий командир и добрый товарищ, Валерьян Зубов полюбился красноармейцам и вскоре, оценив пользу, которую он приносил, партия приняла его в свои ряды.

Дни пролетали быстро. Больше нам с Валерьяном не пришлось погулять за городом, не пришлось даже поговорить.

В день моего отъезда я с грустью передала клуб девушке, приехавшей из Москвы.

Провожали меня Ольга и Василий Иванович.

В вагоне четвертого класса было много народу. Ехали кто в командировку, кто в отпуск, кто переводился в тыл, подобно мне.

Я вышла на площадку и, по обыкновению, примостилась на подножке. Мимо проносились знакомые места. Не так давно здесь проходила наша армия. Вот и станция, где я отыскала дедушку. В этой деревне, прячущейся за белой меловой горой, мы справляли Первое мая. Все дороги здесь исхожены и изъезжены нами. Армия — родная моя семья! Суровая, незабываемая школа!

Будущее рисовалось мне неясным и трудным, а во всей прожитой жизни самым значительным был последний год, год военных странствий. Великая сила этого времени была в том, что все пережитое в пору моих скитаний всегда было не личным, не только моим, но всегда общим.

Леса, поля, речушки, холмы. Я видела их осенью, зимой и весной. Кто испытывал волнение, с каким мы следили за лентой полевого телеграфа, кто пел песни у военного костра, кто знает напряженное чувство горечи во время отступления и гордую радость победы — только тот до конца поймет мои мысли в эти часы расставания с армией.

На станциях мы брали из баков кипяток в свои котелки, заваривали безвкусный морковный чай, выменивали у крестьян молоко и делились им друг с другом.

На третьей полке под самым потолком, напротив меня, на ночь улегся молодой командир. В бою он потерял правую руку и теперь покидал фронт. Весь минувший день он стоял, пока не стемнело, у грязного вагонного окна. Судя по всему, он, как и я, тягостно ждал перемен. Мне захотелось развлечь его, утешить. Я сказала ему, что, по-моему, он уже выполнил свой долг, что он герой.

— Все мы так или иначе герои,— прервал он меня с нескрываемой досадой. — Не в геройстве дело. Люди нужны, верные люди!

Помолчав, он добавил:

— Потому-то я и надеюсь еще пригодиться.

Разговор оборвался. Вагон затих. Прежде чем уснуть, я свесилась с полки и осмотрелась вокруг.

Бойцы лежали в шинелях, подложив под головы шапки. Я их видела впервые и все-таки знала. Вспомнились мне бесстрашная Фекла Ивановна у пулемета, хлопотунья Ольга, спасающая больных, Василий Иванович, разбирающий ящик с брошюрами, начальник Политотдела на трибуне, Павел, ведущий в атаку полки, политрук с оторванной снарядом головой и сотни, тысячи других бойцов. Вокруг гремели пушки, пулеметы, рвались снаряды. Смерть пыталась устрашить всех этих людей, но не могла.

А поезд уходил все дальше на север. Армия оставалась позади.

## МОСКВА 1920 ГОДА

Так вот она, Москва.

Города с суровой обстоятельностью рассказывают о своем прошлом и настоящем. Дома, улицы, закоулки, непроходимые тупички несут на себе меты всех веков, следы истории. Город — как беспристрастная летопись.

Я стояла у заколоченной досками витрины и смотрела вслед безногому калеке, пересекающему улицу на своих постукивающих культяпках. Он остановился посередине мостовой между рельсами и стал, казалось мне, выбирать

путь, по которому направить свое жалкое туловище. Улицы разбегались в разные стороны и были мертвы и пусты, как площадь, безмолвие которой нарушил лишь этот калека с его культяпками. Тихо двигались стрелки часов на оливковом доме ВЧК, уныло выглядел фонтан без воды.

Безногий человек, поразмыслив, принялся опять, подскакивая и опираясь на руки, двигаться между рельсами. Ничто не препятствовало ему. Я вспомнила постоянные призывы Анны Павловны к осторожности. Она боялась уличного движения, как скарлатины. Но здесь было так привольно и тихо. Город казался зачарованным, уснувшим, как лесной замок в детской сказке о спящей красавице.

И время было сказочное — 1920 год.

На углу Моховой и Воздвиженки я разыскала Центральный Комитет Российской Коммунистической партии. Сердцебиение задержало меня у подъезда, даже камни здесь были мне дороги, даже камни были полны особого смысла. По этой лестнице поднимается, быть может, Ильич. Из этого дома следят за фронтами и армиями, за всей страной, более того — за всем миром. Сюда стекаются со всей земли человеческие мечты о свободе, о счастье. Великие дела творятся в этом обыкновенном, скромном на вид доме.

Женщина в расстегнутой у ворота косоворотке внимательно прочла мои армейские документы и сказала коротко:

— Завтра мы дадим вам направление на рабфак.

Недалеко от ЦК возвышались башни Кремля. Смутный перечень исторических дат и событий вставал передо мной. Под старой стеной я остановилась. Величие и простота революции уже отразились на спокойной широкой площади. Красный флаг языком пламени вздрагивал над Кремлем.

Долго ходила я по тихому городу. Приглянулись мне зеленые московские переулки, неприятно поразили смрадные трущобы вокруг рынков. Здесь жизнь, будто невод, опутывала, мешала двигаться, дышать. Люди с мешками и рухлядью подходили ко мне, назойливо предлагая продать или обменять свой товар.

Мальчишка с лишаем на лбу навязывал прохожим самогон и плюш на штаны. Из темных дверей церкви вы-

ходили дряхлые старушки и торопливо исчезали в переулках. Шумели, жили напряженно-трудно фабричные окраины. Кое-где попадались пустые и темные заводские корпуса.

Только к вечеру решила я наконец разыскать Анну Павловну.

— Большевичка? — сразу же спросил меня Петр Петрович и добавил тотчас же с заискивающей улыбочкой: — Что же, я рад, не возражаю, все мы так или иначе взобрались на платформу советской власти.

Анна Павловна бережно вынимала из портфеля свой паек. Она гордилась тем, что служит. Я спросила о Кате.

— Катя пробралась за границу с иностранцем, спекулирующим бриллиантами,— сказала Анна Павловна, устало махнув рукой. — Ничего не вышло из девочки. Пустой оказался орешек, без ядрышка. Но зато — красотка.— И уже с гордостью подала мне фотографию холеной девушки с круглыми плечами и длинными локонами. Из-под меховой накидки выглядывало жемчужное колье, волосы придерживала диадема. — Одного боюсь — как бы не пошла по рукам, а впрочем,— она помолчала,— зачем девочке быть похожей на меня, пусть лучше унаследует от Пети его любвеобильное сердце. Великая любовь, верность, к чему это нам? Горе, одно только горе для женщины. Станешь рабой, вещью, нет, хуже того — мученицей... Желаю моей Катеньке яркой жизни и...

Анна Павловна не досказала, и я не спросила, чего еще желает она своей дочери.

От всех этих мыслей, от жалкого выражения глаз Анны Павловны и истерического ее голоса мне стало вдруг нестерпимо скучно.

Петр Петрович принес из кухни чугунок с кашей и поставил на стол. Развалившись в кресле, он принялся хвалиться передо мной своей должностью — юрисконсульта какого-то главка, уважением начальства, любовью сослуживцев.

— В этом нет ничего удивительного,— говорил он с деланным равнодушием. — Культурных людей мало осталось в России. Вот поневоле нас и обхаживают.

В противоположность Анне Павловне он не постарел и оставался даже по-своему элегантным.

— Москва, на нее нельзя роптать,— говорил он,— она, как и все города, доставшиеся революции в наследие от

капитализма, индивидуалистична. На каждом перекрестке, на каждом доме лежит печать холодной отчужденности, эгоистического безразличия.

— Или вражды,— осмелилась я присовокупить.

Но Петр Петрович не любил, когда ему мешали ораторствовать, он укоризненно скосил на меня глаза, и снова полилась его гладкая уверенная речь.

— Если в недалеком прошлом тонкие духи, изящные манеры и утонченная ложь в лайковых перчатках и фраках прикрывали ржавые чувства и прокисшие мысли, то теперь обтрепанная и босая мелкобуржуазная Москва, сбитая с толку революцией, помешавшаяся на пайках, теперь Москва, на первый взгляд, являет даже гнусный вид. Прошу, пожалуйста, для подтверждения пойти на Сухаревку,— не правда ли, какая колоритная картина мелкобуржуазной растерянности и путаницы.

— Но вы забыли про рабочую, про революционную Москву! — перебила я его.

Петр Петрович презрительно повел плечами и демонстративно вернулся к тарелке с кашей, к вящей радости Анны Павловны.

— Ах, ешьте скорее, каша остыла, я ведь с таким трудом добыла лук для приправы к пшену,— просила она.

Но Петр Петрович заразил меня своим приподнятым красноречием.

— На окраинах, в горнах кузниц, в цехах — вот где создается новая мысль, куется воля, вот где встают валы энергии, вот где истинное созидание! — провозгласила я.

— Недурно говоришь,— оставив кашу, заметил Петр Петрович. Он напряженно ловил и повторял мои слова. — В горнах кузниц, в цехах, так, так, звучно, ловко...

И вдруг я поняла основное в характере Петра Петровича — несамостоятельность мышления. Так вот почему он непрерывно менял убеждения, почему с такой легкостью приспосабливался к обстоятельствам. Иногда даже искренне, но разве в этом может быть оправдание.

— Недурно сказала, весьма удачно... значит, выходит, что новая мысль, воля и энергия пролетариата через трансмиссии вливаются в станки, тихое и упрямое жужжание которых громче, нежели пушки, твердит миру, что лучшие цветы земного шара соберем мы, граждане Советской страны, на пиру победы. Аккордами счастья мы

заглушим печаль утрат, воспоминания о кровавых битвах... Так, так. Отлично получается.

— Ну, это уж слишком напыщенно,— не выдержала я.

Анна Павловна насупилась. Петр Петрович покраснел от обиды.

— Ужасно,— сказал он, вставая из-за стола,— что большевики не любят истинного красноречия. Греки, римляне, даже французы ценили красивые обороты. Такой оратор, как...

— Не упоминайте Мирабо, прошу вас! — попросила я, памятуя о прежних увлечениях моего собеседника.

— Мирабо? Продажный соглашатель, ренегат, монархист! — воскликнул Петр Петрович.

Во время нашей беседы Анна Павловна оставалась молчаливым слушателем. Сказать ей было все равно нечего. Мысли мужа давно не вызывали у нее возражений. Более того, они казались ей неоспоримыми, меткими, прекрасными. Слова Петра Петровича проникали в послушное, обожающее его сердце, оглушали, как откровение.

— Как хорошо ты сказал, Петя: «Аккордами счастья заглушим печаль утрат»,— прошептала она.

В первую ночь после моего приезда, как и обычно, Анна Павловна не могла уснуть до возвращения мужа. Я рассказала ей, как умер дедушка. Анна Павловна поплакала не больше, чем полагалось. Все ее чувства давно сосредоточились на одном человеке. Сердечных резервов больше не оставалось.

Разговаривая со мной, она напряженно вслушивалась, не раздадутся ли шаги на лестнице. Сердцебиение, начавшееся у нее, когда послышался шум от возни с ключом, застрявшим в замке, возвестило ей о приходе мужа.

Петр Петрович вошел в комнату, громко насвистывая. Сначала он долго разбирал портфель, потом так же не торопясь ел. Потом с утомительной тщательностью принялся развешивать гимнастерку и брюки, вложил в сапоги колодки, и все это, не переставая говорить. Его ровная книжная речь действовала удручающе. Я готова была захныкать, а Петр Петрович, занятый только собой, все говорил, говорил...

Наконец он разделся и улегся на диване. Заснула и Анна Павловна.

Смущение и тоска овладели мной. Тихонько я соскочила с кровати и открыла мою корзинку. Потрогала мандаты, браунинг, кожаные брюки. Увы, здесь мандаты потеряли свою силу, браунинг был не нужен, а брюки... Придется ли их надевать еще когда-нибудь? На московских улицах девушки не ходят в кожаных брюках.

Долго я не могла побороть бессонницу, все прислушивалась, не раздастся ли выстрел, не проскачет ли за окнами верховой с пакетом.

А утром я ушла от Анны Павловны в рабфаковское общежитие. Предстояло сызнова включаться в какую-то новую жизнь. Минувшие годы были лишь подступами. Это я теперь поняла.

## РАБФАК

На рабфаке на экзамене пожилой учитель в бархатной толстовке задал мне сложную арифметическую задачу. Я принялась переписывать и переставлять цифры, не находя решения.

Неудачи ждали меня и дальше. Я провалилась по всем предметам. Путалась в диктовке, позабыла правила грамматики.

Учитель в толстовке сокрушался и недоумевал.

— Не волнуйтесь, подумайте,— уговаривал он меня, точно я могла вспомнить то, чего вовсе не знала.

Это был странный день. Я провела его совершенно одна, бродя между университетскими зданиями. Вся моя жизнь, все прожитые годы лежали передо мной обозримые и простые. И не с кем было посоветоваться. Не было дедушки. Ольга находилась далеко.

А мысли были невеселые. До сих пор я думала, что все уже постигла, ко всему подготовлена. Прочтенные книги и случайные знания придавали моим речам и мыслям видимость глубины. Я сама обманулась, сама сочла себя не тем, чем была на самом деле.

Такой ли я клялась себе быть в тот день, когда получала партийный билет? Не уйти ли с рабфака, подальше от учителей — свидетелей моего невежества, моих глупых претензий, на которые я не имела права. Как быть? Бежать... или спрятать в карман былую самоуверенность, превратиться в добросовестную скромную ученицу, как

сотни других девушек, отрывающихся ежедневно от станка для книг. Почему я вообразила себя лучшей, нежели они? Не потому ли, что их учили грамоте в церковноприходских школах и детьми гнали на фабрики, а меня посылали в прогрессивные гимназии за сто двадцать рублей в год. Они знали мало, мало знаю и я. Тем лучше! Мы вместе идем за партией, мы вместе одолеем науку...

Много мыслей пронеслось в моем мозгу в эти одинокие часы. Нелегко было преодолеть стыд перед тем, что скажет Валерьян, узнав о моей малограмотности.

Проверяя свои знания, я натыкалась на одни только незаполненные листки. Например, Маркс, Энгельс — как мало я о них знаю.

Митинговые речи и популярные лекции, с которыми я выступала в армии, были поверхностны, словно те брошюры, о которых Василий Иванович говорил: «Ветер какой-то».

С безжалостностью разоблачала я себя.

Было уже поздно, а я еще сидела в рабфаковской столовой. Подавальщицы кончали убирать со столов и выжидательно посматривали в мою сторону.

— Будто пьяная, сидит и ни слова,— сказала одна из них громко.

Мне стало весело. Я и впрямь была пьяна от мыслей о прошлом и будущем.

Вышла из здания рабфака и пошла по чужой мне Москве. Поднялась по Тверской. Остановилась у окна РОСТА, где вывешивались последние «Известия».

Двадцать восьмого августа 1920 года под Варшавой шли упорные бои. Рабочие Петрограда отправлялись на фронт в помощь Красной Армии.

Мучительно захотелось прочь отсюда, снова на фронт... С трудом усмирив себя, пошла дальше.

У Театра революционной сатиры — «Теревсата» — толпился народ. Шла «Тройка». На афише Колчак, Юденич, Деникин тащили колымагу Антанты, которую сзади подталкивали вожди II Интернационала. Билетов в кассе не оказалось. Спектакль был продан одному из заводов. На углу Страстной площади на бульваре стояли деревянные футуристические грубо размалеванные красной и синей краской «скульптуры» в виде треугольников, шаров и кубов на квадратных постаментах. Дождь смыл с них краску. Так и не поняв замысла их создателей,

я уселась на скамейку возле старушки в полинялой пелеринке. Нагнувшись ко мне, она сказала зловеще:

— Царство большевиков ненадолго, об их пришествии еще ведь в Апокалипсисе сказано. Скоро конец!

Из расположенного напротив Страстного монастыря вышли две монашки и дюжий поп в рясе с засаленным подолом. Перешептываясь и смеясь, монашки исчезли в переулке. Посидев, и я пошла, гонимая голодом, вниз к «Кафе поэтов», на углу Камергерского переулка, где можно было купить пирожное из моркови и даже стакан жиденького варенца.

Темнело. В низкой грязной комнате было многолюдно. Начинался вечер импровизации. Буфет сегодня не открывали, и надежды мои рухнули.

Присев на деревянный венский стул, голодная, оробевшая, но полная преклонения, смотрела я на маленькие подмостки. За столом несколько поэтов в изрядно поношенных толстовках и гимнастерках торопливо записывали темы для импровизации, предложенные из зала.

— Хлебников, Шершеневич, Мариенгоф,— прошептала мне сидевшая рядом девушка, с бледным лицом, пунцовыми губами и черными, будто лаком покрытыми волосами.

— Вы тоже поэтесса? — замирая от волнения, спросила я, вспомнив, что и я когда-то писала стихи.

Девушка повела широкими блестящими черными бровями и ответила небрежно:

— Да, я акмеистка.

Так и не поняв, что это значит, я молча прослушала импровизации, загадочные, как деревянные фигуры на Страстном бульваре, и вышла на тихую улицу. Рядом с университетом высился знакомый дом ЦК партии. Во всех окнах горел свет, двигались тени-люди. А напротив в кирпичной короне возвышалась кремлевская башня.

Так начались для меня иные, новые будни. И я сама подытожила наконец свои успехи и неудачи.

Браунинг, мандаты, карточки деда и Павла были уложены с почетом на дно корзинки. На них легли тетрадки, которые я неистово исписывала, готовясь к занятиям...

Жила я в общежитии рабфака, находившемся на одной из дальних московских улиц. Многоэтажный наш дом стоял среди низких барских особняков.

Приближалась зима. Выпал первый осенний снег. Бе-

лые ворсистые заплаты прикрыли ветхость старых домов, убогость ржавых оград, сгладили рябую поверхность мостовых.

Своеобразна была старая Москва, город косых переулков, пустырей-площадей. Все вместе похоже на помещичье имение, вокруг которого приютились крепостные деревеньки-окраины. Но снегопад приукрашивает строения, и зимой становится по особому красивым этот древний неповторимый город.

Я часто отрываюсь от книг и подхожу к окну — очень уж необычно зрелище за стеклом. Десятки разноцветных блестящих церковных макушек над серыми деревьями, покатые снежные крыши и над ними — дым, медленно ползущий, плотный. И город вокруг розовый, светлый.

Революция еще не коснулась домов, не снесла заборов. Особнячки по-прежнему стоят за оградами — непрочным символом собственности. И, глядя сверху на соседние дворы, я легко представляю себе, где была конюшня, где псарня, где ютилась дворня, стояли беседки, шумели вековые деревья. Стараюсь представить себе иную, новую Москву и не могу, заблудившись в этой чаще отслуживших строений и узких проходов.

Нас восемь девушек в комнате. Утром мы гурьбой отправляемся мыться. Очень холодно в кухне, пол как лед. Мы прыгаем, разминаемся, приседаем, колотим друг друга. День начинается смехом, потасовкой и шутками. Потом, сидя на своих койках — в комнате всего два стула,— мы пьем чай, принесенный снизу, из столовой. Одна читает в это время вслух газету.

Мои мысли прикованы к югу. Письма Ольги вызывают лишь досаду. Она разжигает интерес и, не удовлетворив его, обрывает рассказ, кончая обещанием досказать все в следующем письме.

«Я не мастерица писать, не сердись на меня. Перед сном,— а бывает иногда, что удается прикорнуть только на рассвете,— я обязательно думаю о тебе: где ты, какая теперь, чем живешь? Жду тебя к лету не дождусь. Помнишь, как мы мечтали вместе пожить в Крыму? Теперь это осуществимо. Да, забыла о самом главном. Помер Семен. В теплушке, во время переезда. Жаль парня, не дождался ни Крыма, ни международной революции. Осталась после него неподписанная инструкция о работе клубов. Вчера похоронили. Товарищ Рейс сказала замеча-

тельную речь на его могиле, наши салютовали. Как ты думаешь насчет того, чтобы Крым превратить в здравницу? Пошлем туда рабочих, крестьян со всех концов РСФСР. У меня на этот счет превеликие планы. Приедешь — расскажу. Ольга».

Фекла Ивановна в своих письмах ограничивается пожеланиями удачи и поцелуями. Только Василий Иванович, начинающий всякое послание обязательным призывом «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», не скупится на слова и не торопится с рассказом. От него я знаю, что клуб наш существует, что удается даже с одним составом слушателей проводить беседы и по партийной программе, и о текущем моменте.

«Читаем с охотой Демьяна Бедного, а классики, да простит меня бывший бог, все-таки дохлое дело. Да здравствует всемирная революция! Твой верный товарищ Василий Лапов».

Я берегу эти письма, выучиваю их наизусть. Они лежат у меня в корзинке в больших серых конвертах, перевязанные ленточками с пометками, указывающими год и имя писавшего.

Для писем Валерьяна я завела отдельную деревянную коробку с унылым осенним пейзажем. Прежде чем положить туда очередное письмо, я подолгу, терпеливо перечитывала его, следуя за мятущимися мыслями своего друга. Увы, письма не делали нас ближе.

Он писал, в сущности, для самого себя, бессознательно уверенный, что нужное, интересующее его так же важно и адресату. Даже почерк свидетельствовал о непостоянстве и себялюбии.

Тщетно просила я Валерьяна сообщать каждую мелочь. Его письма были чаще всего не связаны ни с временем, ни с местом.

«Милая, я хотел бы, чтобы звонкой радостью прозвучали слова мои. Я хочу, чтоб и ты была веселой! Мы молоды. В серых сумерках я сижу одиноко и слушаю, как галки спорят за окном. Тихо плачет душа... Милая, я люблю тебя, и образ твой в бою и на отдыхе всегда со мной. Помнишь ли, ждешь ли? Истосковалась душа...»

Рабфак был переполнен, и наш курс иногда занимался на холодной лестничной площадке; учились мы, сидя в полурасстегнутых полушубках, в валенках и шапках. И, однако, никто не роптал и не ленился.

Много сил и энергии отнимала у нас учеба. Я видела, с каким героическим напряжением работали мои товарищи, еще вчера не знавшие грамоты. Девушка-зырянка, жившая в одной со мной комнате, только год тому назад впервые вышла на станцию железной дороги. И первый увиденный в жизни поезд, испугавший ее своим таинственным гулом, отвез ее из области Коми-Зырян в Москву учиться.

Я видела жадные, воспаленные глаза моих товарищей, склонившихся над учебниками физики, над чертежами.

Революция дала им жизнь и открыла все тайны мира.

Но простор этот был так велик, что требовал умения дышать и не задыхаться, умения видеть, слышать, понимать, не теряясь в этой стихии красок, звуков, чувств и мыслей.

Я видела молодых и старых людей, сидевших в аудиториях рабфака с той особенной улыбкой, которую я ранее подмечала на лицах победителей, вступающих на отвоеванную землю.

Иногда я улавливала в их глазах беспокойство и без труда отгадывала его причину.

«Пойму ли, выучусь ли? — думал каждый из нас. — Трудно!»

Случалось, мы метались по коридорам, мучительно старались дать себе отчет в только что узнанном, случалось, до боли кусали губы, не находя ответа на вопрос преподавателя, готовые плакать от бессилия.

Взрослыми, сознательными людьми мы впервые узнавали то, что, не задумываясь, воспринимает в школе ребенок. Каждый день готовил нам новые запоздалые открытия.

На ужин сторож Трофим выдавал нам воблу и хлеб. С этим скудным пайком мы возвращались в нетопленные аудитории, чтоб слушать монологи Кориолана и Шейлока, теорию прибавочной стоимости, историю русских фабрик, доклад о международном положении. Это были «сверхурочные» занятия.

Проводя дни на лекциях и в общежитии, я почти не видела Москвы и все реже вспоминала армию.

Прошло четыре месяца. Меня перевели на второй курс. Я написала Ольге: «Кое-что сделала, но как еще мало!»

## ПЕРВОЕ РАЗОЧАРОВАНИЕ

Однажды нежданно на пороге нашей комнаты в общежитии появился Валерьян. Он показался мне еще более красивым и статным, чем прежде. Военная форма, кобура револьвера, даже шевровые сапоги — все было на нем новое, праздничное.

Я подметила впечатление, произведенное им на моих подруг, уловила не без ревнивого раздражения внезапный блеск их глаз, торопливое прихорашивание. Мне стало досадно оттого, что он так мужествен, так привлекателен. Не слишком ли? Во мне боролись два чувства — раздражение и тщеславие.

Накануне я впервые за многие месяцы надела вместо сапог ботинки. Они были черные, матерчатые, с кожаными носками и задниками. Весь день я чувствовала небывалую легкость. Хромовые сапоги, эти неуклюжие, мрачные уродцы, казавшиеся мне когда-то пределом красоты, выглядывали из-под кровати. И хотя я радовалась женственной своей обуви, все же смутная надежда на то, что сапоги мне еще понадобятся, не умирала во мне.

Валерьян привез мне в подарок суконный шлем, флакон духов в атласном футляре, мешочек изюму и немного ржаной муки.

Я испекла сладкие лепешки, и наша комната стала готовиться к пиру.

Только вечером в театре нам с Валерьяном удалось наконец остаться одним.

Мы просидели весь вечер в уголке фойе, на диване, Валерьян говорил о своей любви все более требовательно. Я была счастлива, но вдруг он стал зло высмеивать некогда заключенный нами сердечный договор.

Я насторожилась.

— Довольно,— говорил он, стискивая мою руку.— Мы не дети. Ты обрекла себя на бесцельную муку. Мы разыгрываем какую-то глупую мещанскую пьесу. Сколько времени ждать? Год, два? Ответь мне — ради чего? Я люблю тебя и больше не в силах, не желаю быть один, ты толкаешь меня к другим женщинам.

Сердце мое забилось.

— Ты хитришь, все это выдумки, уловки,— продолжал Валерьян.— Любовь и рассудочность несовместимы. Решай...

Я молчала. Что тут скажешь? В детстве подобное чувство пустоты и тяжести овладевало мною, когда разбивалась любимая кукла и становились видны находившиеся внутри уродливые перекладинки и два глаза на шарнирчиках. Жалко становилось и потому, что нет больше куклы, и потому, что она оказывалась пустой, неожиданно безобразной.

Валерьян продолжал, жестикулируя одной рукой и отбрасывая резким движением щек кудри, падающие на лоб:

— Да, да, решай. Я бросил все и приехал к тебе, чтобы требовать ответа. Да или нет? В конце концов, я не монах и мне не трудно найти другую женщину.

Он ненатурально вздохнул.

— Что же делать? Похороню чувство к тебе на дне души.

Спектакль кончился. Зрители хлынули из зала.

Мне хотелось горько плакать от разочарования и обиды. Ничего не сказав, я встала, и мы вышли из театра на улицу.

— Мой девиз: все или ничего... — снова заговорил Валерьян.

— Тогда — ничего! И довольно об этом,— крикнула я с неожиданной для себя силой. — Довольно! Те, кто любят, умеют ждать. Любовь и верность неотделимы.

— Напыщенная фразеология,— отрезал Валерьян.

Мы посмотрели друг на друга, будто впервые увидевшись.

— Ты ищешь какого-то карточного героя. Таких на свете не водится,— продолжал Валерьян.

— Я хочу настоящего, верного чувства. А пока работа, книги и ледяной душ ликвидируют эту любовную драму,— добавила я вызывающе, повторяя где-то вычитанные или слышанные слова, популярные в нашем общежитии.

Мы остановились у рабфаковского общежития. Валерьян робко взял мою руку.

— Я все-таки люблю тебя, и ты меня еще любишь. Сразу ведь чувство не вырвешь из сердца. Давай не будем загадывать.

— Ладно,— прошептала я, чувствуя, что отношения непоправимо испорчены.

Мы распростились, глядя в разные стороны. Через два дня Валерьян уехал в Киев. С дороги в письме он просил забыть нашу размолвку и обещал быть мне верным.

А через несколько дней в рабфак во время перерыва зашла Анна Павловна.

— Ушел! — сказала она, не подав мне руки.

Я сразу поняла, о ком идет речь, и попыталась найти слова утешения. Мы вышли в университетский дворик.

— Что она хочет от моего мужа, бессовестная? — продолжала Анна Павловна. — Как осмелилась она ворваться в чужую жизнь. Разве она его любит так, как я? Сколько измен я простила, сколько плакала потихонечку в уголке, чтоб он не видел, не раздражался. Вот она, благодарность на старости лет! Какой нестерпимый позор! Что скажут люди?

Анна Павловна не хотела слушать моих возражений.

— И знаешь, это женщины во всем виноваты, а не он. Они его сами обхаживают. Ну, послушай только, что пишет ему какая-то дурочка — я перехватила ее письмо. «Вы мощный дуб, у вас сапфировые глаза!..» Но эта, теперешняя, она-то хитрая! Зачем он ей? Я пойду к ней и скажу всю правду: поверьте мне, старухе, скажу я,— он ведь вас бросит. Я ведь его избаловала... А вы...

Анна Павловна громко заплакала. Я побежала раздобывать валериановых капель в аптечке у сторожа. Прохожие с состраданием посматривали на пожилую женщину, безутешно рыдающую на скамье.

«Кто судья человеческому сердцу? — думала я. — Ну, можно ли жить так, как жили Петр Петрович и Анна Павловна?» Я вспомнила наше детство, частые сцены, вранье.

— Послушайте, тетя Аня,— я нарочно снова назвала ее, как когда-то в детстве. — Не приходила ли вам в голову простая мысль, что жить можно не только для единственного обожаемого человека, а для многих людей? Вы ведь были так несчастны. Не чувствовали вы хоть когда-нибудь, что заслоняет вам свет? Попробуйте жить без подпорок, стать на ноги.

— Но он ведь может заболеть, погибнуть из-за этой девчонки!

Решительно Анна Павловна была не в состоянии понять меня. Советы здесь были излишни.

— Ну, а если бы Петр Петрович умер, тетя Аня, что было бы с вами?

— Не знаю. Тогда я не была бы брошенной женой, покинутой ради другой. Я стала бы его вдовой, мне не было бы стыдно перед людьми.

Мы расстались с Анной Павловной еще более чужими друг другу, чем всегда.

Может быть, наивно, но искренне и горячо подумала я в тот день о женщинах, окружающих меня. О женщинах, что, склонившись над чертежами и микроскопами, всходя на трибуны, строя и созидая, именно этим путем победили неравенство.

## ВОСЕМЬ ДЕВУШЕК

Однажды зимним утром я готовилась к зачетам.

Нелегко давались мне занятия. Уставала я иногда до слез, но отступать не хотела. К ночи голова становилась тяжелой.

Передо мной лежала книжка о философии Гегеля. В паническом страхе я погружалась в рассуждения о том, что «идеально»-диалектический процесс как таковой содержит не идеально-смысловые противоречия, но реально-смысловые противоположности и различия.

Ох, как трудно это было понять! Отрываясь от книги в изнеможении, я гляжу на город, на звезды вверху. Как в детстве, жизнь представляется мне полчищем вопросов.

Все восемь девушек, живущих со мной в нашей комнате, мечтают о том, чтобы кончить рабфак, быть может, даже университет. Все мы готовимся к своему будущему, как солдаты к битве, к победе. Но мы не только учимся до одури, но и пляшем до упаду, и поем хором до хрипоты, и дурачимся, как озорные мальчуганы.

Самой веселой считается среди нас Тоня — бывшая горничная. Она умна, смешлива, разговорчива. Иногда она рассказывает нам о нравах и быте своих бывших хозяев, о праздных женщинах, щедрых пьяницах и картежниках, о сложных любовных перипетиях и тяжбах из-за наследства — словом, обо всем, что узнала, переходя из дома в дом, прислуживая, исполняя хозяйские капризы. Приветливая, круглолицая, миловидная и добродушная, она, судя по всему, легко становилась наперсницей

купеческих содержанок и опечаленных, грубо обманутых жен. Кутилы и проказливые наследники богатых отцов пытались соблазнить ее чаевыми и обещаниями, подстерегая в темных прихожих. Она хитро ускользала от их домогательств и проникалась глубоким презрением ко всему, чему являлась невольным свидетелем.

У Тони был природный дар актрисы, и мы пророчили ей успех в театре. Случалось, после ее мимических представлений кто-нибудь из нас спрашивал: «Тонька, зачем ты пошла на рабфак?»

Она отвечала не задумываясь, но всегда с глубокой серьезностью, что с малолетства ее тянуло учиться, и рассказывала, как, стоя перед господами и чувствуя себя невежественной и глупой, она думала про себя: «Погодите, может, и я ученой буду, вы, поди, тоже голыми родились!»

— Сватались ко мне лакей, кучер, лавочник, но я в замужестве не видела интереса. Муж потребует: и обед сготовь и за ребенком присмотри, а для меня нет в этом удовольствия. Да и какой хороший мужчина взял бы меня, дуру малограмотную?

Однажды, смущаясь и упрашивая не судить ее строго, она показала нам свои рисунки. Неумелые, робкие, они, однако, поражали какой-то мыслью, особым, одной Тоне свойственным, своеволием. И девушка, которую мы считали такой самоуверенной, краснея до слез и запинаясь, призналась, что хочет быть живописцем.

Мы жили вместе — восемь девушек, восемь разных характеров и биографий. Были среди нас девушки, впервые взявшие книгу в руки, привыкшие к своему станку. Их детство так разнилось от моего. В нем тоже были свои печали, свои беды и горести. Но эти девушки родились родными детьми революции, а я, как мне казалось, подкидышем. Правда, будь у меня своя семья, как знать, не стала ли бы я тем, чем стала Катя. И я радовалась своему сиротству.

Все мы мечтали о приобретении профессии. Я хотела, подготовясь, уйти на партийную работу, Тоня всему предпочитала живопись. Были среди нас будущие агрономы, инженеры, врачи. И только одна из девушек — Зина — стремилась неизвестно к чему. Мы никогда ни о чем не спрашивали ее, щадили, оберегали. Есть люди, как бы пришибленные тяжелым прошлым. Зина казалась нам

такой, еще не отогретой, страдающей, болезненно недоверчивой, обидчивой.

Ранней весной тысяча девятьсот двадцать первого года общежитие разбудила тревога. В Кронштадте начался мятеж.

Накинув шинели, мы сбежали вниз, присоединились к толпе студентов и в строю двинулись к штабу войск особого назначения. По дороге Зина сказала мне своим сиплым негромким голосом:

— Чего таиться? Вы все, разве я не вижу, жалеете вы меня. Думаете, чего доброго, Зинка — пропащая. И зря. Что была пропащая — это правда, а теперь меня нечего жалеть. Я себя нашла, я сильная и еще не старая. Мне всего двадцать шесть. И не годы меня измучили, годов мне мало. Разве виноват кто, что мать родила меня в публичном доме? Все было, через все пробивалась. Я и по сей день желтый билет берегу. Понимаешь теперь, что для меня революция?

Долго говорила Зина о том, как в октябре сражалась в Питере за Советы, как словно родилась она тогда заново. Была она, оказывается, и на фронте.

— Не умею всего сказать, только я за новую жизнь драться буду, я этого ввек не забуду. — Зина грозно сжала винтовку.

Всю ночь до утра в боевой готовности ждали мы приказа о выступлении.

Мысли были тревожные. Неужели враг настолько силен, что революции грозит опасность? Каждый из нас мечтал в эту ночь быть под Кронштадтом. Но отобрали только немногих.

В тягостном раздумье сидела я в штабе ЧОНа[1] и размышляла о прошлом. Величественная и печальная, окутанная траурным крепом, вставала передо мною Парижская коммуна. Палач Тьер топтал восставший Париж, но никто из коммунаров не просил о пощаде.

На кладбище Пер-Лашез, читала я где-то, есть стена смерти. Если бы время не уничтожило на ней следы крови, она стекала бы и сейчас, так много ее было пролито. Прошли десятилетия. Баррикады 1905 года, виселицы Петропавловской крепости, страшные казематы Александровского централа.

---

[1] ЧОН — Части особого назначения.

Ужас и гнев поднимались в моем сердце. Нет! К прошлому не должно быть возврата!

Задумавшись, я не заметила, как на глазах у меня появились слезы. Вытерла их кончиком красной косынки и оглянулась вокруг. Было стыдно и слез и подкравшихся неизвестно откуда сомнений. Внезапно вызвали сидевшую неподалеку Зину.

— Прощайте, скоро вернусь,— крикнула она, уже стоя на грузовике, и, сорвав красный платок с головы, взмахнула им в воздухе.

Нас осталось семеро в нашей комнате.

По-прежнему гурьбой мы ходили учиться, а в нечастые досуги зазывали из соседних комнат товарищей и подруг и пели или спорили до полуночи. О чем только мы не тревожились, чего не обсуждали!

Десятый съезд партии. Время было сложное. Страна переходила от войны к миру. Мы впервые столкнулись с противоречиями внутри партии и негодовали против тех, кто посмел осложнить ее работу в трудные дни государства.

Мы сзывали к себе всех жильцов квартиры. Их было пятьдесят человек — в общежитии, большом и когда-то нарядном доме, маленьких квартир не водилось.

Тоня — наш комсомольский секретарь — ежевечерне ораторствовала от имени всей нашей комнаты.

Заботы страны и партии были всегда первыми нашими заботами. Слова Ленина звучали для нас непререкаемой истиной. Мы читали вслух первый том «Капитала», упорно стремясь понять его смысл.

«Одолеем ли?» — беспокоились мы, когда переставали понимать то, что читали. Убежденность в непререкаемости марксистского учения внушала нам незыблемую веру в непогрешимость линии партии. И, поднимая руку на партийном собрании за «Платформу десяти», я знала, что поступаю правильно. Где Ленин — там истина, в это мы верили все.

Шли дни. Восстание было подавлено. Нетерпеливо поджидали мы Зину. Но она не вернулась, погибла на льду залива.

В Зининых вещах мы нашли страшный билет проститутки, и я сохранила его на память о великом горе и обиде, которая подстерегала когда-то женщину.

Мы очень ценили наше время. Боялись растратить хотя бы минуты и все же были неизменными посетителями всяческих лекций и литературных диспутов.

С одинаковой страстностью искали мы причины поражения венгерской революции и объяснения биологических загадок. Спорили громко и горячо о происхождении Земли и преимуществах Пролеткульта перед Художественным театром. Постановка «Дочери мадам Анго» сильно ослабила позиции наших левых театралов.

Для беспокойного поэта
Мало веселого, шумного света... —

пели то в одной, то в другой комнате. С этажа на этаж перекидывались мотивы. Мы записывали и зубрили слова арий.

Дочь мадам Анго
Все вы вначале, видно, не знали,
Но мадам Анго, видите сами,
Снова пред вами,—

подбоченившись и взобравшись на стол, распевала Тоня.

В Политехническом музее, замерзшие до дрожи, мы слушали оглушительные, как елочные хлопушки, выступления футуристов. Нам нравились эти схватки, но в памяти от них оставалось не больше, чем от дуровских утренников в цирке.

Дни, проносящиеся в напряженном труде, в юношеских забавах и страстных беседах, омрачались для меня неурядицами сердца. Валерьян настойчиво звал к себе. Письма его, какие-то больные, тревожили, отвлекали от дела, мешали жить.

«Пиши побольше о делах, пиши о том, чем живешь ты и твои товарищи, а о любви покуда помолчим»,— писала я ему.

«Приезжай,— настаивал Валерьян. — Крым чудесен. Возле Бахчисарая я увидел нежданно-негаданно наши российские березки. Совсем обезумел от радости. Остановил коня и долго смотрел. Вечерело. На прощанье солнце поцеловало вершинки деревьев. Никто не видел, только я, а они покраснели. И долго, долго, до тех пор, пока в небе не появились звезды, все трепетали смущенно зелеными веточками. Ты просишь писать не о любви. Что мне сказать? Война кончилась. А я по натуре воин. Мне битвы нужны. Пусто стало, скучно. Как жить? Сам

не знаю. Научи! Ты кажешься мне иногда сильной. С тобой нелегко. И я иногда ненавижу тебя за это, но и люблю. Вот и разберись-ка тут. Зачем ты не стала сразу моей женой? Я хотел твоей любви, любви женщины. А ты твердишь, что нельзя мешать друг другу расти и жить. Не могу понять, чего же ты хочешь? Тебе уже восемнадцать лет!»

Читая это письмо, я вспоминала все, что было у нас и чего не было, и горевала не о Валерьяне, а о себе да еще о Павле. Таким цельным, простым и сильным казался мне тот мертвый по сравнению с этим живым. Чувствовала, как далека я от Валерьяна. Хотелось полюбить его, но не получалось. Веры не было, и, думая о нем, я сама должна была во всем разбираться.

«Ошиблась в нем ли, в себе ли... Не дешево платишь, видно, за опыт, за знанье людей. Найду ли я такого, который будет мне и мужем, и братом, и отцом, и товарищем? И бывает ли это?» — думала я.

С весны, с теплым ветром зачастили к нам ребята из соседних комнат. Тянуло на воздух. И, отложив книги, мы уходили на окраины, в парки встречать рассвет.

Город вдали просыпался медленно, и мы принимались фантазировать, указывая на пустыри и глухие тупички московских предместий.

— Пройдут годы,—провозглашал кто-нибудь из нас,— и автомобили заполнят асфальтированные мостовые. Мы воздвигнем здания и дворцы, каких не видел мир, электрическими огнями осветим каждый уголок города. Все станет таким прекрасным, что жаль будет отдать темноте хотя бы один камень.

Кое-кто смеялся. Начинались споры.

Но фантазеры не унимались:

— Под землей побегут поезда, над землей паутиной растянутся воздушные дороги. Розы зацветут вдоль набережных, а по Москве-реке, широкой и светлой, поплывут яхты и пароходы... У каждого из нас будет домик, светлый, легкий, поворачивающийся вслед за солнцем. Послушный человеческой воле, он сможет подниматься в воздух, скользить по воде. Внутри одна из стен будет экраном. Все зрелища, все происшествия, где бы они ни случались, будет отражать чудодейственное полотно. Слушайте, смотрите! Я нажимаю кнопку, и через серебряные трубы врывается в дом симфония земли и неба.

Вот доносятся звуки карнавала с озера Чад. Черные люди танцуют на берегу под неистовый грохот тамтамов. Хотите знать, о чем говорит оратор сейчас на международном слете аэронавтов? Они собрались на Огненной Земле. Там теперь в разгаре зимний спортивный сезон. Делегаты с острова Таити не привыкли к низкой температуре, и решено согреть для них воздух. Но зачем мне тени жизни, а не сама жизнь? Я передвигаю рычаг, и раскрываются стальные крылья. Дом поднимается в воздух. Куда направить его? В Австралию. Завтра там собирается очередная сессия Центрального Исполнительного комитета великой Советской республики — Земли. На повестке: посылка делегации на Марс. Так куда же мы летим? В Австралию или Калькутту, на праздник белых слонов?

— А пока что, ребята, ходу на рабфак,— командовала наконец Тоня.

Однако мы унимались не сразу. Петя Золотарев, о котором у нас говорили, что он «далеко пойдет», становился в позу и, простирая руку к восходящему солнцу, заявлял:

— Что Огненная Земля? Детское путешествие. Сел да поехал. А ты вон туда нырни,— он показал рукой в небо. — Страшновато. Ну, а я полечу обязательно.

Целые ночи мы проводили без сна в подмосковном лесу вокруг костров и, усталые, под утро возвращались домой. Говорить не хотелось. Чтобы размяться и согреться, мы бежали наперегонки. Выстраивались парами и по команде ускоряли шаг. Сонливость проходила, сильнее билось сердце. Все было приятно, даже режущая боль под ложечкой, какая бывала в детстве при беге. Быстрее, быстрее. Однажды я обогнала всех и побежала вдоль леса. Казалось, что бегу совсем одна. И тем неожиданнее прозвучали рядом слова:

— Ты мне давно нравишься, Наталка! Черт знает как нравишься! Приходи сегодня ко мне, парней я выставлю из комнаты.

Это был Петя Золотарев. Я остановилась. Прелесть утра была нарушена. Уж очень некстати прозвучало это грубое приглашение. Нас догоняли товарищи.

Я знала Петю с первых дней учения на рабфаке. Мы сидели рядом. Он помогал мне иногда решать задачи по алгебре, мы вместе читали Шекспира.

Мало изменились люди. «Неторопливо расцветает цветок истории»,— вспоминались мне слова дедушки. Или у истории другое летосчисление?

Мы часто говорили об этом с Петей. Книги, которые он поглощал с катастрофической быстротой, и напряженное учение меняли его, как и всех нас. Пете наука давалась легко. Он шел первым в классе. Каждый предрекал ему будущность, которой хотел бы для себя. Объявляли его блестящим инженером-конструктором, профессором-экономистом, мужественным летчиком, полководцем, красноречивым вожаком масс.

Петя никогда не делился с нами своими намерениями. Он был скрытен и насмешлив. Мы выбирали его во все бюро, комиссии, на все студенческие конференции. Деятельный, одаренный и красноречивый, он был всеобщим любимцем и баловнем. Девушки гордились его вниманием.

Петя был мне по-братски, по-дружески дорог. Я тоже гордилась им.

Тем неожиданнее прозвучали в то утро его слова. Я знала женскую дружбу. Ее олицетворяла Ольга. Но бывает ли такая же дружба между мужчиной и женщиной?

Петя меня ждал с папиросой во рту у своей двери. В комнате никого не было. В ногах Петиной кровати валялись мандолина, учебник по геометрии, начатый чертеж.

Тускло светила лампочка под потолком. Петя взял мандолину и начал перебирать струны. Мы молчали. Исчезла обычная простота, понимание с полуслова, шутки, которые всегда находились у нас при встрече. Резко бросив мандолину, Петя неуклюже и решительно обнял меня.

— Хорошо, что пришла. Волновался я черт знает как. Сдурел, будто со мной никогда этого раньше не случалось.

Я осторожно отвела руку.

— Да ты не бойся, не укушу,— птичка какая нежная,— сказал он с неожиданной грубостью.

Трудно сказать, что обижало меня больше в его поведении — слова, жесты или гримаса, которой все это сопровождалось. Но я испугалась, как бы вдруг не расплакаться. И начала с несвойственной робостью что-то

рассказывать о себе, о нем, о дружбе, которую предлагаю.

— Дружба? — переспросил он удивленно и насмешливо. — Это что же — отговорка? Подаяньице? Дружба, скажите пожалуйста,— предприятие на паях. К черту! Вранье! Чего нам загадывать: если оба мы молоды и ни с кем не связаны, дружба обернется любовью. Я ведь правдиво к тебе подошел. Моя жизнь—далекое плаванье. Для любви у нас с тобой времени нет, а друзей и так довольно. Герцен пишет, я на днях читал, что, когда юноша и девушка читают вдвоем все, за исключением разве чистой математики, всегда это кончается поцелуями. А мы что, амебы вареные, что ли?

Он резко обнял меня. Оттолкнув его, я нечаянно расцарапала ему руку.

— Дура! — крикнул он, отпуская меня.

Никогда в жизни я не видела такого злого лица. Враг, а не друг был передо мной.

— Ты что же, издеваться надо мной явилась? Шутить? Я напрямик сказал, чего хочу. Думаешь, мы, парни, любим прикасаться к руке девушки потому, что она друг, товарищ по учению? Ну, а об остальном ты не думала?

Он вскочил и с силой отшвырнул попавшуюся под руки мандолину. Казалось, он не мог сдержать откуда-то нахлынувших слов.

— Пришла, чтоб прочесть мне ханжескую лекцию и потом этакой святошей уйти? Рассчитывала, что насилье слишком грубый акт, на который не пойдет сознательный парень. Ну, а о насилии, которое совершаешь ты, заигрывая с человеком, у которого голова кругом идет, ты не подумала? Да и вообще не верю я в «недоступность неприступных белых лилий». Кривлянье все это, мещанство!

Он закурил папиросу и принялся нервно шагать от окна к двери и обратно.

— Между мужчинами и женщинами дружбы не бывает. Ты это хотела от меня узнать? Что ж, я прямо говорю тебе это.

Впервые за все время я на другой день пропустила занятия. Слонялась по городу, не зная, куда себя девать. Зашла к Анне Павловне. Она обрадовалась, что может снова поворошить старое. Есть люди, которым приятен

вид собственных ран, приятно сознание перенесенной обиды.

Хнычущим голосом заговорила она о том, как жесток Петр Петрович.

Однообразные причитания и вздохи покинутой женщины погнали меня прочь. Я снова пошла бродить по московским улицам.

* * *

Однажды, в один из весенних дней, я зашла в магазин Мюра и Мерилиза. В сырых залах толкались скверно одетые люди. Грязные полы, ободранные стены, потемневшие потолки. Как угрюмо все это выглядело!

Внезапно кто-то окликнул меня. Оборачиваюсь — Варя, та самая Варя, которую мы с Ольгой некогда провожали из армии в Москву. Бросаемся друг другу в объятия. Все, что напоминает недавнее прошлое, все, что связано с армией, навеки дорого мне. И хотя нас толкают и бранят, мы упрямо стоим в проходе, всем мешая, и говорим, говорим без умолку. Наконец Варя уводит меня к себе. Она живет тут же, поблизости, в огромном доме, на самом верхном этаже, и Москва, которую я так люблю теперь, далеко видна из ее окна. Но тяжелая, чванливо-раздутая, ярко-желтая мебель (этот цвет мы называли в детстве «гоголь-моголевым») и ковры на стенах и на полу! Как может Варя двигаться среди такого множества вещей, как здесь дышать, думать? Молчу, однако, чтобы не обидеть Варю, силюсь понять, откуда у нее все это, зачем.

— Хорошо, правда? — говорит Варя. — Мебель из настоящей карельской березы, а ковры дивные, ширазские. Стоят уйму денег. А ты, бедненькая, все такой же оборвыш, как в армии. Нет, у нас в Москве женщина должна быть прежде всего женщиной. Я убедилась, что туалет для нас все. Плохую картину спасает рама. Словом, если бы тебя одеть, была бы дуся. А так, пройдешь мимо и не заметишь. Просто обидно!

— Для кого обидно? Я как-то плохо соображаю.

— Вообрази,— не отвечая мне, тараторила Варя,— у меня оказались незаурядные способности. Учусь в драматической школе. Амплуа — молодые девушки, такие,

знаешь, особые, мечтательные и в то же время опасные. Прежде они назывались инженю. Пришлось, вообрази, как это ни грустно, оставить для театра партию. Совместить нельзя. Либо сцена, либо общественное служение. Понимаешь?

Нет, я ничего не могла понять.

— Уйти из партии? — повторила я, растерянная, с трудом собираясь с мыслями. — Отчего же? Почему — партия или театр? Почему не то и другое? Где тут противоречие? Разве нельзя быть большим артистом и вместе с тем борцом? Не могу понять, не могу...

— Ты по-прежнему норовишь поучать. В тебе по-прежнему нет гибкости. Что ж одна живешь? Или рискнула согрешить?

Я не ответила. Варя, напевая, принялась хлопотать по-хозяйству. Достала котлеты, мармелад, булку. Вкусная еда вызвала во мне такой приступ голода, что на мгновение я позабыла обо всем. А Варя снова начала говорить, ставя передо мной тарелки:

— Ты не удивляйся. Это мой друг добывает, он такой чуткий, внимательный.

Пока я ела, Варя сидела подле меня, медленно затягивалась папиросой и рассказывала о том, кого называла другом.

— Он, правда, не молод, но для мужчины это иногда даже достоинство. Он столько видел и так умен... обо всем умеет рассказывать. Просто заслушаешься. У других мужчин ласкового слова не вытянешь, а этот совсем не такой.

Варя помолчала. Потом, подождав, пока я кончу есть, и усевшись так, чтобы видеть свое отражение в зеркале шкафа, предложила:

— Хочешь, я тебе почитаю?

Я согласилась. Мягкий диван, еда, усталость ослабили меня. Хотелось спать. Варя читала с придыханиями, с многозначительными паузами. Сквозь дремоту я еле слышала напыщенные стихотворные строки. Внезапно одна из них показалась мне ужасно смешной, и я не могла удержаться от смеха. Если бы Ольга слышала весь этот напыщенный вздор, если бы она видела Варю перед зеркалом в позе царицы Савской. Но Варя не на шутку рассердилась.

— Комсомольская дура,— закричала она с подлинной злостью.

Я не успела ответить. Легкий стук в дверь заставил меня замолчать.

— Знакомьтесь,— сказала Варя церемонно,— моя знакомая по армии, мой друг.

Я взглянула на вошедшего и невольно отступила. Передо мной стоял Петр Петрович.

* * *

Весной я окончила рабфак.

Седой учитель в толстовке, который был свидетелем моего провала на приемных испытаниях, протягивает мне свидетельство об окончании. Все мы, сегодня окончившие рабфак, стоим в темной канцелярии, молчаливые и торжественные, готовые мгновенно зашуметь и броситься друг другу на шею с поздравлениями и поцелуями.

Кто-то спрашивает нас, будем ли учиться дальше? Я задумываюсь. Мне сейчас на этот вопрос трудно ответить.

## В КРЫМ

Два дня, сидя в вагоне, я ждала отправления поезда из Москвы в Симферополь. Ни в одном расписании, впрочем, не значился день и час отправки. Да и были ли вообще тогда расписания поездов? Мы стояли на запасных путях, вдали от станции, среди товарных эшелонов.

Понурые, печальные, растянулись по обе стороны нашего поезда вереницы теплушек. Запомнился мне один дряхлый товарный вагон. Дырявое, обесцвеченное временем и непогодой дощатое рубище едва прикрывало полуразрушенный остов. Много тысяч пудов груза протащил он, вероятно, на своем веку. Не его ли я видела на фронте, у элеваторов Украины, подле шахт Донецкого бассейна? Не он ли подвозил армиям подкрепление, не он ли кормил и обогревал города? Железнодорожный ветеран, почтенный товарный вагон верно послужил эпохе.

Последние дни в общежитии прошли для меня грустно и горестно. Когда после встречи с Варей я вернулась

домой, мне сказали, что накануне Петя Золотарев напился. Это было небывалое происшествие. Уж очень строги и аскетичны были в ту пору наши воззрения и нравы. И вот теперь Петя уронил звание комсомольца и пролетарского студента. Все шесть комнат нашей общей квартиры собрались, чтобы выслушать его и осудить.

— На тебя смотрят, у тебя учатся другие! — сказал первый из выступавших. — Ты комсомолец, ты облечен доверием партии. И ты запятнал свой билет комсомольца! Мы тебе верили, Золотарев, но ты не выдержал пробы. Кто знает, каким еще проверкам подвергнет нас партия, какие бои ждут наших ребят в будущем?

Неожиданно Петя бессвязно и грубо обвинил в происшедшем меня, назвал хитрой и опасной притворщицей, якобы обольстившей его. От меня потребовали объяснений.

Я, как могла, рассказала о том, что произошло у нас с Петей.

— Подумаешь,— сказала одна из девушек. — Любовь, дружба. Все это фразы одни. По-моему, главное для нас — это учеба.

— Петька — рабочий парень, Петька талантлив,— заявила другая,— на Петьку рабфак возлагает большие надежды. Мы должны оберегать его. А так рассуждать и вести себя, как Наталка, может только буржуйка. Шутка сказать! Парень из-за любовной волокиты может свихнуться.

Не то крайняя усталость, не то уверенность в своей правоте сделали меня почти бесчувственной к этим словам. И только когда Тоня выступила в мою защиту, у меня стало покалывать сердце и едва не прорвались наружу слезы.

— Стыдитесь, товарищи,— сказала она под конец. — Утверждение, что сойтись с мужчиной для девушки так же легко, как выпить стакан воды, это не наша, не большевистская мораль. Стыдитесь!

Этим же укором начала и я свое выступление. Я говорила об истинной любви и о пошлости, облепляющей незаметно наше сознание липким, трудно отмываемым налетом, о том, что мы должны быть чисты и тверды не только в общественной, но и в личной жизни.

— Петя не любит меня, и я не люблю его. Почему же вы считаете, что между нами возможно сближение, которое

должно совершаться только тогда, когда люди любят друг друга?

Слова вырывались у меня торопливо, мысли лихорадочно путались. Но когда я кончила, не последовало ни одного вопроса. И только на другой день в коридоре нашей квартиры Петя подстерег меня и смущенно сказал:

— Не поминай меня лихом. А ты молодчага в общем и целом. Хочу тебе сказать: увидимся или нет, но я всегда тебе друг. Не сердись на меня.

А под вечер товарищи гурьбой проводили меня на вокзал.

Поезд отправился из Москвы ночью, так что я даже не заметила, как и когда. И только проснувшись, не увидела вокруг старых приятелей-теплушек. Ехали знакомыми мне дорогами. Мимо Орла, мимо Курска.

Два пулемета стояли у окна просторного купе, рядом лежали винтовки. За Лозовой белые банды нередко разбирали рельсы и грабили поезда. Поэтому все мы были вооружены и готовы к защите. Старательно чистя свой маленький браунинг, я почувствовала давно не испытанное возбуждение.

Когда наступила ночь, я прильнула к окну. Сыро, ненастно. Вдали мелькнул огонек. Исчез, вспыхнул опять. Не бандиты ли крадутся за холмом навстречу поезду? Мне чудятся голоса, лошадиный топот. Рванувшись, вздрогнув и тяжело лязгнув, поезд останавливается. Мы хватаемся за оружие и ждем. Но ночь тиха. Смолкла визжавшая на ходу горящая букса соседнего вагона. Мы прыгаем на влажную росистую траву. Трещат кузнечики. Какие-то люди лезут под вагон и начинают его ремонтировать. Мы перекликаемся очень громко, беспричинно смеемся. Волнение спадает.

Наконец, громыхая и отдуваясь, поезд снова пускается в путь. Светает. Мы расходимся по своим купе. Но уснуть нелегко. Мысли бегут и бегут. Каков-то теперь Валерьян? Меня захлестывает давно заглохшая тоска по нем. Может быть, теперь мы не расстанемся больше? Может быть, будет все, как когда-то обоим хотелось? Я крепко жмурю глаза. Из золотых глубин выходит давно забытый желтый верблюд и отправляется в путь. Я снова маленькая девочка и снова засыпаю в нашей с дедушкой комнате. Мне спокойно и тепло в моей постели. Верблюд

идет прямо к желтым разводам солнца на небе. Я иду за ним и, наконец, засыпаю.

Утром мы пересекаем узкую полоску Перекопа. Кое-где колючим шиповником со столбов свисает проволока. Симферополь близок.

Я в Крыму.

В партийном комитете, в столе личного состава, мы встретились с Василием Ивановичем и решили вместе ехать в Ялту. Он свободен. Книги нашего клуба сданы в местную красноармейскую читальню. Василий Иванович рассказывает о своем житье-бытье, и бороденка его вздрагивает.

— Сбрейте бороду, Василий Иванович, зачем вам этот веник? — робко прошу я.

— Нет уж, этого в уставе партии не требуется. Я насчет своего фасада допотоп. Допотопом и умру. А места здесь отвратительные,— переводит он дипломатически разговор на другое. — Куда ни плюнь — офицеры. Я их насобачился во всех туалетах распознавать. Землячка чистила, чистила, скребла, скребла, но их, как мух в августе, тьма-тьмущая.

— Выскребем,— заверяю я.

— Да уж постараемся.

Мы расстались до утра, когда со случайным грузовичком нам удалось выехать в Ялту.

При мне снова был мандат, на поясе, под кожаной тужуркой нараспашку, снова висел револьвер, и только в сапогах теперь не было никакой нужды.

«Комиссар санатория!» — вспоминала я, чувствуя себя все более значительной.

Рабфак вернул мне пристрастие к книгам, и корзинка моя, сильно потрепавшаяся от долгой бессменной службы, была набита ими сверх меры, так что замок едва придерживал потемневшую и кое-где продырявленную плетеную крышку.

В Крыму цвели глицинии и розы, раскачивались широкие ветви каштанов. Солнце и тепло расслабляли и будоражили. Билось сердце. Не было ничего, кроме настоящего. Ольга ждет меня в Ялте, Валерьян приедет туда же. Скорее к морю, скорее к ним.

Василий Иванович и неразговорчивый, степенный Николаич, которого посылали нашим начальником, дремали,

надвинув на лоб шапки и подняв воротники. Николаич уже успел расположить меня к себе своей внимательностью и приветливостью.

— Люблю молодежь,— в вас наше будущее, любил и люблю,— заверил он меня.

«Какая интересная боевая жизнь была у этого старика»,— с невольной завистью думала я. Николаичу было не больше сорока лет, но в те времена четыре десятилетия казались мне огромным сроком.

Баррикады и рабочие демонстрации, тайные тропинки, ведущие сквозь лесные чащи на места подпольных маевок, прокламации, печатаемые в подземельях... явки... преследования... налеты жандармов... тюрьма... бегство из ссылок... опасность... борьба, победа... Какая честь и счастье! Зачем я опоздала родиться? Чем оправдать мне право быть товарищем этого человека, право идти с ним в одних рядах...

Свежесть бессолнечного утра отгоняла сон. Все волновало и радовало меня — и природа вокруг и ожидание встречи с друзьями. Мы пересекли ярко-зеленую долину, окаймленную неподвижными тополями. Тополя сопровождали всю мою жизнь. Их седые листья заглядывали в дом моего детства. Позднее они шумели вдоль моих военных дорог. Они были изображены на картинках в моих юношеских книгах. Я читала о них в сказках. Теперь они выстроились почетным караулом вдоль дороги у подножия гор. Горы были остроконечными, скалистыми. Незаметно мы поднимались к перевалу. Редкие птицы перекликались в чаще. Сырость пронизывала до костей. В облаках исчезли контуры деревьев. Я ощутила разочарование. Перевал — и никакого величия. Только иногда сквозь белую пелену показывался и снова исчезал серый горный шпиль. Скоро перевал остался позади. Его легко было и вовсе не заметить... Небо было со всех сторон; долину затянул нежный, хрупкий туман.

Деревня, которую мы проезжали, казалась такой же заброшенной, как остатки генуэзских башен. Мы радовались мальчишкам, просящим хлеба. Значит, за наглухо закрытыми дверями домов были люди. Одичавшие цветы ползли вдоль поломанных оград и пустых террас. Доски накрест загородили двери лавчонок, в которых давно ничем не торговали.

Стало жарко. Сотни незнакомых горьких и пряных запахов пропитали воздух. Я пыталась отгадывать: роза, левкой, ковыль? Ковыль у моря, возможно ли?

Неожиданно лопнула камера у нашего автомобиля, и мы остановились. Кусты шиповника и ежевики соперничали в пышности. Я уселась на траве, и меня охватила истома от зноя, долгого пути, от запаха цветов, надушивших ветер. Эта южная весна околдовала меня, спутала все ощущения, все желания. Но в одном я была уверена: жить хорошо. Превосходно! И когда мы трогаемся, я оглядываю море, землю, цветущие рощи и небо, пронизанное солнечными лучами, с чувством, будто все это принадлежит мне одной.

В Ялте я узнала, что Ольга уехала, и мне ничего другого не остается, как ждать ее, расположившись в доме, обвитом голубыми глициниями. Я составила стулья так, чтобы на них можно было лечь. Василий Иванович расстелил свою шинель на полу, и мы заснули, как на фронте, отлично обходясь без подушек и одеял.

## ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ

Мне хочется скорее все узнать об Ольге. Разве не было между нами уговора не таиться и сообщать друг другу каждую мелочь о пережитом.

В ее комнате стоят рядом две кровати. На письменном столике подле бутылки с рыжей увядшей розой лежит листок бумаги. Чьей-то незнакомой мне рукой на нем написано:

«1. Не финти, будь сама собой.

2. Не создавай себе глупых кумиров. Посвяти себя лучшим идеям времени.

3. Не волнуйся из-за пустяков. Воля и вера в себя и в свои силы — не есть самоуверенность.

4. Не устраивай эгоизма вдвоем.

5. Читай эти заповеди трижды в день и люби Сайку».

Кто это писал? Чья кровать стоит рядом с Олиной? Чей кисет валяется на подоконнике? Подозрения смущают меня. Кто это — Сайка? Женщина или мужчина? Косоворотки в шкафу ничего не объясняли. Я не решилась заглянуть в деревянный ящик с крышкой, стоящий

в углу комнаты и, видимо, заменявший чемодан. Но Василий Иванович, разгадавший мое беспокойство, хитро завертел бороденкой.

— Пахнет, безусловно, махорочкой и вообще мужским «элементом»,— заявил он.

«Эгоизм вдвоем,— вспомнила я без всякой радости. — Утапла от меня! А еще, называется, друг».

Но Василий Иванович помешал мне углубиться в горестные размышления о непрочности дружбы.

Голодные, как воробьи, мы отправились искать столовую и нашли ее при местном отделе коммунального хозяйства. После долгих препирательств нам наконец выдали обеденные талоны, и, поев, мы отправились искать партийный комитет. Нашли мы его в конце кипарисовой аллеи, тянувшейся от моря к белой вилле далеко под горой. Желтые розы густой сеткой обвили террасу, прилепились к стенам и прикрыли листвой выбоины от пуль. Венецианское окно было разбито. Дом, видимо, брали с боя.

Едва мы вошли внутрь, как сразу же нас поглотила знакомая толчея и оглушил многоголосый говор. Тут было все, как в Москве, как в Политотделе армии, как в любом большом или малом штабе от Тихого океана до западных границ. Люди разговаривали, писали, курили в коридорах и в комнатах, примостившись на столах и подоконниках. Секретаря укома мы нашли в комнате, сплошь облицованной зеркалами, за письменным столиком, украшенным деревянной мозаикой. Креслом ему служил ящик из-под патронов. Нас забросали вопросами о Москве. От волнения лицо секретаря стало влажным. Он признался мне, что тоскует по Иваново-Вознесенску, откуда прислан в Крым на поправку.

— Третья стадия,— сказал он печально. — Да разве теперь время думать о здоровье. Я так и говорю товарищам, а они ругаются. Отдохнуть успеем, а теперь есть дела поважнее.

Он старался удержать кашель, от которого еще ярче становился нездоровый румянец щек. Кашляя, он рассказывал о том, что в горах прячутся белые банды, а с севера уже едут больные, для которых не приготовлено ни питания, ни крова.

— Как видите, дела много, и важного дела. Мы дадим вам обоим санаторный район. Через две недели из

Питера приедет партия больных с Путиловского завода. Нужно поставить товарищей на ноги. Сумеете?

— Сумеем,— ответила я за себя и за Василия Ивановича.

Тут же в белом доме укома мы быстро отыскали всех, кто мог научить нас, как приняться за дело, и только поздно вечером после целого дня беготни я вернулась к дому Ольги и расположилась на траве у калитки. В полночь, треща и дымя, к дому подъехал маленький пыльный «рено», и из него вышла Ольга. За ней шел высокий мужчина в белой русской рубашке.

— Вот моя подруга, о которой я столько тебе говорила, Саинька,— сказала Ольга после того, как мы с ней крепко расцеловались.

Я вгляделась, но в темноте аллеи увидела только очертание кудрявой головы и широкие плечи.

— Знакомьтесь, Александр Иванович Сапегин, а для тебя, как и для меня, просто Сайка, врач и старый большевик. С тысяча девятьсот четырнадцатого года в партии,— тараторила Ольга. — Я забыла раздобыть керосину, так что ляжем спать при звездах,— добавила она, входя в дом.

И мы легли. Напряжение первых минут проходило с трудом. Разговор вертелся вокруг пустяков. То ли разные мы стали, то ли отвыкли друг от друга? Мысль о том, что чужой человек мог отдалить меня от Ольги, огорчила меня.

Кто он, откуда взялся, как смел он стать между нами? Разве я не ближе ей, разве мы не связаны навсегда пережитыми вместе опасностями, задушевными признаниями, общими радостями, печалями и борьбой? Но ведь и у меня есть Валерьян. И разве не бывало подчас, что из моих мыслей исчезала подруга? Чего же я хочу? Тут должно быть равенство. Но кто же все-таки этот Сайка? Может, он уже знает многое из того, что я предназначала только для одной Ольги? В желании до конца открыться, отдать все, что имеешь, не отдавала ли она ему и полученное от других, их тайны, их мысли?

Вероятно, Сайка знает меня, как Валерьян знал Ольгу. Ведь прошел год. И какой год! Кто для меня сегодняшняя Ольга? Я ведь даже не знаю, подруга ли она мне. В 1919 и 1920 годах мы были верными друзьями, а теперь?

* * *

Я проснулась оттого, что огромная роза шлепнулась о мою щеку. Это Сайка обстреливал меня с террасы цветами. У него оказалось мужественное умное лицо. Голос его понравился мне еще накануне. И все же первое мое чувство к нему была враждебность, надежда увидеть в нем плохое, недостойное Ольги.

— Вставай, лежебока,— сказал он с простотой и радушием давнишнего друга.

Ольга уже готовила завтрак из мясных консервов, и в доме аппетитно пахло. Как всегда, движения ее были лишены всякой суетливости, а лицо еще более спокойно, чем обыкновенно. Она была счастлива, и это сказывалось во всем... Счастье делало ее красивой, даже со мной она была еще добрее, чем раньше.

Меня огорчало, что Сайка и Ольга так подходят друг к другу не только внешне, но, видимо, и всем своим внутренним складом. Значит, их любовь — не случайность, значит, Ольге не нужна наша дружба. Ревнивая досада грозила довести меня до слез. Но никто не замечал моего состояния.

Не успела я подняться с постели, как Ольга, пристыдив меня за лень, потребовала повторения всего урока гимнастики, который когда-то в армии она ввела в наш обиход.

Меня заставили съесть тарелку каши с мясом и запить завтрак какими-то каплями. — Ольга по-прежнему любила лечить. Было семь часов утра, и я поджидала Василия Ивановича, чтобы ехать в район. Ольга и ее муж торопились на работу.

— Ты бледна и худа,— сказала мне Ольга на прощание,— вот что мне не нравится. А впрочем, хотя я и не успела вытрясти из тебя ничего, но уверена, что все — сущие пустяки. Пора повзрослеть, миленушка. Я приеду посмотреть, как ты устроилась на новом месте и, главное, есть ли там молоко? Тебе оно необходимо. А про себя что говорить! Лучше не бывает. Живу, сама видишь, отлично. Ты, конечно, уже сообразила, что Сайку я ужасно люблю. И он меня вроде как бы тоже. Во всяком случае, не бьет,— со смехом закончила она и, снабдив меня банкой с консервами, платьем и бутылкой лекарства, побежала к поджидавшему ее «рено». — В случае затруднений при-

сылай гонца, мы поможем, уком, я и Сайка,— крикнула она, уже садясь в машину.

Оставшись одна, я заплакала. От обиды, от грусти или от неясного желания быть такой же спокойной и удовлетворенной, как Ольга, трудно сказать почему, но слезы полились у меня рекой.

Хорошо плакать, когда плакать, собственно, не о чем. И я с горьким удовольствием позволила слезам литься. А час спустя Ольгин «рено», заботливо присланный за мной, отвозил нас с Василием Ивановичем к месту работы, в деревушку подле Алупки, и ветер добросовестно осушил мои щеки.

## ТЕНИ ПРОШЛОГО

Минуло несколько дней. Мы обосновались на новом месте, а мне уже стало казаться, что я в Крыму с тех самых пор, как его заняла Красная Армия.

Странный мир открылся мне здесь. Мир безлюдных дворцов, одичавших, запущенных розариев, заплесневевших прудов, развалившихся беседок. Мы бродили по нарядным залам, удивляясь их красоте или уродству. Было видно, что праздность господствовала в этом умершем мире. Молельни соседствовали здесь с холодными бальными залами. Картины, исполненные таланта, висели подле грубо раскрашенных литографий, на драгоценных коврах валялись безвкусно вышитые подушки. Вырождение отметило не только дома и их убранство, но и лица, глядевшие на нас с портретов. И день за днем, упрямо преодолевая враждебность и скуку, мы рылись в шкафах, пахнущих плесенью и духами. Отбрасывая ненужную рухлядь, мы собирали необходимую утварь для первых советских санаториев. Мы увозили на телегах сервизы, кастрюли, подушки и многое другое в светлые, удобные дома и дачи, годные для приема больных.

Василий Иванович строго наблюдал за перевозкой, а я старательно вписывала в инвентарную книгу каждую взятую нами вещь.

Однажды в барской даче у моря я дольше обыкновенного провозилась с описью вещей. В комнатах, давно не проветриваемых и безлюдных, пахло нафталином и плесенью. В сумерках едва различима была тяжелая резная

мебель. Неожиданно, уже направляясь к выходу, я услышала чьи-то шаги и возню. Пошла на звук, стараясь ступать неслышно. В спальне кто-то возился у комода. Было что-то мерзкое и вороватое в круглой спине человека, наклонившегося над ящиком. Я заметила непомерно большое и очень розовое ухо. Человек достал из комода золотую цепочку и торопливо положил в карман. И снова принялся ворошить кружева, разбрасывать носовые платки и мужские рубашки, ища чего-то в этой груде материи.

— Стой! — крикнула я, потеряв самообладание.

Человек повернулся, и лицо Николаича, нашего с Василием Ивановичем начальника, потное и растерянное, оказалось передо мной. Трусливая, заискивающая улыбка растянулась между ушами, и в ней исчезли и без того маленькие блеклые глазки.

— Вы что-то взяли! — продолжала я, сама теряясь от своих подозрений.

— Рехнулась, прямо-таки рехнулась! Чего это тебе показалось, камса ты эдакая? (Камсой звали в Крыму молодых коммунистов.) Я, видишь ли, в порядке проверки. Как, мол, все ли цело. — Голос Николаича становился по-обычному самоуверенным и нагловатым. — Умора мне с тобой, прямо. Меня, революционера, заподозрить! В чем? Эх ты, девчонка. Ну ладно, ладно. Оно и правильно. Зоркость требуется. Всяко бывает. С виду человек преданный партии, а поройся в его прошлом — лгун и сволочь.

С тяжелым чувством пришла я в этот вечер к себе. Как быть? А вдруг я ошиблась! И решила написать обо всем письмецо Ольге.

Вечерами после работы мы чистили и красили пустые комнаты для больных товарищей, которых ждали. С гордостью я расставляла на столах вазочки для цветов.

День, в который мы перевезли бильярд, мороженицу и аппарат для электрического массажа, был отмечен на заседании нашей партийной ячейки как день достижений. А когда Василий Иванович раздобыл в одном из дворцов полную лекарств стенную аптечку, баллон с кислородом и десятка два одеял, мы наградили его лишней порцией серебристой камсы за обедом. Уже два санатория были почти готовы. Татарка Файзет — санитарка, Василий Иванович — завхоз, старичок доктор, знавший Чехова и называвший себя «слугой народа», и я — комиссар —

были счастливы и бесконечно горды оказанным нам доверием. Ведь нам вверяли здоровье сотен людей.

Мы нашли подушки и скатерти, чашки и гамаки, пианино и аптечки. Мы отобрали верных людей. Рыбаки принесли нам бочки мелкой рыбешки, крестьяне — сухие фрукты минувшего сбора и лечебные вина. Но хлеб, жиры... Их у нас почти не было. Как старатели, ищущие золотоносные реки, рыскали мы за мукой, ворочая камни, поднимая люки, опускаясь в погреба и подполья.

О хлебе для наших больных я думала, просыпаясь среди ночи, работая, расхаживая в аллеях роз и левкоев.

Старичок доктор говорил растерянно:

— Больные не прибавят в весе, питаясь котлетами из камсы. Мы не даем им и двух тысяч калорий в день.

* * *

Время продолжало оставаться тревожным. Телефонная связь с Ялтой то и дело прерывалась. Бандиты орудовали в горах и на дорогах — перерезывали провода, нападали на проезжающих.

В эти дни, не добившись разрешения на выезд, я отправилась в Ялтинский уком требовать помощи в доставке продовольствия. Мучила меня еще мысль о том, отчего не едет и не пишет Валерьян. Я была в Крыму уже давно, он находился где-то неподалеку, а встретиться нам все не удавалось.

В укоме шло городское партийное собрание. Был жаркий вечер, и часть собравшихся расселась на террасе с потрескавшимися колоннами.

Дверь в комнату была открыта настежь, и на подоконнике я увидела Ольгу и Сайку. Собрание было многолюдное, и протиснуться к ним было невозможно. Мы обменялись улыбками. Ольга помахала мне своей красной косынкой. И вдруг неподалеку от нее в человеке, стоявшем вполоборота, я узнала Валерьяна. Его небритое лицо показалось мне чужим, постаревшим. Брюки навыпуск и подпоясанная шнурком косоворотка сменили военный костюм. В одном из своих писем Ольга писала мне, что он демобилизовался и переменил несколько мест работы, переехав из Симферополя в Севастополь. Значит, теперь

он обосновался в Ялте? Отчего же он ничего не писал мне об этом?

Я не отрывала глаз от его лица. Валерьян торопливо скручивал из газеты «козьи ножки», и синий дым часто скрывал его от меня. Рядом с ним стояла молодая миловидная женщина в беленькой блузке. В том, как она несколько раз склонялась к нему, чувствовалась их несомненная близость. Внезапно он ласково ей улыбнулся. Ревность обожгла меня. Щеки мои запылали. Я едва подавила желание закричать, броситься к Валерьяну.

Тщетно пыталась я пробраться к Ольге, найти в ней поддержку. Это по-прежнему было невыполнимо. Между тем собрание шло своим чередом, и неожиданно раздавшиеся громкие рукоплескания вывели меня из оцепенения.

К столу председателя подошел очень статный красивый человек. Прямо и молодо взглянул он на собравшихся и заговорил, почти не повышая голоса. Товарищ, сидевший рядом на ступенях террасы, шепнул, поймав мой вопросительный взгляд:

— Это Дмитрий Ильич Ульянов, врач, председатель Крымского ревкома, брат Ленина.

Дмитрий Ильич говорил о том, что так волновало всех нас. О голоде, о разрухе, о белобандитах, о великой ответственности коммунистов, строящих первую всероссийскую здравницу. От имени ревкома он обещал доставить санаториям хлеб, мясо и жиры для больных, предлагая наряду с этим немедленно приняться за хозяйство при санаториях, начать ловлю рыбы, наладить садоводство, разведение птицы и кроликов.

Вглядываясь внимательно в лицо оратора, я искала в нем сходство с Лениным. Дмитрий Ильич был значительно выше ростом, но улыбка, от которой щурились его умные глаза, очень напоминала старшего брата.

Когда обсуждение первого вопроса «повестки дня» закончилось, Дмитрий Ильич, сославшись на необходимость срочного возвращения в Севастополь, распрощался со всеми и вышел. Собрание продолжалось уже без него.

— В текущих делах вопрос о поведении Валерьяна Зубова,— объявил председатель.

Не успела я отдать себе отчет в услышанном, как слово предоставили Александру Ивановичу Сапегину.

Две керосиновые лампы отчаянно чадили. Налетали москиты, больно кусая. Было томительно душно.

— Товарищи,— начал Сапегин громко,— Дмитрий Ильич Ульянов рассказал нам о великих трудностях, которые нам, коммунистам, нужно преодолеть здесь, в Крыму. Нанося нам удары в спину, в горах скрываются остатки врангелевских банд. Пробираясь к морю, белобандиты нападают на транспорт, доставляющий продовольствие больным, убивают и терроризируют местное население. В городах орудуют спекулянты, срывают наши начинания саботажники. Борьба продолжается, но мы обязаны победить голод и разруху.

К сожалению, есть среди нас товарищи, которые видят не дальше своего носа. Один из них, товарищ Зубов, еще недавно отважный начдив, хорошо воевавший в Красной Армии, систематически отказывается от работы, на которую его посылает партия. Он критикует партийную линию. За несколько месяцев товарищ Зубов переменил не менее десяти мест, хотя в их выборе ему шли навстречу. Теперь он пишет в уком, что работа по снабжению не дело коммуниста. Зубов утверждает, что ему нет применения в современной России, потому что он только воин, а партия сложила оружие, отступает, сдает позиции.

Товарищ Зубов отнюдь не мальчик, ему тридцать лет. В прошлом, еще до революции, ему посчастливилось прослушать три курса университета, и он многому мог бы научить нас. Но от этого он тоже отказывается. К тому же в последнее время он стал много пить. Давайте же, товарищи, сообща попытаемся разобраться в том, что случилось с Зубовым, и попробуем ему помочь. Зашел человек в тупик, а выхода не ищет. И не в первый раз Зубов плутает. Ведь известно, что он был некогда анархистом. — Сапегин помолчал и через минуту добавил: — А теперь послушаем самого товарища Зубова.

Необычно жестким и незнакомым показался мне голос Валерьяна.

— Что мне сказать? — начал он. — Все, что я чувствую, по сути, мое личное дело. Не нравлюсь я вам, исключайте.

Собрание зашумело.

— Никто тебя не собирается исключать! — послышался чей-то голос.

— Извольте, я выскажусь. Да, я человек ищущий, и рассказ мой, пожалуй, нудная для вас эпопея о лишнем человеке, о бесцельно существующем индивидууме,— ненатурально вскинув голову и как бы любуясь переливами своего голоса, произнес Валерьян.

На лицах многих присутствующих отразилось недоумение.

— Да, я пришел из другого мира, более того, в университете я увлекался правыми течениями, даже числился в монархистах. В начале революции меня увлекли черные знамена, и я стал анархистом, но и в анархизме скоро разочаровался. И все же к партии я пришел честно, меня захватила стихия войны. Боролся я тоже честно, товарищи, не жалея самой жизни в борьбе за советскую власть. Но война кончена. Наступают будни, и что самое страшное — партия отступает. А я человек наступления. И вот я мечусь. За эти месяцы я переменил черт знает сколько званий и работенок. Предлагали мне учиться, но поздно. Вы мне объясните другое: почему снова буржуазия вылезла? За что же мы боролись? Вы скажете, что это — временное отступление, тактика революции и прочее? Не поверю. Я дрался с международной буржуазией, а теперь мы ей отдаем концессии! Как это следует понимать? — Он провел рукой по лбу и решительно тряхнул головой.— Нет, я не приемлю нэпа. Хозяйственника, администратора вы из меня не сделаете. Не для этого я дивизию в бой вел. Я подал заявление. Прошу отправить меня за границу. Там есть еще с кем воевать. А здесь тишь, да гладь, да буржуям благодать.

Последние слова Валерьян выкрикнул. Первый раз видела я его таким и вдруг поняла, что он ко всему прочему еще и немного навеселе.

Наступившая было в комнате тишина сменилась громким гулом негодующих голосов. Неожиданно Валерьян заговорил снова:

— Отправьте меня в Сибирь, я там зверей бить буду, золото искать, а тут мне нечего делать. Большевики поворачивают назад, к капитализму. Революция пролетарская кончилась... Кончилась!..

Он сжал виски руками и замолчал.

Какие страшные по нелепости слова сказал Валерьян. Что это — безумие или дезертирство? Искренен ли он или лжет? Совсем недавно умерла Зина на льду Невы, совсем

недавно был X съезд партии. Делегаты приезжали с фронта, и мы встречали и приветствовали воинов революции. В горах Крыма бродят банды, по всей стране разбрелись и притаились враги. Правдив он в своем заблуждении или хитрит — безразлично. Его мысли, вольно или невольно, вредны, он вносит смятение.

Мне пришло на ум, что на оборванной проволоке Перекопа еще не стерлась кровь и еще болтаются на ветру лохмотья красноармейских шинелей. Сколько еще будет боев и трудностей! Борьба ведь только началась. А Валерьян толкует о буднях, об отступлении... Невозможно понять. Невозможно принять.

Председатель собрания объявил перерыв. Ольга подошла ко мне и крепко сжала мои руки. Слезы хлынули из моих глаз. Стыдясь их, я потащила ее в темную аллею. Моя исповедь была бессвязной, но она сразу все поняла.

— Плохо! — сказала Ольга. — Ведь, помимо всего остального, он еще связан с другой и к тому же очень хорошей женщиной. Ты ведь видела ее — они стояли рядом.

Внезапно из-за стены кипарисов вышел Валерьян.

— Ты? — произнес он, узнав меня. — Ты была на собрании...

— Да, была, все слышала и все видела,— отвечала я тихо.

— Но что же, собственно? — смутился он.

— Твоя жена очень хороша собой,— ответила я, задыхаясь.

— Ах, ты об этом. И, как всегда, делаешь поспешные выводы.

— Не надо лжи, Валерьян, не надо.

Он торопливо закурил папиросу и, неестественно улыбаясь, спросил:

— Судя по всему, ты хочешь со мной поссориться? Не знал, что ты любишь мелодрамы.

Я вспыхнула.

— Я люблю не мелодрамы, а честность в отношениях между людьми!

В это время к нам подошла женщина, которую я уже видела с Валерьяном. Она показалась мне еще более красивой, чем на собрании. Подойдя к Валерьяну, она взяла его под руку и вопросительно поглядела на нас с Ольгой.

Не говоря ни слова, я потянула за собой Ольгу и пошла по аллее. Прежнего раздражения я больше не испытывала. После жестокой боли от неожиданного удара я почувствовала теперь полное безразличие и внутреннюю опустошенность.

Ольга увела меня к себе, а на другое утро я уехала в санаторий. Что со мной было потом? Приступ малярии, солнечный перегрев или то, что в старых книгах называлось нервной горячкой,— это не смогли определить ни Василий Иванович, ни наш старичок врач.

Только через несколько дней я стала поправляться. Ольга в коротенькой записке обещала приехать ко мне и бранилась. «Сейчас болеть не время!» — таков был смысл ее письма. Она была права, но если бы она знала, как трудно мне было. В эти дни я получила письмо и от Валерьяна, бесцельное, как все письма, возвещающие о расставании.

«Родной девушке счастье и радость,— писал он в обычном своем приподнятом стиле. — Немножко горя, но все остальное праздник! Мне жаль, что я причинил тебе горе, но иначе я не мог. Ведь я сложный, путаный, и тебе меня не понять. Я и сам не всегда себя понимаю. С той, с другой женщиной, я расстался. Одного лишь не знаю — что буду теперь делать один? Может быть, все-таки ты мне напишешь? Я не скоро уеду. Через неделю, через месяц, а может, никогда. Истосковался по тебе! Когда я тебя увижу, и увижу ли вообще? Поехать, что ли, в Сибирь, золото добывать... Ты морщишь лоб, я слышу твой голос: «Это неврастения, лечись! Таких большевиков не должно быть». Прости. Тоскует моя душа!..»

Я осторожно уложила письмо в коробку с унылым полустертым пейзажем на крышке. Первым побуждением было сжечь эти листочки, но потом я решила их сохранить. А еще несколько дней спустя я спокойно подвела итоги: нет, я больше не хотела видеться с Валерьяном.

Потом я долго бродила по нижней дороге, вдоль моря. Морской прилив весело гладил прибрежную гальку. И всякий раз от его прикосновения она начинала чудесно искриться и блестеть. Едва уходила вода, камешки быстро подсыхали. Обесцвеченные, неровные, они казались всего лишь булыжниками, уродливыми, серыми, пыльными. Разве не таким же был и Валерьян? Наша эпоха подобна

этим чудотворным волнам. Прикоснется к таким, как он — и посеребрит их хоть на мгновение. А потом схлынет вода, чтоб тотчас же вернуться, а они поблекли и снова неотличимы от щепок, выброшенных на берег прибоем.

## НЕУДАЧНАЯ ВЫЛАЗКА

И снова ровной чередой двинулись дни. По-прежнему вели мы, коммунисты и комсомольцы, задушевные беседы по вечерам на скамейке перед старым домом, где разместился местный партийный комитет. Нас было несколько десятков человек, молодых коммунистов и комсомольцев. Вожаком нашим был волжанин Егоров, самарский кузнец, бывший партизан, несмотря на чахотку, загнавшую его в Крым, или, может быть, благодаря ей, неутомимый и быстрый в решениях. За худобу и смуглую кожу мы прозвали его Гайаватой. На этой же скамье, обвитой жимолостью, в тот день, когда верховой из соседней деревни привез известие о том, что белая банда спустилась с гор, убила комсомольца и разграбила обоз с продовольствием, Егоров устроил летучий митинг.

— Ребята, товарищи! — сказал он нам. — Неужели мы, бойцы за мировой Октябрь, не можем справиться с остатками врангелевской нечисти? Какие мы после этого большевики? Предлагаю немедленно двинуться в горы и покончить раз и навсегда с врагами революции. Насильно мы никого не тащим, но кто не трусит, пойдет за мной.

— Позволь,— отозвался кто-то,— а как же уком! Твоя затея — это партизанщина.

— Мы должны помочь партии сами, а не дожидаться директив,— ответил Егоров. — У нас есть оружие и военный опыт. Можно поставить в известность военное командование в Севастополе. Через Бахчисарай нам пришлют подкрепление, и в одну ночь мы окружим бандитов, уничтожим их и наведем порядок в горах.

Начался спор. Уламывали сомневающихся, обсуждали мелочи предстоящего похода. Остатки рассудительности исчезли в обуявшей нас всех жажде подвигов. И, отправив телеграммы в Ялту и Севастополь, в ту же ночь двинулись в горы.

Пробираясь в зарослях колючего кустарника, мы поднимались на отроги Ай-Петри. Море осталось далеко внизу. При свете луны, такой опасной и предательской в эту ночь, цветы в траве казались нам пестрыми насекомыми. Забыв, ради чего мы ползем вверх по обрыву с винтовками и патронташными лентами вместо поясов, мы испытывали желание растянуться в траве, глядя на светлячков, вспыхивающих, словно крохотные мерцающие звезды. Ай-Петри высился над нами.

— Уж очень сладок этот Крым,— заметил кто-то. — Тесно здесь. Эх, хорошо бы на наше, на волжское приволье.

— Тише! — прошептал Егоров.

И мы продолжали молча продвигаться вперед.

Случилось так, что я отбилась от товарищей и внезапно, оглядевшись вокруг, увидела, что осталась одна. Луна ледяным острым светом освещала ложбинку и деревья вокруг. Стараясь не шуметь, я бросилась в тень и побежала в глубь леса, вверх.

Проклятая луна освещала поляну. Деревья гнались за мной, и за каждым стволом, казалось, прятались, выслеживая меня, какие-то тени. Как отыскать дорогу к своим? Внезапно чья-то рука тяжело сжала мое плечо. Еще секунда, и человек в рваной шинели вырвал у меня винтовку.

— Ты кто? — хрипло спросил он.

Как и я, мой противник был совершенно один. Я попыталась вырвать у него винтовку, мы сцепились и упали на землю. Но силы были неравны. Тяжелый удар в переносицу, и я упала, обливаясь кровью.

— Подохла,— прозвучал надо мной мужской голос.

Я продолжала лежать неподвижно. Сквозь кровь, облепившую мои ресницы, я видела, как отпустившая меня рука подняла с земли большой камень.

— Подохла,— повторил обманутый моей неподвижностью человек и отбросил камень. Он привстал и протянул руку к винтовке. И в ту же минуту я вскочила, успев опередить его. Спусковой крючок легко поддался нажиму пальца. Раздался выстрел. И тотчас же мой противник ударил меня чем-то тяжелым в висок. Теряя сознание, я услышала шум и выстрелы.

Тошнота и мягкий комок в горле, мешающий дышать и говорить, были первыми свидетельствами того, что я

осталась жива. Но все смешалось в моей памяти — сроки, события. Вслед за темнотой, вслед за тщетными попытками проглотить или выплюнуть комок, застрявший в горле, ощутила невыносимое физическое страдание. Голова и ноги мои были забинтованы, боль сверлила кости. Я застонала и открыла глаза. Неужели это далекое, расплывчатое лицо принадлежит Ольге? Вещи вокруг стали по местам, я начала понимать происходящее.

— Тебе лучше? — спрашивала Ольга, и голос ее был полон материнской тревоги и нежности, от которой хотелось плакать. Попробовала ответить, но не смогла. Хрип вырывался вместо слов из моего горла. И начались дни болезни.

Так одной из первых больных нового санатория оказалась я — комиссар санаторного района.

Ольга отдавала мне весь свой досуг. Она ухаживала за мной, как мать. Но когда врач объявил, что я вне опасности, она не удержалась от упреков.

— Угораздило вас,— сказала она с досадой. — Сорок отчаянных головушек отправились в горы. Бессмысленная, вредная затея! Тоже, называется, большевики. Анархистики или дети, не разберусь сама. Мы из-за вас секретаря комсомола с выговором сняли, да и тебе, естественно, нагоняй полагается. Поправишься, заставим ответить. Экие тоже герои. Хорошо еще отделались, ведь могли вас всех переловить. А зачем? Думаешь, мне тебя жалко? Нисколько! Эх ты, героиня! Чучело ты книжное! Лезла небось и думала: какая храбрая, всех удивлю своими подвигами. А вышло вот что. — Она печально погладила мои бинты. Я была запелената с ног до макушки, как новорожденная.

Беспомощность казалась мне унизительной. Раны заживали медленно. По временам я просила Ольгу рассказывать мне о том, что видно с балкона, о том, что происходит вокруг.

— В санатории очень шумно,— рассказывала она. — Прибыло двести ивановозвнесенцев. Заселены не только все комнаты, но и домик Василия Ивановича. Сам он спит в солярии и очень этим доволен. Вчера был концерт. С Украины прислали муку. Из Феодосии идет рыба. Все очень хорошо, будет еще лучше. Больные начали прибавлять в весе.

Приближалась осень. Голову мою высвободили из повязок. Временами ветер жалостливо гладил мои виски. Но бинты вокруг груди и плеч все еще мешали дышать.

Тревожные мысли наполняли мои неподвижные дни. Снова с горечью вспоминала я Валерьяна.

Ольга осторожно сообщила мне, что он уехал неизвестно куда.

«Как неузнаваемо меняются человеческие характеры,— думала я. — Отныне, раз и навсегда, когда меня спросят о ком-нибудь, даже близком, я отвечу: в таком-то году и месяце он мне казался таким-то».

Страстно и нетерпеливо ждала я выздоровления. Незаметно прибывали силы и с ними потребность в движении.

Однажды, целуя меня на прощание, Ольга сказала, стараясь шуткой прикрыть свою радость:

— А знаешь, я, кажется, брюхата. Саша так рад! Приятно иметь ребенка, когда тебя черт знает как крепко любят.

— А ты тоже хочешь иметь ребенка? — спросила я, взволнованная Ольгиными признаниями.

— Не знаю,— она пожала плечами. — Саша говорит, что дети скрепляют отношения между мужчиной и женщиной.

Вскоре я наконец поднялась с постели. Как передать радость первого самостоятельного шага? Ноги упорно пытались ослушаться меня, подгибались, дрожали.

За три месяца моей болезни многое успело перемениться вокруг. Горы стали свободными и безопасными, дворцы один за другим превращались в дома отдыха и санатории.

По дорогам двигались грузовики с продовольствием. И больные, полные надежд на выздоровление, прибывали со всех концов страны.

Вскоре я стала замечать, что, кроме работы, которой Ольга отдавала столько энергии, жизнь ее обогатилась новым чувством. Беспомощность и беспокойство либо умиротворение попеременно отражались на ее лице. Ее муж с милой чуткостью отзывался на каждую ее мысль, и казалось, не одна Ольга, но и он любовно вынашивал их ребенка. Раньше между ними случались ссоры, теперь он уступал ей во всем. Радостно и чуточку завидно мне было смотреть, как утром и вечером он провожал ее, осторожно

отбрасывая с дороги камни, чтобы она не оступилась. Оба они решили к весне, когда их будет уже трое, ехать в Москву.

Да и все мы беспрестанно загадывали о будущем, которое неизменно казалось нам полным радостного труда и побед.

## ПАРТИЙНАЯ ЧИСТКА

Наступили дни партийной чистки. В большой комнате с окнами, увитыми мелкими японскими розами, точно вылепленными из воска, мы собрались все вместе — сто девять человек коммунистов. Сто девять человек, знавших и не знавших друг друга. Сто девять бойцов, соратников и товарищей. Мы старались вглядеться в самое сердце друг другу, проникнуть в чувства и мысли. Я волновалась, как и все. Сто восемь человек будут слушать мою исповедь, каждый сможет спрашивать меня обо всем. И каждый обязан ответить мне на любой мой вопрос.

Товарищ, присланный из Симферополя, занял место у стола, и секретарь написал на белом листке протокола число и месяц.

Один из нас встал и начал рассказывать свою биографию.

— Мой отец и дед были рабочими,— начал он. — Четырнадцати лет я стал к станку. Шестнадцати лет на заводе Гартмана в Луганске мне довелось повстречаться в цехе с Климом Ворошиловым, первым большевиком, которого я увидел. И определилась моя жизнь... Пять раз меня арестовывали, два раза ссылали, однажды я бежал...

Вглядываясь в лицо товарища, проходящего чистку, я вижу преждевременно поседевшие виски, умный взгляд, и когда под аплодисменты он возвращается на свое место, мне уже не так боязно и неприятно стать на его место у стола и рассказать о себе. И я говорю, строго следя за тем, чтобы не смягчить свои проступки, не преувеличить то, что мне кажется хорошим, не утаить плохого.

Три месяца я была прикована к постели, целых три месяца прошли для меня совершенно бесполезно. Я прошу

партию простить мне и моим товарищам наше неразумное предприятие.

Сто девять человек отчитывались в эти осенние крымские вечера перед партией, перед рабочим классом.

— Заносит меня,— сказал Егоров. — Заносит в сторону с дороги. Но без партии, как без воздуха, я не проживу. Подтянусь, выправлюсь. А биография моя, она несложная. Отец слесарем был — горькая доля, горькое пьянство, помер. Я тоже в прошлом слесарь.

Говорили о себе недавние крестьяне, рабочие, матросы, учителя, врачи, молодые и старые. Волнуясь, краснея либо бледнея, то сбивчиво, то связно рассказывали они о своей жизни.

Татарка Файзет из Кокозов, отец которой был муэдзином и продал ее купцу из Трапезунда. Подруги помогли Файзет бежать с турецкой фелюги. Партизанский отряд и Красная Армия стали для нее домом.

— Я хочу видеть светлую жизнь и сама хочу жить свободно,— сказала она, обращаясь к сидящим в зале.

Отдельная жизнь находит себя в массе других жизней. И старый вопрос, в чем смысл бытия, кажется мне сейчас не таким уж неясным.

Проверяла себя в поисках ясного ответа — почему я по эту сторону баррикад?

Совсем недавно я узнала кое-что о судьбе своего отца. Подобно Кате, он перешел границу, бросил родину вскоре после Октябрьской революции. Следы его затерялись на улицах Парижа. По слухам, он вел жалкое существование и, опускаясь все ниже, дошел до эмигрантского трактира, где играл на гитаре.

Судьба Кати была не менее печальна. Какой-то южноамериканский скотовод содержал ее, потом бросил где-то между Буэнос-Айресом и Рио-де-Жанейро. Попала ли она в публичные дома Аргентины, в которых погибло немало красивых эмигранток из России, сумела ли вынырнуть, об этом мне не удалось узнать. Как и мой отец, она исчезла в космополитической толпе полунищих, бродяг и проституток капиталистического мира.

Кто же я в революции? Подкидыш?

Виновата ли я в том, что родилась в семье, принадлежащей к классу, законно растоптанному революцией?

Сто девять сердец, сто девять разных дорог к революции.

Странное, но не тягостное напряжение царило в комнате. Мы хотели верить друг другу до конца и именно поэтому были настороженны и беспощадны. Мы хотели до конца принять либо отринуть протянутые друг другу руки, чтоб идти дальше вместе. Мы хотели быть истинными соратниками.

Одним из первых был разоблачен Николаич. Многие среди нас ему верили, считали заслуженным революционером. Случайность заставила меня начать присматриваться к нему зорче, искать в его прошлом ответа на возникшие у меня сомнения.

Город Астрахань, откуда Николаич был родом, сторожит устье Волги. Мимо на Каспий проходили в Персию, Бухару и Хиву караваны, оттуда везли в Москву восточные товары.

Исстари далекий город был пристанищем вольницы. Разин и Пугачев находили в нем верных сторонников. Теперь он стал городом рыбаков. Рыба обогащала торговцев, но едва кормила обитателей домишек, выстроившихся вдоль заболоченных каналов.

До 1917 года в Астрахани было все, чему полагалось быть в городе, приносящем изрядную прибыль: церкви, трактиры, ночлежки, купеческие клубы.

Николаич сызмала служил в рыбной палатке. На скользкой вонючей скамье он с утра до ночи вспарывал рыбьи животы, мечтая о том, чтоб купить лавчонку на приданое купеческой дочки, с которой гулял на откосе по воскресеньям. Потом действительно женился на ней и, заполучив ее денежки, занялся торговлей, посадил жену за прилавок, а сам поступил на работу в трамвайное депо. Однажды при свете лампадки он нашел листовку, сунутую кем-то в карман его форменного пальто, и прочел не без интереса. Он тоже был недоволен налогами на мелочную торговлю и порядками в конторе трамвайного парка. Был 1905 год. Борьба становилась жестокой, расправа — суровой. Случилось так, что Николаич был задержан полицией.

— Я человек занятой,— божился он,— владею лавкой. Какая уж тут политика?

Так протокол охранки стал свидетельством человеческого ничтожества. Шло время. Николаич разбогател, торговал на пристани, оставил службу в трамвайном парке, обрюзг.

«Я сызмала был рабочий»,— клялся он после Октябрьского переворота и, оставив Астрахань, в чужом городе получил партийный билет. Отныне только страх быть разоблаченным нарушал благополучие его дней. Ложь породила новую ложь. Нарастали проценты с украденного капитала выдуманной биографии. Его уважали за прошлое, которое он сам для себя придумал. Так было до тех пор, покуда бывший астраханский грузчик не узнал его в одном из санаториев и не рассказал о нем все, что знал.

## ГОДЫ СТАНОВЛЕНИЯ

Время шло. Я снова вернулась в Москву. Мне не хватало знаний, и я приехала «вооружаться», как сама определила свое поступление в университет. Снова мою жизнь заполнили книги, лекции, появились новые друзья. Начались занятия в аудиториях факультета, в белых палатах клиники.

Нелегко было многим из нас сразу понять и примириться с тем, что принесла на улицы Москвы новая экономическая политика.

Мы радовались звонкам трамваев и многолюдию города. Но зачем в маленьких лавчонках Охотного ряда снова восседали пунцоволицые торговцы? Зачем рядом с Домом Союзов, возле двухэтажной, точно присевшей на корточки церкви Параскевы-великомученицы снова началась бойкая торговля рыбой, мясом и мелким товаром?

Дремля на облучке, широкозадый извозчик поджидал даму в пальто с соболями, пока она торговалась, выбирая взлетевшую от прикосновения ее пальцев пуховую подушку.

На Ильинке, в подворотнях, люди с лицами, похожими на изжеванные окурки сигар, шептали:

— Есть доллары, есть золотые николаевские монеты.

Что это? Воскресало, казалось мне, далекое, ушедшее прошлое.

Вечером из ресторанов и пивных доносилась музыка веселящейся нэповской Москвы.

Мне хотелось плакать, глядя на пухлые лица новых буржуев, как называла я этих людей, появившихся на улицах нашей столицы.

В комнатах общежития, где мы жили, пять девушек-медичек, часто возникали споры о нэпе.

Секретарем нашей партячейки была большевичка с 1906 года Людмила Степановна. Мне нравилась ее спокойная, уверенная походка, откинутая назад голова, прямой взгляд, тихий, но твердый голос. В прошлом акушерка, она не имела возможности учиться в годы большевистского подполья, проведенные большей частью в тюрьмах и в Нарымской ссылке. Всю гражданскую войну она была в армии. И вот теперь, сорока с лишним лет, начала учиться, чтобы стать врачом.

Измученная сомнениями, я решила поехать к ней домой, куда она не раз меня приглашала.

На подножке переполненного трамвая я добралась до 2-го Дома Советов, огромного общежития коммунистов. На фронтоне большого дома увидела знакомые фрески Врубеля и несколько красных флагов (был один из революционных праздников).

Людмила Степановна приветливо провела меня через узенькую переднюю своего номера. В открытую дверь я увидела ванну, где лежало, видимо, только что выстиранное белье.

В комнате с потрепанными портьерами и коврами мебель была погребена под грудами книг. На стене висели портреты Маркса и Ленина.

— Сядь,— сказала Людмила Степановна, освобождая из-под груды книг стул,— и чувствуй себя, как дома.

Но не успела я заговорить, как в дверь постучали.

Вошла хрупкая, невысокая женщина с слегка раскосыми глазами и резко очерченными скулами. Пышные седеющие волосы красиво обрамляли небольшую голову. Длинная юбка и белая кофточка с высоким воротником и узкими рукавами придавали облику вошедшей строгую прелесть. Я вскочила с места. Это была Мария Ильинична Ульянова. Она строго и вместе с тем ласково посмотрела на меня и сразу узнала — мы познакомились в Крыму. На наши расспросы о здоровье Ленина Мария Ильинична отвечала просто и тихо.

Разговор продолжался, и внезапно было произнесено слово «нэп».

Я вздрогнула и, уже не робея, заговорила:

— Мне бы хотелось спросить у вас... Я и многие мои друзья, молодежь, не все понимаем. Частный капитал...

концессии иностранцам... Что же это? Простите мне мои сомнения, но уж очень все непонятно и тяжело.

Милая, чуть насмешливая улыбка тронула губы Марии Ильиничны. Хороша была эта улыбка, молодая, умная, добрая.

— Сомнений бояться нечего,— сказала она, становясь серьезной. — Это ведь неизбежно, когда ищешь правильных решений. Надо только не теряться самой и не путать других. Продумайте, чему учит партия? На войне победить можно в несколько месяцев, а вот культурно и экономически одолеть врага в такой срок нельзя. Не все ведь берется штурмом,— она снова улыбнулась. — Знаю, трудно, особенно в молодости, брать крепости тяжелой и медленной осадой. Но, чтобы победить, надо не бояться подчас и временного отступления ради меньшего количества жертв. Это ведь тоже тактика борьбы.

Вскоре Мария Ильинична поднялась. Мы попрощались. Я долго и радостно ощущала пожатие ее узкой руки.

Когда Людмила Степановна, проводив гостью, вошла в комнату, слезы неудержимо лились из моих глаз.

Это была душевная разрядка. Ведь столько раз в эти месяцы растерянности звучали у меня в памяти истерические слова Валерьяна: «За что же мы боролись?»

— Почему ты никогда не поднимала этих больных для тебя вопросов на партийных собраниях? — спросила Людмила Степановна строго. — Неужели боялась?

— Боялась,— ответила я. — Боялась, что, не разобравшись сама, принесу вред другим. Хотела сначала сама понять...

Я ушла из 2-го Дома Советов только в полночь. Разговор с Людмилой Степановной возвратил мне спокойствие. Так некогда на берегу Днепра нашла я свою дорогу в жизнь, читая книги, которые приносил мне Лука.

Скоро Людмила Степановна организовала у нас в университете кружок политзанятий. Нас было восемнадцать студентов, собиравшихся еженедельно с жадной потребностью ответа.

Ленин говорил в ноябре 1922 года на IV конгрессе Коминтерна:

«Мы уже достигли того, что наше крестьянство довольно, что промышленность оживает и что торговля оживает... Что касается торговли, я хочу еще подчеркнуть,

что мы стараемся основывать смешанные общества, что мы уже основываем их, т. е. общества, где часть капитала принадлежит частным капиталистам, и притом иностранным, а другая часть — нам. Во-первых, мы таким путем учимся торговать, а это нам необходимо, и, во-вторых, мы всегда имеем возможность, в случае, если мы сочтем это необходимым, ликвидировать такое общество, так что мы, так сказать, ничем не рискуем. У частного же капиталиста мы учимся и приглядываемся к тому, как мы можем подняться и какие ошибки мы совершаем...»

## БРАТЬЯ

Летом 1923 года, возвращаясь с лекции, в узком переулке на Арбате, где жила второй год, я уже не впервые столкнулась с человеком лет тридцати с небольшим, который давно привлек мое внимание. Есть такие лица, как бы излучающие ум и доброжелательность. Человеку с таким лицом невольно улыбнешься и протянешь доверчиво руку. Такой не подведет, не обманет.

В последние месяцы мы постоянно случайно встречались. Видела я его в Третьяковской галерее, напряженно рассматривающего репинские полотна, в Музее западной живописи, в библиотеке. Замечала перебрасывающимся шуткой с миловидной продавщицей булочной на нашей улице. Как-то, сердито повернувшись в трамвае, чтобы обругать неловкого соседа, я встретила серые умные глаза и не нашлась что сказать в ответ на торопливые извинения. И вот он снова передо мной. Удивление промелькнуло и на его лице. Он неуверенно поклонился, и я ответила. Как было не ответить? Ведь я знала даже то, что у него вот уже больше месяца не хватает пуговицы на пальто. Очевидно, дело было в привычке оттягивать карманы — они у него, как у озорного школяра, всегда оттопыривались.

Невольно обернулась. И вдруг он решительно повернулся и нагнал меня.

— Мне давно хотелось заговорить с вами. — Он немного заикался, и голос у него был низкий. — Неужели то обстоятельство, что у нас нет общих знакомых, может послужить помехой для знакомства? Не правда ли, это предрассудок? Давайте познакомимся. Меня зовут Геор-

гий Козинцев. Отчество мое — Николаевич, но оно ведь необязательно. А вас как зовут?

Мы познакомились. Есть люди, присутствие которых вызывает ощущение умиротворения и покоя. Козинцев был таким человеком. Настойчивый в достижении цели, он всегда легко преодолевал мою замкнутость, которую прозвал «игрой в прятки». Приветливый без притворства, сметливый без мелкой хитрости, волевой, но не упрямый, умелец на все руки, он всегда вносил с собой спокойствие и деловитость. Едва переступив порог комнаты, он мгновенно находил себе какое-нибудь занятие. То починит, то наточит, то приладит что-либо из несложного моего хозяйства. На моей этажерке скоро появились забавные человеческие фигурки, рамки, коробочки.

Я узнала, что в партии он с 1908 года. Февральская революция вернула его из ссылки. В 1917 году он был красногвардейцем, потом воевал на Восточном фронте.

Вернувшись из Красной Армии, Георгий недолго учился и затем ушел на партийную работу в деревню. Недавно вернувшись в Москву, он был выбран секретарем партийной ячейки на одной из московских фабрик.

Георгий любил вспоминать деревню, которую я совсем не знала.

— Меньшевики болтали, — говорил он, — что крестьяне, мол, любят большевиков, которые дали им землю, но не любят коммунистов, когда они берут у них хлеб для рабочих. Вранье! Я-то деревню знаю. О любви чего говорить — это дело дамское, однако уверяю тебя по опыту, что крестьяне тянутся к коммунизму и в трудные минуты ищут нас сами. Конечно, я имею в виду середняков и бедняков. Кулак — он был и есть лютый недруг. Но верит мужик коммунистам настоящим.

— А бывают и ненастоящие? — улыбаясь, спрашивала я. Мне ли было не знать? Я уже встречала таких на своих жизненных дорогах.

— Как же не быть, — сурово продолжал Георгий. — Зря, что ли, партию чистили?

Как-то Георгий сказал:

— Крестьянин, несмотря на горькие подчас обиды от коммунистов ненастоящих, всегда твердо верит коммунистам подлинным, ленинским. Я в этом убежден.

Мне хотелось знать все о Егоре (как я скоро начала называть своего нового друга) и о его семье. Оказалось,

что отец Козинцева, сначала простой рабочий, стал потом мастером. Жили родители его в ту пору не бедно. К 1905 году были у них уже домик и корова.

Георгий рассказывал мне:

— Нас было три сына у матери. От старшего, Петра, повелись в семье «политики», как окрестил нас отец. Замечательный человек был мой брат Петр. Лет на десять старше меня, он начинал свой путь большевика, работая в цехе рядом с Михаилом Калининым. В тысяча девятьсот семнадцатом году, в октябре, Петр погиб в боях за советскую власть...

Помолчав, Георгий продолжал:

— Есть у меня еще брат — Михаил. Мы с ним погодки. Вместе вступали в тысяча девятьсот восьмом году в партию. Михаил у нас в семье всегда был самый грамотный. Удалось ему, не в пример мне, экстерном кончить гимназию, потом он даже в университете учился...

И, как бы отбросив какое-то досадное воспоминание, Георгий продолжал говорить о том, как много слез пролила его мать из-за сыновей.

— Помню, как она носила нам передачи. Петра я знал лучше, чем Мишу. Вернувшись с поселения, именно Петр нас, младших, привел в Коммунистическую партию. В Октябрьские дни он вывел воинскую часть, где служил с тысяча девятьсот шестнадцатого года, на помощь рабочим Москвы и в одной из первых схваток был смертельно ранен.

Георгий помолчал, потом добавил печально:

— Петр был для меня больше, чем брат. Это был настоящий человек и настоящий коммунист.

— А Михаил? — спросила я.

Георгий долго не отвечал.

— Его я знаю мало. Когда-то он льнул к меньшевикам. От партийной работы на несколько лет отходил вовсе... Нет, нетвердый он человек. Это я и от Петра частенько слыхал. Многого я в нем понять не мог и по сей день не разберу. Простоты большевистской, чуткости, что ли, нет. Разные мы с ним. Вот и теперь, как повстречаемся, обязательно спорим. — И Георгий решительно перевел разговор на другое.

В шестую годовщину Октябрьской революции я была на торжественном вечере в клубе фабрики, где секретарем ячейки работал Георгий. Под клуб только что передали

большой особняк фабриканта, некогда проживавшего во дворе своей фабрики.

В зале было многолюдно и шумно. Наконец началось торжественное собрание. Участники большевистского подполья и Октябрьского переворота рассказывали о недавнем прошлом.

Одним из последних вышел на трибуну широкоплечий человек среднего роста. Председатель представил его собранию. Я насторожилась. Это был брат Георгия.

Лицо у оратора было очень привлекательным и немного усталым, и я тотчас же решила, что сероватый оттенок кожи и морщины вокруг глаз, как и у Георгия,— следствие пребывания в заключении. Заметила его коротконалые, широкие руки и вспомнила, что он работал в юности токарем.

Георгий старался не выступать с трибуны на многолюдных собраниях, на которых чувствовал себя неуверенно и начинал заикаться.

Михаил, в противоположность брату, был хорошим митинговым оратором. Начав свою речь как бы небрежно и тихо, он постепенно оживился, зажег слушателей. Слова его лились плавно, уверенно. Красивый низкий голос окреп. Для своих мыслей он неизменно находил убедительную, правда несколько выспреннюю, словесную форму. Тогда я не заметила деланности его жестов и напыщенности в словах.

Михаил вспоминал с трибуны годы подполья и борьбы. Перед моими глазами оживала жизнь профессионального революционера. Пропагандистские кружки на заводах, воскресные школы, подпольные типографии, собрания. Я как бы видела шествия протестующего народа, слышала визг жандармских нагаек. Мысленно я отыскивала коренастую, широкоплечую фигуру Михаила среди рабочих за решеткой тюрьмы, в толпе арестантов. И все привлекательнее казалось мне его лицо, немного похожее на лицо Георгия и, однако, другое, более надменное и самодовольное.

Михаил закончил речь под аплодисменты. Едва он ушел с трибуны, как мне все стало неинтересно.

Когда торжественная часть собрания кончилась, я побежала на сцену. Там убирали стулья и готовились к концерту. У пыльного задника с грубо намалеванными деревьями я отыскала Георгия.

— Где твой брат? Какой он блестящий оратор!

— Понравился? Да, он говорун умелый, недаром учился дикции перед зеркалом,— иронически заметил Георгий.

«Завидует»,— против воли подумалось мне.

Мы нашли Михаила у выхода из клуба. В просторной, тюленьего меха куртке и круглой шапке он показался мне еще внушительнее, чем на трибуне. Но меня неприятно поразили раздражительность в его голосе, когда он отвечал брату, и незнакомое враждебное выражение, появившееся тотчас же на лице у Георгия.

Повернувшись ко мне, Михаил смягчился. Вероятно, он заметил мое почтительное восхищение, и оно ему польстило. И когда он ответил мне добродушной улыбкой, я, казалось, заглянула до самого дна в его вдруг просветлевшие зеленовато-карие глаза.

— Сколько лет вы просидели в тюрьме? — не утерпела я, чтобы не спросить Михаила Козинцева уже через несколько минут после того, как произошло наше знакомство.

— Наберется лет семь. Цифра семь вообще проходит через всю мою жизнь: семь раз меня ссылали, семь раз я бежал...

— Ну, это уж какая-то чертовщина,— вмешался Георгий.

— Седьмое ноября тысяча девятьсот семнадцатого года,— продолжал, как бы не слыша слов брата, Михаил. — Семнадцати лет я вступил в партию. О семерке и у Пифагора говорится. Так-то, товарищи. Ну ладно. Мне пора.

Он приподнял руку и красиво помахал ею, прощаясь.

«Необыкновенный, по-настоящему цельный человек»,— решила я, едва Михаил скрылся за дверью. И слишком простым показалось мне прямодушное лицо Георгия. Я и не подумала о том, что он мог бы рассказать с трибуны не меньше, а, может, значительно больше о жизни подпольщика-большевика, чем его брат.

С этого дня я начала часто думать о Михаиле. Лицо его вставало в моей памяти всякий раз по-иному. Я старалась разгадать его выражение, понять его характер, душу. Это был опасный симптом, смысла которого я тогда не понимала.

Скоро я стала искать повода, чтобы встретиться с Михаилом. Но это было нелегко — Георгий избегал брата.

— Небось завидно, что брат обогнал тебя в развитии и образовании,— сказала я как-то Георгию, и мы впервые едва не поссорились.

Через несколько дней, найдя наконец предлог, я отправилась в главк, которым ведал Михаил Николаевич Козинцев.

Нарядная секретарша долго допытывалась, что, собственно, мне нужно, но я сумела убедить ее, что у меня важное дело, и после часа ожидания вошла в большой полутемный кабинет.

Михаил холодным и важным кивком указал мне на кресло. Не этого я ожидала. Собравшись с духом, я от имени нашей парторганизации попросила допустить группу медичек для знакомства с одним из подведомственных Козинцеву исследовательских институтов.

Пока я говорила, Михаил, очевидно, припомнил, что видел меня. Он стал проще, и мы разговорились. Был уже вечер. Рабочий день кончился. Из наркомата мы вышли вместе. Секретарша проводила нас недоумевающим взглядом.

Тихий ноябрьский вечер был так хорош, что Михаилу захотелось пройтись, и мы пошли вдоль Кремля. О чем мы говорили? Никогда я не могла бы вспомнить об этом. Единственное, что мне теперь ясно,— мы оба старались изо всех сил выставить себя в наиболее выгодном свете и незаметно выпытать побольше у собеседника. Цитаты из книг, обрывки своих и чужих мыслей перемежались с вопросами бесцеремонными и прямыми, как пункты анкеты.

Ответы Михаила, как и его воспоминания, которые я слушала на праздничном вечере, снова были посвящены его жизни и подвигам. Он вспоминал о побегах из тюрем и ссылки, о работе на заводе в далекие дни царизма, о том, как учился и получил диплом.

Михаил часто вставлял в разговор латинские поговорки, читал наизусть четверостишия Хайяма и Фирдоуси. Никогда я не знала раньше этих имен и прекрасной персидской поэзии.

— Я одинок,— сказал между прочим он. — Знаете, как пели мы в молодости?

Ох, ох, не дай бог с политикой знаться.
Не успеешь полюбить, надо расставаться.

В третий раз оттягивая расставание, мы подошли к моему подъезду, устав плутать по переулкам.

Я попросила у Михаила одну из незнакомых мне книг, счастливая, что у меня появился предлог для новой встречи. Была уже полночь, когда мы расстались. Я не сомневалась, что не встречала в жизни более интересного человека.

## МЕЧТЫ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Придя к Михаилу домой и очутившись в большой неуютной квартире, я невольно растерялась. После фронта, после общежития, где я провела немало лет, мне не случалось бывать в таких комнатах. Прошлась по большому кабинету, столовой, заглянула в спальню. Нигде ничего не свидетельствовало о присутствии женщины. Обрадовалась. Но вся обстановка квартиры показалась мне неприятно показной и, главное, случайной, точно в гостинице.

Древние китайские божки, средневековая керамика из Палермо, кувшины-термосы из Лондона, американские курительные приборы, разные века и разные по назначению вещи нелепо соединились здесь. Неразбериха и смешение эпох, стилей и сюжетов господствовали в картинах и книгах, громоздившихся на полках, на столах, в шведских шкафах. С трудом отыскав большое кресло, обыкновенное, не чванное, я поспешила забраться на него, как бы укрывшись от окружающего меня нашествия негостеприимных вещей. Захотелось своей, но по-иному обставленной квартиры, уединения в семье, захотелось устроенной, налаженной жизни. Ведь все эти годы, словно в пути, я ждала все новых и новых пересадок.

Мне подумалось, что Михаил поселился когда-то в этой до него устроенной квартире, носящей и теперь отпечаток чужого вкуса. Зачем ему все это? Душно в этих загроможденных вещами комнатах. На одном из столиков я увидела несколько комплектов шахмат. Тут были китайские резные фигурки из слоновой кости, деревянные с забавными изображениями солдатиков, крепостей и королей, крошечные из какого-то ценного металла. Михаил заметил мое удивление и с гордостью стал показывать свои коллекции марок и гравюр.

— Зачем вам это? Отдали бы для общего пользования, в музей, что ли,— вырвалось у меня. Я решительно не понимала этого человека. Но он так радовался своим безделушкам, что у меня невольно рассеялось недоумение.

За ужином Михаил удивил меня своим умением хозяйничать, приготовлять пищу, накрывать на стол, как-то особенно раскладывая по тарелкам закуски и сласти.

После ужина он закурил трубку, похваставшись заморским табаком, и заговорил о себе. Он заметно оживился, и снова я была увлечена его рассказами.

Внимание Михаила кружило мне голову и не хотелось задумываться над тем, к чему это могло привести.

В эти дни радостного возбуждения я заболела и очутилась в больнице. Подруги по институту навещали меня, но это не спасало от острого чувства одиночества. Подолгу перебирала я несложное прошлое.

Мои представления о любви в то время уже сложились. Маркс и Женни Вестфален, Ленин и Крупская — вот чья взаимная любовь казалась мне образцом для коммуниста.

Как счастливы были эти люди в браке. Всепоглощающее чувство любви помогало им жить, защищало от недругов, учило служить идее, народу. Полюбив однажды и навсегда, они обрели свободу, которой никогда не находят те, кто мечется от одной привязанности к другой. Кто из нас не мечтает и не ищет такой совершенной любви?

«Может быть,— надеялась я,— Михаил тот человек, с которым я смогу быть счастливой до самой смерти, всегда, везде, в горе, в борьбе, в покое».

Воспоминание о Михаиле заставило мое сердце забиться по-особому. Поглощенная этими мыслями, я отвернулась от окна и внезапно увидела его.

В белом халате он стоял передо мной в больничном коридоре. Удивление и радость были так велики, что я не стала допытываться, случайно ли мы с ним встретились.

— Очень хорошо, что я вижу вас здоровой,— сказал он ласково, порылся в портфеле и протянул мне книгу и нарядный блокнот.

Мы сели на скамью. С детства скопившаяся нерастраченная нежность вдруг захлестнула сердце. Михаил стал

расспрашивать о моей жизни, и я поведала ему о своих мечтах, о самых сокровенных думах и желаниях.

Когда он ушел, воображение, как в детстве, услужливо воссоздало то, к чему я стремилась, чего хотела. Михаил Козинцев, расцвеченный любовью, стал в моем представлении лучшим из людей.

И в тот же день пришел ко мне в больницу брат Михаила. Чем-то озабоченный, он и не заметил, какой восторженно-счастливой была я. Вывалив передо мной груду заботливо собранных гостинцев, Георгий тяжело опустился на стул.

— Вчера до поздней ночи был на партийном собрании. Жаль, что ты хвораешь... Да, братец ты мой, Наталка. Трудно... Совсем недавно Ленин наголову разбил рабочую оппозицию, и, казалось, критиканы поуспокоились. Да вышло, что ненадолго. Троцкий снова атакует партию.

Георгий сообщил мне о письме Троцкого в ЦК, о брошенном им и его сторонниками вызове партии, о возникшей в связи с этим партийной дискуссии. И сразу же все личное отступило. Партия, ее заботы, ее будущее — вот что поглотило меня. Всю ночь я не могла уснуть. Как когда-то на фронте, меня раздирало мучительное беспокойство, желание действовать, бороться.

Через несколько недель, выписавшись из больницы, я первым делом пошла к Михаилу. Но, войдя к нему, сразу почувствовала какую-то необъяснимую неловкость, отчужденность. О политической борьбе, поднятой оппозиционерами, Михаил говорить отказался. Поморщившись, он сухо заметил, что обо всем этом я смогу подробнее узнать в своей партийной ячейке.

— Дома в часы отдыха я хочу забыть обо всем, даже о революции,— добавил он и притворно зевнул.

С тяжелым чувством провела я столь долгожданный вечер. Мне казалось, я чего-то не понимаю. Может быть, Михаил сложнее меня. Но вместе с тем раздражало его пристрастие к безделушкам, хотелось высмеять это ребячье увлечение игрушками. Не понимала я и его отношения к себе.

— Вы меня любите? — спросила, когда он вдруг обнял меня и поцеловал.

— Надо думать. Иначе зачем бы я звал тебя. Мне с тобой хорошо.

Это был ответ эгоиста, но, как всегда в последнее время, я стала подыскивать объяснения тому, чего не могла понять. «Он скрывает, проверяет меня и себя. Разве такие люди могут поступать необдуманно»,— мелькнула мысль, за которую я уцепилась, как за спасение.

И в эти же дни моих душевных неурядиц и метаний в университете на партийном собрании началась дискуссия по письму Троцкого и выступлениям его приверженцев.

Ленин был в это время тяжело болен. Мы все надеялись на его выздоровление и ежедневно ждали обнадеживающей весточки из Горок. Но ждали напрасно.

В университете мы не были спаяны так крепко, как на рабфаке. Многие мои однокурсницы уже вышли замуж, жили семьями; ушли из общежития и те, которые совмещали учебу с работой.

Вспыхнувшая в партии дискуссия сразу же объединила некоторых из нас, а с другими совсем разделила.

Мы приходили в эти дни в сумрачную прохладную аудиторию факультета задолго до начала собраний и жарко спорили. Мне подчас становилось тяжело и страшно оттого, что некоторые мои товарищи по курсу, как мне казалось, попросту жонглировали в этих спорах словами.

— Вы погубите все, чего мы добились, принеся столько жертв! — кричала я. В их речах мне слышались отзвуки мыслей Валерьяна и, что было еще чудовищнее, напыщенные фразы Петра Петровича.

Некоторые мои однокурсники говорили о необходимости какой-то иной, такой же как в буржуазных странах, демократии, об отрыве партийного аппарата от масс, они противопоставляли молодежь будто бы переродившимся старым кадрам. Я не могла понять, заблуждение ли это, охлаждение ли к борьбе за коммунизм или измена, и душевно металась в поисках истины. Так недавно кончилась гражданская война, на Волге крестьяне еще голодали, бедняки и середняки дрались с кулаками, выжидательно и хищно сгрудились вокруг Советского Союза империалисты.

Демократия! Я стояла на кафедре, волнуясь и подыскивая слова, и говорила притихшему собранию:

— Мы ли боимся свободы и правды? Нет! На процесс левых эсеров мы допустили Вандервельде и представителей враждебного нам Интернационала. В своих общежи-

тиях, в зале Политехнического музея мы смело говорим обо всем, что нас тревожит. Мы издаем мемуары Витте, переписку Романовых. Мы ничего не боимся. Мы обсуждаем малейшее сомнение, возникшее в нашем сознании. Разве переход к нэпу не свидетельство нашей безграничной силы? Не бояться отступить и при этом победить, понимать свои ошибки и учиться на них — вот в чем подлинная большевистская правда!

Я привела чудесные слова из речи Ленина на XI съезде РКП(б): «Пролетариат не боится признать, что в революции у него то-то вышло великолепно, а то-то не вышло. Все революционные партии, которые до сих пор гибли,— гибли оттого, что зазнавались и не умели видеть, в чем их сила, и боялись говорить о своих слабостях. А мы не погибнем, потому что не боимся говорить о своих слабостях и научимся преодолевать слабости». Вот что такое советская демократия! Но позволять клеветать на нас, позволять подрывать наши силы, наше великое единство, демагогически настраивать молодежь против старшего поколения, отдавшего жизнь, лучшие годы за нас, молодых, настраивать партию против ее же станового хребта, аппарата,— это безумие, заблуждение или злой расчет. На эту удочку, брошенную мелкобуржуазными ловцами, попадутся лишь те, у кого слабые душонки или затаенная вражда в умах!

Я сошла с трибуны и уселась на задней скамейке аудитории.

Мне вспомнились в эти минуты два брата Козинцевы, Павел, Ольга, Александр Сапегин, Валерьян Зубов. Разные люди, разные судьбы. Но из всех только Валерьян бежал из строя, да вот еще Михаила Козинцева я не вполне понимала. Не понимала, но хотела ему верить.

Шли недели. Михаил то приближал, то отдалял меня от себя. Самолюбивая во всем, я, однако, беспрекословно подчинялась ему. Он все еще казался мне лучшим из всех, кого я знала. Ту пропасть, которая лежала между нами, я наполняла иллюзиями, наивной верой в то, что биография человека — оттиск его души, патент на доверие.

Однажды, проснувшись утром, я почувствовала особенное уныние. С горы, на которой стоял дом, где жил Михаил и где я провела эту ночь, вдали были видны на рельсах окружной железной дороги красные товарные

вагоны и такого же цвета кирпичные корпуса. Над всем этим висело небо, будто скверно подсиненная тряпка с оборванными краями.

Михаил брился. Я, притворясь спящей, из-под приспущенных ресниц стала разглядывать лицо этого первого близкого мне мужчины. Какой он? Спокойный, равнодушный, самодовольный.

— Проснулась? — спросил Михаил, отодвигая мыльницу и как бы избегая называть меня по имени.

— Проснулась,— ответила я и беспомощно оглянулась. Все было вокруг такое чужое и равнодушное. Потянувшись за платьем, висевшим на стуле, я опрокинула что-то и растерялась чуть не до слез. Даже вещи здесь недружелюбно относились ко мне.

За завтраком Михаил снисходительно коснулся моей щеки рукой, пахнущей мылом.

Мне вдруг захотелось укусить эту руку, но я сдержалась.

— Вот что, девочка,— сказал он, видя, что я собираюсь уходить. — В этом доме меня отлично знают... Здесь столько кумушек... Было бы лучше и для тебя не давать повода к болтовне. Неудобно нам вместе выходить с парадного хода. Не пойми меня ложно, но... ты видела дверь на кухне... — Он замялся.

Я поняла и покорно кивнула.

Лестница черного хода была полутемная и сырая. Каменные ступени показались мне липкими, я ступала точно по мху.

Таким было начало женской моей жизни.

Когда я прошла пустой каменный двор и вышла на улицу, мимо меня проехал автомобиль. Я узнала Михаила. Он сидел самодовольный, слегка обрюзгший. Едва заметно кивнул головой и, приподняв руку в перчатке на уровень подбородка, пошевелил пальцами в знак приветствия.

Автомобиль свернул за угол и скрылся. В большой витрине я увидела свое отражение. Коричневое пальтишко, полуботинки, густо покрытые грязью, в руке ветхий портфельчик, с которым я прямо после занятий вчера пришла к Михаилу.

Только на мосту через Москву-реку, по пути домой, я овладела немного своими мыслями и принялась обдумывать случившееся.

Обида, перенесенная только что, ныла в каждой клеточке тела. Отвратительная тоска охватила мозг.

Зачем жить? Как жить, потеряв доверие к любимому человеку? Да и что такое доверие? Человек, чья биография казалась мне залогом добра, оказался крохотным недобрым себялюбцем.

Мысли путались. Во мне было оскорблено достоинство женщины. Но как отомстить тому, кто не любит? Я стояла на мосту, с трудом преодолевая страх осознанного бессилия, усталость, желание умереть.

Решения менялись и уплывали, как осенняя вода реки подо мной.

Что, если зачеркнуть случившееся, как будто ничего не было. Или отомстить? Но он неуязвим из-за того, что не любит. Тогда заставить его любить. Пробудить в этом расчетливо-холодном сердце нежность, привязанность, заставить этого человека, боящегося огласки, всюду говорить о своей любви...

Эта мысль показалась мне смелой, в ней было спасенье, в ней было чувство собственного достоинства.

Сердце твердило: заставь его полюбить тебя!

И началась извечная, как сама любовь, скрытая, упорная борьба. В жажде победы для меня сосредоточивалось все: самоуважение, жажда мести, воля к жизни. Было ясно, что через кухонную дверь до меня выходили и другие женщины, но ни одной не удалось заставить признать себя, ни одна не вошла в его жизнь.

Прошла неделя после нашего сближения, а Михаил не искал меня. Я предвидела это. Видимо, он боялся упреков, жалоб, требований. Мне вспомнился дед, друг моего детства. Он говаривал: «Человеку отпущен рубль. Вот и решай — хочешь, купи за этот рубль большую любовь, а хочешь, разменяй его на сто медяков».

Так и не дождавшись зова Михаила, я сама зашла к нему в главк и долго ждала в приемной.

От моего мучительного зоркого взгляда не укрылась его недовольная гримаса, когда я вошла в кабинет.

— Здравствуйте, Михаил Николаевич,— как ни в чем не бывало промолвила я.

Он посмотрел на меня выжидательно, но я продолжала говорить, ничем не проявляя недовольства и не посягая на фамильярность. Постепенно его тревога рассеивалась. Он успокоился. Я рассказала ему с притворной

доверчивостью о новостях истекших дней, ни единым взглядом или намеком не касаясь нашей близости. Говоря, я как бы читала его мысли: «Эта девчонка не глупа, но крайне легкомысленна. Тем лучше. У нее нет самолюбия, и она легко усвоила мой намек на то, что ничего серьезного у нас с ней не может быть. Отлично, мне это нравится».

Таков или примерно таков был ход его мыслей. Вслух же он сказал мягко, понизив голос:

— Что ж, заходите. Я буду рад...

— Как-нибудь зайду,— ответила я.

Он снова недоуменно искоса взглянул на меня.

— Видишь ли,—сказал он внезапно,— нам нужно объясниться. Надо тебе сказать, что я терпеть не могу всякой этой любовной канители, которую выдумали женщины и писатели. Самая интересная женщина, да и мужчина надоедают друг другу не позже, чем через три месяца. Это факт проверенный. Зачем же тогда огород городить? Ведь для товарищеских добрых отношений нет нужды поселяться вместе и влезать в жизнь другого.

— А как же, если родятся дети? Ведь им-то нужны родители? — спросила я, едва сдерживая возмущение.

— Общественное воспитание, по-моему, значительно полезнее для ребенка,— не моргнув глазом, ответствовал Михаил.

На этом и закончился наш разговор.

## ВОЛЯ К ЖИЗНИ

Борьба, которую я начала, словно подстегивала меня. Никогда я не читала так много и так легко не запоминала прочитанного, как в этот период полной душевной и умственной собранности. Чем могла я поразить Михаила, много испытавшего, много видевшего? Юность моя была освещена заревом революции и войны. Кожаная куртка, грубая косоворотка, красноармейский шлем — таковы были недавние мои доспехи. Я пропахла дымом, запахом сена и смолистым ароматом леса.

Так же, как и большинство моих сверстниц, впервые ощутив блаженство равенства с мужчинами, я старалась во всем подражать им. Как и мои подруги, я была неуклюжей, угловатой и грубой. Теперь я вспомнила Варю, ее

ловкое умение нравиться и подумала о том, что была бы рада кое-чему у нее поучиться. В эту же пору я стала подолгу рассматривать себя в зеркале. Захотелось украсить, усовершенствовать то, что дала мне природа.

Болтливая парикмахерша с деспотическим пылом принялась за мою прическу. Ее похвалы придали мне бодрость.

Когда, приодетая и завитая, я пришла в общежитие, одни встретили меня презрительными улыбками, а другие одобрительными возгласами. Многим из моих сверстниц давно уже хотелось заменить кожаные куртки и сапоги красивыми платьями и туфлями.

Михаил, увидев меня в новом обличии, удивленно приподнял брови и о чем-то напряженно задумался. Весь вечер я ловила на себе его внимательный и недоуменный взгляд. Это повторялось и во время дальнейших наших встреч. Но отношения мои с Михаилом по-прежнему казались мне унизительными. Я приходила по первому его зову, стараясь ничем не выдать нараставшего раздражения, и по-прежнему уходила через кухонную дверь.

Михаил любил рестораны. Он водил меня в самые нарядные и усаживал под искусственными пальмами, на листьях которых лежал слой бурой пыли. Играл оркестр, на эстраде по временам появлялись певцы.

— Как расцвела Москва со времени введения нэпа,— говорил Михаил, оглядываясь на проходивших мимо нарядных женщин.

Возвращаясь после таких вечеров в общежитие, я не могла преодолеть тревожного беспокойства, а в ушах у меня еще долго звучали песни о Коломбо, алжирских зуавах и увядших розах.

* * *

Со времени моего сближения с Михаилом я почти не виделась с его братом и была этому даже рада. В самом деле, что я могла сказать Георгию, если бы он стал укорять меня за мою любовь к человеку, который так мало меня уважал?

Поймет ли он, что у меня есть самолюбие и все дело в том, что я не могу порвать с Михаилом, пока не разберусь в себе и в нем до конца.

Как-то утром Георгий зашел ко мне. Выложив на стол пакеты с хлебом, маслом и колбасой, он уселся на стуле у моей кровати.

— Я хотел бы поговорить с тобой,— начал он, сильно заикаясь. — Дело в том, что в последнее время ты стала какая-то другая. Не смотришь в глаза, потемнела, осунулась. Не нужно ли тебе чего? Может, беда какая-нибудь у тебя стряслась? Признавайся! — Он решительно взял мою руку и продолжал, точно пересиливая себя: — Я ведь люблю тебя, с первого знакомства люблю, понимаешь ты это?

Что мне было делать? Задаваться вопросом о том, почему я полюбила Михаила, а не Георгия, было поздно. Но Георгию я не могла лгать. Он должен был знать все. И я безжалостно рассказала ему обо всем, что со мной случилось.

Он слушал меня, не произнося ни слова, глядя в сторону и все ниже опуская голову.

— Ты, верно, презираешь меня, удивляешься моему безволию? — закончила я. — Ты разлюбишь меня теперь, не правда ли?

— Нет,— тихо отвечал Георгий. — Все мы люди, все человеки. А то, что нас подчас не ценит плохой человек, не умаляет нашего человеческого достоинства. — Помолчав, он добавил: — Как же это Михаил счастье свое упускает? Душой, видно, мелок. И как случилось, что я ничего не заметил? Мало я вашего брата, женщин, знаю. Некогда было приглядываться. То в тюрьме, то в подполье. Но если бы я знал, что ты счастлива, я бы как-нибудь пересилил себя. Скверно, что ты тоже несчастна. — Он все сильнее заикался. — Ведь если я скажу тебе: Наталка, милая, забудь его,— ты можешь подумать, что я говорю это из-за того, что ты его предпочла мне... Я ведь то, что называется лицо заинтересованное. А хочется быть беспристрастным. И я хочу тебе счастья, только счастья.

Не скоро ушел от меня Георгий. О многом мы с ним переговорили, и в конце концов он, видимо, понял, что я еще надеюсь и люблю Михаила.

Связь наша действительно продолжалась, но Михаил неизменно вносил в мою жизнь давящую напряженность. При нем мои мысли блекли, он утомлял меня и оскорблял, часто сам этого не понимая.

Как-то он предложил мне поселиться в соседнем доме.

— Ты будешь ближе ко мне. В общежитии мне неудобно бывать у тебя. Стипендии недостаточно. Я буду давать тебе на квартиру нужную сумму. Не стесняйся. Сколько тебе нужно ежемесячно? Для меня ведь это пустяк.

Я задрожала от негодования.

— Спасибо, я предпочитаю оставаться твоей любовницей по-прежнему без оплаты.

Михаил уже не казался мне ни загадочной, ни могучей личностью. Некогда он породил во мне иллюзии, он же их теперь и разрушил.

— Тебе, как всегда, нужны острые углы, любовная морока, слова, чувства, преувеличения,— сказал он. — А я устал и хочу покоя.

Теперь, когда я сама начала кое-что понимать, мысли Михаила, раньше удивлявшие меня, казались пустыми.

Михаил совершенно не интересовался моей жизнью. Отношения наши он тщательно скрывал и когда звал меня к себе, то старался, чтобы никто другой не зашел к нему в эти часы. Я не знала его друзей, он не делился со мной ни своими заботами, ни делами.

Однажды, незваный, пришел к брату Георгий и увидел меня. Михаил растерялся, засуетился.

— Вот твоя знакомая зашла за книгой. А может быть, вы условились у меня встретиться?

Георгий брезгливо поморщился и перевел разговор на другое.

Оба брата были пылкими шахматистами и вскоре принялись за игру. Михаил играл лучше, и Георгий, все более раздражаясь, проигрывал партию за партией.

— Слабенок ты в теории. Учиться надо, а ты все практикой увлекаешься,— вдруг сказал Михаил. — Дальше своей фабрики ничего не видишь и не понимаешь.

Георгий мгновенно вспылил.

— Мы с тобой в революцию шли, не думая о теории,— проговорил он взволнованно. — Ребята учатся говорить раньше, чем узнают грамматику, и говорят обычно правильно на родном языке. Революция, коммунизм для нас родной язык, без них мы бы остались немыми. Я на фабрике учусь управлять государством так же, как учился марксизму с братом Петром в подполье и в тысяча девятьсот семнадцатом году. А ты вот, родной мой, поза-

бываешь пролетарский язык. Я таким, как ты, быть не хочу!

— Понятно,— огрызнулся Михаил. — Сводишь счеты на личной почве? — Скверная улыбочка появилась на его красивом лице.

Георгий побледнел, как-то сразу осунулся и, ни на кого не глядя, быстро пошел к двери.

Я побежала за ним, но так и не догнала его ни на лестнице, ни на улице.

## РАВНОДУШИЕ

В эти тяжелые, путаные дни внезапно приехал Сапегин, работавший хирургом в большой больнице одного из южных городов. Он горячо и увлеченно рассказывал мне о своей работе, о проделанных им операциях.

— Представь себе заворот кишок — больной одной ногой в могиле. Юноша, шахтер. Доставлен на операцию с опозданием. Началось омертвение кишок. Понятно ли тебе ощущение врача, в руках которого в прямом смысле слова человеческая жизнь? Это вам не терапия, тут риск, величайшая ответственность перед своей совестью. Малейшая рассеянность, неосторожность — и зарежешь человека. Возможно, что с годами сухой профессионализм охладит, засосет и меня, но пока каждый оперируемый вбирает часть моей души. Ольга — такой же энтузиаст хирургии, как и я.

— Вы с Ольгой счастливые, нашли, чем и как жить. Но что привело тебя в Москву?

Александр Иванович хмурится и отвечает как-то необычайно робко:

— Я нашел кое-что новое в методах консервативного лечения ран.

Принявшись объяснять мне свое открытие, он добавил печально:

— Мои собратья-медики поднялись на меня войной. Сожгли бы, пожалуй, на костре, да не так легко. Мы ведь не из тех, кто сдается, когда уверены в своей правоте. Теперь мне нужен совет опытных специалистов.

Я решила познакомить Сайку с Михаилом. Он так много мог сделать для него. Мы отправились в главк и были приняты.

Михаил покровительственно слушал Сапегина, а я, сидя поодаль, невольно сравнивала их обоих.

Несмотря на то что Александр Иванович давно покинул родную рязанскую деревню, свежесть полей и березового леса навсегда сохранилась в его облике. И сейчас словно милый запах молодого сена исходил от его кудрявых, едва расчесанных волос, когда с доверчивой искренностью и надеждой он рассказывал Михаилу о своей работе и научных исканиях.

— Это может умножить силы организма в борьбе с любой инфекцией. Я уверен, что прав. Мне бы только хорошую лабораторию и контакт с учеными, разрабатывающими смежные, тесно соприкасающиеся области в эндокринологии и хирургии,— говорил он, волнуясь.

Но боже, с какой чванной и скучающей миной слушал все это Михаил.

Нетерпеливо постукивая пальцем по сукну стола, он заговорил об экспериментах рокфеллеровского института, о Цондеке, о каких-то других, едва ведомых мне и Сапегину прославленных врачах.

Сапегину оставалось лишь молча слушать вельможного собеседника.

Торопясь отделаться от нас, Михаил закончил:

— Я не врач, я только руководитель учреждения, но все, что вы здесь изложили, как-то попахивает кустарщиной. Где-то в глуши, без должной подготовки вы что-то такое открыли... Как-то все это по бабке-знахарке. А медицина, знаете ли,— наука точных знаний. На догадках, эмпирике, дедовских средствах тут далеко не уедешь.

Глаза Сапегина стали как густые серые тучи. Он встал.

— Вы начали с того, что вы не врач, но сейчас же изрекли приговор моей идее, исходя из научных выводов,— сказал он глухо.

— Хорошо. Поставим ваш доклад на обсуждение в соответствующем научном учреждении,— важно кивнул головой Михаил.

Попросив Сапегина подождать меня в приемной, я осталась в кабинете.

— Вы оба большевики,— сказала я горячо. — Сапегин не бабка-знахарка и не пустомеля. Он имеет право на внимательное отношение к его работе.

Михаил пробурчал что-то невнятно.

Я невольно отступила перед столь откровенным безразличием к судьбе человека.

Сколько начинаний, надежд, творческих замыслов разбивалось о камни такого вот равнодушия! Но имеет ли право член партии быть таким безучастным к людям, к их нуждам?

До самого дома шли мы с Сайкой молча. Он, как некогда в Крыму на пляже, проходя по скверу, носком ботинка ловко подкинул камешек, и тот прыгнул в его подставленную ладонь. Он сунул его в карман и принялся демонстрировать этот фокус обступившей его детворе. Каким точным чутьем дети угадывали в широкоплечем, сильном и внешне суровом человеке истинного своего друга. Александр Иванович подзывал к себе ребят одного за другим, давал им клички, шутил, вызывая их громкий смех.

С трудом мы вырвались из детского круга. И снова наступило молчание. В моей комнате Сапегин вынул из кармана камешек.

— Этот достопочтенный индюк, к которому ты меня водила, думается мне, похож на этот камень.

Я принялась защищать Михаила. Рассказала о лучшем, что знала из его прошлого, но Сайка остался непреклонным.

— За прошлое спасибо, но теперь он мешает. Это человек в двух измерениях.

Неожиданность и точность вырвавшегося у моего друга определения поразили меня.

— Как, как ты сказал? — переспросила я, чувствуя, что сердце у меня заныло, точно больной зуб.

— В этом человеке два измерения: ширина — он уже тучен и длина — он высок ростом и положением. Вот и все.

— А третье?

— Глубины в нем не осталось. Жалею тех, кто к нему близок.

«Я!.. Я!..» — хотелось мне закричать, но стыд помешал мне. Признание, какое я однажды сделала Георгию, было мне теперь не под силу. Я прижала к груди диванную подушку и ничего не сказала.

Утром следующего дня меня вызвал Георгий. Табачная фабрика, на которой он работал секретарем партийной ячейки, несколько лет бездействовала. Преодолевая разруху, медленно восстанавливались цехи, вводились в

строй заново отремонтированные станки. Совсем недавно дом, в котором прежде жил фабрикант, превратили в клуб. Там я впервые увидела Михаила.

Георгий попросил меня помочь в устройстве медпункта на фабрике. Краснопресненский райздрав охотно направил меня в помощь опытной фельдшерице Марии Ивановне, работавшей там постоянно. Правда, я немало времени отдавала практическим занятиям в клинике, но это не казалось мне серьезным препятствием. «Раз надо, значит, надо»,— думала я.

Под медпункт отвели маленький флигелек на большом фабричном дворе. Трудно было мне и Марии Ивановне, маленькой, одутловатой от болезни сердца, шестидесятилетней женщине, привести две почерневшие от копоти комнаты с разбитыми дверьми в пригодный для приема больных вид.

Но мы обе не зря прошли школу гражданской войны. Трудности подхлестывали нас, умножали наши силы. Отмывая многолетнюю грязь и беля стены, мы видели, как с тем же упорством такую же работу делали для нас во дворе и в цехах другие. Нелегко было нам получить стекло и починить пол, но рабочие, довольные тем, что вместо нерегулярно посещающего их медработника у них будет постоянно лечебный пункт, помогали нам во всем. Через два дня запущенный, ветхий флигель стал неузнаваем. Правда, огромный фабричный двор был все так же мрачен и грязен, но на окнах медпункта белели накрахмаленные занавески.

Из красного уголка я унесла и повесила в приемной портрет Ильича, поставила вазон с фикусом, после чего принялась собирать медицинский инвентарь и необходимые лекарства.

И наконец, облачившись в белые халаты, мы с Марией Ивановной принялись за осмотр больных.

И все же Георгий был недоволен нами.

— В профессоров превратились,— сказал он сердито. — Трубочки, пробирочки, скляночки — это хорошо, но вот о профилактике вы совсем позабыли. У вас-то чистота, а что вокруг, то вас не касается?

Он был прав. Унылое открылось нам зрелище. Помещения, построенные в начале века фабрикантом, были отвратительны. Не хватало света, воздуха. Табачная пыль разъедала легкие и вызывала у людей неукротимый

кашель. Мне стало понятно, почему на старых табачных фабриках рабочие, особенно молодые, в течение нескольких лет погибали от туберкулеза. Я вспомнила рассказы Ольги о ее тягостном детстве.

— Вот оно, проклятое наследство дореволюционной России,—сокрушался Георгий.—Страшно подумать, сколько нам еще предстоит тяжелой работы!

## ПОРАЖЕНИЕ—ПОБЕДА

В эти же дни произошло заседание «избранных», на котором Сапегин сделал доклад о своей работе. Присутствовало несколько видных специалистов. Все они носили известные, чтимые в медицинском мире имена. Один из них, профессор Ахов, имевший свою школу-лабораторию, творил чудеса с помощью никому не известных засекреченных, таинственных препаратов. Профессор был очень худ и неврастенически подвижен, причем двигалось у него все: руки, ноги, голова, даже уши. Его очки скрывали очень увертливые и тоже весьма подвижные глазки. Никто точно не знал, где и когда он учился. Он появился как-то внезапно после гражданской войны и начал преподавать в институтах и врачевать в больницах, так нуждавшихся в те годы в опытных врачах. На лекциях он щеголял иностранными фамилиями, кого-то чудодейственно вылечил, и скоро его имя воссияло, прославляемое откуда-то вынырнувшими апостолами, которых он в свою очередь поддерживал.

Взглянув на Сапегина, Ахов подвигал очками, раздул ноздрями, помахал кудлатой головой и отрывисто забормотал:

— Рад. Наша смена. Слыхал. Смело, смело, однако надо помнить, что медицина не какой-нибудь опиум для народа.

— Совершенно верно, коллега,— согласился с ним профессор Боков, не вполне усвоив, впрочем, что хотел сказать Ахов.

Профессор Боков был человек, не возглавлявший никакой лаборатории, не претендующий на величие, но действительно знающий то, чему учился и учил. Болезни печени и желчных путей он изучил в совершенстве. Ему было около семидесяти лет, и жил он в мире великих те-

ней. Пирогов, Захарьин, Высокович то и дело воскресали в его думах и словах. Он был так близко связан с ними, что всегда говорил о них в настоящем времени: Захарьин считает, Пирогов думает, Высокович делает. Добросовестный, отличный практик, он был искренне уверен, что является последним хранителем великих традиций в русской медицине.

О Сапегине он заранее решил, что работа его ересь и невежество. К тому же профессор Боков считал человеческий организм незыблемо определенным от природы и вообще порицал искания в области переливания крови.

Внешне профессор Боков был похож на знаменитого оперного певца. Вкрадчивый, бархатный голос, которым он играл свободно и уверенно, превосходно сшитый костюм, не сходящая с лица улыбка и ласковость обхождения — все было в нем приятно, но как-то не заинтересовывало. Ко всему, что его не касалось, он был подчеркнуто безразличен.

Совершенно не интересуясь Сапегиным, он с самой обворожительной улыбкой пожал ему руку и, назвав дорогим коллегой, пожелал успеха.

Последними в зал заседания вошли двое, в которых Сапегин со свойственным ему чутьем угадал иную человеческую породу. Один из них был немолод, второму же было не больше тридцати лет. Боков сразу же принялся своим прелестным баритоном рассказывать Сапегину о вошедших. По его словам, тот, что был помоложе, многого достиг в области изучения желез внутренней секреции, другой, постарше, был виднейший хирург. Сапегин давно знал его имя и почувствовал радость оттого, что сможет рассказать ему о своих опытах. В обоих ученых не было ничего особо примечательного, и все же они резко отличались от тех, что пришли раньше. Ни фальшивого дружелюбия, ни деланных улыбочек здесь не было и в помине. Скромность и глубокий интерес к делу чувствовались даже в их внешнем облике. Естественность их не могла не привлечь. Сапегин, одинокий среди «павлинов», как он про себя обозвал окружающих, подошел к ним. Завязалась беседа, в которой, как ему показалось, он нашел понимание и сочувствие.

Вошел Михаил. Он напоминал манекен из магазина готового платья. Пять или шесть государств снабдили его

предметами туалета. Поглядев на него, профессор Ахов сказал на ухо профессору Бокову:

— В Козинцеве, хоть он и большевик, совершенно нет ничего плебейского.

Большей похвалы от него нельзя было услышать.

Заседание началось. Когда часа три спустя оно кончилось и Сапегин вышел на улицу, ему показалось, что липкая, сладкая, грязная жижа, которой его пытались облить, проникла в мозг и склеила мысли. Его преследовало хихиканье вертлявого профессора Ахова. Он вспомнил, как Михаил дважды оборвал старого хирурга, пытавшегося сказать что-то в защиту нового открытия. Сапегина обвинили в плагиате.

— Это же Цондек, коллеги, это Штейнах, не говоря уже о Воронове! — кричал Ахов.

— Да ведь все, что мы слышали,— шаманство! — заявил Боков. — Во всем этом та же путаница, что у защитников тибетской медицины.

— Непонятно, и тем более для врача-коммуниста. Я хоть и не врач, но вижу, что все это вреднейшая путаница,— резюмировал обсуждение Михаил.

* * *

Несколько дней спустя я прихворнула, пришлось посоветоваться с врачом. Он рассеял мои сомнения. Мне предстояло стать матерью. Я почувствовала себя на мгновение раздавленной этим открытием. Как мне следовало поступить? Радостью было бы ожидание ребенка вдвоем с мужем. Но теперь? Я ведь знала, как отнесется Михаил к моему сообщению. Снова возникло против него чувство злобы, даже брезгливости. Ведь наш ребенок будет так же далек ему, как и я. Горечь и радость переплетались в моей душе. Ну что ж, выращу свое дитя сама, если нет со мной человека, который полюбил бы его так же, как я.

К вечеру я попросила Георгия зайти ко мне, но не призналась ему, почему рассеянна и задумчива. Приятно было смотреть на то, как он кипятит чай, исправив предварительно чайник, как движется по комнате, преданный и заботливый. Я принялась читать ему вслух газету, чтобы только нарушить тишину.

В это время позвонили у входной двери. Я бросилась открывать. Это был почтальон.

Редко я получала письма, и долго я стояла в передней, вглядываясь в незнакомый почерк. Кто бы это мог быть? Большие торопливые буквы Ольги я знала отлично. Письмо было не от нее.

Только когда Георгий ушел, я решилась вскрыть сиреневый конверт.

Прочтя первые строки, я услышала неистовое биение своего сердца.

«Наталка, голубка моя. Я не мастер писать письма и любить, как видно, тоже. Но ты давно не приходишь, и, представь, меня обуяла тоска. Если ты помнишь, однажды я предлагал тебе поселиться по соседству со мной. Ты не согласилась и что-то такое наговорила мне тогда о своем нежелании быть моей любовницей. Ну что ж, может быть, ты согласишься на другое. Будь, как говорится, моей женой. Не всегда я был хорош к тебе и, верно, сам того не желая, обижал. По правде сказать, я не люблю всякой там любовной мороки, которая так нравится молодым женщинам. Я хочу покоя и думаю, что мы с тобой сможем жить, не мешая друг другу. Недавно ты сделала мне несколько справедливых упреков. Ну что ж, сдаюсь и предлагаю — давай попробуем начать все сызнова. Любящий тебя Михаил».

Снова и снова я перечитывала написанное. Радость, появившаяся вначале, исчезла. Усталость наполнила мое сердце. Борьба за утверждение своего человеческого достоинства оказалась слишком тяжела для меня. Может быть, я и окрепла в ней, но, близко узнав Михаила, я его уже не любила.

Неожиданно с шумом распахнулась дверь, и на пороге появился Сапегин. Сидя спиной к входу, я увидела его в зеркале и привстала. «Свирепый или больной?» — подумалось мне. Сайка тяжело опустился на диван. Припухшее лицо его было багровым. Он положил на стол газету и провел пальцем по заголовку. В статье повествовалось о доморощенных открытиях «некоего» Сапегина. Сообщая о прискорбном явлении, имевшем место недавно, когда неведомо откуда взявшийся лекарь (именно так было написано) пытался протащить никчемную и крайне вредную лженаучную теорию, автор статьи разражался бранью по адресу моего друга.

* * *

В тот же вечер я пришла к Михаилу. На столе стояли цветы.

— Оставим предысторию,— заговорил он, поцеловав мне руку. — Будем считать, что наша дружба началась только сегодня.

Я уселась, поджав ноги, в большое кожаное кресло, где провела уже столько грустных часов. Все в этих комнатах было мне хорошо знакомо, во всем была частичка моих дум и моей печали. На мгновение мне захотелось сказать Михаилу, что у меня будет ребенок, но искушение быстро прошло, и я промолчала.

Михаил подсел ко мне. В лице у него снова появилось робкое и просительное выражение.

— Ты понимаешь,— сказал он с искренним удивлением,— мне тебя стало не хватать. И ночью и днем я испытываю потребность чувствовать, что ты рядом. Вот какая оказия со мной приключилась!

Он попытался обнять меня, но я отодвинулась и сказала каким-то удивившим меня самое чужим голосом:

— Не надо. Сделанного не исправишь. Я ни в чем не хочу тебя винить, но того, что сломалось, теперь не склеить. Дед мой когда-то говорил, что он жизнь свою уронил. Так вот и я любовь к тебе уронила на черной лестнице, вон там,— я указала на кухню,

— Какая чепуха,— возразил с раздражением Михаил. — Ведь теперь все будет по-другому. Какое все это имеет значение?

Мы посмотрели друг на друга как чужие. Я встала. Михаил засуетился.

— Мне казалось, что ты меня любишь, и я тоже привык к тебе,— сказал он тоном капризного избалованного ребенка.

Я с недоумением поглядела на него. Странное у меня было чувство. Я подумала о том, что месяцы нашей близости нисколько не сблизили нас.

— Твое бездушие порождает жестокость,— сказала я. — Подумай, что ты сделал доброго людям? Взять хотя бы твое отношение к молодому врачу, приехавшему за советом, за деловой помощью... Подлая статья, которую ты пропустил... может быть, даже сам написал. Нет,—

сказала я твердо,— я не стану твоей женой. Есть удары, которые наносятся в самое сердце. Они не забываются. Ты обидел не только меня. И стать твоей женой, зная заранее, что не будет у меня к тебе доверия и уважения, было бы нечестно, нам надо расстаться.

Сказав это, я вышла, не слушая всего того, что говорил Михаил, пытаясь переубедить меня.

* * *

Нелегко далось мне принятое решение.

Прошло несколько дней, а я все еще не могла прийти в себя и взяться за занятия.

Все это время я не видала людей и не читала газет. И только недели через две после прощания с Михаилом, преодолев терзавшие меня мучительные сомнения, я почувствовала себя спокойной. Мне захотелось снова быть среди людей, и с ощущением человека, выздоравливающего после тяжелой болезни, я вышла на улицу.

Вечерело. Стоял сильный мороз. И сразу же все вокруг показалось мне необычным. Воздух был пронизан чем-то зловещим, мрачным стал даже свет, лившийся сквозь замерзшие стекла фонарей и витрин.

Мимо меня в одну и ту же сторону шли толпы людей, голоса их звучали тревожно.

— Умер Ленин! — внезапно донеслось до меня...

...История, величавая, как жизнь и смерть, стояла на страже у гроба. Каждое мгновение рвалось ввысь, в вечность. Смерть Ленина возвела рубеж в жизни людей. Еще вчера мы знали — так говорит Ленин, сегодня никто больше не мог бы услышать его голос.

Кто из нас не мечтает об идеале, о вожде, которому можно всецело довериться, за кем можно идти. Кого из нас не пленяет образ предельного человеческого совершенства, образ человека, чьи поступки, слова, цели безупречны, полны силы, ума и благородства. Мы выискиваем образцы человеческого высокого стремленья в прошлом и настоящем и жадно рыщем по биографиям гениев. Человек, для которого раскрыт мир и вселенная, человек, окидывающий одним взором все закоулки земли, сердец и мыслей,— вот кого мы ищем повсюду.

Прошлое вечно живо оттого, что оно дает нам таких людей, какими хотели бы стать и какими должны быть и будут люди будущего.

Дым догорающих костров, сливаясь с морозным туманом, исчезал в пустом злом небе. Ленин умер. Сознание все еще сопротивлялось, отгоняло страшную правду. Шаги сотен тысяч людей по хрустящему снегу улиц, плачущий голос гудков и сирен, грозная печаль оркестров, деревянный мавзолей, и на нем одно всеговорящее слово «Ленин».

Ленин, энергии и ума которого хватало на все человечество, гений, пронзивший взором века, лежал здесь, поверженный смертью. Каждый шедший в эти дни к его гробу отдал бы за него свою жизнь, но даже миллионы жизней не могли бы продлить ни на секунду его бытия.

Мне казалось, что я живу в эти дни в черном, глубоком колодце. Все личное стало ничтожно-мелким и нестоящим по сравнению с глыбой горя, придавившей страну.

* * *

Весной 1924 года Георгий пришел ко мне, чтобы попрощаться перед отъездом,— я уезжала в маленький город работать врачом. Смущенно достал он из кармана пакет. Это была розовая погремушка из целлулоида с головой смеющегося бульдога.

— Твоему малышу. Помни, я люблю тебя и приеду, когда позовешь. Я жду!

— Спасибо. А сына я назову Георгием.

Всего неделю назад мы с Георгием проводили Сапегина. Он уезжал приободрившийся: борьба ему предстояла нелегкая, но вмешательство научных консультантов развеяло клевету. Работа Сапегина была признана ценной и важной.

Когда поезд тронулся и я осталась одна, мысли о будущем ребенке и о работе, которая предстояла, помогли мне собраться с силами. И снова, окрепшая и спокойная, я готова была идти вперед в сомкнутых рядах неутомимой армии коммунистов.

*1958*

# О других и о себе

## НОВЕЛЛЫ

Занимаясь историческими исследованиями, мы удерживаем душой память о лучших и самых признанных характерах, и это позволяет нам решительно отвергать все скверное, безнравственное и пошлое, с чем сталкивает неизбежно общение с окружающим миром, и обращать умиротворенный и успокоенный взор и мысль только на образцовое.

*Плутарх. «Сравнительные жизнеописания»*

# СВЕТ НЕУГАСИМЫЙ

## В. И. ЛЕНИН

Есть немеркнущие воспоминания в жизни каждого человека. Они, как звезды, освещают темнеющее небо ушедшего времени.

Два раза видела я Владимира Ильича Ленина: в Большом театре, в феврале 1921 года, во время исполнения Девятой симфонии, и позднее, на конгрессе Коминтерна в зале Кремлевского дворца.

Прошло несколько десятилетий, но в памяти звучат бессмертные звуки Бетховена и подле поблекшей темно-вишневой портьеры, прислонясь к стене, в темном пиджаке стоит передо мной живой Ленин.

Все мы, находившиеся на утреннем симфоническом концерте, были несказанно поражены и обрадованы тем, что рядом с нами Ильич. Он вошел с Крупской неожиданно, неслышно и долго стоял в глубине ложи, не желая кого-либо побеспокоить. Помню широкий, решительно протестующий жест выброшенной вперед руки, когда мы все поднялись, чтобы уступить свои места. Так и не сели Ленин и Надежда Константиновна, покуда не были внесены в ложу кресла.

С той минуты, как Владимир Ильич появился, я не могла более оставаться спокойной. Хотелось смотреть и смотреть на него, но было неловко. Когда зазвучал заключительный хор на слова оды «К радости» Ф. Шиллера, Ильич облокотился на барьер ложи, и я увидела его бледное, вдохновенное, сосредоточенное лицо. Он был весь во власти торжествующей, победной симфонии, заполнившей огромный театр, рвущейся прочь, сквозь камни, к небу. Ликующие, жизнеутверждающие аккорды

завершили финал, и музыка оборвалась. Не сразу, однако, рассеялось могучее очарование гениального творения Бетховена. Ленин как бы очнулся, встал, приветливо поклонился всем и, пропустив вперед Надежду Константиновну, вышел.

Это был счастливый день. Навсегда отныне Девятая симфония стала для меня музыкальным выражением не одного, а двух гениев.

---

Тринадцатого ноября 1922 года я снова не только увидала, но и услышала Владимира Ильича. Это было на одном из заседаний IV конгресса Коммунистического Интернационала в Кремле. Переполненный Андреевский зал был охвачен нетерпеливым ожиданием. Представители пятидесяти восьми коммунистических организаций мира ждали Ленина. Всюду слышалась чужеземная возбужденная речь. Владимир Ильич совсем недавно оправился после первого грозного проявления той болезни, которая вскоре свела его в могилу. Это волновало делегатов и гостей.

Я не отрывала жадных глаз от трибуны. Там, среди многих других, особенно выделялась прекрасная, в рамке голубовато-серебряных пышных волос, голова Клары Цеткин. Внезапно я услышала аплодисменты и пылкие приветствия, раздавшиеся где-то в конце длинного светлого зала. Ленин с Надеждой Константиновной и Марией Ильиничной появились не со стороны президиума, а из двери для публики. Меня поразила стремительность и легкость походки Владимира Ильича, живость его жестикуляции и мимики. Прекрасна была его улыбка в ответ на радостный гул, поднявшийся вокруг. Никто не дал бы Ленину, несмотря на недавно перенесенную болезнь, пятидесяти двух лет. Он выглядел значительно моложе и благодаря ширине плеч и пропорциональности сложения казался выше ростом, нежели был на самом деле. Пройдя вдоль стены через весь зал, Ленин поднялся на трибуну. Надежда Константиновна примостилась у подножия деревянной кафедры, за которой он встал. Я не сразу поняла, зачем она это сделала. Владимир Ильич выступал с речью на немецком языке. Его переутомленному мозгу нельзя было чрезмерно напрягаться, и на

случай, если память в какой-то миг не подскажет ему нужное немецкое слово, Крупская должна была стать переводчицей. Этого, однако, не понадобилось.

Едва Ленин заговорил, воцарилась глубокая тишина. Все замерли. Несмотря на плохое знание немецкого языка, мне казалось, что я понимаю каждую фразу.

Поразительны были не только экспрессия, четкая дикция, но и обаяние голоса и жеста этого бессмертного оратора. Безошибочно и сразу нашел он, как всегда, ту волну, которая лучше всего могла донести до аудитории его мысли и чувства. Факты, думы, провидение покорили слушателей. Лица их просветлели. Это было поистине интеллектуальное пиршество. Владимир Ильич говорил о пяти истекших годах Октябрьской революции. Речь его по времени почти совпадала с великой годовщиной победы. Он коснулся и будущего, которое принесет всем странам коммунистическое мировоззрение.

Лишь когда под ураган аплодисментов Ленин уходил с трибуны, я заметила, как посерело его лицо и как трудно он дышит. Видимо, он очень устал после своего выступления и тотчас же вынужден был покинуть заседание.

Прошло немногим более года. Весть о смерти Ленина зимним вечером облетела землю.

Есть черные даты в жизни людей. Они как затмение солнца. Снова увидела я Ленина, и снова оркестр играл Бетховена, но то были звуки трагического траурного марша. Свет люстр, окутанных крепом, как сквозь темную дымку тумана, освещал гроб, усыпанный кроваво-красными тюльпанами.

Уходя из Колонного зала Дома Союзов, как и часто потом, я тщетно старалась вспомнить тот час, когда услышала впервые об этом вечно живом человеке. Революция застала меня маленькой девочкой. Может быть, отец и мать, оба большевики-подпольщики, или уличный митинг, газета, плакат первые сказали мне о Ленине. Напрасные поиски. В моем сознании он жил всегда и стал частью самой жизни. Всем нам хотелось хоть чем-нибудь походить на Владимира Ильича, которого мы воспринимаем как воплощение человеческих идеалов. Обычные мерила ему не под стать. Он, так же как Маркс

и Энгельс, доподлинно человек революции, гениально выразивший требования своей эпохи, и вместе с тем человек будущего.

Ленин показал непревзойденные образцы смелой революционной борьбы, поведения в повседневной жизни, отношения к труду, мышления и неизменного единства цели. Это величайший гуманист, отдавший всего себя борьбе за счастье трудового народа.

Помню тяжкое утро, принесшее известие о провокационном убийстве немецкого посла Мирбаха левыми эсерами. Снова вокруг запылало страшное слово — война. Эсеры стремились к ней, и мир, добытый столь мучительно, казалось, мог снова рухнуть. От друзей я услыхала, что Ленин в черном костюме и цилиндре отправился тогда в немецкое посольство, чтобы принести свои соболезнования недавним врагам.

Нужно было спасти мир на благо Советской страны, и вождь ее нашел мудрейший выход. Владимир Ильич предотвратил войну в тот короткий исторический миг, который оставался до начала какой-либо военной акции...

Каждая, даже самая незначительная, бытовая деталь его биографии отражает высокую простоту, большое сердце. Владимир Ильич всегда думал только о других и ничего лишнего, особенного не хотел для себя... Вспоминаю, как Валериан Владимирович Куйбышев рассказывал о «головомойке», которую он получил в самом начале двадцатых годов от Ильича. Когда до Ташкента дошла весть о тяжелой болезни Ленина, члены Среднеазиатского бюро ЦК и Реввоенсовета фронта решили отправить ему свои охотничьи трофеи — тушки фазанов. Ильич, узнав о посылке, крайне осерчал, объявил, что считает это проявлением подхалимства, и приказал немедленно передать дичь Московскому военному госпиталю в Лефортове. Надежда Константиновна тайком решила оставить только одну птицу и сварила ее. Заметив грозный вопросительный взгляд больного Ильича, она, с трудом решившись на ложь, сказала, что бульон сварен из курицы.

Нельзя без душевного трепета и восхищения думать о той большой любви, которая связывала много лет Владимира Ильича с его женой.

Глубоко запал мне в душу рассказ старого большевика, сопровождавшего Ленина в одной из его поездок в

Петроград. Прежде чем направиться в Смольный, Ильич поехал к дому, в котором познакомился с Крупской. Там он вышел из автомобиля и некоторое время прохаживался по тротуару, поглощенный дорогими ему воспоминаниями.

Недавно одна из старейших коммунисток, Серафима Ильинична Гопнер, рассказала мне эпизод, который еще раз показывает, как дорога и нужна всегда была Надежда Константиновна Владимиру Ильичу.

Это было грозной, тяжелой и голодной весной 1919 года. В Москве собрался I конгресс Коммунистического Интернационала. Гопнер приехала с Украины, где в хлебе не ощущалось большого недостатка.

На заседании конгресса была и Надежда Константиновна. Она очень исхудала и выглядела больной. Гопнер решила уговорить Крупскую поехать отдохнуть на Украину и в перерыве между заседаниями сказала об этом Владимиру Ильичу. Ленин категорически воспротивился.

— Нет, нет, невозможно,— не задумываясь горячо возразил Ильич. — На Украине хоть и сытно, но неспокойно. Да и мне без Нади будет трудновато. — И опять повторил: — Нет, нет, уж лучше не надо...

— Было ясно,— добавила Серафима Ильинична,— что Владимир Ильич огорчился даже мыслью о разлуке с женой. Она была самым близким его другом.

В начале тридцатых годов в Лондоне я была в церкви Братства, где среди серых стен, под замшелой крышей в 1907 году работал V съезд Российской социал-демократической рабочей партии. На шатком стуле возле деревянного амвона сидел в дни работы съезда В. И. Ленин.

Гений обладает чудесным даром придавать окружающим предметам бессмертие. Ленин превратил в место паломничества ничем не примечательную молельню на окраине Лондона.

Основателем церкви Братства на Саусгейт-роуд был мистер Фелс — человек предприимчивый и своеобразный. Он владел небольшим мыловаренным заводом и пытался создать секту, которую назвал христианско-социалистической.

Случилось так, что в поисках помещения для заседаний организаторы съезда очутились на Саусгейт-роуд. Они обратились к главе секты с просьбой сдать им на несколько дней помещение. Фелс согласился. В качестве векселя он попросил подписать документ, в котором значилось, что социал-демократы уплатят ему за аренду, как только они придут к власти в России.

Ленин и все члены съезда подписали такое обязательство, и впоследствии Ленин выполнил его.

Мыловара уже не было, когда в двадцатых годах в Лондон приехала первая советская делегация. Она тотчас же принялась отыскивать его наследников. В живых оказалась жена. Ей полностью выплатили следуемые деньги. Миссис Фелс, в свою очередь, вернула расписку Ленина и других участников съезда.

К голубой стене старой церкви была прикреплена нашими делегатами белая мраморная доска: «В этом здании в мае — июне 1907 года под руководством Ленина заседал V съезд Российской социал-демократической рабочей партии большевиков».

В Лондоне я побывала и в другом историческом помещении, где часто работал Владимир Ильич,— в читальне Британского музея. За четырьмя миллионами книжных переплетов здесь собраны мысли, научные догадки, гениальные технические открытия, поэзия и проза многих столетий.

Читальный зал на протяжении более чем ста лет своего существования был любимым местом труда и отдыха политических эмигрантов. Его постоянно посещали Герцен и Огарев, изгнанники царской России; немало времени провел там за узким столом Золя, покинувший Францию после настойчивой, но неудачной вначале попытки спасти Дрейфуса, и многие другие, чьи имена не забываются.

В библиотеке Британского музея создавал свое гениальное произведение «Капитал» Карл Маркс. Многие часы проводил перед книжным пюпитром и Ленин.

Один из библиотекарей читальни, пораженный необычайной работоспособностью, скромностью и разнообразием интересов Владимира Ильича, навсегда запомнил его. Этот седовласый, благообразного вида, высокий старик рассказал мне, что Ленин с первой встречи чем-то

неуловимым так поразил его, что спустя почти двадцать лет он все еще не перестает вспоминать о том, как выдавал ему некогда книги.

— Мистер Ульянов быстро отыскивал в каталогах нужные ему книги, читал их очень внимательно, делая иногда выписки,— вспоминал библиотекарь. — Я всегда был уверен, что это большой русский ученый. Впоследствии я сразу узнал его по фотографии в газете и был очень рад тому, что он стал весьма знаменитым человеком.

И хотя «мистер Ульянов» остался для него таким же загадочным, как некоторые гениальные книги, к которым он прикасался, но не читал их, лицо библиотекаря освещалось счастливой улыбкой, когда он рассказывал о своем знакомстве с великим русским.

В тридцатых годах, когда я дерзнула начать работу над романом «Юность Маркса» и пошла к А. М. Горькому за советом, он долго говорил со мной не только о Марксе, но и о Ленине. В характерах обоих творцов научного коммунизма Горький находил сходные черты, в том числе оптимизм, бодрость, смелость, неизменную веру в конечную победу.

Мне посчастливилось в молодости познакомиться еще с одним большим человеком, с Роменом Ролланом, когда он гостил в Советском Союзе в 1935 году.

Среди величайших гениев Роллан особо выделял Ленина. Мысль Ленина, чистая и острая, как меч, рассекла сомнения знаменитого французского писателя. После долгих лет исканий и мук определил он для себя новый путь, по которому шел до конца жизни.

Нет нужды мне пытаться пересказать то, что говорил в личной беседе Роллан. Невозможно передать это лучше, нежели сделал он сам, когда написал: «Ленин весь — во все мгновения своей жизни — в бою. Все его помыслы неотделимы от того, что он увидел с наблюдательного пункта командующего армией во время боя, и служат успеху боя. Как никто другой, он воплощает в себе ту годину человеческой истории и деятельности, имя которой — пролетарская революция... Ему неведомы ни колебания, ни сомнения. В этом — источник его силы и торжество дела, которое он воплощал.

Весь арсенал ума — искусство, литературу, науку — мобилизует он для действия, все, вплоть до самых стихийных порывов, до подсознательных глубин существа, вплоть до мечты».

### Н. К. КРУПСКАЯ И М. И. УЛЬЯНОВА

Как и Ленин, Надежда Константиновна Крупская поражала своей удивительной скромностью. Она, казалось, стремилась не только ничем не выделяться, но и оставаться незамеченной. Когда бы я ни встречалась с ней, никогда не видела я ее одетой иначе, чем в утро незабываемого бетховенского концерта: белая просторная кофточка, темный сарафан. Непослушная прядка прямых волос, падающая на выпуклый лоб, внимательный взгляд и мелодичный, тихий голос — такой запомнилась она мне навсегда. Только ее волосы после смерти Ленина стали седыми.

Я была среди гостей в том же Большом театре 22 января 1924 года, когда там заседал XI Всероссийский съезд Советов. Внезапно страшная весть облетела зал: «Умер Ленин». Удар был ошеломляющим. Все с нарастающим отчаянием смотрели друг на друга. Заседание съезда было прервано. Делегаты поспешили из здания театра в Горки. Я увидела траурный флаг, взвившийся подле красных, которыми была украшена площадь, и поверила в страшное несчастье, обрушившееся на весь мир.

Есть потери, необъятность и горечь которых непрерывно постигается, углубляется временем.

...В Доме Союзов сквозь слезы смотрела я на траурный зал. Покорно увядали алые тюльпаны, обрамленные черными лентами. У гроба Ленина неотступно стояли Надежда Константиновна и ее самый близкий после Ленина друг — Мария Ильинична Ульянова. Надежда Константиновна всем своим видом олицетворяла безграничную скорбь, но отнюдь не отчаяние. На ее бледном лице не было слез. В эти часы страдания она оставалась мужественной и еще более твердой. Надо было не только в себе, но в ленинской партии, среди пролетариата всего

мира не допустить растерянности и уныния. Уже через несколько дней я увидела Надежду Константиновну выступающей с трибуны съезда. Она была отличным оратором. Четко, просто излагала она свои мысли, избегая вычурных фраз и какой бы то ни было искусственности. Призывая сомкнуть ряды и твердо нести вперед коммунистические знамена, она олицетворяла, как всегда, героический образ борца-коммуниста.

Кого из нас не пленяет предельное человеческое совершенство, гармоническая личность, полная ума, силы и благородства? Такими были Ленин и его жена. Мир хорош оттого, что дает нам таких людей, какими хотели бы быть мы, какими должны быть и будут люди будущего.

С Надеждой Константиновной Крупской я познакомилась в 1925 году, ранней весной, на Южном берегу Крыма, в Мухалатке. С нею была и Мария Ильинична Ульянова, которая, увидев меня, тотчас же принялась рассказывать Надежде Константиновне, при каких необычных обстоятельствах произошло наше с ней знакомство.

...В мае 1921 года в один из санаториев Мисхора прибыла ненадолго Мария Ильинична. Вскоре, прогуливаясь по гористому склону, она подвернула ногу и растянула сухожилие. Врач сказал, что неплохо достать ей временно костыли, но их не было. Узнав об этом, мы, комсомольцы и юные коммунисты, работавшие тогда в Алупке, решили, что Марии Ильиничне необходима трость. Во дворце Юсупова находилась коллекция чудесных тростей.

Я отправилась туда, выдала сторожу расписку на великолепную палку с набалдашником из слоновой кости, казавшуюся мне самой подходящей для больной, и торжественно понесла ее в санаторий.

Пока мои товарищи ждали в саду, я вошла в комнату Марии Ильиничны. Она лежала в шезлонге и читала.

Оробев, я пролепетала что-то бессвязное и протянула трость, объяснив, где мы ее взяли. Вдруг гневно насупились брови Марии Ильиничны, и она обрушилась на меня с упреками.

— Как могли вы совершить этот недостойный поступок? Немедленно верните палку во дворец Юсупова. Это

народное достояние, так можно скатиться до очень скверных дел. Это недостойно большевиков.

Много еще сказала мне Мария Ильинична недобрых, но справедливых слов. Совершенно растерявшаяся и опозоренная в своих собственных глазах, я направилась к двери. Когда я была на пороге комнаты, Мария Ильинична уже ласковее сказала:

— Когда сдадите палку, вернитесь, мы поговорим. — И, улыбнувшись, отчего стала еще миловиднее, добавила ободряюще: — Поговорим о другом.

В тот же день к Марии Ильиничне приехал ее брат — Дмитрий Ильич, срубил в буковом лесу толстую ветвь и перочинным ножом счистил кору. С этой большой и прочной палкой часто гуляла Мария Ильинична, покуда не прошла боль в ноге.

...Надежда Константиновна добродушно посмеялась над этим случаем и сказала:

— А ведь Мария Ильинична была вполне права. Да и куда надежнее опираться на простую палку, чем на княжескую трость.

В ту же пору в одну из прогулок по понравившейся Надежде Константиновне кипарисовой аллее, ведущей от дома к морю, я спросила ее, отчего в истории человечества нет женщин-гениев, равных мужчинам. Этот вопрос живо интересовал меня. Я приводила пример за примером. В живописи, музыке, литературе не было женских имен, равных Бетховену и Чайковскому, Леонардо да Винчи и Репину, Шекспиру и Толстому. Мы перечислили имена известных художниц — Виже-Лебрён, Кауфман, Башкирцевой, писательниц — Жорж Санд, Войнич и других, но все это были таланты, а не гении. Даже в кулинарии законодателями были мужчины.

— Это верно,— подумав, ответила мне Надежда Константиновна. — Вспоминаю, что в Лувре мы с Владимиром Ильичем обратили внимание на гобелены. Самые прославленные образцы их сотканы именно мужчинами, хотя исстари их ткали главным образом женщины. Но в этом нет ничего удивительного. Женщина после матриархата не знала подлинной свободы, к какому бы классу она ни принадлежала. Отпечаток рабства был на всем, что бы она ни делала. Все будет по-иному при коммуниз-

ме, и уже сейчас не узнать наших женщин. Они, несомненно, постигнут все области знаний и искусства, и среди них будет немало гениев.

Мне захотелось узнать, что думает Надежда Константиновна, которая сама так мало обращала внимания на свою внешность, о желании женщины красиво одеваться. Я призналась ей, что на недавней партийной чистке мне поставили на вид то, что я покрывала ногти лаком. Председатель комиссии сказал сурово: «Я вынужден поднять этот вопрос, так как вы можете скатиться до мелкобуржуазного разложения».

Надежда Константиновна весело улыбнулась. Ей не казалось, что уход за своей внешностью несовместим с глубокой коммунистической принципиальностью. Она напомнила мне, как хороши и нарядны были Инесса Арманд и Александра Коллонтай, но добавила, что сейчас, в пору нэпа, понятно замечание, высказанное на чистке.

Очень несловоохотливая, едва речь заходила о ней самой, Надежда Константиновна умела, как никто, слушать и интересоваться мыслями и судьбой других. У меня родилась дочь, и Надежда Константиновна много расспрашивала меня о ребенке, удивляя поразительным знанием детской психологии. Как-то, говоря о чертах, передающихся по наследству, она рассказала мне о маленькой племяннице Ленина Олечке, которая ходит точь-в-точь как он, заложив руки назад, и во многом напоминает его.

— А она никогда не видала Владимира Ильича,— закончила задумчиво Надежда Константиновна.

Трудно представить себе более сдержанного, более доброжелательного человека, чем Мария Ильинична. Она всегда строго спрашивала меня, что я читаю и чему учусь.

В маленькой гостиной крымского санатория стоял сильно расстроенный рояль красного дерева. Мария Ильинична очень любила музыку. Я играла плохо и перезабыла все, чему учили меня в детстве. Но трем пьесам мать все-таки выучила меня навсегда. Это был «Музыкальный момент» Шуберта, «Турецкий марш» Моцарта и «Ноябрь» Чайковского. И эти пьесы всегда, когда бы я ни приходила к Марии Ильиничне, она заставляла меня играть ей на разбитом рояле. При этом она часто рас-

сказывала мне о своей сестре Ольге, чудесной во всех отношениях девушке, отлично, как и их мать, Мария Александровна, игравшей на рояле.

Она вспомнила, что Ольга играла прелюды Шопена и, чем бы ни были заняты Владимир Ильич и Мария Ильинична в это время, они оставляли все дела, чтобы слушать Шопена. Шуберт, Моцарт и Чайковский тоже напоминали Марии Ильиничне о сестре и матери, которых она нежно любила...

Когда в 1927 году я собиралась ехать в Швейцарию корреспондентом на экономическую конференцию, Надежда Константиновна попросила меня приехать к ней. Расспросив, как всегда, подробно о том, что я делаю и пишу, она сказала:

— Вы будете в Берне? Там похоронена моя мать, прошу вас положить цветы на ее могилу.

Очевидно, Надежда Константиновна, человек необычайного ума и чуткости, уловила что-то в моем лице и сказала ласково, как только она умела говорить с людьми:

— Вы не ожидали именно этой просьбы. А знаете, Владимир Ильич всегда, когда в последние годы бывал наездом в Петрограде, заезжал на могилу своего старого друга Елизарова, мужа Анны Ильиничны.

Я обещала Надежде Константиновне, что выполню ее просьбу, и действительно посетила скромную могилу на бернском кладбище и положила букет красных роз.

В своих воспоминаниях Н. К. Крупская пишет:

«В марте у меня умерла мать. Была она близким товарищем, помогавшим во всей работе. В России во время обыска прятала нелегальщину, носила товарищам в тюрьму передачи, передавала поручения; она жила с нами и в Сибири, и за границей, вела хозяйство, охаживала приезжавших и приходящих к нам товарищей, шила панцири, зашивая туда нелегальную литературу, писала «скелеты» для химических писем и пр. Товарищи ее любили.

...Домишко, где мы жили, был около самого бернского леса. И когда стало греть весеннее солнце, потянуло мать в лес. Пошли мы с ней, посидели на лавочке с полчаса,

а потом еле дошла она домой, и на другой день началась у нее уже агония. Мы так и сделали, как она хотела, сожгли ее в бернском крематории.

Сидели с Владимиром Ильичем на кладбище, часа через два принес нам сторож жестяную кружку с теплым еще пеплом и указал, где зарыть пепел в землю».

В Швейцарии я побывала в горах неподалеку от Женевского озера. Сюда, по воспоминаниям товарищей по изгнанию, Владимир Ильич и Надежда Константиновна не раз ходили на длительные прогулки. Особенно любили они ранней весной собирать в горных долинах душистые нарциссы. Мне довелось видеть в мае заросли этих стройных серебристых и очень ароматных цветов.

В 1929 году летом Надежда Константиновна заболела, и я пришла ее проведать. Меня встретила Мария Ильинична. Я никогда не видела ее такой встревоженной. Удивительно тонкие, очень красивые руки Марии Ильиничны все время беспокойно сжимались и разжимались. Она жаловалась, что Надежда Константиновна вовсе не бережет своего здоровья, много работает и читает до поздней ночи.

— Надя такая непослушная,— совершенно материнским тоном сказала Мария Ильинична.

Огромная, нежная дружба связывала этих двух необыкновенных женщин.

Через несколько дней Надежда Константиновна выздоровела и, в свою очередь, рассказывала мне, смеясь и поддразнивая Марию Ильиничну, как деспотически та отбирала у нее книги и мучила лекарствами...

Надежда Константиновна умела разговаривать с каждым человеком так, чтобы подчас очень сложные и глубокие мысли были ему понятны. Ведь и Ленин всегда находил то слово, фразу, которые легко доходили до сознания слушателей.

Я помню Надежду Константиновну в разное время своей жизни. И каждый разговор с ней был иным, потому что, вероятно, менялась я.

Мне рассказывал Г. М. Кржижановский о неизменной теплоте отношений, взаимной предупредительности Ленина и Крупской. Когда после тяжелой операции На-

дежде Константиновне врачи запретили нагибаться, Владимир Ильич строго следил за этим и помогал ей обуваться.

Высокие человеческие свойства Крупской привели к тому, что она стала самым дорогим другом не только Ленина, но и его матери и сестер.

Последний раз я встретилась с Надеждой Константиновной в 1936 году. Я приехала к ней с писателем Ф. И. Панферовым. Когда бы я ее ни видела, меня снова и снова поражали ее необычайная, какая-то совершеннейшая простота, приветливость и всесторонние знания. Она знала бесконечно много. Будь то история, педагогика, философия, литература классическая или современная, чувствовалось, что она глубоко знает предмет. Что-то неувядаемо молодое было в уме и памяти Крупской, несмотря на то что в эту последнюю встречу лицо ее показалось мне отекшим и бледным. Как всегда, спросив, над чем я работаю, она снова посоветовала мне писать о женщинах Октябрьской революции и упомянула Инессу Арманд, которую назвала многосторонней и очень умной.

Ф. И. Панферов расспрашивал Надежду Константиновну о пребывании Ильича в 1917 году в шалаше близ Сестрорецка. Долго, интересно рассказывала нам Крупская об этом периоде.

Вспоминая Владимира Ильича, Надежда Константиновна все время говорила о нем только в настоящем времени:

— Ильич любит собирать грибы...

— Ильич мне говорит...

Для нее, как и для нас, он оставался живым.

## ЛЕНИН И МУЗЫКА

Когда мне выпадает трудное счастье писать, рассказывать о Ленине, я думаю: хватит ли сердца и памяти, чтобы прибавить к облику гения и удивительного человека хоть одну из многих еще недорисованных черт? Тогда я повторяю завет старого большевика П. Н. Лепешинского: «Мы, современники, более или менее близко подходившие к нему и имевшие счастливые случаи видеть его, слушать его речь, наблюдать кусочки его работы или жизни, обязаны, хотя и неумелыми, детскими руками,

снова и снова пытаться воспроизвести его образ, сделать сотни и тысячи хотя бы и очень несовершенных эскизных зарисовок». Сомнение уходит, и я снова и снова возвращаюсь к волнующей теме.

В новелле о Ленине мне уже приходилось говорить о том, что мне дважды довелось видеть живого Ильича. И в первый же раз это было связано с искусством, с музыкой. Незабываемое февральское утро 1921 года, когда в глубине аванложи Большого театра Ленин слушал Девятую симфонию Бетховена.

Я не в силах была отвести взгляд от Владимира Ильича: столько слышала о нем от родителей, старших товарищей, столько раз вглядывалась в его портреты... Но сейчас он казался совсем другим, особенным: один на один со стихией звуков. Облокотившись на барьер, Ленин погрузился в музыку огромного накала, высоких, дерзновенных чувств, страстного порыва к победе, и все это живо отражалось на его лице. А когда вступил хор «К радости», весь облик Ленина стал таким, словно в нем самом рождались эти звуки, вобравшие в себя страдание, гневный протест, высокую мечту. «Обнимитесь, миллионы!» — и победная мелодия, заполнившая доверху огромный театр, рвалась из-под золоченых сводов к небу, к солнцу, к людям.

Вдохновенным было в эти минуты лицо Ленина, его чуть приподнятая голова, весь он — напряженный, взволнованный, не сразу очнувшийся после заключительных аккордов... Он поднялся и снова стал таким, каким я знала его по рассказам отца: человеком простым, обходительным, очень доступным.

На всю жизнь запомнила я его таким, каким видела в концерте. В тот день Ильич слушал музыку своего любимого композитора: Бетховен — титан человеческого духа и человеческой воли — воплотил в музыке все, чему через сто лет посвятил всю свою жизнь Ленин — титан революционной мысли и революционного действия.

Позднее, когда я ближе познакомилась с Надеждой Константиновной и Марией Ильиничной, образ Ленина стал для меня понятнее, человечнее. По их рассказам, музыка прошла через всю его жизнь, помогала работать, яснее видеть конечную цель.

Надежда Константиновна вспоминала, что музыка действовала на Владимира Ильича удивительным

образом. Живя в одном доме с Инессой Арманд, товарищем по партийной работе и замечательной пианисткой, он, с утра засев за работу, особенно успешно трудился под звуки ее игры. Случалось, Ильич просил Арманд исполнить для него Патетическую сонату.

Отец мой был другом М. С. Кедрова, члена партии с 1901 года, юриста и врача по образованию, замечательного музыканта. Ленин впервые услышал Кедрова в 1913 году, на студенческом собрании в Швейцарии, а потом неоднократно бывал у него и, сидя на балконе, наслаждался музыкой. Быть может, представлялись ему знакомые края, высокие волжские утесы, час возвращения на родину. Особенно приподнятое настроение овладевало Ильичем, когда звучали бетховенские увертюры «Эгмонт», «Кориолан».

Ленин был человеком большой музыкальной культуры. Мария Ильинична рассказывала, что благодаря их матери, отличной пианистке, у Владимира Ильича с детства были так прекрасно развиты музыкальный слух и память, что, раз прослушав оперу, Ильич мог через много лет абсолютно верно спеть или насвистеть понравившуюся ему мелодию, арию (кстати, эту привычку насвистывать он сохранил до конца своих дней).

Были и особые жанровые предпочтения. Так, с юности и навсегда полюбил Ильич хоровое пение, неотделимое от русской культуры вообще.

Мария Ильинична всегда с удовольствием вспоминала семейные музыкальные вечера: обычно Мария Александровна садилась за рояль, все собирались вокруг нее, и она исполняла лучшее из того, что создано в мировой фортепианной литературе. Случалось, играли в четыре руки Володя с Ольгой, а позже уже повзрослевшая Ольга с матерью. Нередко Владимир Ильич пел под аккомпанемент сестры каватину Валентина из «Фауста», арии из «Аскольдовой могилы» Верстовского и из других опер, лирическую песню на слова Гейне, «Свадьбу» Даргомыжского, а иногда — вместе с Ольгой — героико-романтический дуэт К. Вильбоа «Моряки» (на слова Н. М. Языкова), в котором с особой экспрессией звучал у молодого Ленина куплет: «Но туда выносят волны только сильного душой».

Родные Ленина почти не помнили, чтобы в его пении

слышались минор, грусть: отвага, удаль, мятежный дух были ему ближе.

Надежда Константиновна сообщала, что в долгие годы эмиграции, даже при самых стесненных обстоятельствах, Владимир Ильич стремился попасть на концерты, хотя бы дневные, общедоступные. Хорошо зная, чутко воспринимая классику, Ильич живо интересовался композиторами «Могучей кучки». Об этом я слышала и от Елены Дмитриевны Стасовой, утверждавшей, что многие русские политэмигранты были не только поклонниками, но и пропагандистами композиторов-демократов — участников знаменитого Балакиревского кружка.

В то время программы общедоступных концертов составлялись разнообразно: Гендель, Гайдн и Рамо, Моцарт и Вагнер, Шопен, Лист и Гретри. А рядом можно было увидеть имя автора «Богатырской симфонии» или «Испанского каприччио».

Муж мой, также находившийся среди эмигрантов-большевиков во Франции и в Швейцарии, рассказывал, как однажды Владимир Ильич, узнав, что в одной из женевских церквей играет замечательный музыкант, отправился туда специально для того, чтобы прослушать «Реквием» Моцарта в органном звучании.

Расспрашивая о Владимире Ильиче тех, кому довелось быть тогда рядом с ним, я узнала, что, будучи в Париже, Ленин интересовался французской музыкой — произведениями Берлиоза, Дебюсси, Равеля. Концертная жизнь Франции била ключом. В программах, посвященных русскому искусству, исполнялись сочинения Глазунова, Рахманинова, Скрябина и других современников, завоевавших позднее всеобщее признание.

В чужих краях, как и на Родине, Ильич чутко прислушивался к «звучащей душе народа» — песням немецким, чешским, английским, финским. В Швейцарии и Париже он вместе с Надеждой Константиновной посещал рабочие театры, окраинные кафе, где простой люд слушал обличительные, задорные «шансон». В то время среди французских рабочих особой популярностью пользовался замечательный шансонье, сын парижского коммунара Монтегюс. Для него подмостки рабочих кафе были не эстрадой — трибуной. Однажды, по совету Ленина, певец дал в Париже концерт в пользу русской революции.

С восторгом слушал его Ленин и даже подпевал, когда тот исполнял свою знаменитую «Привет вам, солдаты 17-го полка».

Из зарубежных революционных песен особенно полюбился Ильичу «Интернационал». Как известно, текст «Интернационала», созданный Эженом Потье еще в 1871 году, только через семнадцать лет был положен на музыку другим французским рабочим — Пьером Дегейтером. Позднее инженер-революционер А. Я. Коц создал русский текст «Интернационала», сразу же ставшего боевой песней коммунистов России, гимном международного пролетариата.

В 1913 году в «Правде», скрываясь под инициалами «Н. Л.», Ленин писал об Э. Потье: «В какую бы страну ни попал сознательный рабочий, куда бы ни забросила его судьба, каким бы чужаком ни чувствовал он себя, без языка, без знакомых, вдали от родины,— он может найти себе товарищей и друзей по знакомому напеву «Интернационала».

Серафима Ильинична Гопнер, известная ранее под партийной кличкой «Наташа», рассказывала мне, что, приобщившись к революционному движению, его идеям, она одновременно приобщилась и к музыке. Среди старой ленинской гвардии было немало людей музыкально образованных и даже отличных исполнителей: Инесса Арманд, А. М. Коллонтай, В. В. Воровский, Л. А. Фотиева. Под партийной кличкой «Музыкант» был известен П. А. Красиков, никогда не расстававшийся со скрипкой. Необыкновенной музыкальностью отличалась семья Л. Б. Красина. Хорошим музыкантом была жена Дзержинского, Софья Сигизмундовна, окончившая вместе с моей матерью Варшавскую консерваторию.

Надежда Константиновна рассказывала, что еще в Сибири из членов ссыльной колонии образовался хор и Владимир Ильич живо интересовался его работой. В письмах к Марии Ильиничне он просил присылать ноты, писал, что встретился в ссылке с польскими товарищами и узнал от них новые ободряющие песни.

В бурной, накаленной атмосфере предреволюционной России музыка стала для Ильича и его соратников еще одним источником силы, духовной энергии. В издавна знакомой «Дубинушке» Ильичу особенно по душе пришлась строфа, сочиненная большевиком М. С. Ольмин-

ским: «Новых песен я жду от родной стороны... чтоб они, пролетарского гнева полны, зазвучали призывом к восстанью».

Песня всегда была неразлучна с солдатами Великой Октябрьской революции. Ленин нередко становился первым запевалой. Почти каждое собрание коммунистов, митинг, маевка — если только они не носили особо конспиративный характер — начинались и заканчивались пением. Каких только песен не пели тогда! «Замучен тяжелой неволей», «Вы жертвою пали в борьбе роковой», «На старом кургане», песни о Сибири — «Ревела буря» и «Славное море, священный Байкал», волжские, бурлацкие, студенческие, песни о Стеньке Разине, о Пугачеве, песни, вынесенные из царских тюрем, каторги, ссылки — этих своеобразных «музыкальных университетов» русских революционеров. Звучали песни борцов всех стран — от «Марсельезы», рожденной Великой французской революцией, до «Интернационала». Зачастую Ленин перекрывал своим хрипловатым баритоном все остальные голоса и, сжав кулаки, с разгоревшимися глазами, энергично дирижировал хором (так же пел и дирижировал в свое время молодой Энгельс, большой знаток и тонкий ценитель музыки).

Сейчас не установить точно, в Бутырской ли тюрьме или в ссылке Ильич впервые услышал «Варшавянку», но мне говорили, что сила, красота напева пленили его. Когда польские друзья перевели текст, а Г. М. Кржижановский создал русский вариант, наполнив его ясным революционным содержанием, «Варшавянка» стала одной из любимых песен Ленина. Она была с ним и в ссылке и в эмиграции, ею встретили Ильича в апреле 1917 года петроградские рабочие-большевики.

В Шушенском узнал Владимир Ильич еще одну новую песню — «Смело, товарищи, в ногу». Этот воодушевляющий пролетарский марш родился в одиночной камере Таганской тюрьмы. Создал его революционер-ученый Леонид Петрович Радин, любимый ученик Менделеева[1]. Когда политзаключенных отправляли из Таганской тюрьмы в Сибирь, они под лязг кандалов, не страшась полицейских угроз, затянули этот боевой призыв.

---

[1] См. об этом: М. Гольденштейн. Музыка в жизни В. И. Ленина. М., «Советский композитор», 1959, с. 19.

Первые годы советской власти, годы гражданской войны, были эпохой массового рождения новых песен, возникавших в самой гуще народной. Хлесткие стихи Демьяна Бедного тут же перекладывались на знакомые напевы, заставляя звучать их по-новому, по-боевому. Кто не пел в то время «Проводы»!

Ленин выступал тогда на многочисленных митингах перед рабочими фабрик и заводов, и, как правило, после его речи устраивался хороший концерт серьезной музыки либо все собравшиеся дружно, слаженно пели. В числе соратников Ильича были отличные певцы с хорошо поставленными голосами. Любили петь М. В. Фрунзе, В. В. Куйбышев, С. М. Киров.

В ту пору вся атмосфера высокого боевого подъема была пропитана музыкой. И какой! Не только в концертных залах, театрах, клубах, но и у станка, а то просто в домах звучало настоящее, большое искусство. Нередко можно было услышать, как человек в почерневшей рабочей спецовке напевал оперную арию или лейттему симфонии Чайковского. В неуютных общежитиях коммунистов, когда даже самые хлебосольные хозяева не могли подать на стол ничего, кроме пшенных лепешек, часто рядом с облупленным рабочим столом и времянкой стояло фортепиано. Люди собирались, слушали прекрасную музыку и пели сами; песни высоких гражданских помыслов лились из души, были близки каждому. Мне рассказывали, как обрадовался Ильич, узнав, что путиловцы хотят, не дожидаясь лучших времен, открыть музыкальную школу для детей рабочих.

Зимой 1919 года, когда положение на фронтах было крайне тяжелым и страна находилась в тисках голода, топливного кризиса, в Совнаркоме был поднят вопрос о закрытии Большого театра. Владимир Ильич, как вспоминает П. Н. Лепешинский, сказал: «Театр нужен не столько для пропаганды, сколько для отдыха работников от повседневной работы. И наследство от буржуазного искусства нам еще рано сдавать в архив...» Ни один из участников заседания не проголосовал за закрытие театра. Оперный театр жил, хотя в зале было сыро и полутемно, в воздухе стоял туман от холодного дыхания тысяч людей, электричество горело вполнакала. Но на сцене выступали замечательные певцы, и люди нередко приходили сюда прямо с фронта, в простреленных шинелях,

прохудившихся сапогах. Они слушали «Князя Игоря», «Хованщину», «Бориса Годунова», «Кармен»,— это было для них осуществленным счастьем.

Я говорила выше, что музыка помогала Ильичу работать. Она же стала его отдыхом. Больше того — она явилась, пожалуй, единственным, этаким «форсмажорным», как выражалась Надежда Константиновна, способом, с помощью которого ей удавалось хоть изредка оторвать Владимира Ильича от занятий.

Я помню обаяние голоса Ленина, его жеста, мимики, того, что А. В. Луначарский так точно назвал «музыкой выражения лица Ильича».

Мне приходилось неоднократно встречаться со знаменитым ирландцем Бернардом Шоу. На одной из книг, подаренных Ильичу, он надписал: «...Ленину, единственному европейскому правителю, который обладает талантом, характером и знаниями, соответствующими его ответственному положению. 16 июня 1921 года, от Бернарда Шоу».

В последний раз я увидела Ленина в гробу, в Колонном зале Дома Союзов. Сорок девять раз выступал с его трибуны глава молодого Советского государства. И вот там же скорбные фигуры Надежды Константиновны, Марии Ильиничны, группы старых большевиков. И снова музыка. Только теперь это были трагические звуки произведений Чайковского, Шопена, Бетховена...

Думая о Владимире Ильиче, я всегда как бы слышу аккорды величайших, героических симфоний.

Мощные, рассекающие небесный свод звуки Бетховена, Бородина, Вагнера — вот музыкальное воплощение идеи и дела Ленина.

Он родился победителем, и человечество не может не признать этого. Стихия Ленина — подвиг и победа.

Ленин — победитель в безбрежной сфере идеала добра, совершенной истины и света. Мощь его — в человечности.

Подлинный победитель всегда скромен, неприхотлив в личных потребностях и неустрашим в борьбе за других. Таким видится мне продолжатель дела Маркса — Ленин.

Как и Маркс, Ленин весь в будущем. Великолепие его мыслей, гармоничность натуры, историческая значимость

*будут постигаться* во времени рельефнее, глубже, шире.

Им подтверждена великая правда, что отдающий свой гений, жизнь для счастья наибольшего числа людей счастлив сам и бессмертен на земле.

Величие революционера — в постижении горестей отдельной личности и всех униженных и страждущих на противоречивой нашей планете. Побеждает сильнейший в убежденности, познании, творчестве и самоотверженности.

Множество граней в гении Ленина. И нам, поколению, видевшему и слышавшему его, хочется сказать о нем теми же словами, которыми закончила свои воспоминания Элеонора Маркс о своем великом отце:

Он человек был, человек во всем,
Ему подобных мне уже не встретить.

## Д. И. УЛЬЯНОВ

В 1921 году Дмитрий Ильич Ульянов был назначен заместителем председателя Крымского ревкома и в начале весны с большой группой молодых коммунистов отправился из Москвы в Симферополь. В числе едущих для работы в только что очищенном от белых Крыму была и я. Нам предстояло создать первую всероссийскую здравницу на берегу моря.

Особый эшелон грузился в столице на запасных путях вокзала. Мне отвели место в вагоне Дмитрия Ильича. Кроме нескольких жестких купе, там был так называемый «салон» — квадратное помещение, заваленное тюками. У стены стояли пулеметы и ружья, а среди клади — стол, на котором мы писали и в час еды расставляли свои котелки и миски.

Дмитрий Ильич еще до отхода поезда познакомился с каждым из нас. Внешне он не походил ни на своего брата, ни на сестер. Очевидно, от матери, Марии Александровны, унаследовал он красоту черт, большие, задумчивые черные глаза без резкого блеска. Удлиненный овал лица его подчеркивала небольшая окладистая бородка. Высокий, худощавый, чуть сутулящийся, устремленный вперед, он обладал редкой легкости походкой. Такая же

была у В. И. Ленина и М. И. Ульяновой. Сосредоточенный, но не строгий, внимательный, но не фамильярный, Дмитрий Ильич внушал нам всем большое уважение. Морально он заставлял людей как бы подтянуться. Это гипнотическое свойство присуще лишь натурам прямым, честным и значительным. Моложавый, неговорливый брат Ленина казался нам несколько отрешенным от жизненных будней, мечтательным. Все мы знали его суровый путь в революции, отвагу, стойкость и самоотверженность. Вскоре мы смогли еще раз убедиться в этом. Ночью за станцией Лозовой на наш эшелон напали белобандиты. Началась перестрелка. Дмитрию Ильичу пришлось руководить внезапно разыгравшимся боем, вселять в нас уверенность в конечную удачу и необходимое спокойствие. Он оказался отличным командиром. Хладнокровие и бодрость не покидали его. Он оживился, шутил тем остроумнее, чем положение становилось труднее. К счастью, мы благополучно прорвались сквозь огонь, отогнали нападающих.

К утру, когда затихло нежданное сражение, возбужденные, взбудораженные, мы собрались в «салоне», обсуждая пережитое. Как всегда в ту пору, кто-то, четко, горячо вырубая слова, запел. Дверь купе Дмитрия Ильича открылась, и он присоединился к хору. У него был неплохой баритон, точный, как у всей семьи Ульяновых, слух. Чем была для всех нас революционная песня? Знаменем, с которым шли в атаку, символом братства, присягой на верность!

В Симферополе я получила назначение комиссаром Мисхорского санаторного района. Дмитрий Ильич часто приезжал на Южный берег, проводил там конференции, проверял, как снабжаются и готовятся санатории к приему первых больных. Когда несколько позже в Мисхор приехала Мария Ильинична на недолгий отдых, Дмитрий Ильич наведывался к ней. Заметно было, сколь прочная дружба,— а это больше, чем родство,—связывала брата и сестру.

Врач по специальности, Д. И. Ульянов особенно интересовался постановкой лечения и подолгу беседовал с врачами и медработниками. Уверенный наездник, не зная усталости, он верхом объезжал районы, не тревожась тем, что белобандитская пуля могла настигнуть его за любым горным поворотом.

Много лет, вернувшись из Крыма, не видала я Дмитрия Ильича Ульянова. И вот лишь в 1935 году мы встретились в Барвихе. Шла я по светлому коридору санатория и услышала позади шорох рессор. Словно из юности, донесся голос, звавший меня по имени. Оглянулась и не сразу поняла, почему Дмитрия Ильича везут в инвалидной коляске. Передо мною было знакомое, красивое, но постаревшее, грустное лицо, обрамленное седыми волосами. Вместо ноги торчал обрубок. Дмитрий Ильич незадолго до этого тяжко болел и подвергся операции. Я не задала ему никаких вопросов. Вспомнила, каким он был лихим наездником и сколь необычной легкостью и стремительностью отличалась его походка. В этот раз Дмитрий Ильич торопился на концерт народной артистки Советского Союза К. Г. Держинской.

В зале коляску поставили у самой сцены, в проходе между кресел. Дмитрий Ильич, казалось, не замечал окружающего, настроившись на другую волну. Он глубоко любил музыку и всегда нуждался в ней.

Появилась Держинская, слегка располневшая, величественная, похожая на традиционную маркизу в ореоле белых, отливавших платиной волос. Превосходно исполнила она арию Лизы из «Пиковой дамы». Они находились друг против друга — Дмитрий Ильич и чудесная вокалистка. Казалось, Держинская пела только для больного брата Ленина, пела, как всегда, исключительно проникновенно, щедро откликаясь на рукоплескания, бисируя. Много арий и романсов исполнила она по просьбе Дмитрия Ильича.

Глядя на его лицо, резко побледневшее и как бы отчужденное, я узнавала в нем иные, всем знакомые черты и невольно вспоминала другой концерт, ложу Большого театра и Ленина, поглощенного звуками Девятой симфонии.

## Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКИЙ

Я видела Феликса Эдмундовича несколько раз. Помню, как в неуютной большой комнате с пыльными портьерами одной из меблированных квартир 2-го Дома Советов, нынешней гостиницы «Метрополь», за чайным столом он читал на польском языке стихи. Мицкевич и

Словацкий никогда не звучали для меня столь музыкально и значительно, как в его устах. У Дзержинского был не сильный, но глубокий и приятный голос. Он пылко любил поэзию и знал ее. Феликс Эдмундович и сам писал стихи, но как его ни просили в тот вечер, он не согласился их прочесть и отделался иронической самокритикой. Тогда же моя мать играла шопеновские прелюды и «Балладу». И по тому, как слушал и говорил о Шопене Дзержинский, я поняла, как тонко и глубоко судит о музыке этот замкнутый, скорее молчаливый и суровый с виду, но, по сути, очень впечатлительный и чуткий человек.

За ужином, типичным для той поры в доме партийных работников и состоявшим из пшенных лепешек, простокваши и черного хлеба, велись интересные разговоры. Коснулись молодой тогда ВЧК.

— Чекист,— сказал Дзержинский,— это три слова начинающиеся на букву «ч»,— честность, чуткость, чистоплотность. Душевная, конечно,— добавил он, улыбаясь одними глазами.

Позднее, году в 1923-м, я встретила Феликса Эдмундовича на Курском вокзале. Он был тогда наркомом путей сообщения и провожал своего заместителя, уезжавшего с государственным поручением за границу. На сером перроне Дзержинский показался мне особенно высоким в своей неизменной, до пят, не новой шинели. Он был тогда худ и по-юношески строен и двигался удивительно легко и плавно. Его одухотворенное удлиненное лицо с тонким носом и бородкой клинышком приводило на память портреты средневековых знатных флорентийцев и польских королей из рода Ягеллонов. Этот несгибаемый, мужественный коммунистический боец, одетый, как солдат, обладал внешностью, которой мог бы позавидовать изысканнейший аристократ.

Перед отходом поезда не вяжется беседа и господствует гнетущее напряжение. Свисток паровоза и скрип тронувшегося состава принесли невольное облегчение. Как раз в эту минуту прибежал на перрон и вскочил на подножку вагона какой-то человек и, передав пакет, тотчас же спрыгнул наземь. Дзержинский подозвал этого неожиданного нарушителя железнодорожных правил и узнал в нем своего секретаря.

— Простите, Феликс Эдмундович,— сказал тот смущенно,— если бы я не сделал этого, то пакет не был бы отправлен вовремя.

— И, однако, на ходу поезда запрещается вскакивать на подножку вагона. Я вынужден дать распоряжение, чтобы вас оштрафовали,— строго, но с улыбкой сказал Дзержинский. — А так как я косвенно тоже виноват, что подвел вас, отдав слишком поздно свое распоряжение, то штраф мы заплатим пополам.

В последний раз я встретилась с Дзержинским в Кисловодске. Мы собирались вместе совершить прогулку к Красным камням. Я едва узнала в отекшем, иссиня-бледном человеке в белой, подпоясанной старым ремнем косоворотке Феликса Эдмундовича. Он был, видимо, уже очень болен, хотя и упорствовал, заявляя, что чувствует себя хорошо. Глаза его не улыбались, и он тщетно старался скрыть одышку, когда поднимался в гору. Несколько раз он нагибался и срывал цветы, и я заметила, как осторожно он переставляет ноги, обутые в тяжелые сапоги, чтобы не наступить на красивое растение или муравейник. Постепенно лицо его оживлялось. Он рассказывал о Литве, где родился, о природе, которую любил так же нежно и сильно, как поэзию, музыку, живопись.

Вспомнил он и о долгих годах, проведенных в заточенье.

— Главное для революционера — не сдаваться, не опускаться и сохранять живыми мысль и душу.

Он рассказал о том, как постоянно тренировал волю в одиночной камере и боролся с апатией, ослабляющей больше, нежели отчаяние, которое родит бунт и действие.

Слушая Дзержинского, я думала о его героической, самоотверженной жизни, отданной безраздельно революции, коммунизму. Аскетически скромный, мечтательный, любящий все прекрасное, он не щадил себя в борьбе и труде.

Мне припомнился рассказ врача, который лечил его в эти годы. Дзержинский страдал упорной, тяжелейшей бессонницей — следствием жестокого переутомления. В течение нескольких месяцев он проводил на работе

не только весь день, но и оставался ночевать в кабинете наркомата. Физически он чувствовал себя все хуже и хуже. Лекарства не приносили ему облегчения.

— Что бы вам, Феликс Эдмундович, съездить домой,— уговаривал его врач,— пообедать в своей семье, лечь в постель вместо этого дивана.

Как-то, вконец усталый, Дзержинский последовал этому совету и признался затем, что действительно почувствовал себя заметно лучше. Но тщетно просили его друзья сократить часы работы и поберечь себя. Этот человек сгорел в чрезмерном труде, не дожив и до пятидесяти лет.

## В. В. КУЙБЫШЕВ

В самом начале двадцатых годов мне довелось познакомиться с одним из замечательных людей — Валерианом Владимировичем Куйбышевым. Помню, что Куйбышев готовился тогда к какому-то докладу. С удивлением рассматривала я книги, лежавшие на его письменном столе. Там были, помимо томов Ленина и множества современных политических книг, статистические отчеты, а также мифы древней Эллады, древнелатинские изречения, несколько сборников поэзии и между ними сочинения Саши Черного и Козьмы Пруткова.

Говоря о каком-то деятеле Антанты, Куйбышев, смеясь, добавил:

Бароны воюют,
Бароны пируют...
Барон фон Гринвальдус,
Сей доблестный рыцарь,
Все в той же позицьи на камне сидит.

Позднее мне пришлось не раз видеть Куйбышева, и всегда он чем-нибудь изумлял меня. Впрочем, я знала задолго до личного знакомства от его товарищей, в частности от редактора «Красной нови» А. К. Воронского, о том, что Валериан Владимирович человек многогранный, большой знаток живописи и литературы, обаятельный, необыкновенно простой и скромный в обращении.

Воронский часто посещал Куйбышева, чтобы посоветоваться с ним о том или ином произведении, посту-

пившем в молодой, боевой журнал «Красная новь», и затем подробно и увлеченно рассказывал нам о широте взглядов, познаний одного из руководителей партии.

В конце двадцатых годов мне довелось жить несколько дней на одной даче с Куйбышевым на берегу Черного моря. Он очень много читал и повторял любимое изречение Ильича о том, что отдых для него — работа, а работа — отдых. Снова я убедилась в его живом интересе к искусству и литературе. Очень любил он природу и цветы. Когда мы ездили по морю, он, по-юношески оживившись, вызвал нас всех на палубу, чтобы насладиться зрелищем прекрасного заката.

— Как жаль, что все это столь быстротечно,— сказал он, когда пестрые краски неба потускнели и спустились серые сумерки.

В последний раз мы встретились на литературном вечере, устроенном редактором газеты «Известия» И. М. Гронским. Валериан Владимирович был весел и казался здоровее, чем когда бы то ни было. Он подолгу беседовал с писателями, художниками и артистами, которые собрались в этом гостеприимном доме.

Особенно внимателен был Куйбышев к совсем еще молодому и очень талантливому поэту Павлу Васильеву, недавно появившемуся в Москве и сразу же приковавшему внимание любителей самобытной и высокой поэзии.

Показав Васильеву и мне картину какого-то известного мариниста, Куйбышев предложил нам найти сравнение для столь любимого им моря в предзакатный час. Сам он сказал, сощурив светлые и большие глаза немного навыкате, что ему гладь морская, расцвеченная солнцем, напоминает переливчатый шелк-сырец, который ткут на халаты и одеяла узбеки.

Затем Куйбышев попросил Васильева прочесть стихи и слушал их затаив дыханье, с явным восхищением. Помню его спорящим жарко с художником Сварогом, показавшим нам один из набросков карандашом к портрету Ленина. Куйбышев предлагал ему исправить позу Владимира Ильича, казавшуюся несколько искусственной.

Вскоре после этого счастливого вечера я узнала, что Куйбышев, вернувшись домой с работы, внезапно скон-

чался. Это казалось невероятным, невозможным. Но время было огневое, и коммунисты не щадили своих сил. Они в цветущем возрасте сгорали на посту в борьбе за идею, полные неистребимой любви к жизни.

## М. В. ФРУНЗЕ

В 1920 году Крым был очищен от врангелевской армии. В Мисхоре, несмотря на голод и трудности с доставкой продовольствия, дачи сбежавшей буржуазии и дворцы знати превращались в санатории для рабочих и крестьян. В одну из уцелевших вилл, расположенную недалеко от моря, приехали в 1921 году на отдых партийные работники. В их числе был и Михаил Васильевич Фрунзе с женой, ребенком и молоденькой свояченицей.

Помню, как в углу коридора прославленный воин чистил свои потрескавшиеся, изрядно прохудившиеся сапоги и что-то тихонько напевал.

Я работала комиссаром Мисхорского района и чувствовала себя весьма значительной особой из-за браунинга, который носила на ремне гимнастерки. Мне было тогда пятнадцать лет.

— А, комиссарик, как нынче улов камсы в Алупке, будем мы есть рыбные котлеты на обед? — обратился ко мне с веселой улыбкой Фрунзе, продолжая чистить голенища.

Я увидела его свежее лицо, обрамленное каштановой бородкой, типичное для русского учителя. Очень хорош был у него взгляд светлых, смеющихся глаз.

Так мы познакомились. Жена Фрунзе Софья Алексеевна и ее сестра Маргарита оказались бесхитростными, приветливыми молодыми женщинами. Обе они много возились с восьмимесячной Танюшей. Фрунзе был необыкновенно нежный семьянин. Часто по вечерам, когда я заходила к ним в комнату, в эту пору недолгого отдыха, он играл со своей дочуркой, купал ее или укладывал спать. Он был так прост в обращении, что я не могла себе представить того большого места, которое он занимал в жизни нашей партии, в государстве и в граждан-

ской войне как полководец. Были в нем неповторимая приветливость, благодушие и доброта. Он очень любил шутить и часто обращался ко мне «товарищ комиссарик», с притворной серьезностью рапортовал, как старшему. На прогулках он столь умело подсвистывал птицам, что они отвечали ему трелями. Как-то он долго охотился за майским жуком, чтобы поймать его для своей девочки, и в конце концов был укушен ядовитой сколопендрой. Рука вспухла, но Михаил Васильевич шуткой разгонял беспокойство жены. Вообще этот обычно немногословный и серьезный человек среди друзей и близких становился веселым и по-мальчишески шаловливым. Незабываем его смех, звонкий, захлебывающийся, радостный.

Несмотря на то что на Ай-Петри еще орудовали белые бандиты, а в санатории часто гас свет, и за весь месяц пребывания там ни разу не было доставлено ни грамма сливочного масла, и питание далеко не отвечало самым скромным потребностям, Фрунзе, его семья и товарищи были всегда всем довольны и наслаждались солнцем и воздухом.

Ближе познакомившись со мной, Фрунзе нередко терпеливо выспрашивал меня о моем детстве, побеге в Красную Армию, о планах на будущее. Не всем дано умение слушать так собеседника, как это делал он. Его искрящиеся синие глаза красноречиво отвечали на каждое услышанное слово и воодушевляли. Вероятно, столь глубокое знание людей он приобрел в долгой работе пропагандиста и командира.

Иногда Михаил Васильевич вспоминал о своем прошлом. Он был увлекательным рассказчиком.

Фрунзе родился в пограничном пестром, шумном и пыльном городке Пишпеке, Семиреченской области. Отец его служил там фельдшером. Девятнадцати лет стал Фрунзе большевиком и был арестован. Годом позже, в 1905 году, он — один из организаторов стачки иваново-вознесенских текстильщиков, а в декабре сражался на баррикадах Красной Пресни. На Лондонском и Стокгольмском съездах он встречался с Лениным. Жизнь Фрунзе воистину легендарна. Он был рожден для борь-

бы. Дважды его приговаривали к смертной казни, более семи лет провел он на каторге в Сибири. Из огневых испытаний Михаил Васильевич выходил окрепшим и могучим, как мифическая птица Феникс.

Как-то у берега моря, под плеск прибоя, Михаил Васильевич размечтался и увлек нас всех пророческими рассказами о будущем. Он видел победоносные пролетарские армии, ведомые даровитыми, высокоразвитыми командирами. В сражении, конечно, участвует много машин. И хотя Россия тогда была еще отсталой страной, Фрунзе вдохновенно предсказывал неизбежность победы социалистических войск...

Фрунзе был доподлинно полководцем нового склада именно потому, что одновременно являлся глубочайшим мыслителем-марксистом, неутомимым идейным борцом и великим человеколюбцем. Как и все большевики ленинской гвардии, он мог в любой момент, по воле партии, с тем же блеском и пользой, выполнить любое, не только воинское, задание.

В последние годы жизни Фрунзе готовил кадры военных советников для Китая, порабощенного и задавленного нищетой. Кто мог тогда подумать, что впоследствии Мао Цзэ-дун попытается так осквернить в своей стране наши идеи и отплатить вероломно и подло за щедрую дружбу Советского Союза.

Примечательна была и страстная приверженность Фрунзе к миру. Гуманист, отдавший всего себя служению идее коммунизма, он понимал, что только непобори-мое воинское могущество и сила предотвратят хаос и приведут к осуществлению мечты всех передовых людей — исчезновению войн.

В 1925 году Михаил Васильевич часто бывал у нас дома. Он никогда не жаловался на нездоровье, хотя после тяжкого тюремного заключения до революции нажил мучительную болезнь желудка. Это был на редкость жизнелюбивый, исключительно образованный в самых различных областях человек, интеллигент в том значительном, высокопохвальном смысле, который вкладывал в это понятие Горький.

Смерть Фрунзе была огромным и совершенно неожиданным для партии ударом. Он умер совсем молодым, работоспособным, сильным. Его преждевременная смерть

убила и Софью Алексеевну. Она всего на год пережила мужа, так и не примирившись с его потерей.

Прошло несколько десятилетий, а образ этого одухотворенного, отважного, талантливого человека не меркнет. Он всегда гордился тем, что состоит в партии коммунистов, и в памяти народа он остается одним из самых светлых, героических и незабываемых революционных руководителей и полководцев.

## С. М. КИРОВ

Есть люди, излучающие обаяние, как теплые лучи. Киров был из их числа. В его внешности не было ничего броского, необычайного. В толпе рабочих он казался одним из многих, но стоило увидеть его на трибуне, чтобы никогда не забыть ни прекрасного голоса, ни жестикуляции, ни вдохновенного лица этого прирожденного, выдающегося оратора.

Впервые я услыхала Кирова в Баку, где он выступал на нефтяных промыслах. Мы приехали с ним вместе, а за час до этого в его квартире пили чай. Познакомившись с Сергеем Мироновичем, я ничего в нем не заметила особенного, разве что радушное гостеприимство и любовь к животным. Он играл с веселой собачонкой, когда его жена Мария Львовна ввела меня в столовую, и тотчас же принялся потчевать нас чаем и бутербродами. Но когда Киров прошел мимо множества рабочих на трибуну и, не снимая пальто, начал говорить, я не узнала его. Перед нами был другой человек, уверенный в правоте тех мыслей, которые излагал, властный, готовый как бы перекачать из своего сердца все, что собрал в нем для этих людей. Глаза его блестели, я заметила, каким сильным стал его рот природного оратора, рука птицей парила над зачарованными слушателями. Голос окреп и заполнил собой весь зал. Киров как бы вызывал на единоборство своих идейных врагов. Он казался мне подлинным рыцарем-победителем, с легкостью опрокидывающим противников.

Вслушиваясь в то, что говорил Киров, я поняла, что сила его была не только во внешних ораторских данных, но и в содержании речи. Он много знал, и неожиданные примеры из истории, быта, литературы увлекательно

вплетались в его речь, понятную, простую и убедительную.

Киров был импровизатором в самом высоком смысле слова. Ему было о чем говорить. Он многое изучил, продумал, нашел.

В 1925 году мы встретились с Кировым и его женой на Кавказе, и я могла наблюдать его в повседневной жизни. На отдыхе он никогда не расставался с книгой и читал очень много, главным образом книги беллетристические и исторические.

Однажды мы долго бродили в горах. Киров рассказывал нам о Кавказе, его народах и особенно подробно о древней Колхиде. Он говорил с таким знанием предмета, точно был ученым, посвятившим этому жизнь. Но вдруг разговор, глубокий и сверкающий, как быстрая стремнина, коснулся какого-то высказывания Маркса. Киров оказался в новой и, однако, родной для него стихии. Он блестяще знал труды Маркса и Энгельса. Я робко спросила его, где он изучал марксизм.

— В тюрьме и ссылке. Это отличная академия,— сказал он, широко улыбаясь.

Тогда же узнала я, как любил Киров песни, особенно народные и революционные. Каждый вечер, когда мы все собирались на террасе возле гостиной, где стояло пианино, он просил кого-либо петь и сам подтягивал, приглашая товарищей присоединиться к хору. Чего мы не певали тогда: и «Стеньку Разина», и «Мы — кузнецы, и дух наш молод», и волжские частушки.

Сергей Миронович возводил на себя напраслину, говоря, что медведь наступил ему на ухо, так как пел он вполне мелодично. Запомнилось мне, как старательно выводил он соло в полюбившейся всем в тот год песне «За Уралом живет плотник, золотистый-золотой».

Киров сызмала любил лес и мог подолгу с особой нежностью рассказывать о дремучей тайге, об охоте на зверя и болотную дичь. В его доме всегда были четвероногие друзья. Мария Львовна подшучивала над тем, что муж ее знает не только собачью душу, но и собачий язык. Киров в одном из разговоров обратил мое внимание на замечательные страницы Джека Лондона о собаках.

В начале тридцатых годов я в течение нескольких дней жила в Ленинграде у Кировых, на улице Красных зорь. Сергей Миронович приезжал домой поздно. Он казался одновременно и очень счастливым, каким бывает человек в процессе творчества, и очень усталым. Он часто говорил о том, что человек устроен несовершенно, так как вынужден спать и терять драгоценное время и не может осилить физически все то, что охватывает его мысль.

— Мозг наш куда лучше сконструирован, нежели остальной организм, руки не поспевают за мыслью. Мысль парит уже в коммунистическом завтра, а руки делают еще только первые тракторы.

Как раз в это время Путиловский завод начал выпускать тракторы «Универсал». Каждое достижение в индустриализации страны было подлинным праздником в семье Кирова. Ленинград в те годы стал уже всесоюзной индустриальной лабораторией: первые опытные турбины, электрокабель, большие танки, величественные морские суда и много-много других чудесных изделий машиностроения и химии ежедневно отправлялось из города Ленина во все концы Союза.

Мне невольно пришлось быть свидетелем редкого самообладания, присущего Кирову. Однажды мы с ним и Марией Львовной ехали в автомобиле по городу и внезапно на Невском проспекте столкнулись с проходящим трамваем. Стекло в задней кабине машины разбилось от резкого толчка, мы все попáдали со своих мест. Киров остался совершенно спокоен и принялся шутить.

— Вот и приключение, а то какой интерес ездить в автомобиле без того, чтобы не рисковать при этом головой или хотя бы носом,— смеялся он.

В день, когда траурный поезд доставил из Ленинграда тело Кирова, Москва поднялась и скорбно зашумела. Я с трудом пробралась сквозь толпу в Дом Союзов. Был зимний вечер, и зал напоминал мне горькие дни, когда мы прощались с Лениным. Тот же сумеречный свет обтянутых крепом люстр, запах вянущих цветов и морозом прохваченной верхней одежды, те же глаза — недоуменные, подернутые слезами, мелодии траурных маршей и приглушенные голоса людей. На постаменте гроб и в

нем человек, похожий на того живого, которого я знала. И все-таки только похожий, а не он. Смерть стирает индивидуальные черты, мертвец так же разнится от живого, как сон от бодрствования, как смерть от бытия.

Есть люди, с которыми как-то не вяжется мысль о смерти. В Кирове больше, нежели в ком бы то ни было ином, ощущалась неиссякаемая энергия. Сергей Миронович был стремителен и силен, как сама жизнь, которую он так страстно любил и ценил.

## Г. К. ОРДЖОНИКИДЗЕ

Оборачиваясь назад, к ушедшему, мы с признательностью думаем о людях, подчас одним своим появлением влиявших на становление нашей личности и представление о добре и зле.

Есть местности на карте, о которых уже как бы все сказано. И все-таки, увидев их, ощущаешь нечто новое, неожиданное. Это «потрясение нервов» — так в старину называли красоту — я испытала в 1922 году, когда впервые очутилась в Закавказье.

Тифлис, как в начале двадцатых годов мы называли нынешний Тбилиси, освобожденный незадолго до этого грузинскими рабочими и частями Одиннадцатой армии, был все еще на военном положении. По едва освещенным, пустынным вечерами улицам проходили военные патрули, звучала стрельба. На Головинском проспекте не все дома были отремонтированы после недавних боев. Ошалело торговались и шумели днем только на базарах и дальних окраинах.

Григория Константиновича Орджоникидзе, которого друзья называли, согласно партийной кличке, Серго, я увидела, вернее — услышала его голос, на полутемном перроне вокзала. Он говорил громко, сердечно, очень правильно по-русски, но с чуть гортанным, характерным грузинским акцентом. Едва различая черты лица, я видела ясно контуры красиво посаженной на широкие плечи головы и шеи. И еще поймала ему одному свойственный жест щедрости и доброты,— широко раскинув руки ладонями вверх, он как бы протягивал что-то людям. Серго был весьма представителен благодаря хорошему телосложению, когда человек кажется ладным и силь-

пым. Меня поразил также его простодушный смех, столь важная примета доброй человеческой сущности. Казалось бы, все располагало к новому знакомому, но в семнадцать лет мы недоверчивы и утаиваем заносчивость. Я была наслышана о прекрасных душевных качествах Орджоникидзе, его уме, стойкости, прямодушии и светлой биографии коммуниста.

«Что-то уж очень хорош, таких и не бывает. Да и диалектике вопреки. Я-то уж не обманусь, рассмотрю его зорче». Странный возраст юность: остро мечтается об идеалах, и одновременно сопротивляешься встрече с ними. Может быть, в ранней молодости мы более ранимы и потому инстинктивно защищаемся от разочарований? Или спесивы от избытка сил?

— Чурчхелу едали? — спросил меня Серго, когда тряский автомобиль тронулся и мы отправились к нему на квартиру, где должны были гостить.

Муж мой возглавлял представительную комиссию и собирался десять дней провести в Грузии. Так вместе с ним довелось побывать там и мне.

Чурчхелу я не пробовала и очень удивилась, когда Орджоникидзе протянул мне кусок чего-то упругого и похожего на колбасу.

— Это настоящая кахетинская, не твердая. Моя мать, помню, отлично приготовляла чурчхелу, и мы, дети, изрядно опустошали домашние запасы.

— Виноград для нее мнут ногами,— засмеялся кто-то.

— От этого чурчхела становится только вкуснее,— отпарировал Серго.

Отведав превосходного, сочного, сладкого виноградного студня, начиненного орехами, я не могла удержаться от восторженной оценки этого впервые съеденного яства.

— А попробуете у нас хевсурского сыра или лоби, не то скажете,— весело поддразнивал меня Серго и продолжал: — Но я со времени ссылки предпочитаю всем кушаньям пельмени.

Так, перебрасываясь шутками, мы добрались до дома Орджоникидзе. Вечером все казалось мне вокруг таинственным и особым.

В дверях встретила нас плотная, ширококостная сибирячка, жена Серго, Зинаида Гавриловна, которую он, знакомя со мной, назвал:

— Моя женушка-чалдонка.

Я уже знала, что Серго женился, находясь в далекой ссылке.

Квартира, в которую мы вошли, была необычайно многолюдна и крайне безалаберно меблирована. Исключение составлял кабинет Серго, где господствовал порядок, лежали стопками папки и блокноты. Рядом была тихая комната, стены которой сплошь уставлены книжными полками.

Серго, заметив, что я мыкаюсь по квартире, покуда все собравшиеся, незнакомые и не обращавшие на меня внимания люди, закусывали в большой комнате с овальным столом посредине, привел меня в библиотеку и усадил за канцелярский стол.

— Тут не соскучитесь. А мы, как видите, и за едой по уши заняты разными делами.

Он протянул мне две книги — «Путешествие Миклухо-Маклая» и «Витязь в тигровой шкуре»:

— Читали?

Мотнула отрицательно головой.

— Получите большое удовольствие.

Я осталась среди увлекательнейших книг. Зинаида Гавриловна принесла мне ужин. Все, в том числе и Серго, уехали, несмотря на поздний час, на какое-то важное заседание.

— Время трудное, им не до сна,— пояснила она.

До глубокой ночи мы проговорили, и с тех пор мне полюбилась эта похожая на мужа щедрым и доверчивым сердцем женщина. Она рассказала мне в ту ночь о своей жизни до брака, о встрече с Серго и большой их любви.

Как и Серго, Зинаида Гавриловна с особым чувством вспоминала о своем знакомстве с Владимиром Ильичем и Надеждой Константиновной.

Самоотверженность, изучение теоретиков научного социализма привели Серго к Ленину.

В день рождения Серго Крупская писала ему:

«Не умею я говорить великоторжественных слов. Вы всего себя отдаете великому делу строительства социализма, в этом все.

...Помню, как Вы к нам на Мари-Роз пришли. Консьержка меня позвала. Спускаюсь к Вам с лестницы, а Вы стоите и улыбаетесь. В Лонжюмо Вас помню. Вы крепко любили Ильича...»

У Ленина Серго научился работать, бороться, жить. По-ленински относился он к людям, всегда тактично, внимательно, бережно. Уже в те годы к Серго шли люди со всеми своими бедами, сомнениями, нуждами. Он принимал их, старался помочь, мирил поспоривших, случалось — отчитывал. Даже с сугубо личными заботами бросались к Серго за советами. Помню, Коллонтай рассказывала нам, что именно к Серго обратилась она, чтобы рассудил он и решил распрю с близким ей человеком.

Столь безупречна была во всех отношениях жизнь самого Орджоникидзе, что именно ему доверяли товарищи по работе затаеннейшие свои мысли, сомнения и затруднения. Он был совестью партии.

Зинаида Гавриловна, верный друг и заботливый страж его здоровья и времени, жаловалась:

— Серго у нас будто кади[1] — от посетителей ни днем, ни ночью нет покоя, то и дело стучатся в дверь. Даже с тем, жениться ли им, идут к Серго. А иного он и сам позовет: зачем, мол, семью оставил, почему пьянствуешь, звание коммуниста позоришь?

Красив был Серго Орджоникидзе не только душевно, но и физически. Откинутые назад густые волосы открывали высокий лоб. Полными мыслью видятся мне его глаза. Большая голова, безупречного рисунка овал лица и выпуклые губы под крупным носом с подвижными ноздрями, раздувающимися в минуты вспышек, отличались скульптурной четкостью формы. Такой же прекрасной, отзывающейся на все хорошее и негодующей против мерзости, казалась мне его бесстрашная, правдивая душа.

Истинный ученик Ленина, он был лишен какого бы то ни было позерства. Как от дурного запаха, содрогался Серго от лести или фразерства, присущего некоторым, а также проявлений коварства и лживости.

— Какой он большевик! — сказал он о ком-то. — Карьерист и подхалим не может быть большевиком.

Была в характере Серго верность данному им слову. И присуща была ему доверчивость — эта сила и слабость больших сердец.

Однажды я видела Серго разгневанным. Он едва

[1] Судья.

сдерживал себя, чтобы не кричать и не браниться, и, подавив раздражение, прошептал, сжав кулаки:

— Как вы могли не выполнить поручения? Как смели? Вы ведь дали нам слово коммуниста.

Слово коммуниста! В устах Серго это звучало как обязательство на жизнь и смерть. Коммунист! Он видел в нем человека особого склада, безупречного и строго взыскивающего с самого себя за малейшее отступление от лучших образцов человеческого совершенства.

Серго познакомил меня с несколькими близкими ему людьми, удивительными, как и он, по внутренней безупречности и ясной идейной цели. Один из них был абхазец Нестор Лакоба, человек больших знаний, отличной партийной биографии, огромной воли и принципиальности. Он сразу же очень понравился мне проявленными в беседе чувством юмора, находчивостью, простотой обращения. Впоследствии я видела его много раз, жила в его семье в Сухуми и проникалась все большей симпатией и уважением к этому талантливейшему, строгому партийному руководителю, знавшему так много, что после каждой встречи я должна была учиться, читать, расспрашивать близких, чтобы разобраться в богатстве новых мыслей и сведений.

Мария и Мамия Орахелашвили, которых я впервые увидела тоже у Серго, произвели на меня вначале более сложное впечатление. Это были мощные, скорее суровые, особенно Мария, волевые люди — борцы огромного темперамента, ума и силы. Два государственных деятеля нового типа, не знающие страха и отступлений. Серго отозвался о них как о способнейших и честнейших людях с трудными, однако, прямолинейными и требовательными характерами. Мария, по его словам, блестяще знала труды Маркса и Ленина, обладала скорее мужским, чем женским умом. Мамия, напоминавший мне своей внешностью одного из апостолов «Тайной вечери» Леонардо да Винчи, казался значительно мягче жены. На редкость красивая и величавая голова Мамии Дмитриевича, тонкое смуглое мужественное лицо с большими печальными и добрыми глазами прочно запечатлела память.

Когда мы познакомились, Мамию Дмитриевичу перевалило за сорок, но как у истинно сложных и сердечных людей, у него не было возраста. Он был молод. Врач по образованию, со времени учения в гимназии стал

социал-демократом. В Харьковском университете совсем юным он преподавал сокурсникам исторический материализм.

С 1903 года он участвовал в революционных походах рабочих, создавал подпольную типографию. Так началась для него боевая страда: аресты, тюрьмы, суды, ссылка.

Естествен его взлет как партийного руководителя после победы революции. Он председатель Совнаркома ЗСФСР, первый секретарь Закавказского Краевого Комитета ВКП(б), журналист — один из членов редколлегии «Правды», редактор полного Собрания сочинений В. И. Ленина на грузинском языке, профессор университета, знаток мировой литературы и искусства, добрый советчик и верный соратник.

Не менее значительным человеком была и жена Мамии — Мария Платоновна. Она родилась в княжеской семье. Знатные родители стремились дать дочери высшее образование, воспитывая, однако, в строгих традициях грузинской культуры и окружения. Марима, как звали ее близкие, читала мировых и русских классиков, изучала историю родной страны, ее эпос. Она волнующе пела грузинские песни и восхищала окружающих легкостью и стремительностью национальной пляски. Ее отправили учиться в Петербург. Но не светской высокородной дамой стала Мария Платоновна. Таинственные чувства самоотречения, всесокрушающей справедливости, жажда служения обездоленным и угнетенным привели ее в суровый и опасный стан профессиональных революционеров. Аристократка из Грузии постигла сердцем и разумом самое правильное и победоносное учение, которое несли человечеству Маркс, Энгельс, Ленин. Поистине удивительная это была женщина, ставшая в ряд с Н. К. Крупской, М. И. Ульяновой, А. М. Коллонтай и другими социал-демократками большевичками. Жизнь ее типична для храбрых профессиональных революционеров. Доставка оружия, переправка нелегальной литературы, явки, тайные совещания, прокламации. Все силы на выполнение партийных поручений.

После установления Советской власти в Грузии, Мария Платоновна работала в правительстве и ЦК партии республики организатором советской системы образования. Она считалась одной из самых многосторонне образованных женщин Грузии. Все, что я слышала из ее уст,

подтверждало это. Сдержанность Марии Платоновны — итог многих лет подполья — и воля, исходившая от всего ее облика, внушали робость.

Но всякий раз, когда я превозмогала это чувство, меня восхищал утонченно богатый настрой ее души. Я ощущала, что под серьезностью и требовательностью к людям Мария Орахелашвили прятала не только ум, но и чувствительность.

Тогда я переставала стесняться и прятаться, как улитка в стандартный защитный домик, и всем сердцем тянулась к Марии Платоновне. Могла без конца слушать ее интересные и часто слегка иронические рассказы. Скромная в общении с людьми, поведении, одежде, она была пылкой в споре и бесстрашной в борьбе.

Однажды она сказала в моем присутствии, возражая в чем-то Авелю Енукидзе: «Революционер познается в минуту испытаний, не боится ничего. Страх — это предательство!»

Частым гостем в двадцатых годах в семье Серго был и Шалва Элиава. Прихрамывающий на одну ногу, он, однако, удивлял картинной стройностью, лихо танцевал лезгинку и превосходно ездил верхом. В косоворотке с множеством серебряных мелких пуговок и серебряным пояском на узкой талии, рыжеволосый, розовокожий, он выглядел в свои тридцать с чем-то лет очень молодо. Юрист по образованию, Элиава говорил на иностранных языках, хорошо знал живопись, литературу, историю. Его рассказы о легендарной Колхиде, золотом руне, древней Грузии и Персии помнятся мне поныне.

Вместе с Серго и Элиавой мы ездили тогда же по Грузии. Мне посчастливилось присутствовать на словесном соревновании двух образованнейших людей, изучивших досконально прошлое своей родины, ее эпос, поверия, нравы, обычаи.

Во второй половине двадцатых годов и в начале тридцатых Серго реже бывал у нас, но дружба его с моим мужем, начавшаяся еще в Париже, не прекращалась.

После тяжелой операции — удаления почки — Орджоникидзе внешне резко изменился, потучнел, вокруг больших глаз его появились припухлости, красивый рот под усами слегка опустился. Две морщины залегли от крыльев носа к подбородку, кожа пожелтела, истончилась. Приезжая к нам, он подолгу беседовал с моим мужем.

— Дел становится больше, сил — меньше,— заметил как-то Серго.

Он охотно вспоминал прошлое.

— Эх, Ильича нет, а как он нам нужен, как нужен! — не раз слышала я горестное восклицание Орджоникидзе. Он работал тогда в ВСНХ и очень увлекался своим огромным и ответственным трудом.

В последний раз мы свиделись с Серго у А. С. Сванидзе, которого все звали просто Алешей. Сванидзе заканчивал в эту пору редактирование нового издания «Витязя в тигровой шкуре», и разговор долго велся об энциклопедических знаниях, поэтической музыкальности и гении Руставели. Серго вспоминал о своем пребывании в Шлиссельбургской крепости, о годах ссылки и о счастливых днях в Париже. Он попросил Марию Анисимовну Сванидзе, красавицу, камерную певицу, душевнейшего человека, друга многих виднейших грузинских большевиков, спеть «Не пой, красавица, при мне» Рахманинова и мингрельскую застольную. Припев песни дружно подхватывали все собравшиеся в квартире Сванидзе. Алеша прочел нам несколько стихов из редактируемого им чудесного произведения. Одно я запомнила:

Вдохновенный в самом трудном светит светом изумрудным,
Грянув словом многогрудным, оправдает крепкий стих.
Слово Грузии могуче. Если сердце в ком певуче,
Блеск родится в темной туче, в лёте молний вырезных.
Кто когда-то сложит где-то две-три строчки, песня спета,
Все же — пламенем поэта он еще не проблеснул.
Две-три песни, он слагатель, но когда такой деятель
Мнит, что вправду он создатель, он упрямый только мул.
Знает счет поэт усилью. Песен дар не бросит пылью.

*(Перевод Бальмонта)*

После ужина, состоявшего из вкусных грузинских блюд, Серго с гордостью сообщил о достижениях академика А. Ф. Иоффе и его ленинградского института в области атомной физики, затем о победах своих молодых хозяйственников-новаторов, отдающихся работе, как он выразился, «пылко, словно революционеры в борьбе за революцию». В своих поездках по стране Орджоникидзе собрал яркие доказательства героического труда советского народа. Везде он видел множество замечательных людей.

Сванидзе, видный экономист, недавно вернулся из-за

рубежа, где долго работал. Он поделился с нами выводами о мировом кризисе и продвижении фашизма в Германии. Его предсказания будущего были грозными.

Я не вмешивалась в беседу и слушала неотрывно. Собравшиеся здесь были целеустремленными интеллигентами в наилучшем смысле слова, многие происходили из бедных крестьянских или рабочих семей, и все без исключения пришли в большевистскую партию задолго до Октября. Они сидели в тюрьмах, боролись с царизмом и белыми армиями. Каждый знал не менее двух, а то и больше иностранных языков, разбирался в сложнейших государственных и социальных вопросах, любил искусство, литературу, самоотверженно отдавал себя, свою жизнь идее, обещавшей благо человечеству.

Особое чувство духовного наслаждения овладело мной. Мария Анисимовна Сванидзе, казалось, ощущала ту же радость. Я любовалась ее исключительной красотой.

Прощаясь с Серго, мы договорились летом поехать вместе в Нальчик, к общему другу всех присутствующих Беталу Калмыкову. Но больше встретиться мне с Серго не пришлось.

Летом 1936 года А. С. Сванидзе подарил мне отредактированного «Витязя в тигровой шкуре». Эту книгу я храню с особым чувством грусти и любви к памяти его и Марии Анисимовны. Стихи Ш. Руставели неизменно возвращают мне молодость, воспоминания о Грузии, которую я полюбила сильнее, узнав таких ее сынов, как Серго Орджоникидзе и его верные друзья.

## Я. Э. РУДЗУТАК

Суровые люди рождаются под тяжелым и часто мрачным небом Прибалтики. Я видела похожих в нашем Поморье, в Скандинавии, Шотландии, в рыбачьих поселках скалистой Бретани. Их важное спокойствие и обманчивая медлительность неверны, как грозное холодное море. Тишина предшествует шторму, и неистовая отвага и страсть присущи в большой мере северянам, оттачиваясь в борьбе со стихией, неподатливой природой, трудным бытием.

Латвия — страна сильных, упорных и верных цели людей. Ян Эрнестович Рудзутак был таким. Мне казалось, что видела я его, может быть, в детских мечтах

о странствиях или на иллюстрации к книге о мореплавателях, видела в резиновом плаще с мокрым надвинутым капюшоном на рыбацком суденышке, уходящем в океан, навстречу свирепым кудлатым валам. Кожа потемневшего лица Рудзутака как бы огрубела под ветрами разных широт. Он слегка, чуть заметно, прихрамывал: итог долгого ношения кандалов в многолетнем заключении под сырыми сводами царских тюрем. Не один житейский шквал силой в десять баллов испытывал на крепость Рудзутака, но не смог надломить его душу.

Литые черты лица, как серая вода Балтийского моря глаза, высокий лоб с продольной, излюбленной великим Рембрандтом морщиной, идущей от переносицы под густые заросли волос,— этой тропы мыслей, упрямо сомкнутые, выпуклые губы и крутой подбородок — все отражало несокрушимые волю и натиск. Иначе не могло бы и быть. Сын батрака, отданный в детстве в свинопасы к богатому хуторянину, только шестнадцати лет покинувший село после схватки с поднявшим на него руку хозяином, стал одним из образованнейших людей, государственным мужем, борцом, жившим и умершим геройски. Никто, никогда не ослабил Рудзутака, не подорвал его убежденности в правоте избранной идеи.

Впервые, с друзьями, я пришла к Яну Эрнестовичу в 1924 году в его маленькую, двухкомнатную квартиру в одном из корпусов Кремлевского дворца, уступившего теперь место Дворцу съездов. Рудзутак был уже одним из видных руководителей государства. Жилище его отличалось математически точным отбором вещей. Ничего лишнего там не было. Все служило делу и самым насущным потребностям. Книги стояли, тщательно подобранные, в шкафах, на полках и вертящихся тумбочках. Неистребимая любовь к искусству сказалась в выборе нот на рояле и нескольких мастерски выполненных картинах на стенах.

В спальне висели портреты Маркса, Энгельса и Ленина в рамках, изящно выпиленных из дерева самим Яном Эрнестовичем. На квадратном столике, готовые к бою, выстроились шахматные фигуры из слоновой кости — подарок соратников по Средней Азии. В часы досуга Ян Эрнестович сражался с моим мужем на шахматном поле и не раз выходил победителем. Играл он сосредоточенно, молчаливо, и только краска на щеках

выдавала глубоко упрятанную страстность этой мощной натуры. Кроме резьбы по дереву, Ян Эрнестович рисовал. Его пейзажи отличались своеобразием. Они напоминали мне полотна Жуковского с его удивительной передачей солнечных лучей, лунных бликов, сияния безоблачного неба. Позднее я поняла, что после десяти лет пребывания в темных тюремных казематах лишенный света Рудзутак особенно тянулся к дневным краскам, воздуху, игре теней. Он увлекался также фотографированием и достиг высокого мастерства в этом.

Ян Эрнестович собрал изрядную коллекцию альбомов с репродукциями мировых шедевров. Задолго до личного знакомства с бессмертными творениями Русского музея я увидела у него и преклонилась перед талантом великого Левицкого и увлеклась портретистами XVIII и XIX веков. Основательно и многосторонне судил Рудзутак о театре и литературе.

Не раз мне приходилось спрашивать Яна Эрнестовича о его жизни до революции, и по очень скупым его ответам, да и по рассказам его друзей я кое-что узнала.

Приятно вспоминать радостное, сытое детство, но хочется забыть незаслуженные обиды и печаль батрацкой доли. Образование его было всего два класса волостного училища. Мать и отец, замученные поденщиной и безземельем, оставили родину и бросились в погоне за работой, за миражем,— в Америку. Известий от них не было. С котомкой через плечо пришел в латвийскую столицу Рудзутак и сразу же испытал беду безработицы и бесприютности. Сначала работал каменотесом, потом помощником садовника и наконец устроился грузчиком. И тут-то, перетаскивая ящики с реквизитом Рижского театра, он впервые познал сказочный, влекущий мир кулис, блеск бутафорий, прелесть музыки. Он замирал, слушая оперы, впитывая в себя арии Кармен, Риголетто, Бориса Годунова, Онегина. Они скрашивали его дни, заставляли забывать о лишениях. Вскоре грузчик стал чернорабочим на заводе. Иллюзии развеялись. В грохоте машин он слышал стоны и взрывы. Борец обрел себя и нашел свою рать. 1905 год помог ему в этом. В январе на мостовые Риги обильно пролилась кровь расстрелянных демонстрантов. Первым поручением подпольной социал-демократической организации, доверенным восемнадцатилетнему Рудзутаку, было участие в отряде рабо-

чих пикетов после бойни на улицах. Рудзутак брал на себя опасные дела. В детской колясочке он удачно доставил боевые листовки. Не слова, а дела вели в бурные годы революционера в партию. Опаленный порохом, раз и навсегда определивший свое будущее — стоять насмерть за идею и добиться победы,— Рудзутак пришел к большевикам в 1905 году. Не только сражения с царизмом, но и с невежеством, малознанием поглотили молодого человека. Каждый свободный миг он посвятил самообразованию, бросился с головой в стихию мышления, как рыбак, не боящийся пучины и схлестывающихся волн. Он нашел добрых советчиков в Литвинове, Скрыпнике, Берзине.

Латышская социал-демократическая рабочая партия в 1906 году объединилась с Российской, стала ее крепкой ветвью. Годы были нелегкие. Ярились реакционеры, революция отступила. Партия скрылась в подполье.

Рудзутак, под именем Либиха, деятельнейший член Рижского партийного комитета, переодетый моряком, переехал в Виндаву. Никто не заподозрил в нем преследуемого столичной охранкой революционера. Ян Эрнестович наладил порвавшуюся было после арестов связь, собрал разрозненные группы бойцов. В появившихся листовках, призывавших к дальнейшим боям, возвещалось, что партия жива и могуча. В 1907 году в Виндаве состоялась нелегальная партийная конференция, избравшая делегата на V Лондонский съезд. Полиция неистовствовала. Опытные шпики опутали паутиной посулов и лжи семьи арестованных, выискивая тех, кто им помогал в трудную пору. Провокации удались, и Рудзутак был выдан. Следствие по его делу велось по произволу. Власти хотели подвести руководителя Виндавского комитета партии под виселицу. На допросах его избивали и пытали. Генерал Бернадский, председатель военного суда, судившего Рудзутака, сообщал в секретном донесении:

«Их подвергали побоям... Иногда дело доходило до истязаний и даже пыток».

На суде Рудзутак виновным себя не признал и держался с тем достоинством и уверенностью в своей правоте, которые обезоруживают даже лютых врагов. Он был приговорен к пятнадцати годам каторги. Сразу же после суда партийные товарищи через связную, объявившую себя его невестой, передали ему книги и необходимые

вещи. Отныне он чувствовал постоянно помощь и дружбу единомышленников. Но устроить ему побег было невозможно. Условия каторжной тюрьмы и одиночки были тщательно продуманы охранкой. В сырых карцерах и казематах он терял здоровье, но не силу духа. Десять лет провел в заключении Рудзутак, сначала в Рижском централе, потом в Бутырской тюрьме в Москве. За это время он изучил и свободно пользовался немецким, французским и английским языками, перечитал много книг разного содержания, особенно научных, познакомился с литературой русской и чужеземной. Родную, латышскую, он постиг давно. Аспазия и Райнис доставили ему много утешения своей высокой и протестующей поэзией. Их лира звучала для него всегда. Он до дна испил горькую чашу одиночества и телесных страданий, но мысль закалялась, и познание разбивало оковы и обещало неизбежную конечную победу его идеалам.

С годами существование в Рижском централе становилось все более губительным. Кандалы никогда не снимали с отекших ног узника. А с воли в разрозненном виде, вклеенными в книги беллетристического содержания, доставляли ему не только труды Маркса, но и последние книги Ленина и его выступления.

В 1914 году началась война. Большевик Рудзутак считал, как и партия, поражение царизма благом для народа, меньшевики и эсеры выступили за империалистическую бойню.

В тюрьме время иное, чем на свободе. Оно отмеряет не жизнь, а стремительное приближение смерти, и каждая минута подобна капле крови, вытекающей из сердца. Прошло еще три года, Рудзутак хворал, но не сдавался.

Настал 1917 год, чтобы воздать сторицей тем, кто умел бороться, жертвовать собой и верить в свержение зла, в миссию пролетариата.

Блажен, кого освободила из острога разбушевавшаяся революция. Не просто свобода, а победа ждет у выхода из каменной щели. Вряд ли что-либо на земле может сравниться с этим часом триумфа. Даже сумеречный день кажется тогда солнечным, и нет величественнее песни, нежели «Марсельеза» и «Интернационал».

В один час с Яном Рудзутаком вышел из тюрьмы Феликс Дзержинский. Это было уже в Москве, и оба героических большевика, в арестантских халатах, поднятые

на руки толпой, выступили на митинге у Московского Совета депутатов трудящихся. С этой минуты могильный покой казематов сменился для них гулом непрекращающейся бури — подготовкой Октябрьского восстания. Рудзутак повел за собой профсоюзы.

Латыши. Как рьяно трудились они для завоевания власти пролетариатом и утверждения ленинских идей. Я встречала их на опасных аванпостах гражданской войны, и все они отличались редкой твердостью, собранностью, храбростью и целенаправленностью. В 13-й Красной армии другом моим был Ян Паулус, помощник Землячки по политотделу. Ему было двадцать лет. Он вступил в партию до Октября, работал в редакции газеты «Известия», откуда добровольцем ушел на фронт. Из бедняков крестьян, как и Рудзутак, только младшего поколения, он был одним из трудолюбивейших, скромнейших, молчаливейших и настойчивейших людей, каких я знала. Я нашла черты его характера в других армейских друзьях — Паэгле, Лиде, Полисе. Только Август Паэгле был жестче, а Полис, наоборот, мягче. Паэгле стал чекистом, а Полис мог бы удивить людей прекрасным поэтическим даром, но умер от туберкулеза, едва Крым был освобожден от белых. Мытарства войны привели его к смертельной чахотке, как видного большевика Лиде к чудовищному ревматизму, сковавшему его руки и ноги.

Узнав Рудзутака, я обрадовалась тому, что уловила в нем знакомую душевную прочность. Как выросшие под морскими ветрами прибрежные сосны, такие люди не боятся молний и бурь.

Октябрьская революция высоко подняла Яна Рудзутака. Он был создан для яркого света и круч. Такое дано не многим. На высоте у него не кружилась голова, он оставался так же скромен, доступен, прост и чуток.

Рудзутак был руководителем новой формации: рабочий, образованный, предприимчивый, думающий и легко находящий решения. Во время дискуссии о профсоюзах Ленин многократно ссылался на тезисы, предложенные Рудзутаком, и говорил, что только метод убеждения может поднять миллионы трудящихся на штурм и построение нового общества и строя. Еще раз прозвучали слова, что профсоюзы — школа коммунизма.

В двадцатых годах коммунисты работали, не щадя себя, горя и сгорая преждевременно. Работы был непоча-

тый край, а надежных, обученных людей еще не много. Каждый брал на себя подчас непосильную ношу труда и нес ее, даже если это грозило жизни.

Двенадцать, а чаще четырнадцать часов был обычный рабочий день партийного работника и особенно руководителя. Рудзутак был неутомим, хотя расшатанное здоровье вовсе не позволяло ему такой нагрузки. Только прямое вмешательство Ленина вынуждало его согласиться на краткий отдых. Случалось, Владимир Ильич приглашал его на охоту, и они отправлялись на дальнюю прогулку.

«Часа в четыре утра Ильич будил уже по телефону,— вспоминал Рудзутак. — В валенках, в черной жеребковой куртке, с охотничьим снаряжением, с неизменным свертком с парой бутербродов, жестяной коробочкой с мелко наколотыми кусочками сахара и щепоткой чаю, Ильич всегда поспевал к моему подъезду, пока я вставал».

Говоря об Ильиче, Рудзутак добавлял:

«Он умел не только учить, но и учиться. И часто, несмотря на зимнюю стужу, слушая беседы этого великого и в то же время такого простого и близкого человека, казалось, что сквозь бревенчатые стены избы, сквозь вековую тьму пробился сноп весеннего солнца и от человека к человеку потекли журчащие, бодрящие, весенние ручейки».

Ян Эрнестович любил охоту скорее как возможность побродить в глухом лесу, побыть наедине с природой. Однажды зимой он с друзьями поехал в Мурманск и, вернувшись, подарил мне шкуру полярной лисицы — свой трофей. Не меньше влекла его рыбная ловля.

Рудзутак, как и большинство коммунистов, был всегда там, где мог принести наибольшую пользу. Никто в двадцатые годы не засиживался на месте, боевой поход продолжался. Ездил он в Геную вместе с блестящими дипломатами нового государства — Чичериным, Красиным, Литвиновым и Воровским. Там широко использовал он свое знание иностранных языков, полученное в каторжном остроге. После возвращения из Италии и содержательного доклада на Пленуме ЦК он отправился в Среднюю Азию, где был до этого недолго еще в 1919 году. Два года предстояло пробыть ему в качестве председателя Средазбюро ЦК в Ташкенте.

Он много ездил и в Бухаре осмотрел загородный дворец бежавшего эмира. Алебастровая зала удивила его смешением прекрасного и уродливого, ценного и грошового. Рядом с кашгарскими вазами, поражающими тонкостью разрисовки, стояла большая рыночная лягушка в цилиндре, старинная вышивка соседствовала с плохой литографией из жизни Бонапарта. Мебель отразила пристрастие бывшего властелина к шелковой обивке на позолоченных стульях, к зеркалам, грубо размалеванным птицами и цветами. Роскошная безвкусица затмевала красоту.

За время пребывания в Средней Азии Ян Эрнестович досконально изучил все противоречия и нужды этого богатейшего древнего и славного края. В результате работы его и других руководителей Средней Азии были созданы независимые советские республики — Туркменская и Узбекская, а затем и Таджикская.

Ранняя смерть Ленина явилась великой народной трагедией. Рудзутак говорил об Ильиче в эти тяжкие дни:

— Гениальная ясность мысли, ясность задач, которые он ставил перед партией, гениальная простота формулировок и железная твердость в проведении намеченной линии отличали Ильича. Его никто не заменит. Только железная сплоченность партии, только единая воля, мысль и действия по заветам Ильича — наш путь.

Ян Эрнестович работал наркомом путей сообщения. Это было крайне сложно и увлекательно для того, кто любил, как Рудзутак, преодолевать препятствия.

Разруха на железных дорогах все еще не была преодолена, а подвижной состав не только недостаточен, но изношен и стар. Множество мостов еще не восстановили после недавней гражданской войны, а другие требовали замены в соответствии с далеко ушедшей вперед техникой. В феврале 1925 года от Москвы до Подсолнечной, впервые в России, прошел ленинградский тепловоз. Рудзутак с гордостью рассказывал нам об этом чудесном, бездымном отечественном силаче, которому предстояло заменить привычные паровозы.

В 1926 году Ян Эрнестович был избран членом Политбюро. Ни одно большое дело в хозяйстве страны не обходилось более без его участия. Имя его часто встречалось в печати, а работа приносила непрерывно возрастающую

известность и признательность народа. Я видела его во время приема. Он умел расположить к себе всякого переступившего порог его кабинета. Спокойная справедливость суждений недавнего рабочего, ставшего одним из ведущих правительственных работников, привлекала сердца и пробуждала расположение у посетителей. При этом он не был фамильярен или нарочито любезен. Рудзутак оставался простым и хотел быть полезным людям, как настоящий коммунист.

Не имея времени заниматься живописью, Ян Эрнестович пылко увлекся кинокамерой и фотографированием. Я видела его любительские фильмы, большей частью видовые. И снова — острое тяготение автора к просторам, небу, вершинам Кавказских гор, бескрайним степям и морю. Великий Эйзенштейн и все, кто знал киноработы Яна Эрнестовича, утверждали, что он мог бы стать перворазрядным режиссером. В тридцатые годы, как и раньше, он не пропускал ни одной заметной выставки живописи. Сварог, Бялыницкий-Бируля обычно бывали с ним вместе на этих смотрах нового искусства.

В последний раз когда мы встретились, Ян Эрнестович возглавлял партийно-государственный контроль. Это было в театре Вахтангова, на премьере шумевшей пьесы «Интервенция». Рудзутак казался оживленным, счастливым. Он вспомнил, между прочим, свою юность и то, как грузил театральный реквизит, мечтая достаточно заработать, чтобы купить билет на галерку.

Мне показался он представительнее, физически крепче, чем лет за десять до этого. Так сильное дерево с годами становится красивее, прямее. И то же лицо рыбака северных морей, надевшего на острые, ясные глаза очки.

## А. С. ЕНУКИДЗЕ

В двадцатых годах Кремль был необычным средоточием наиболее передовых замыслов эпохи. Там жил Ленин и его соратники, победившие в Октябре, на фронтах гражданской войны, в трудном, голодном тылу.

Кремль не стер в ту пору следы недавних боев. Время наложило на него свою мету. Не ремонтировались дома,

и цвет их стал блеклым, унылым. Не чинились мостовые, и кое-где вывалился булыжник, образуя рытвины. Настежь распахнутые ворота башен ржавели. Торопящиеся пешеходы, особенно в дни представительных собраний, все на один фасон одетые, в шинелях или кожанках, заполняли кремлевские проезды. Ветер часто шнырял по возвышенности, откуда открывался вид на Москву с бесчисленными маковками церквей и кажущейся недвижной рекой.

По витым коротким улочкам Кремля на открытых, изрядно потрепанных пролетках, запряженных несытыми лошадьми, проезжали управделами Совнаркома Бонч-Бруевич, наркомы Курский, Покровский. Вечерами тускло светили фонари и воцарялась тишь, такая же, как во всей столице.

Если случались конференции, все устремлялись в Свердловский зал. Зимой там было очень холодно. Пол почернел, выщербленный сотнями ног делегатов и гостей. Фрески и лепные украшения на потолке и стенах выцвели и облупились.

В Свердловском зале присутствовавших согревал разве что жар энтузиазма. Надежда на осуществление мечты давала гигантские силы. Однажды на трибуне упал в обморок от переутомления молодой оратор, но едва его привели в сознание, он потребовал слова и кончил речь под овацию. Бывало, тут же после заседания декламировали стихи поэты. Так впервые услышала я Маяковского, читавшего «Левый марш», а зал подхватывал: «Левой, левой!» То было душевное единение, мышление в унисон и восторг победившего взаимодоверия.

Приходившие в Кремль чурались корысти, притворства и равнодушия. Даже воздух казался пропитанным особой свежестью и ароматом.

Так сложилась моя семейная жизнь, что зимой 1921 года я поселилась в плохо отапливаемом, хмуром и неуютном Кавалерском корпусе в Кремле. Тогда же я познакомилась с Енукидзе, близким другом моего отца и мужа.

В Кавалерском корпусе создалось своеобразное общежитие. Вдоль широкого коридора, соединявшегося с входной лестницей, находились квартиры с окнами на улочку.

Напротив высился нарядный, украшенный резьбой, маленький Потешный дворец.

На втором этаже, в конце правого крыла Кавалерского корпуса, находились комнаты Авеля Сафроновича Енукидзе. Одна — узенькая — гостевая: в ней обычно останавливались приезжавшие из провинции по делам товарищи. В другой был его домашний кабинет и стоял рояль. Кто только не играл на нем: Добровейн, Игумнов, Гольденвейзер! Вижу Обухову, поющую тут же песню Леля из «Снегурочки», Держинскую, ошеломившую нас исполнением «Плача Ярославны».

Комнатенка, скорее закуток, служила ему спальней. В ней на полках выстроились богатства Авеля, которых он никому не давал: брошюрки, легкие и серые, как дым, несколько томов Маркса и Ленина, «История культуры» Липперта и множество книг по искусству.

Биография Енукидзе схожа с жизнью многих лучших учеников и единомышленников Ленина. Он родился в семье кутаисского крестьянина в 1877 году, был железнодорожным рабочим, затем — помощником машиниста в Тифлисе и Баку. Самоучкой Енукидзе овладел главными трудами Маркса и Ленина. Захваченный новыми идеями, уже в 1898 году вступил он в партию и стал боевым пропагандистом и организатором рабочих революционных кружков в Закавказье. Находясь в группе «Искры», работал подпольно в Баку и других городах, участвовал в создании большой типографии «Нина», где печатались, расходясь затем по всей России, листовки и книги большевиков. А. С. Енукидзе не раз подвергался преследованиям царского самодержавия.

В июне 1913 года Ленин, близко знавший Енукидзе, писал из Поронина доверенному большевику в Берлин:

«Пожалуйста, просите Авеля писать и информировать нас чаще. Это важно...»

Февральскую революцию Енукидзе встретил в Петрограде, в подполье. В июне 1917 года его избрали членом Петроградского Совета. В Октябрьские дни он сражался за победу пролетарской революции. Храбрость Енукидзе под пулями не уступала его зажигательной силе на трибуне.

С осени 1918 года, сначала со Свердловым, затем с Калининым, он работает во ВЦИКе, членом Президиума и секретарем.

Впервые в человеческой истории под руководством Ленина и партии создается новый уклад государства. Енукидзе — один из тех, кто принял в этом деятельнейшее участие.

Характер Авеля Сафроновича исполнен был поистине ленинской простоты и скромности. Двери его кабинета и дома были всегда широко раскрыты. Он презирал лесть и корысть. Высоко нес Енукидзе звание коммуниста. У Ленина он учился внимательности к людям, самоотверженности. Никогда не был он снисходителен к козням и преступлениям идейных недругов. Суровый, как все справедливые и честные люди, он не терпел обмана. Вместе с удивительной мягкостью в нем уживались несокрушимая воля и упорство. Подобные черты наблюдала я у многих ленинцев и поняла, что другими они быть не могли. Таков был сам Ленин.

Все мы знали двух Енукидзе — «рыжеволосого» и «черноволосого».

Семен Енукидзе не обладал столь внушительной комплекцией и рослостью, как его двоюродный брат, но удивлял необычайностью оливково-смуглого лица и точеной формы профилем, просившимся на лицевую сторону старинной монеты или на классический барельеф. Абрис его лба, носа и подбородка приводил на память финикийских владык и мифологических героев.

Помимо ответственной службы Авель Енукидзе жил искусством, все свободное время отдавая театрам и концертам. То было не только страстное увлечение, но и действенное участие, столь необходимое театрам и музыкантам. Постоянное общение с прославленными мастерами сцены, дирижерами, режиссерами, художниками ко времени моего знакомства с Енукидзе сделало его знатоком искусства.

Благодаря дружбе с Авелем я смогла приобщиться к концертной и театральной жизни Москвы первых лет революции. Он познакомил меня с Качаловым, Станиславским, Лилиной, Москвиным. В Художественном театре мы смотрели все пьесы репертуара, так и не зная, чему отдать предпочтение. Но «Дочь Анго» надолго осталась моей любимой музыкальной комедией, особенно когда Ольга Бакланова пела партию Ланж.

В Экспериментальном театре, что на Дмитровке, вместе с Енукидзе я слушала превосходную певицу Аду

Ребоне в роли Сильвы, а в Большом театре несколько лет подряд не пропускала ни одной постановки «Князя Игоря» с Обуховой — Кончаковной.

Авель часто обсуждал с Малиновской, директором ГАБТа, хозяйственные дела театра. Елена Константиновна Малиновская беспокоилась о том, что чистка улиц, к которой привлекались все граждане в зимнее время, была опасна из-за возможной простуды горла для певцов. Их следовало освободить, что и было затем сделано.

В квартире Енукидзе нередко бывали актеры, сердечно и дружески к нему расположенные. Он знал их быт и планы до мелочей, старался всеми возможными средствами помочь топливом, лечением, пайками. Он сообщал Ленину о нехватках и трудностях театров и музыкальных учреждений и встречал всегда у Владимира Ильича деятельную поддержку. Но все без исключения вопросы в Президиуме ВЦИКа решались коллегиально, и случалось мне слышать, как Енукидзе, горячась, волнуясь, просил по телефону того или иного товарища не противиться предложению о дополнительных льготах и ассигнованиях работникам сцены.

Большой театр стоил государству очень дорого в то тяжелое время, но ни разу органы власти не закрывали его. Не менее, чем опера и балет, были опекаемы и дороги Енукидзе судьбы драматических театров, многочисленных студий и театральных учебных заведений. Он был неутомимым ходатаем и заступником всех одаренных талантом людей. О себе Авель как-то шутя сказал:

— Я всего лишь всероссийский каптенармус.

Калинин и Луначарский знали, что все касающееся ремонта театральных зданий, оплаты труда артистов глубоко тревожит Авеля и он не отступится, если не добьется желанного решения.

Однажды в 1922 году жена Калинина, Екатерина Ивановна, в прошлом работница из Эстонии, женщина очень приветливая, прямодушная, откровенная, пригласила нас в Серебряный бор, где жили летом многие партийные работники. В деревянной, неогражденной даче, без каких-либо удобств собрались гости, чтобы отпраздновать чей-то день рождения. За столом, выставленным на поляне, я увидела Михаила Ивановича Калинина, обоих Енукидзе, Аванесова. Настроение у собравшихся

было столь веселое, что внезапно все поднялись из-за стола и под звуки весьма фальшивящего пианино, пододвинутого к открытому окну домика, принялись танцевать. Никто не мог превзойти в этом Екатерину Ивановну, отплясывающую залихватски русскую вместе с Авелем. Мы опешили, глядя, с какой легкостью и виртуозностью оба они неслись по траве и выделывали сложнейшие па. Калинина раскраснелась, темно-русые волосы ее растрепались. Она была видная, плотная, статная женщина, лишенная спеси и хитрости. После русской мы кружились в вальсе, а затем потребовали от Енукидзе лезгинки. Он долго ссылался на усталость и боль в ноге, но затем вместе с двоюродным братом пустился в пляс. Тут победителем оказался Семен Енукидзе. Под конец запыхавшийся, разгоряченный Авель предоставил ему танцевать соло и повалился на траву. Мне и поныне кажется, что никогда я не видела столь совершенного, сверкающего исполнения.

— Кинжал ему, кинжал нужен! — крикнул Михаил Иванович, в шутку произнося «кинджал», и, схватив кухонный нож, подбежал к танцору, который завершил пляску весьма декоративно, держа деревянную ручку мнимого кинжала в зубах.

Рукоплескания долго не прекращались. Ни одна вечеринка не обходилась без песен. И допоздна над недвижимыми в ту знойную полночь деревьями Серебряного бора, над Москвой-рекой неслись любимые наши песни. Главенствовал Михаил Иванович, руководивший хором и подпевавший не совсем точно, но с большим рвением. Счастливые вечера!

Авель всегда казался мне человеком большой духовной культуры. Он, как и его друг Рудзутак, живший в одной из двухкомнатных квартир на втором этаже Кавалерского корпуса, разбирался в тонкостях не только музыки, но и живописи. Случалось, что под аккомпанемент моей матери на квартире у Енукидзе Ян Эрнестович играл на скрипке Шопена и Чайковского. Он показывал нам свои коллекции, интересные репродукции и картины.

Позднее, в тридцатых годах, в Лондоне, когда с Енукидзе мы осматривали музеи, я имела еще раз возможность убедиться в разносторонности его интересов.

Авель Сафронович как-то особенно любил детей и мог подолгу наблюдать за их играми. Я заметила также, что

в его кармане были всегда конфеты для знакомых и незнакомых ребят. Когда у меня родились и первая и вторая дочери, Авель приезжал узнать, не нужно ли чего-нибудь новорожденным, и обязательно привозил им подарки.

Смерть Ленина стала тягостным рубежом в жизни Енукидзе. Приехав к нам вскоре после похорон, Авель плакал, и на лице его с той поры стало больше морщин, а глаза навсегда погрустнели. Тогда же он решил посадить на Красной площади серебристые ели со своей родины — Кавказа. Вскоре он занялся этим, и, когда наконец спустя несколько лет молодые хвойные деревца прибыли в Москву вместе с землей, питавшей ранее их корни, Енукидзе был по-юному счастлив. Мы отправились, волнуясь, поглядеть на новых переселенцев и очень тревожились, примутся ли они в суровом климате, смогут ли жить в Москве.

И всегда, глядя на большие голубовато-серебряные ели у Мавзолея, я вспоминаю Авеля, его осуществленную мечту.

Близкая родственница Енукидзе в письме ко мне вспоминает:

«Есть под Москвой, по Калужскому шоссе, местечко Архангельское, где мы жили на даче и куда особенно часто приезжал Авель Сафронович. Прогулки в лес были обязательны, и однажды у обочины проселочной дороги он увидел свежесломанную молодую березку. Вынув платок, тщательно выправив слом, А. С. завязал березку и приказал мне следить за ней и докладывать ему, как она себя ведет. Березка срослась к всеобщему восторгу.

Вспоминается, как он приучал нас, молодежь, слушать 9-ю симфонию Бетховена. Он слушал ее, требуя от окружающих полнейшей тишины, и обижался, когда мы были невнимательны. Пластинки Шаляпина, исполнявшего романс «Если б навеки так было», арию Кончака, Мендельсона и многое другое, всегда связываются при прослушивании с его именем.

В 1935 году из Кремля вещи Авеля Сафроновича были перевезены к нам в Олсуфьевский переулок, и я была приятно удивлена, когда увидела очень много дарственных фотографий,— там были Станиславский, Москвин, Обухова, Нежданова и много других».

Енукидзе не раз говорил о революции как о великой творческой силе. Идея, которой отдал всю жизнь профессиональный революционер, виделась ему благодатным источником вдохновения, неисчерпаемым золотым дном для каждого художника.

— Чудодейственное время,— повторял он, ища его приметы в мире прекрасного — искусстве и литературе.

Он обращал наше внимание на каждую новую книгу и часто первым замечал появление таланта. Зимой 1925—1926 годов на юную советскую литературу обрушилось несчастье, и один за другим умерли Есенин, Лариса Рейснер и Фурманов. Авель долго стоял в Доме печати у тела великого русского поэта, а вскоре шел, склонив голову, за лафетами, на которых повезли в последний путь гробы авторов «Фронта» и «Чапаева».

Ко всему, что писала я, он относился требовательно и по-отечески. Ему понравились «Женщины эпохи французской революции», и с явным беспокойством он следил за моей работой над «Юностью Маркса», казавшейся ему непосильным грузом. Он считал, когда книга была окончена, что тема эта требует продолжения, иначе цель не будет достигнута, и торопил меня писать дальше. Он восхищался «Тихим Доном», особенно первыми частями; ему полюбились Малышкин и Бабель.

Авель Енукидзе несколько раз провожал нас на родной Кавказ. Дорога была ему Кахетия, и он, казалось мне, тосковал по ней всегда.

— Чтобы узнать наши края,— говорил он,— следует верхом проехать от Владикавказа до Кутаиси через Мамисонский перевал.

Мы последовали его совету и действительно ничего более величественного и великолепного не видели на земле. Передохнув в сказочном Шови, мы спустились в Они и затем поднялись в Сванетию. Там повсюду я встречала людей отважных, таинственных, как горные орлы, и многие из них напоминали мне Авеля своей беспощадной честностью и внезапной ласковостью, неожиданной в людях, живущих в грозных, малодоступных горах, в напоминавших средневековье становищах с зубчатыми стенами и сторожевыми башнями.

Друг Авеля Сафроновича, Сванидзе, как и Авель, мог часами рассказывать о прелести и многообразии Сване-

тии и Военно-Осетинской дороги, но то, что я увидела, значительно превзошло его повествование. Понятней стали нам стих Руставели и очарование красавицы Грузии, которое жило в сердцах столь многих гениальных русских, от Грибоедова и Пушкина до наших современных поэтов.

Дружба с Авелем не прекращалась. В тридцатых годах он приехал в Лондон, и мне довелось быть его переводчиком и гидом по английской столице.

Как и в начале революции, Енукидзе был отличным пешеходом и терпеть не мог разъезжать на автомобиле. Он утверждал, что познакомиться с чужим городом и народом можно, только смешавшись с толпой, растворившись в ней. Мы отправлялись с ним утром в долгие походы по музеям, картинным галереям, историческим местам. Если расстояния были непомерно длинные, спускались в грязную и душную подземку или пользовались автобусами, взбираясь наверх для лучшего обозрения. Было по-осеннему слякотно и сумрачно, но Авель предпочитал такой Лондон летнему, когда слабое солнце окрашивает унылые пейзажи и убогость улиц вокруг серой Темзы.

Енукидзе много знал о прошлом старой Англии и задавал мне вопросы, на которые я не всегда могла ответить. В Тауэре он, не довольствуясь обычным маршрутом по трагическим местам казни Томаса Мора, Релли и иных виновных и безвинных жертв дворцовых интриг и бунтов, повел меня в тюрьму, где были убиты дети короля Эдуарда IV. Тут уж гидом стал он.

— Шекспира мало читала,— сказал мне Авель, когда мы вышли за ворота средневекового замка-тюрьмы.

Вечерами и по воскресеньям мы посещали концерты и театральные представления, и Авель, говоря о них, радовался, если исполнение советских музыкантов и актеров было лучше.

Но благороднейшей чертой характера Енукидзе всегда был полнейший интернационализм, отношение к людям вне какой бы то ни было зависимости от их национальности. Великая справедливость оценок сказывалась у него во всем.

Прослушав концерт учеников маэстро Манлио Диверолли, у которого училась я петь, Авель, не раздумывая, сказал:

— Чего Москве не хватает, так это преподавателей пения. А голоса у нас превосходны.

Тогда же он предложил, уверенный, что его поддержат в Москве, замечательному педагогу, покинувшему Италию после прихода к власти Муссолини, поехать в Советский Союз и взять кафедру в Московской консерватории. Диверолли в изысканных выражениях поблагодарил. Он был растроган, но ехать отказался.

В те же тридцатые годы мы путешествовали вместе с Енукидзе по Рейнландии. В Трире я побывала одна, но уговорила Авеля и других друзей отправиться в Крейцнах, где Маркс после семи лет ожидания женился на Женни фон Вестфален. В этом уютном, тихом и необычном, с солеными озерами и гротами, городке я вспомнила, что на одном из его кладбищ похоронена моя тетка, умершая очень молодой и в полном одиночестве. В Крейцнах она приехала лечиться. Мы долго искали ее надгробие на нескольких кладбищах курорта и в конце концов обнаружили заброшенный, разрушающийся памятник, на котором прочли ее имя и фамилию. Авель, хотя и обзывал меня «старомодной чувствительной дамой», не только помог принарядить забытую могилу, но и принес венок из незабудок, которым мы украсили усыпанный гравием бугорок. Ехали назад во Франкфурт-на-Майне, чтобы посетить там домик Гете, в меланхолическом настроении. Авель говорил о том, что ухоженная могила нужна только живым.

— Мне ведь уже шестой десяток. Перешагнул роковую черту своего поколения большевиков. Ленин, Дзержинский, Фрунзе. Пятьдесят четыре, сорок семь, а то и много короче — вот наш век,— сказал он тихо. Вспомнил затем безрадостное детство, свою мать и, печалясь, замолчал.

В эти годы Авель заметно постарел, щеки и шея обвисли, глаза поблекли и смотрели еще более печально, сосредоточенно. Прежняя живость поубавилась. И только когда звучала музыка, он молодел. Во Франкфурте мы прослушали концерт под управлением темпераментного Отто Клемперера. В программе значились произведения Вагнера и Бетховена. Героическая эпопея «Зигфрид» Р. Вагнера — одна из вершин музыкального искусства — глубоко поразила нас. Над гробом Ленина многажды

звучал этот протестующий против смерти гения плач Земли. Припомнился Дом Союзов в трауре...

Вскоре все мы были уже дома, в Москве. Время завихрило, раскидало, разлучило нас навсегда. Но музыка вечна. И часто в созвучии симфоний, в оперных ариях, в голосах великих певцов эпохи революции я как бы слышу, а затем вижу дорогих, неповторимых людей. Они исчезают, подобно звуковым волнам, чтобы возвращаться снова, пока мы живы. И в стихии музыки воскресает передо мной Авель Сафронович Енукидзе.

## Г. М. ДИМИТРОВ

Это было летом 1935 года. На прогулку по лесу отправились Георгий Михайлович Димитров, его жена, румяная, гладко зачесанная, русоголовая Роза Юльевна, остроумный, разговорчивый Дмитрий Захарович Мануильский и я. Мы спустились по тенистой тропе мимо пруда и углубились в еловую рощу. Димитров срезал с ольхи большую ветвь и принялся на ходу счищать свежую, влажную кору. Мануильский досказал какую-то забавную историю, вызвав у всех нас беспечный смех. Вдруг Роза Юльевна громко вскрикнула и отпрянула, уронив корзиночку с рукоделием. Она наступила на змею. Навстречу нам, извиваясь и шипя, поднялась отвратительная узкая черная гадюка.

В каждом человеке живет ему самому неведомый, атавистический ужас перед пресмыкающимися. Я почувствовала тяжесть в ногах и как бы приросла к месту.

Но прежде чем кто-либо из нас отдал себе отчет в опасности, Георгий Димитров, замахнувшись палкой, пошел на змею. Меня приворожили глаза и огоньком мелькнувший ярко-красный язычок. Димитров ударил гадюку, но не убил ее. Она, отчаянно шипя, метнулась к нему. И снова, не промахнувшись, он опустил на острую, как клинок, головку толстую ветку. Змея, ослабев, распласталась у его ног.

— Ну и самообладание,— сказал Мануильский.— Подлинно ты похож теперь на Георгия Победоносца, пронзившего дракона.

Роза Юльевна, тяжело дыша, поднялась на цыпочки, так как была значительно ниже мужа, и вытерла его чуть

вспотевший большой лоб. Димитров улыбнулся, сказал что-то успокаивающее жене и затем с явным отвращением отбросил ногой издохшую змею.

Мы пошли дальше молча. Я вспоминала о том спокойствии и отваге, которыми потряс мир Димитров во время недавнего Лейпцигского процесса. Это был истинно бесстрашный человек.

...Впервые я увидела Георгия Димитрова в Москве зимой 1934 года, на вечере в ВОКСе. Все присутствующие там с откровенным волнением ожидали его появления. Незадолго перед тем Димитров вернулся из Германии после провокационного, подстроенного фашистами Лейпцигского процесса, увенчавшего лаврами его имя. Только верность идее коммунизма и огромное мужество спасли его от смерти.

Когда Димитров вошел, нас всех поразил цвет его немного одутловатого лица, болезненный, зеленовато-пепельный. Запомнились мне его великолепная шевелюра и неспокойные, несколько резкие движения рук. Он много говорил с нами в тот вечер. Недавнее прошлое все еще кипело в нем. Характерная черта для узника, только что вырвавшегося на свободу.

Говорил Димитров нетерпеливо, сопровождая каждую фразу порывистой жестикуляцией. Русским языком он владел отлично, но в выговоре слышался мягкий акцент...

Летом 1935 года в подмосковном санатории «Барвиха» я оказалась соседкой Димитровых по комнате. Мы сидели за одним столом. Часто я приходила в часы отдыха на террасу к Димитровым. Обычно, кроме них, там же находился и Дмитрий Захарович Мануильский. В ту пору я никогда почти не видала Георгия Михайловича сумрачным или недовольным. Он мог бы быть донором жизнерадостности, щедро отдающим другим избыток веселья и хорошего настроения.

Жена Димитрова говорила по-русски с трудом и стеснялась этого. Она недавно поселилась в Советском Союзе. Это была превосходно воспитанная, выдержанная и очень приветливая женщина. Я не помню, чтобы ее руки когда-нибудь были свободными. Всегда она что-либо переписывала, читала или вышивала. Даже на прогулке с ней была изящная рабочая корзиночка, и стоило ей присесть, как она тотчас же принималась за свое нескончаемое «ришелье» или «гладь». Она хорошо знала немецкую и сла-

вянскую поэзию, и не раз я слышала ее читающей наизусть Гейне. Димитров относился к жене с нежной почтительностью и часто, говоря с кем-нибудь в ее присутствии, искал ее взгляда.

В эту вторую встречу Георгий Михайлович выглядел совсем иначе, чем на вечере в ВОКСе. Он заметно помолодел, посвежел. Исчезла одутловатость лица, ярко блестели черные глаза. У него была привычка, может быть, возникшая в заключении, но скорее свойственная живому, действенному темпераменту: во время разговора ходить, внезапно останавливаться на полуслове и снова двигаться. Я почти не помню его сидящим, разве только в столовой.

Письменный стол Димитрова был завален стопками газет на разных языках, а также книгами. Среди них много современной художественной литературы, творения мировых классиков. Я несколько робела в присутствии Димитрова, так как скоро заметила, что он весьма осведомленный и придирчивый собеседник, о чем бы ни заходила речь. С ним нельзя было говорить, не будучи глубоко знакомым с предметом беседы. Он не терпел пустословия, но очень любил умные шутки и веселые пересказы, мастером которых был Мануильский. В то время эти два совершенно различных по характеру человека были очень дружны.

Оба они любили музыку и как-то в лесу долго и очень приятно пели болгарские и украинские песни.

Мануильский был очень мнителен, и это вызывало насмешки Димитрова, который относился совершенно равнодушно к опасности и смерти.

Вскоре у Димитровых родился долгожданный ребенок, сын Димитрий.

Я приехала к ним на дачу, недалеко от Москвы, возле Кунцева. Дом дышал счастьем. Димитров и его жена както даже стеснялись исполнения их желания.

— Нам обоим ведь уже за сорок,— сказала Роза Юльевна, еще более румяная и моложавая, нежели всегда.

Димитров расспрашивал меня о моих детях и их детских болезнях. Вместе с радостью в семью Димитровых вошел впервые страх, боязнь за жизнь ребенка.

Из детской, убранной белым тюлем и голубыми бантами, Роза Юльевна увела меня в свой кабинет. Я невольно отступила, увидев на столах и подоконниках множество

различных урн и гипсовых надгробий. В ответ на мой недоуменный взгляд Роза Юльевна сказала:

— Это образцы памятников на могилу первой жены Димитрова — Любы. Она была очень талантливая и замечательная женщина и умерла от душевного потрясения, вызванного арестом Георгия Михайловича.

Димитров был горяч, вспыльчив в спорах, которые изредка возникали у него с Мануильским, когда они обсуждали международные вопросы.

Уже в 1935 году Георгий Михайлович убежденно доказывал, что фашизм очень силен, что он вызовет войны и будет стоить миру огромного количества человеческих жертв. В то время мне, как и некоторым другим, казалось, что Гитлер, несущий мракобесие и дикость, вот-вот падет, что немецкому народу нетрудно избавиться от этого смертоносного нароста. Но Димитров совершенно не выносил легковесности суждений.

— Гитлер даже не Муссолини, это страшная, убийственная угроза цивилизации,— заявлял Димитров.

Прошло очень немного времени, и трезвое политическое провидение Димитрова подтвердилось. Немецкий фашизм оказался стоглавой гидрой, залившей мир кровью. И с тем же мужеством и спокойствием, с каким Димитров на моих глазах расправился с черной гадюкой, он боролся против немецкого фашизма.

## М. Н. ПОКРОВСКИЙ

В конце двадцатых годов я закончила свою книгу «Женщины эпохи французской революции» и отнесла ее в Госиздат.

Трепеща, волнуясь, отдала я на суд редакции свое детище. Беспокойство мое оказалось не лишенным основания. Литературный жанр, избранный мной,— воссоздавая судьбы женщин разных классов, рассказать о французской буржуазной революции,— вызвал настороженное недоумение рецензентов.

— В такой манере у нас писать не принято,— сказали мне. — Впрочем, мы не решили окончательно, печатать или нет ваши новеллы. Хорошо бы вам обратиться к маститому историку, Покровскому, например, с просьбой написать к книге предисловие.

Крайне опечаленная, покинула я издательство. Чувство, испытываемое писателем по отношению к своей рукописи, можно сравнить разве что с материнским. Книга вобрала все лучшее из души своего создателя, и беспокойство за ее судьбу не оставляет его никогда. Книги — наши дети, несущие заботы, горе или радость, дающие волю к творчеству либо горькие разочарования.

Трудности, вставшие на пути к читателю книги «Женщины эпохи французской революции», побуждали меня к действию.

Михаила Николаевича Покровского до той поры я никогда не видала, но была наслышана, что человек это строгий, умный, редчайших знаний. Он был не только виднейший историк-марксист, но и боевой политический деятель, первый председатель Московского Совета депутатов после Октябрьской революции, большевик с 1905 года.

Знала я, что Ленин ценил и уважал Покровского, с которым был знаком с давних лет эмиграции.

Я решила послать Михаилу Николаевичу рукопись книги и, сообщая кратко о себе, присовокупила, что училась на рабфаке имени Покровского при МГУ.

Вскоре по телефону меня пригласили на дом к Покровскому. Я помню, с каким волнением подошла к маленькому домику в Нескучном саду, где жил тогда Михаил Николаевич. На узкой террасе стояла, опираясь на костыль, жена Покровского, Любовь Николаевна, худенькая женщина с тонко очерченным лицом, русой косой, венцом лежавшей на гладко зачесанной голове, и незабываемыми огромными глазами цвета лесных колокольчиков. Узнав, кто я, и заметив мое смущение, она сказала неожиданно сильным, мелодичным контральто:

— Вас, верно, напугали, что Михаил Николаевич сердитый, раздражительный, колкий на слова, не правда ли? Успокойтесь, ваша книга, как мне кажется, пришлась ему по душе.

Мне было в ту пору немногим более двадцати лет. Я работала в газете и впервые осмелилась выступить в качестве беллетриста, да еще в необычном жанре исторического портрета. Я училась этому у Ромена Роллана и Стефана Цвейга, тщательно прослеживала технику лако-

ничного описания у Пушкина, Лермонтова и Мериме. Издательство окатило меня струей равнодушия и непонимания. Естественно, что слова жены Покровского ободрили меня. В эту минуту из дома вышел Михаил Николаевич, и я снова оробела. Мне показалось, что он чем-то раздосадован. В действительности он был болен.

— Так, так,— сказал он, пристально глядя на меня из-под стекол очков,— автор-то юн, молод, оказывается, чрезвычайно. Ну, это не помеха, наоборот, преимущество.

Заметив, что жена хочет уйти, Покровский обратился к ней просительно:

— Куда же ты, Любаша? Останься. Мы ведь много говорили с тобой о работе товарища Серебряковой и сошлись в оценке. Самой законченной новеллой,— продолжал он, обращаясь уже ко мне,— нам обоим показалась «Манон Ролан» — это подлинная историческая живопись. Самовлюбленную жирондистку вы раскусили до конца. Гете писал, что готов простить революции все, с его точки зрения, ошибки за то, что в ее пору появляются дамы, подобные этой влиятельной, хитрой закулисной руководительнице крупной буржуазии в Конвенте. А Маркса раздражала сия тщеславная супруга Ролана. Роль женщин в политике бывала очень значительна. Вот Александра Федоровна Романова, например, царица,— это же было настоящее политбюро при Николае. Читали ее переписку с царем, мемуары Витте и других царедворцев?

Покуда Михаил Николаевич говорил со все нарастающим оживлением, я смелее разглядывала его. Он казался мне давным-давно знакомым. Внешне Покровский выглядел типичным русским интеллигентом конца прошлого и начала нынешнего века. Лица, схожие с ним, отмеченные печатью напряженного умственного труда, внутренней борьбы, исканий, упорной воли и мышления, смотрят на нас с многих полотен Репина и других великих реалистов-художников.

Густая, длинная седая борода лопатой, подстриженные гладкие волосы, чуть выпуклые, внимательные глаза напомнили мне дорогие лица неутомимых ученых, революционеров, писателей. То же вдохновенное выражение усталых глаз, прячущихся в излучинах морщинистых век, встречала я с детства в своей семье; в лицах участников первых после Октября большевистских демонстра-

ций, в комитетах РКП(б), на всех дорогах революции, в политотделе и Реввоенсовете Красной Армии, на съездах Советов и партии.

Сутулясь, тяжело дыша, прохаживался по террасе Михаил Николаевич. Сухая, серовато-желтая кожа его лица, нервное подергивание кистей рук, внезапная резкость высокого голоса были следствием не только огромного переутомления, но и развивавшейся уже смертельной болезни.

Говорил Михаил Николаевич быстро, легко. Чувствовалось, что он привык к большим аудиториям, к лекционной работе и был превосходно вооружен знаниями во многих областях гуманитарных наук.

Поразительна была осведомленность Покровского во всем, что касалось французской революции 1789 года. Он говорил так, точно сам был ее участником, цитировал законодательные документы Парижского учредительного собрания, статьи «Прав человека», высмеивал историков вроде Мишле, не понимавших классовой основы борьбы партий в Конвенте, острословил, вспоминая недавний Международный исторический конгресс, на котором был делегатом, подшучивал над узостью воззрений буржуазных ученых дуалистической школы.

— Учение Маркса и Ленина,— говорил он,— это лампа Ала ад-Дина. Оно удивительно просто и неопровержимо осветило все темные закоулки истории. Какой ребяческой наивностью кажется теперь утверждение разных «специалистов» и писателей, что насморк Наполеона или нос Клеопатры роковым образом предопределили ход исторических процессов и судьбу мира!

Покровский остановился, снял очки, чтобы протереть стекла, и я увидела в его сосредоточенно смотрящих перед собой глазах глубокую человечность, мягкость и грусть, не исчезавшую даже тогда, когда он глухо посмеивался в бороду.

Очень понравилась мне и Любовь Николаевна. Превосходно воспитанная, сдержанная, женственная, она, очевидно, живо интересовалась всем, чем жил ее муж. Глубокая привязанность Покровского к жене не могла укрыться от посторонних. Проведя несколько часов в доме Покровских, я ушла под сильным впечатлением. Удивительно целомудренная атмосфера, полная высоких ин-

тересов, мыслей, взаимопонимания, царила в этой семье. Там хотелось думать вслух, спорить, шутить, но нельзя было опуститься до пошлых пересудов, сплетен, анекдотов, циничных недомолвок. Позднее такие же чистые, исполненные искренности, глубоких чувств и дум отношения я наблюдала у нас, в семье старых большевиков Смидович, и в Англии у Беатрисы и Сиднея Вебб.

Среди этих уже немолодых людей, как и в домике в Нескучном саду, старость представлялась красивой, мудрой, творческой порой человеческого бытия. Покровскому и его жене было в те годы за шестьдесят, и, однако, это были духовно молодые люди. Общение с ними несказанно обогащало меня, и я чувствовала себя счастливой тем, что они оценили мою книгу.

Покровский, прежде чем написать предисловие, потребовал от меня тщательной отделки некоторых портретов. Он оказался неумолимым и крайне требовательным педагогом и редактором. Не один раз возвращал он новеллу о Марате и Шарлотте Корде. Отправляя мне рукопись, он обычно прилагал к ней пространные письма, в которых указывал, что́ именно не удовлетворило его в моей работе. Тут же он пояснял, какими видятся ему историко-биографический портрет и роман нового типа, создаваемые художником-марксистом.

Историческая правдивость казалась ему главной привилегией исторического произведения эпохи социалистического реализма. Не переодевать в маскарадные костюмы той или иной эпохи случайно взятых из нашей действительности людей, а воссоздавать исторических героев в их естестве и подлинности — вот чего требовал Покровский от писателя, черпающего материал из сокровищницы истории. А это, считал он, может сделать только литератор, мыслящий категориями марксизма-ленинизма. Любая тема станет новой, первозданной, если будет воссоздана со всей исторической правдивостью.

Не могу без чувства отчаяния думать о том, что пачка писем М. Н. Покровского, несмотря на усиленные поиски, все еще не обнаружена.

Предисловие, написанное этим замечательным историком, которое сопровождало четыре издания — с 1929-го по 1935 год — моей книги «Женщины эпохи французской ре-

волюции», лишь в малой степени повторяет то, чему терпеливо и настойчиво учил меня Покровский на словах и в письмах. Работая позднее над своей трилогией о жизни Маркса, я неукоснительно следовала многим его советам.

В те же годы я близко сошлась с Любовью Николаевной и жадно слушала ее рассказы о прошлом. В ранней молодости она оставила богатый купеческий родительский дом и последовала за Михаилом Николаевичем в эмиграцию.

— Я полюбила его, когда он был неуклюжим, замкнутым в себе репетитором, дававшим уроки в нашей семье. Меня сразу же поразили его смелые суждения и знания.

В Париже, в изгнании, Покровские встречались с Лениным и Надеждой Константиновной. Жилось им не всегда легко материально, но интересно духовно. Никогда Любовь Николаевна не пожалела, что порвала с родными, возмущенными ее браком с революционером.

— Какое счастье,— заявляла Любовь Николаевна,— что я встретила Михаила Николаевича и переменила быт сытой, праздной купчихи на кочевническую жизнь жены борца и ученого! Если бы вы знали, как великодушен и глубок Михаил Николаевич.

В 1932 году я узнала, что Покровский безнадежно болен. Любовь Николаевна позвала меня проведать больного. Помню, как пришла я в больницу на улице Грановского и поднялась на второй этаж. Приоткрыв тихонько дверь в сумрачную небольшую палату, я услышала звучный голос Любови Николаевны. Она декламировала стихи Лермонтова:

Когда волнуется желтеющая нива,
И свежий лес шумит при звуке ветерка...

— Читай, Любушка. Я точно вижу поле, колосящуюся рожь, и дышится мне легче. Как прекрасен мир...

Я подошла к постели больного и едва узнала Михаила Николаевича. Он был изможденным, но из-под очков по-молодому остро блестели глаза. Весь остаток жизни сосредоточился в его взгляде. Он принялся забрасывать меня вопросами с тем оживлением, которым сильные люди пытаются прикрыть физическую слабость. Я пробыла

очень недолго в палате, чтобы не утомить его. Выходя, услышала, как, приглушая голос, Любовь Николаевна снова читала:

И прячется в саду малиновая слива
Под тенью сладостной зеленого листка...

Вскоре, будучи в Лондоне, я прочла в газете о смерти Михаила Николаевича Покровского и от души оплакала его. Позднее, вернувшись в Москву, я много раз бывала в доме на улице Серафимовича, в неуютной квартире, где доживала свои дни Любовь Николаевна. Больная нога мешала ей ходить, и она часто лежала. Все ее мысли были об умершем муже, о прожитом.

Много лет спустя я узнала, как растоптано было имя этого бойца ленинской гвардии. Моя книга «Женщины эпохи французской революции» вышла в 1958 году без предисловия Покровского.

Теперь имя Михаила Николаевича Покровского снова зазвучало, и с него сняли густую накипь оговоров. Книга «Женщины эпохи французской революции» снова вышла в свет такой, какой подписал ее к печати Покровский.

Для меня Михаил Николаевич Покровский навсегда останется человеком высокой, смелой и светлой души, талантливейшим ученым, пламенным коммунистом.

## А. М. КОЛЛОНТАЙ

Кто из нас в отрочестве не возводит, как язычник, в своем воображении кумирен, которые населяет любимыми героями из книг и жизни! Молодость — это поиски совершенства, томящие сомнения, стремление ко всему лучшему на свете.

Мне не было полных четырнадцати лет, когда я поместила среди своих божков Александру Коллонтай, вскоре после того, как увидела и услышала ее на одном из митингов в Киеве. Она показалась мне образцом отваги, многогранной культуры и романтической красоты.

Было жаркое лето 1919 года. К столице Украины в обход двигались белые армии. Прошло всего несколько недель после Трипольской трагедии. В неравной схватке с бандитами атамана Зеленого погибли киевские комсомольцы. Город жил трудно, неспокойно. По Крещатику

шныряли в разном обличии подозрительные личности, прогуливались праздные снобы и эстетствующие барышни, громко обсуждая преимущества имажинистов и футуристов перед реалистической школой в поэзии и живописи. Рабочие вооружались и готовились к отпору наступающей контрреволюции. Бюро Киевского губкома комсомола собирало нас ежедневно на военные занятия. Мы жаждали подвига во имя идеи.

Как-то в сумерки в угрюмом, пропахшем конским потом, навозом и плесенью здании цирка собрались перед отправкой на фронт красноармейцы, рабочие и киевские комсомольцы. На этом собрании была и я.

С речью, как мы знали, должен был выступить кто-то из членов украинского правительства. Внезапно на подмостки поднялась стройная, хрупкая женщина в изящном синем платье и огромной соломенной шляпе. Дымчатый прозрачный шарф обхватывал тулью и небрежно ниспадал книзу. Уверенным движением женщина, вытащив длинную шпильку, сняла и положила на стол свой головной убор, тряхнула пепельно-русыми вьющимися волосами и начала говорить. Недоуменно и скорее неодобрительно смотрели на нее красные воины.

— Кто это, кто?

— Нарком агитации и пропаганды Украины Коллонтай,— услышала я чей-то шепот.

Не прошло и нескольких минут, как зал затих, и все присутствующие подались вперед, зачарованные необыкновенным трибуном. Сильный голос, напоминавший звук виолончели, артистическая дикция, умные и доходчивые слова, в которые облачались мысли, сила ораторского воздействия поражали.

В моем юном воображении Коллонтай представала красной Жанной д'Арк — отважной воительницей революции. Она говорила о неизбежной победе над врагами советской власти, о земле, которую получили крестьяне, о борьбе за счастье трудящихся и будущем, таком прекрасном, какого еще никогда не было на земле. Я заглянула в глаза стоявших рядом бойцов и увидела в них свет, идущий от души.

Коллонтай нашла главное, что требуется от докладчика,— ключ к человеческим сердцам. Когда она кончила, под куполом старого цирка раздались неистовые рукоплескания, и все участники митинга стихийно двинулись

к зданию бывшей Киевской думы, где находился в ту пору губком партии.

Впереди колонны шла Александра Михайловна, и летний ветер слегка раскачивал шарф на ее широкой, похожей на сомбреро шляпе.

— Ей бы войска вести на бой, то-то бежал бы ворог...

Позднее вместе с несколькими комсомолками я пришла в бывшую гостиницу «Континенталь», где жила Коллонтай. Она приветливо встретила нас, предложила морковный чай, остывавший в большом чайнике на столе, и заговорила. Тогда-то впервые в жизни услыхала я о Теруань де Мерикур, о Луизе Мишель и многих других женщинах, имена которых вошли в историю борьбы человечества за свободу. Я не решилась вымолвить ни слова, остро страдая от сознания своего невежества.

«Как много надо учиться, чтобы быть как эта женщина!» — думала я со страхом, точно подошла к крутой и высокой горе.

В следующую встречу Александра Михайловна посоветовала нам прочитать работу Августа Бебеля «Женщина и социализм», статьи Клары Цеткин, Инессы Арманд и Розы Люксембург.

Новый мир чуть приоткрылся мне. Но войти в него я смогла значительно позже. Вскоре начались бои за Киев. С путевкой комсомольского губкома я отправилась в 13-ю Красную армию, штаб которой находился в Ливнах, Орловской губернии.

Лишь в 1921 году, учась на рабфаке, я начала читать книги, на которые указала мне Коллонтай. Она в это время работала в Москве, в женотделе ЦК партии. Ее выступления на собраниях, статьи и беседы прочно осели в моей памяти и толкнули к изучению истории феминизма.

— Тысячелетиями, — говорила Александра Михайловна, — женщина обрекалась на принижающий, изнуряющий труд или на полную праздность. Лишенная всяких прав, женщина, даже если она принадлежала к привилегированному классу, неизбежно отставала от мужчины в развитии своих творческих сил. «Кухня, семья, церковь» — таков знаменитый треугольник, который буржуазия определила как жизненное поприще наше. Сколько дарований, талантов, способностей погибло в этом заколдованном геометрическом тупике.

Вопросы, связанные с женским равноправием, всегда глубоко волновали Александру Михайловну.

— Мало иметь все права, надо духовно догнать мужчину, идти с ним нога в ногу,— не раз повторяла она. — Советская власть осуществила мечты женщин, но права обязывают.

В конце XVIII века одна из видных деятельниц Великой французской революции тщетно добивалась принятия в члены Якобинского клуба. Ей отказывали потому, что она женщина. В постановлении об этом сказано, что, хотя церковный собор в Маконе признал у женщин наличие души и разума, тем не менее место ее у домашнего очага. Конвент декретом запретил все стихийно возникавшие тогда женские клубы и объединения. И это произошло в пору наивысшего подъема буржуазной революции, потрясшей всю феодальную Европу.

А в 1919 году Ленин написал: «За два года Советская власть в одной из самых отсталых стран Европы сделала для освобождения женщины, для равенства ее с «сильным» полом столько, сколько за 130 лет не сделали все вместе передовые, просвещенные, «демократические» республики всего мира».

В начале двадцатых годов мне довелось провести с Александрой Михайловной почти целый день. Общение с значительным человеком так же обогащает, как незнакомый город, как чужая страна.

Александра Михайловна не терпела праздности. Но чем бы ни занималась, она не забывала подумать о своей внешности. И всегда в ее внешности было что-то праздничное, продуманно красивое.

— Ни мужчина, ни женщина не смеют наружно опускаться, неряшливость не может быть оправдана занятостью,— говорила Коллонтай.

Я всегда заставала ее нарядной, подобранной, оживленной.

Стопка книг на нескольких языках обычно лежала на ее столе рядом с кипой газет различных стран.

Однажды Александра Михайловна протянула мне томик Ницше и сказала:

— Я только что перелистала этого мрачного вещателя. Он, как и горе-философ Вейнингер, был помешан на женоненавистничестве. Вот его афоризм: «Что может встретиться реже, нежели женщина, которая знала бы,

что такое наука». Это напоминает мне случай с одним немецким ученым, изучавшим свойства мозговой коры. Он доказывал, что мозг женщины весит значительно меньше, нежели мужской. Этим он пытался доказать неспособность женщин мыслить и творить. И что же, когда сей почтенный муж скончался, вес его мозга оказался значительно легче мозга женщины.

Александра Михайловна залилась мелодичным, заразительным смехом.

Случалось, что, придя к ней, я тут же усаживалась за работу.

— Вот вам книги, блокнот для выписок, устраивайтесь поудобнее, и не будем мешать друг другу,— предлагала мне Коллонтай, если бывала чем-либо занята.

И в течение нескольких часов мы молчали, поглощенные каждая своим делом. Раз она позвала меня на встречу с делегатами, прибывшими на очередной конгресс Коминтерна. Торжественный вечер происходил в зале Московского комитета партии, находившемся на Большой Дмитровке, в большом сером доме в глубине двора. Первым выступил итальянский коммунист. Его пылкое приветствие, закончившееся пением боевого гимна «Bandera rossa», перевела на русский язык Коллонтай. Затем заговорил англичанин, и снова вслед за ним на трибуну для перевода поднялась Александра Михайловна. Она же донесла до нас слова шведа, немца и француза. Коллонтай была редким полиглотом и владела многими иностранными языками.

Однажды она поспорила с давнишним своим другом А. Г. Шляпниковым из-за какой-то цитаты Маркса и, когда была найдена книга, оказалась правой. Она превосходно знала все труды Ленина и постоянно вспоминала его мысли и слова.

В начале двадцатых годов она задумала писать повести под названием «Любовь пчел трудовых». Но дебют ее в области беллетристики оказался неудачным. Революционный трибун, руководитель женского движения, дипломат, публицист, Александра Коллонтай не стала писателем.

В 1923 году Коллонтай уехала на работу за границу. Первая советская женщина-посол, она пользовалась всюду, где находилась, всеобщим уважением.

Еще в годы эмиграции Александра Михайловна жила

в Дании и Норвегии. Она вернулась в Осло полномочным послом Советского Союза. Обширные знания, такт, очарование, исходившее от этой умной, волевой женщины, создавали ей неизменно большой авторитет повсюду, где она появлялась. С большим успехом читала она лекции в университетах Скандинавии, высоко поднимая престиж государства, представителем которого была.

Коллонтай хорошо знала и восторженно отзывалась о замечательных писателях — Мартине Андерсене-Нексе, Сельме Лагерлёф, Андерсене, Ибсене, Гамсуне, Карин Микаэлис; она любила строгую и мощную природу севера и красочно описывала многоцветные фиорды и угрюмые скалы.

Однажды, приехав ненадолго в Москву, Александра Михайловна подарила мне партитуру «Пер Гюнта». По ее словам, великий Григ проник в этом творении в тайное тайных души норвежского народа, прямодушного и мечтательного.

За долгие годы пребывания в Швеции и Норвегии Коллонтай приобрела множество преданных ей друзей. Имя ее широко известно и чтимо там и поныне.

Наши встречи со времени отъезда Александры Михайловны стали редкими. В последний раз она навестила меня в 1935 году. Коллонтай было уже шестьдесят три года. Она значительно пополнела, но возраст сказывался только в отяжелевшей походке, лицо же оставалось попрежнему миловидным, а взгляд — живым, проницательным. С мягким юмором рассказывала нам Александра Михайловна о своих многочисленных встречах и путешествиях по Европе и Мексике. Тогда же, по моей просьбе, она рассказала о своей молодости в дворянской семье, об уходе от родных, о кипучей революционной подпольной деятельности, знакомстве и переписке с Лениным. С первых дней Октябрьской революции Александра Михайловна работала на посту комиссара государственного призрения. Говоря о личной жизни, она сообщила с улыбкой, что записью ее брака с Павлом Дыбенко была начата первая книга актов гражданского состояния в Советском Союзе.

— Много принесла доброго с собой людям наша революция! Раскрепостила все, даже любовь, разрушив лицемерный институт религиозного брака! — сказала она.

Далеко за полночь расстались мы с Коллонтай, договорившись встретиться, когда она снова приедет в отпуск на родину. Но судьба нас больше не свела.

## Е. Д. СТАСОВА

Чудесные люди составляют ленинскую большевистскую гвардию. Их великое бескорыстие, пренебрежение к своим личным удобствам, не потухающее горение, самоотверженность и преданность идее граничат с аскетизмом. В этой славной плеяде одной из первых видится мне Елена Дмитриевна Стасова.

Помню себя пятнадцатилетней девушкой, вернувшейся в 1920 году из Красной Армии. Центральный Комитет нашей партии находился тогда на углу Моховой и Воздвиженки, и вход был там, где теперь прибита доска в память Михаила Ивановича Калинина. С трепетом поднималась я на один из верхних этажей идейного штаба революции, направлявшего жизнь страны и фронта. Мимо меня торопливо проходили люди в шинелях, кожанках, с вдохновенными лицами, поглощенные какими-то важными мыслями.

В одном из более чем просто обставленных кабинетов я впервые увидела Елену Дмитриевну. Тоненькая, стройная, очень моложавая, она напомнила мне портрет мальчика на одной из старинных скандинавских гравюр. Я пришла просить Стасову о направлении на рабочий факультет. Поправив пенсне, Елена Дмитриевна задержала на мне долгий, испытующий взгляд.

— Да, учиться обязательно надо, и не откладывая, тем более что жизнь уже преподала вам много полезных уроков.

Исполнив мою просьбу, Стасова дружелюбно протянула мне руку на прощание.

Мы встречались со Стасовой еще не раз, но первое впечатление не рассеивалось, а утверждалось. Целомудренная чистота, нравственное обаяние, правдивость без компромиссов, высокая культура и самоотверженное служение партии — вот те черты, из которых складывается образ этого неутомимого борца-революционера.

Прошло много лет со дня моих последних встреч с Еленой Дмитриевной Стасовой. Ушли навсегда годы

культа личности. Елена Дмитриевна по-матерински отнеслась к моей старшей дочери, Зоре, вернувшейся из ссылки в Москву, когда я еще находилась в заключении. И не одной Зоре помогла Стасова. Много безвинно осужденных людей нашли у несгибаемо волевой, справедливой коммунистки, друга Ленина, защиту, чуткое внимание и заботу.

Каждого, кто общался с Еленой Дмитриевной, очаровывали ее простота, светлый, острый ум, благожелательность. Я была неизменным читателем всего, что пишет эта исключительная женщина. Ее внутренняя культура, многогранность интересов производят глубокое впечатление. Этим Елена Дмитриевна сродни тем, кто с Лениным создавал нашу партию. Как и Глеб Кржижановский, Феликс Дзержинский, Инесса Арманд и многие, многие другие, Стасова пылко любила искусство, хорошо знала живопись, литературу и музыку. В одной из своих статей Елена Дмитриевна пишет:

«...Я выросла в музыкальной семье. Отец мой был другом Михаила Ивановича Глинки. С детства я знала участников «Могучей кучки» и знакомилась со всеми их новыми произведениями еще до того, как они появлялись в печати или на сцене. Дядя мой, Владимир Васильевич Стасов, немало копий сломал в защиту новаторов музыки — «кучкистов». Это он знакомил русскую публику с такими гигантами в области музыки, как Берлиоз и Лист, и с новой порослью, поднимавшейся вслед за «Могучей кучкой»,— Лядовым, Глазуновым, Аренским, Блуменфельдами».

Елена Дмитриевна настойчиво заботилась о том, чтобы музыка вошла в повседневную жизнь советских граждан, неся им радость, какую она сама от нее получала.

В семье Стасовой было много высокоодаренных людей. Самая обширная, исчерпывающая биография Жорж Санд принадлежит перу сестры Елены Дмитриевны, выпустившей свой признанный во всем мире труд под псевдонимом «Владимир Каренин».

Старость не коснулась действенного ума и души Елены Дмитриевны Стасовой. В девяносто лет, почти лишившись зрения, она так же страстно относилась ко всему, чем живет Советская страна, так же терпеливо выслушивала всех, кто нес ей справедливую жалобу или просил совета. Дух ее оставался зрячим и бодрым. Мысль чиста и крылата.

## А. В. ГАЛКИН

Много в партии Ленина видела я неповторимых, особенных людей, высокоодаренных музыкантов, живописцев, литераторов. Александр Владимирович Галкин — рабочий, член партии с 1904 года — был одним из таких самородков. В старенькой гимнастерке цвета лежалого сена, в стоптанной обуви, он вспоминается мне непритязательным, отрешенным от мелких, суетных делишек, суровым к себе и самоотверженным, фанатически преданным идее.

Такими мне помнятся и А. А. Сольц, мягкий, чуткий, справедливейший человек, неумолимый, если дело касалось чистоты коммунистической морали и высоких норм поведения, и А. К. Воронский, тонкий ценитель литературы, острый публицист и критик, и вдохновенный и честный И. А. Пятницкий, не щадивший себя ни в каком бою ради победы партии.

Биография А. В. Галкина проста и очень схожа с историей жизни других коммунистов, пришедших в партию в начале века. Жизнь его — долгий перечень тюрем и ссылок, подпольных кружков и партийных заданий, трудный и увлекательный путь подпольщика-большевика.

Пролетарий, окончивший два класса церковноприходской школы, без систематического дальнейшего образования, самоучка, Галкин удивлял каждого его знавшего многообразием интересов и разносторонностью знаний.

Александр Владимирович превосходно постиг живопись, сам занимался ваянием, глубоко изучил русскую и мировую классическую литературу, любил музыку, особенно оперную, предпочитая гениальные творения Мусоргского — «Хованщину» и «Бориса Годунова». Он с большим чувством играл на скрипке и флейте и, по мнению знатоков, мог бы стать выдающимся музыкантом-профессионалом.

Большой интерес к истории России привел его к старинным летописям, и он с увлечением изучал документы на древнеславянском языке. Точно так же овладел он учением основоположников марксизма и не раз в те далекие годы со спокойствием и терпением учителя объяснял мне сущность прибавочной стоимости.

Галкин был выдающимся политическим деятелем. В годы жизни В. И. Ленина он некоторое время был председателем Малого Совнаркома и выполнял особо ответственные поручения партии.

Особой страстью Галкина были история и юриспруденция. Не случайно несколько лет он возглавлял Верховный суд Советского Союза. Александр Владимирович не раз говорил мне, что счастье народа в строжайшем осуществлении социалистической законности. Этот внешне несколько флегматичный, строгий человек бурно гневался, когда находил малейшее нарушение именно в области права.

Когда в 1929 году я впервые увидела Галкина, он не произвел на меня значительного впечатления. Высокого роста, рыхловато-полный, нескладный, некрасивый, с умными, зоркими, небольшими глазами, испытующе глядящими из-под мешковатых, нависших век, с выпуклым лбом и прямыми, откинутыми назад прядями волос, он напоминал провинциального учителя или военного фельдшера. Это впечатление быстро рассеивалось, когда он начинал говорить низким басом на превосходном русском языке, изобилующем поговорками и чисто народными речевыми оборотами. Характеристики людей, высказанные им, бывали всегда метки и подчас беспощадны, как и придирчивая оценка своих собственных поступков.

Все примечающий, бывалый и своеобычный, он становился интереснейшим собеседником, проницательным критиком, когда судил о литературе, театре, живописи или музыкальных новинках. Третьяковская галерея была ему так же необходима, как лес и поля, которые он любил и видел по-своему. В этом человеке уживались мечтатель, боец и многогранный художник. Галкин мог подолгу говорить о природе, особенно северной, как истый поэт. Годы ссылок казались ему не худшими из-за долгих прогулок по тайге, рыбной ловли, чтения и размышлений. Тюрьма дала ему возможность многое узнать и изучить.

В тридцатых годах, скрывая это ото всех, Галкин взялся за перо и принялся за роман о Руси в эпоху Дмитрия Самозванца. Он проводил дни в архивах, рылся в книгохранилищах. Я часто уезжала из Москвы, и встречи наши с Александром Владимировичем были тогда кратки и редки.

Но в 1934 году он снова зачастил к нам, и меня тяжело поразила происшедшая в нем перемена. Сперва он показался мне брюзжащим и больным. Галкин постарел, начал тучнеть. Он не расставался и в комнате с меховой шапкой, прикрывавшей его большую голову, ссылался на простуду, обычное спокойствие и невозмутимость покинули его.

— Социалистическая законность,— сказал он мне както,— основа государственного, а значит, и партийного в нашей стране благополучия. Так было при Ленине и затем после его смерти. Но вот теперь прокуратура в руках карьериста, бывшего завзятого меньшевика Вышинского. Этот человек без сердца и совести может оказаться роковым для советской юстиции. Он способен на любое подлое дело ради своей выгоды. В партии он чужак, она ему не дорога. Я высказал ему все это прямо в глаза. Вышинский, естественно, меня ненавидит. Есть у меня большая докладная, где я изложил свои мысли и опасения.

Годы борьбы за революцию выковали из Галкина отважного, крепкого бойца, но тогда я этого не понимала и с удивлением и печалью смотрела на него. Он снял вдруг свою высокую меховую шапку с простеганной несвежей подкладкой и механически мял ее большими руками с тонкими, красивыми пальцами.

— Может быть, в вас говорит мнительность и раздражение, может, вы Фома неверующий? — спросила я Галкина.

Он махнул устало сильной рукой и сказал мрачно:

— Ну, да что вы в этом всем понимаете! Поди, и римского права отродясь не читывали.

Это была истина. На том разговор наш прервался.

Меня куда больше интересовали тогда не дела в юстиции, а книга Галкина «Смута», которую он сдал в издательство. Я была убеждена, что этот высокий, сутулый человек, всю свою жизнь посвятивший служению партии, страстно преданный ленинизму, был настоящим талантливым художником, и к тому же в разных областях искусства.

Книгу Галкина «Смута» я прочла совсем недавно. Она вышла из печати в 1936 году. Это талантливое, безукоризненное по языку, острое, умное произведение.

Скульптурные работы Галкина, нарисованные им акварели, игра на скрипке подтверждали, сколь артисти-

чески богата была его натура. Он мог посвятить себя музыке, живописи и особенно ваянию и многого достичь в творчестве. В моей комнате висит сейчас превосходный, по мнению самых придирчивых знатоков, горельеф, олицетворяющий мысль и страдание, вылепленный из глины Александром Владимировичем в 1910 году, в царской тюрьме.

## Ф. ХОДЖАЕВ

Замечательные люди были направлены Лениным для борьбы и работы в Туркестане. Лучшие из лучших — Фрунзе и Куйбышев — навсегда вписали свои имена в летопись становления советской власти и утверждения коммунистических идей на туркестанских просторах.

В ноябре 1919 года в Ташкент с письмом от Ленина к туркестанским коммунистам прибыли члены Туркестанской комиссии, в том числе В. В. Куйбышев. Несколько позже приехал М. В. Фрунзе.

Полномочия Туркестанской комиссии были огромны. Она осуществляла, согласно данной ей директиве, «высший партийный контроль и руководство от имени Центрального Комитета РКП(большевиков) в Туркестане».

Турккомиссия получила право проводить перерегистрацию членов партии, распускать не отвечающие высокому своему назначению и долгу партийные организации, созывать чрезвычайные партийные съезды и конференции на туркестанской земле.

ВЦИК и Совет Народных Комиссаров, возглавляемый Лениным, уполномочили членов Турккомиссии действовать от их имени: столь важно было осуществить национальную политику советской власти, основанную на полном равенстве.

Нелегкая это была задача. Царь и его правительство за годы многолетнего их господства вселили глубокое недоверие, а подчас и злобу в души трудящегося люда Туркестана.

Молодая туркестанская армия строилась по образцу единой, дисциплинированной Красной Армии. Быстро ликвидировались остатки партизанщины. Отныне войска подчинялись Реввоенсовету Туркфронта.

Все дни и часто ночи посланцы Москвы, доверенные партии и Ленина, проводили в напряженнейшей работе. Куйбышев и Фрунзе были в постоянных разъездах. Обо всем происходящем они сообщали в Ташкент, членам Турккомиссии.

Последним плацдармом разгромленной контрреволюции в Закаспии была Бухара, где эмир сосредоточил сорокатысячную армию под водительством английских и афганских офицеров. Части Красной Армии, осадившие Бухару, не достигали и четверти этого числа. И, однако, победа представителей нового мира была обеспечена. В августе 1920 года бухарские коммунисты, поддержанные младобухарской партией и трудящимися Бухары, подняли восстание. Им помогла Красная Армия, которой руководили в то время Фрунзе и Куйбышев. Народная революция в Бухаре победила, о чем немедля Фрунзе сообщил Ленину.

Началась иная эра на советском Востоке, но борьба еще не скоро окончательно утихла.

Фрунзе и Куйбышев — совсем еще молодые — отличались неутомимостью и энергией, подобно тем героям, о которых слагались мифы. Они видели цель жизни только в борьбе за счастье других, довольствовались малым, могли не ложиться спать по нескольку суток и питаться на ходу. Их бодрость, вера и всегда ровное, веселое расположение духа удивляли и заражали окружающих.

Мне посчастливилось знать их обоих лично. Редко кто изучил так исчерпывающе историю народов, населявших Туркестан, как Фрунзе и Куйбышев.

В прекрасной Фирюзе, туркменском селении, Фрунзе находился вместе с женой Софьей Алексеевной. В память счастливых дней назвали они сына Тимуром, и в семье жило предание о столетней чинаре, под сенью которой Фрунзе говорил о любви Софье Алексеевне.

Туркестан был всегда особенно близок, понятен и дорог Фрунзе и Куйбышеву. Ленин не мог избрать лучших посланцев и борцов, нежели эти два славных коммуниста.

Много в Узбекистане неповторимо своеобразных, красивых городов, но наиболее удивительным, единственным в мире остается Бухара. Глинобитная неровная стена, ширина которой равняется трем верблюдам, поставленным горб к горбу, цветом и особенностью лепки напоминает гигантское гнездо ласточки. Железные ворота боль-

ше не закрываются, как в те далекие времена, когда в боевом раздумье перед ними стояли прельщенные богатой наживой арабские и тюркские полчища.

Охваченный обручем стены, старый город своеобразно распланирован. Улицы столь узки, что двум арбам, бывало, не разъехаться без продолжительной перебранки важно восседающих на них узбеков, без вмешательства прохожих и остановки всего движения. На площадях — древние мечети со следами тончайшей цветной мозаики. Крытый деревянным навесом базар с расходящимися в стороны торговыми рядами — своеобразный универсальный магазин, где суетились в глубоких нишах лавочники, точно ожившие персонажи «Тысячи и одной ночи». Вокруг мусульманская культура, знакомая нам по персидским и арабским фрескам, по великим творениям Навои, Фирдоуси, Саади. Такой увидала я Бухару в 1927 году. Минуло всего семь лет, как произошла там социалистическая революция. На просторной площади менее десяти лет назад по определенным дням прилюдно секли неугодных эмиру, его сановникам и муллам людей. Всюду средневековье причудливо переплелось с новью. Рядом с символом магометанства — полумесяцем и звездой — появились серп и молот — эмблема советской власти. И над Бухарой, как и над всем Узбекистаном, противоборствовали в эти годы две эмблемы, две идеи. Серп и молот вытесняли лунный серп ловчайшего Магомета.

В прекрасной Бухаре в году 1896, когда в Саттара-Мехасе, в загородном дворце, в обществе сотни разноплеменных наложниц весело проводил время блестящий воспитанник Пажеского корпуса, баловень высшего петербургского света эмир, у богатого купца Ходжаева, проживавшего неподалеку от священного пруда, родился сын Файзулла. Во всей Бухаре цвели жасмины, и запах их соцветий плыл по городу, подавляя чад жирных пловов и поджариваемого мяса. Новорожденных нигде не регистрировали. День рождения желанного наследника остался неизвестным. Мать на вопрос, в каком месяце родился ее сын, отвечала: «Это было, когда в саду нашем цвели кусты жасмина».

В коротенькой автобиографии Файзулла говорит о себе скупо, с той волнующей скромностью, которой отличалось все поколение ленинских выучеников, творцов Октябрь-

ской революции. В этом отражалась их особая, высокая культура духа.

Именно Файзулле Ходжаеву предстояло возглавить революционные отряды и участвовать в изгнании из родной Бухары ее самодержавного правителя. В конце 1919 года вместе со своей группой младобухарцев Ходжаев вступил в коммунистическую партию.

М. В. Фрунзе, В. В. Куйбышев и другие работавшие в Туркбюро ЦК партийные деятели помогали политическому становлению Ходжаева и тех узбеков, которые последовали за Лениным.

То было тяжелое время. Шла ожесточенная борьба с басмачеством. Один из кровожаднейших басмачей, Хол-ходжа, бывший уголовный каторжанин, человек громадного роста и чудовищной физической силы, возглавлял банды головорезов и смерчем кружился по Фергане. Он возил при себе мешок, в который складывал отрезанные уши своих противников, как некогда индейцы — скальпы. Под его начало шли самые опасные враги советской власти. Спасаясь от отрядов Красной Армии, Хол-ходжа бежал к границе, но на узкой тропе погиб в горах под снежным обвалом. Басмачи попытались опутать народ легендой, будто Хол-ходжа спасен подлетевшими ангелами, но исчезновение его оказалось окончательным.

Не менее серьезную опасность представляли басмачи, сражавшиеся под водительством Энвера-паши. Вскоре все же басмаческое движение было подавлено не только храбростью защитников советской системы, но и благодаря мудрой ленинской политике. В Туркестане провели денежную реформу, устранив совершенно обесценившиеся особые «туркбоны», организовали пересчет цен и зарплаты на новые, общесоветские деньги, продразверстку заменили налогом, отменили всеобщую трудповинность, разрешили свободный привоз продуктов на базары и торговлю на них, выпустили из тюрем мулл, заявивших о своей лояльности. Обстановка в Узбекистане стала спокойнее. Влияние буржуазии резко снизилось.

Файзулла Ходжаев был одним из способных и верных проводников ленинской политики в своей стране. Осенью 1920 года его избрали председателем Совета народных назиров (комиссаров). Он строго и смело проводил в Узбекистане, в условиях необычных и весьма трудных,

ленинский курс, учась самому ответственному делу — служению интересам трудящегося народа.

Впервые я увидала Файзуллу в Ташкенте, куда приехала спецкором «Известий».

Мы встретились на квартире секретаря ЦК Коммунистической партии Узбекистана Икрамова, которого повсеместно называли умнейшим и честнейшим человеком республики. Прихрамывающий, худой, болезненно бледный, он произвел на меня большое впечатление своей приветливой непосредственностью и острым чувством юмора.

Файзулла Ходжаев показался мне вовсе не таким, какого я ожидала встретить, наслышавшись о его отваге, необыкновенных способностях дипломата и значительной образованности. Ходжаев был невысок ростом, как юноша гибок и тонок. Правильно очерченное лицо малоазиатского типа с овальными глубокими глазами и длинными ресницами несколько портили синеватые шрамы от перенесенной болезни — пендинки. Насколько Икрамов среди чужих был говорлив, шутлив, весел, настолько Файзулла молчалив и, скорее, мрачен. Он строго и пристально вглядывался в собеседника, как бы оценивая его про себя.

На большом предвыборном собрании я смогла услышать руководителей узбекского государства и, хотя не понимала языка, на котором выступали Икрамов и Ходжаев, мгновенно улавливала, следя за выражением лиц присутствующих, сколь речи обоих этих людей были убедительны. Слушатели в полосатых халатах и разнообразно вышитых тюбетейках отнюдь не сразу сдавались на доводы ораторов. На этот раз Икрамов удивил меня суровым хладнокровием, а Ходжаев — неожиданной экспансивной силой голоса, жестикуляции, слов. Его речь магически действовала на присутствующих и вызывала бурю чувств. Собравшиеся отвечали различными возгласами, поднимались с мест, одобрительно махали руками. Ходжаев на трибуне показался мне искрящимся и очень красивым. Не раз приходилось мне видеть, как в порыве творчества, импровизации хорошели люди. Прекрасен был Ленин в минуту общения с народной массой, Луначарский, Коллонтай, Киров. У Файзуллы Ходжаева была та же особенность истинного борца за идею.

Узбекистан креп в тяжелых противоречиях, трудно сбрасывал с себя вериги мрачного средневековья и привычного деспотизма богачей.

Спустя несколько дней я отправилась из Ташкента по стране. В Самарканде мне снова довелось встретиться с нагнавшим нас Файзуллой Ходжаевым, и ему я была обязана тем, что насладилась «Ликом земли», как называли древние мусульманские писатели необычный город, каждая пядь которого хранит быль истории. Закоулок, упершийся в стену гробницы или мечети, воскрешал исчезнувшие эпохи, как и камень древней школы — медресе, и пепельная, сухая почва. Смуглокожий мальчик продавал легкие, источенные веками монеты времен Александра Македонского. Значение этих крупинок полулегендарной истории ему было не известно — он раскопал их, играя на окраине города. Армянин на Регистане предлагал нам нефритовую гемму, и древнегреческие крестообразные письмена подтверждали ее давность. Грубо высечена была на гемме голова воина. Прах ее владельца давно стал землею, но печатка-талисман, как плита над могилой, возвращала мысль живого к мертвому, к далекому прошлому Самарканда, уводящему в недра тысячелетий.

Файзулла Ходжаев в совершенстве знал историю своей родины; он рассказал мне коротко и увлекательно о прошлом Самарканда.

Расположенный в центре сплетения дорог, ведущих в Индию, Персию, Китай и к низовьям Волги, с хорошо орошенной, плодородной почвой, город за много веков до начала европейской цивилизации стал приманкой для жадных завоевателей. Их вожделения неслись через смертоносные пустыни, крутые горы, буйный Зеравшан к Самарканду, сулящему завидную добычу победителю. Кто только на протяжении многих веков не стремился в этот город!

— Когда-то,— рассказывал мне Ходжаев,— здесь стояли храмы Заратустры и Будды. Влиянию буддийской культуры нанесли непоправимый удар кровожадные магометане. Затем наши предки увидели Чингисхана. Только двадцать слонов после осады этого города оказались в плену у врага, войско защитников города поголовно полегло на поле сражения. Потом были годы смуты. Но в четырнадцатом веке «Железный хромец» Тимурленг — этот садист и художник, разбойник, смелый организатор и градостроитель, рассматривавший мир как шахматную доску,— избрал Самарканд своей резиденцией.

Несмотря на зной, мы с Ходжаевым обошли все досто-

примечательности, и, хотя прошло много лет, я помню все его рассказы, столь значительны они были.

— Почему вы не занимаетесь литературным трудом? — спросила я Файзуллу, когда мы подошли к развалинам соборной мечети Биби-ханум.

— Сейчас я нужен на другом посту,— ответил он, чуть улыбнувшись. Но обычно у него было грустное, гордое, волевое лицо.

Всем, что узнала о Самарканде и превратила затем в очерки для газет, я была обязана Ходжаеву. Это он так красочно и живо рассказывал мне о старом деспоте Тимуре, который, обессиленный недугом, торопил постройку мечети. Сотни полуголых рабов возводили ее фундамент, никогда не вылезая из размытых дождем ям; поднимали на поверхность только мертвых. Желая ускорить работу, семидесятилетний властелин кидал рабочим куски сырого мяса. Из Персии и Индии верблюды и люди тащили глыбы камней. Тимур хотел превзойти прочностью и красотой своих строений фараоновы пирамиды. Но время часто безжалостно разрушает замыслы честолюбцев. Их на крови возведенные памятники разваливаются, как дома из кубиков, созданные детьми.

Мы побывали на могиле Тимура. Этот крестьянский сын, с помощью грабежей и разбоя получивший корону, призвал легенду, чтобы упрочить свой скипетр, и произвел себя в потомки Чингисхана. На нефритовом надгробии Тимура высечен наивный миф о непорочном, от солнечного луча, зачатии девой Аланкувой его предка.

— Я покажу вам нечто оставшееся от далекого средневековья. Скоро в Узбекистане невозможно будет увидеть ничего подобного,— сказал Ходжаев и повел нас по сдавленной глухими стенами улочке Шах-Зинда.

Внизу, в молельне, собрались фанатики дервиши. Глаза их светились безумием, тела вздрагивали, как в ознобе; такими видела я маляриков во время острого приступа. Дервиши вертелись сначала медленно, призакрыв бездумные глаза. Движения их были механически точны. Постепенно нарастая, ускорился темп. В беспомощной улыбке распустились губы, пугающе повисли руки. Тишину все чаще прерывали чувственный вздох, вопль, бормотание молитв. С приглушенным криком падали в фанатическом радении эти ищущие общения с богом, исступленные безумцы.

— И это мракобесие победим,— тихо говорил Файзулла.

Мы вырвались из молельни, как из тяжкого сна.

В двадцатых годах Узбекистан стремительно менял свой облик. Файзулла Ходжаев с гордостью рассказывал о новых хлопкоочистительных заводах. Лучший из них был тогда на станции Каган, подле Старой Бухары, и показался мне высшим достижением современной техники.

Раскрасневшиеся лица, мускулы голых рук, свет, играющий на котлах с хлопковым маслом, раскаленные печи, распаривающие семя, черные прессы для выделки жмыха, вкусный запах горячего жмыхового теста напоминали гигантскую пекарню. Хлопок, легкий как пушистые стрелки одуванчика, превращали в волокна, прежде чем он покидал родной край.

Файзулла говорил о могучей стране хлопка, какой будет скоро раскрепощенный Узбекистан, о разнообразных богатствах своей родины, ее красоте и людях. А время было особенно тяжелое. Ислам, шариат, многовековой застой суровой метой обозначили страну. На улицы узбекских городов смотрели лишь голые, грязные стены, в которых не сразу были различимы низкие калитки. Жизнь домашняя была тщательно упрятана от посторонних глаз, невидима, как лицо магометанки. В кишлаке Ассаке, где течет быстрый арык Шарихан-Сай, я побывала в гареме местного жителя. Не зная языка друг друга, мы вознаграждали себя разглядыванием. Женщины щупали мою одежду, сравнивали волосы. Одна из них, с мясистым, грубоватым лицом, украшенным блестящими карими глазами, и другая, худая, нежная, оказались женами хозяина. Дочь одной из них была совсем еще девочкой. Трудно было представить себе, глядя на ее глаза, решительную складку губ и сильный подбородок, что и она покорно носит паранджу — символ порабощения.

В этот день в кишлаке Ассаке произошло убийство. Муж-хозяин зарезал жену, сбросившую чимбе — черную сетку, закрывавшую ей лицо. Это был не единичный случай. Муллы и старики — стражи косности — бесчеловечно боролись против равноправия. Разведенные при содействии женотделов женщины часто гибли от рук фанатиков.

Из кишлака Ассаке я отправилась по городам Ферганы.

Фергана — одно из самых красивых мест на земле — показалась мне огромным душистым садом. Старинное предание гласит, что соловей может порхать по Фергане, прыгая с ветки на ветку, никогда не поднимаясь над деревьями. Плодородная долина в течение тысячелетий создавалась с помощью искусственного орошения руками, мускулами людей на безводных пустырях и стала великолепным оазисом. В двадцатых годах в Фергане была наибольшая во всем СССР плотность населения. Среди тополей и шелковиц, фруктовых деревьев и винограда, цветов и густых кустов двигались люди, вереницы груженых верблюдов, кавалькады бородатых всадников, арбы, тележки, запряженные медленно бредущими умными ослами, стада баранов и шумные автомобили.

На вокзале города Намангана со мной случилось происшествие, едва не окончившееся плачевно. На базаре я купила национальный женский костюм и пышные серебряные украшения для волос, серьги и браслеты. Вернувшись в вагон, я заплела косы и нарядилась в узбекское платье, а затем выглянула в окно купе. Тотчас же на перроне начался гул и собралась толпа мужчин, которые угрожающе кричали мне что-то по-узбекски. Лица их и мелькавшие кулаки не предвещали ничего доброго. Как оказалось, они вообразили, что я местная уроженка и не только сбросила паранджу, но и собираюсь бежать из Ферганы. Нелегко удалось потушить пожар в сознании озверевших поборников женского закрепощения.

Узбекистан как бы нагонял упущенное время. В Ташкенте уже построили первую гидроэлектростанцию, и символически протянул над ней бронзовую руку Ильич. Женщины в парандже, точно нахохлившиеся черные птицы, реже и реже появлялись в парке подле загородного арыка Бос-Су, где утвердился новый век, наступивший в дни победы над басмачеством и тьмой.

Я знала о том, как доблестно бился с Энвером-пашой — врагом советского строя и революции — Файзулла Ходжаев. Орден Красного Знамени украшал его грудь. К высокой награде представил его В. И. Ленин.

В Ташкенте мне довелось побывать в доме Ходжаева и его жены, миловидной, застенчивой студентки медицинского факультета Фатины. Жили они на редкость просто, и за обедом все чувствовали себя по-семейному и легко. Разговоры велись о необозримо великолепном

будущем Средней Азии, о мощном строительстве, раскрепощении женщин, да и всего народа, столетиями опутанного дурманом ислама и предрассудков. Все за столом были не стары, полны сил, счастливы настоящим, преданы идее и нетерпеливо подгоняли будущее.

Путешествие в Узбекистан обогатило мыслями, знаниями, впечатлениями. Оно отчасти познакомило меня с особенностями мощной и широко разветвленной культуры магометанского Востока. Отныне я легче могла представлять себе Иран, Турцию. О внутренней распре магометан, последователей Али либо Гуссейна, я тоже услыхала от Файзуллы Ходжаева.

Наши последующие встречи происходили уже в Москве, куда он часто приезжал, так как был одним из председателей ЦИКа Союза. Бывая у нас, он любил слушать музыку, благодаря моей матери и друзьям постоянно украшавшую наши дни. Как-то Ходжаев пришел с Икрамовым. Они познакомились у нас с Борисом Пастернаком, гимназическим товарищем моего мужа. Пастернак, частый наш гость, читал в тот вечер свою поэму «Лейтенант Шмидт». Мы слушали затаив дыхание и восторженно одобряли это произведение. Ходжаев стоял рядом с Пастернаком все время, пока длилось чтение. Он оказался знатоком русской поэзии и долго, оживленно говорил Пастернаку о его поэме, цитируя то Блока, то Брюсова.

— Я получил образование в России,— сказал он между прочим. — Мой отец увез меня из Бухары одиннадцатилетним мальчиком. Он был тщеславен и видел меня в мечтах знатным купцом,— шутил Файзулла. — Я не оправдал его надежд и уже в семнадцать лет избрал другой путь. В тысяча девятьсот семнадцатом году стал членом Центрального комитета младобухарцев. Мы боролись за революцию, реформы, а затем поднялись на эмира.

— Купеческие сыновья бывали иногда великими революционерами,— сказал кто-то из присутствующих.

— Не часто,— заметил Ходжаев.

— Но зато в их числе Фридрих Энгельс,— последовал ответ.

— Ты, Файзулла, достиг такого почета, о котором не мог мечтать даже твой чванный отец. Быть избранным одним из руководителей высшего органа власти первого в мире рабоче-крестьянского государства — да это никому,

вероятно, в вашем роду и во сне не снилось,— улыбнулся Икрамов, который сам происходил из семьи батрака.

Ленинской политике, идеям Ленина и Маркса обязаны были республики Средней Азии чудодейственным преобразованием.

Прошло почти полвека. Сказочно изменился Узбекистан, страна большой индустрии и необозримых хлопковых плантаций — этих приисков белого золота.

Гений Ленина в провидении значимости и возможностей полуфеодального Туркестана торжествует еще раз. Это остро чувствуешь, когда путешествуешь по землям Советской Средней Азии.

## В. М. ПРИМАКОВ

Мое поколение в своей далекой юности встречало людей, о которых уже тогда сложились легенды.

Мы пели о них песни, гордились их отвагой, восхищались их преданностью идее. Такими были наши современники Чапаев, Блюхер, Лазо, Камо, Примаков.

Виталий Маркович Примаков еще гимназистом, до первой мировой войны, вступил в партию большевиков и сразу же испытал на себе пытки в царских застенках, несправедливый суд и дальнюю ссылку.

Родившись в 1897 году в селе Семеновка, Черниговской губернии, одной из поэтичнейших на Украине, выросши на хуторе близ глухого тогда и прекрасного села Шуманы, он с отрочества был знаком и близок с семьей прославленного творца «Fata morgana» и видного общественного деятеля Михаила Коцюбинского. Сын писателя Юрко стал другом всей жизни Виталия, дочь Оксана — его женой.

Мне минуло четырнадцать, когда отец в Киеве привел к нам Оксану Примакову. Она была на сносях и мучительно страшилась приближавшихся родов. Мои родители успокаивали молодую женщину. Запомнились мне ее тревожные карие глаза, каштановые волосы и печальное выражение бледного, припухшего лица. Она ждала возвращения мужа, его имя не сходило с ее уст. Очень скоро тяжелые предчувствия Оксаны сбылись — она и ребенок умерли на руках у Виталия, прибывшего в Киев, когда жена его была уже при смерти.

Прошло несколько лет, прежде чем я ближе познакомилась с Примаковым. Встретились мы у Евгении Богдановны Бош, женщины необыкновенной. Имя Евгении Бош хорошо известно было партии в годы подполья и первых лет революции. Биография ее поучительна, увлекательна и героична, как история жизни Инессы Арманд, Александры Коллонтай и других участниц революции, отбросивших устроенный, обеспеченный быт ради идеи добра и справедливости для всех обойденных и обездоленных. Познание сердец таких людей — сложная и поразительная наука. Сколько тепла и света, величия и скромности принесли в мир такие души. Евгения Бош и ее сводная сестра Елена Розмирович, образованные, холеные, красивые, рано ушли в революцию, что значило пройти сквозь строй тюрем, ссылок, многообразных лишений. И они, не задумываясь, оставляли родительское богатство, роскошь, жизненные удобства, потому что человек, чтобы быть человеком, должен стремиться прочь от низин эгоизма.

Евгении Богдановне не легко было порвать с мужем и уйти из зажиточной семьи. Побег из ссылки позднее привел ее в эмиграцию.

В 1919 году, когда я впервые узнала Евгению Бош, она руководила ЧК Украины. Имя ее для врагов революции звучало грозным предупреждением. Как и Дзержинский, она была исключительно тонко чувствующим и даже ранимым человеком, отличалась величайшим самообладанием, сильной волей и прекрасной внешностью. Ее нежное лицо с гармоничными чертами, худощавая фигура и руки музыканта бесили киевских антисоветчиков, которые хотели бы видеть в этой умной, суровой чекистке что-либо внешне отталкивающее.

Деятельность и влияние Бош во время троевластия на Украине становятся опасными для Центральной Рады и Временного правительства. За нею охотятся, ее жизнь становится величайшей ценностью, за ее голову назначена высокая плата. В Виннице на солдатском митинге агенты Временного правительства предъявили Советам большевиков только два требования — сдать оружие и выдать Бош. Но вот от массы солдат отделяется одетая в простую шинель, небольшая, тоненькая женщина и поднимается на трибуну. И все узнают в ней неуязвимую Евгению. После ее короткой речи митинг единодушно

принимает решение, состоявшее всего из трех слов: «Винница за Советы!»

Так было.

Бесстрашие в бою, самоотверженность комиссара Евгении Богдановны легендарны. Когда в сражении под Харьковом она увидела, что отряд черноморцев отступает под натиском превосходящих сил немцев, Бош, зажав в руке револьвер, бросается им наперерез, приказывая остановиться и перейти в контратаку. «Вперед! Прошу вас, вперед!» — кричит она морякам.

Евгения Богдановна ведет матросов в атаку. И всякий раз, когда шквальный артиллерийский огонь пригибает их к земле, раздается снова и снова команда женщины-комиссара: «Вперед! Прошу вас, вперед!»

Жертвовать для победы революции всем, что есть у тебя самого дорогого,— к этому Евгения Богдановна призывала всех. И первая показывала пример, как следует поступать революционерам.

Евгения Богдановна была замкнута и требовала целомудренной морали и продуманного поведения от молодых коммунистов. Я всегда ощущала робость под испытующим взглядом ее темно-серых глаз. Только человек чистой нравственности может вызывать то чувство, которое пробуждала во мне Евгения Богдановна. Своевольная и воинственно самостоятельная, в ее присутствии я добровольно и поспешно принималась проверять себя, свою совесть, поступки и отчаянно стыдилась, если вспоминала маленькую погрешность, какой-нибудь ненужный, пустой флирт, легкое женское бахвальство и капризы.

Евгения Богдановна происходила из обрусевших немцев, и я, глядя на нее, невольно вспоминала прекрасных и мужественных валькирий германского эпоса.

Виталий был многолетним другом Евгении Богдановны и ее дочерей — Марии и Ольги, двух белокурых, миловидных, страстно преданных партии молодых коммунисток.

В 1924 году Евгения Богдановна предложила мне поехать с ней вместе в Шуманы, на родину Виталия Примакова, в гости к нему и его матери. Сборы были короткими. Майским днем мы отправились из Москвы в Киев, чтобы оттуда пароходом плыть в Чернигов. Виталий сопровождал нас и оказался интересным спутником.

Поезд не только отмеривает версты, но и стремительно преодолевает время, сближая людей. Чего только не сообщил нам Примаков по пути в Киев. Он был превосходным рассказчиком. Его мягкий, чуть уловимый украинский акцент, приятный голос, тонкая ирония придавали особую увлекательность всему, о чем он говорил. Захватывающие эпизоды недавнего прошлого, страда и будни корпуса червонного казачества, которым он командовал, ратные приключения, пережитое до революции в подполье, красочные характеристики людей, чтение наизусть незнакомых мне ранее стихов и пересказы книг запомнились навсегда. Он познакомил нас с поэзией Киплинга, его сказками, которых до того я не знала. Но самыми интересными были его повествования о недавних боях и однополчанах.

Червонное казачество — героическая конница гражданской войны. Отвага и проницательность легендарных свободолюбивых запорожцев переплелась в этом войске с тонким современным стратегическим расчетом и величием поставленных общечеловеческих целей. Строжайшая дисциплина и беспримерная удаль кавалеристов, совершавших фантастические рейды и набеги и наголову разбивавших деникинские и петлюровские части, запечатлены навеки в славных летописях гражданской войны на Украине. Двадцатидвухлетний Виталий Примаков, имевший дар военачальника и хорошую ленинскую школу коммуниста, занял особое место среди советских полководцев. Он был не только командиром, но и комиссаром могучего корпуса червонного казачества.

В Киеве, родном моем городе, мы обошли все памятные места и не могли вдосталь насладиться извечной красотой древней Киево-Печерской лавры, Владимирской горки и Днепра. На маленьком пароходе двинулись мы к Десне. Евгения Богдановна не покидала палубу. Она вбирала в себя прекрасное молча. Слова мешали ей сосредоточиться на тихой, глубоко прячущейся радости. И вместе с тем я ловила тщательно скрываемую печаль в ее глазах и строгих губах. Она была уже очень больна и страшилась близящейся инвалидности, необходимости в сорок с чем-то лет уйти от работы, от борьбы. Для человека, каким была Евгения Бош, вынужденная бездеятельность, слабость в чем-либо казалась во много раз хуже смерти.

Мы с Виталием не понимали ее состояния, недоумевали и старались не докучать беседою. Случилось так, что пароход приблизился к берегу. Ковер из незабудок и ландышей, казалось, расстилался у опушки рощицы, подступившей к воде. Евгения Богдановна вспомнила сибирскую деревушку, где жила после тюрьмы на поселении, и заросли цветов на елани в тайге.

— Оттуда я бежала за границу,— сказала она тихо. Очень белая и тонкая кожа ее лица заалела.

Вдруг произошло неожиданное. Разувшись и скинув гимнастерку, Виталий перемахнул через борт и поплыл к берегу. С охапкой цветов вернулся он назад и, промокший до нитки, появился перед нами.

Евгения Богдановна встретила его суровым выговором и долго не соглашалась взять букет. Я же смотрела на Виталия с нескрываемым восхищением. Поступок его казался мне романтическим и смелым. Но Бош продолжала сердито отчитывать его.

— Какая безвкусица и бравада. Можно подумать, что вы шестнадцатилетний гимназист,— сказала она, но Виталий был так весел, шутлив, что постепенно она смягчилась.

Утром, не останавливаясь в Чернигове, в древнем и тряском фаэтоне, запряженном добрыми конями, мы отправились в Шуманы. Это было сказочное путешествие в девятнадцатый век. Сколько раз читала я у Толстого и Аксакова о поездках такого рода, с неизбежной грозой в поле (нас она настигла), о жгучем запахе полыни, стуке копыт на тракте.

Поздно вечером въехали мы на хутор, где рос не только Виталий, но и отец его, откуда прадеды их шли к запорожцам.

Хороши Шуманы на Черниговщине. Поля перемежаются рощами и купами деревьев той радующей глаз, грациозной округлой формы, которые издавна и в России зовутся ротондами. В ту пору к хутору Примаковых вела проселочная дорога от деревни, как бы воспетой самим Шевченко:

Садок вишневый коло хаты.

Кто лучше Шевченко скажет об украинской глуши с неповторимой пахучестью ее трав и сложной симфонией певчих птиц.

Мать Виталия была достойной представительницей своего бунтарского и храброго рода. Варвара Николаевна родила четырех мужественных сыновей. Она удивляла всех твердостью характера, приветливостью, чувством юмора и неутомимостью. Когда Виталий вызвал нас на соревнования по стрельбе в саду близ клуни, Варвара Николаевна без труда оказалась победительницей. Она была отличным снайпером, ездила верхом наперегонки с кавалеристами-сыновьями, мастерски пела украинские песни, косила, как заправский косарь, доила коров и пекла вкуснейшие пироги. Небольшого роста, худая, мускулистая, с лицом морщинистым и добрым, она жила сыновьями и могла гордиться каждым из них. В саду хутора было несколько могил, где схоронила она мужа и малолетних детей. Сначала меня смущало это маленькое кладбище под сенью густых деревьев, расположенное подле самого дома, но постепенно я привыкла и даже нашла живой смысл в этой неотрывности сущего и умершего.

Фантазия Виталия была неисчерпаемой. Он рассказывал нам сочиненные им сказки, часто зловещие и страшные, наподобие «Вия», в темные ночи, когда вся молодежь — а на хутор съехалось более десяти юношей и девушек — располагалась на сеновале. Варвара Николаевна и Евгения Богдановна бывали всегда с нами во время этих своеобразных посиделок или вечеров импровизации.

Мы любили погружаться в дорогие воспоминания недавней гражданской войны. Кроме младшего брата Виталия, пытливого Евгения, съехавшиеся в Шуманы были ее участниками. К Евгении Бош и Примакову у нас было особое чувство любви и уважения, и они оставались для нас авторитетами и увлекательными примерами.

Месяц в Шуманах, как все счастливое, пронесся огорчительно быстро. Цветенье деревьев в саду, сирени и белых акаций вдоль изгороди, широкие просторы полей с извилистой чертой темного сухого леса — их не забыть.

Незадолго до отъезда я ближе сошлась с «матерью героев», как мы про себя называли Варвару Николаевну. В годы гражданской войны она, перешагнув опасность, как ров на дороге, ходила не раз в Брянские леса, где стояли насмерть, воюя с немцами и белогвардейцами, червонные казаки и их атаман Виталий Примаков. Это они изрыли, подобно могучим кротам, брянскую лесную зем-

лю, спасаясь от бомбардировок и осад. Никто не смог одолеть советских воинов, прибегнувших к партизанским методам борьбы в тылу противника. Они победили. Женщины, и с ними Варвара Николаевна, носили по неведомым доселе тропам продовольствие, медикаменты, заменяли связных. Случалось, что Варвара Николаевна оставалась подольше в отряде, и тогда ее меткая пуля находила себе цель. Она была не раз в боях рядом с двумя сыновьями, и никто не смог бы узнать в стройном казаке пожилую крестьянку, обманувшую недавно немецкие патрули, охранявшие подходы к лесу. Простая украинская женщина помогала старшему сыну, когда он работал в большевистском подполье.

Шуманы изредка снятся мне, как путнику оазис. Романтическая красота их полностью гармонировала с людьми, встреченными там мною. Никогда больше не довелось мне видеть Варвару Николаевну Примакову, но она еще раз подтвердила старую истину, сколь глубок и сложен бывает внутренний мир человека, подчас и не имеющего всего того, что кажется обязательным как пример последовательного образования. Врожденный ум и обостренная совесть, повышенное чувство справедливости и правды, отвага для добрых дел были свойственны в огромной мере матери Примакова, и она сумела передать эти черты всем своим сынам.

С грустью покинула я Черниговщину и вместе с Евгенией Богдановной отправилась в Москву.

Примаков, командир червонного казачества, был человеком скромным и непримиримым, когда касалось вопроса чести и значимости военного мундира. Гордясь принадлежностью к армии нового типа, первой в истории, он надевал форму, ордена и, высоко подняв голову, преисполненный особого достоинства, выходил на улицы Киева.

— Мы должны,— настаивал он,— окружить особым почетом звание советского бойца и командира. Великая радость и слава — служить в революционной армии борющегося пролетариата.

Примаков был хорош собой и очень представителен, широк в плечах и статен. Редко встречала я лучшего кавалериста и знатока военного дела. Он зачитывался в те годы статьями Энгельса по военным вопросам, хорошо, с гимназической скамьи, знал Маркса, проштудировав первый том «Капитала». Его знание литературы было неожи-

данно велико, и он не скрывал своего влечения к творчеству и писал публицистические книги. Одна из них, «Записки волонтера», под псевдонимом Генри Алин, читалась с неослабным интересом. В юности Примаков писал стихи, но никогда не показывал их. Поэзию же Тютчева, Блока, Маяковского любил страстно. Не раз бывали мы с ним на концертах, в опере, и тогда снова дивилась я многообразию его интересов, живому восприятию и обширным познаниям в музыке и вокальном искусстве.

Многогранен был этот большевик ленинской гвардии, легендарно бесстрашный в боях и самоотверженный в отношениях с сотрудниками. Когда в двадцатых годах мы впервые повстречались с Виталием, он жил постоянно в Виннице, где командовал славным кавалерийским корпусом червонных казаков, о котором были уже сложены эпические песни, как и о коннице Буденного. Нельзя написать летопись гражданской войны, умолчав о красном казачестве и их прекрасном атамане.

Позднее Примаков служил начальником кавалерийской школы в Ленинграде и зимой 1924 года по весну 1925 года каждое воскресенье бывал в Москве. В это именно время умерла Евгения Бош. Друзья и соратники проводили ее прах на Новодевичье кладбище, и долго не проходила их скорбь. Совсем молодая, но ставшая из-за болезни немощной, она предпочла смерть вынужденной отчужденности от стремительной, бурной ежедневной партийной страды и застрелилась.

Внезапная смерть Евгении Бош сразила Виталия.

Год был трудный и напряженный. Совсем недавно умер Ленин.

Часто встречаясь с Виталием, я смогла лучше узнать его. Ему было свойственно в большей мере, чем другим, то, что отличало всегда коммуниста: высокое чувство товарищества, ответственность каждого из нас друг за друга. В любом члене партии я с юности видела брата, сестру. Нас всех побратала идея, гражданская война, борьба за коммунизм. Может быть, от этого иногда пробивалась в нашей среде чрезмерная фамильярность, быстрый переход с «вы» на «ты». Как-то я сообщила Виталию, что в больницу попала одна из хорошо известных украинских подпольщиц — Маша Козюлина.

— Проведаем ее,— сказал Примаков.

Мы истратили все до одной копейки на сласти, цве-

ты и фрукты для больной, так что нам не хватило даже на трамвайные билеты, и потому отправились на другой конец Москвы пешком, торопясь порадовать друга. Стоило Примакову узнать о беде, приключившейся даже с мало знакомым ему однополчанином, и он бросался к нему на выручку. Такими, впрочем, были многие из окружавших меня людей, но Виталий вносил в отношение к соратнику, товарищу, подчиненному столько тепла и внимания, что я не раз замечала волнение и даже слезы на глазах далеко не чувствительных людей, когда он пытался поддержать их в трудную минуту. Стоило сказать ему: «Такого-то оскорбили, несправедливо обидели на работе», «У того-то в семье кто-то болен, не хватает денег...» — и можно было не сомневаться, что Примаков поможет. Он был по-настоящему добрым человеком для единомышленников и грозным для врагов своих идей, за которые еще семнадцатилетним гимназистом пошел на поселение в Сибирь.

Горе друга всегда было горем Виталия.

Небольшого роста, коренастый, Виталий отличался редкой физической силой. В двадцатые годы он регулярно занимался не только гимнастикой, но и боксом, который считал спортом мужественных, школой ловкости и сметливости. Меня он уговаривал ездить верхом. Я начала посещать манеж на Гранатном переулке, где училась джигитовке. Виталий подарил мне костюм, сапоги и шпоры. Он, его друзья-конники и я мечтали о серьезных соревнованиях. Любовь к лошади и верховой езде привил мне с малолетства отец, и Примаков очень ценил это. Виталий был близким другом моего отца, и однажды мы трое несколько часов подряд провели в манеже. Состязаясь с ними, я упала, когда по команде лошади перешли с рыси на галоп и надо было спрыгнуть и снова взлететь на седло, но не охладела к верховой езде.

Сильный в бою и революционных испытаниях, Виталий Примаков одним из первых поехал весной 1925 года в Китай. Фрунзе направил его туда военным советником. Примаков писал мне из Китая увлекательные письма, в которых отчетливо проявился его не только эпистолярный (я в шутку называла его «госпожой де Севинье»), но и публицистический темперамент и дар.

В молодости легко куется дружба, но стремительное

движение времени часто разлучает друзей. Вскоре после возвращения из Китая Примаков отправился в Афганистан. Я в ту пору много разъезжала корреспондентом от различных газет. Мы встречались с Виталием очень редко и почти не переписывались. Но образ Примакова не потускнел в моей памяти поныне и кажется мне полным душевного благородства и высокой революционной романтики.

## КЛАРА ЦЕТКИН

Мне посчастливилось знать Клару Цеткин. Вижу ее светлое лицо в рамке голубовато-серебряных пышных волос за столом президиума конгресса Коминтерна. Старость бывает прекрасна.

Познакомиться с нею довелось в Железноводске в двадцатых годах, где она лечилась одновременно с Надеждой Константиновной Крупской и Марией Ильиничной Ульяновой. Цеткин была уже тяжело больна и большей частью лежала в постели. Если она ходила, то лишь опираясь на руки сына и невестки, которые находились всегда подле нее. Удивительна была бодрость духа этой физически очень слабой женщины. Она любила шутки и смеялась безудержно, заразительно, по-юношески. Лицо ее часто освещалось умной улыбкой. Я заметила, как она живо интересовалась людьми, вглядывалась в них, вслушивалась в их рассказы. На столе, придвинутом к кровати больной Цеткин, всегда лежали груды книг, газет и бумаг. Сын и невестка помогали ей, выполняли ее поручения, писали под ее диктовку. Они же служили ей переводчиками. Помимо родного немецкого, Клара бегло говорила по-французски и владела английским. Русский она знала лишь немного. Цеткин избегала говорить о себе, считая, что это не представляет интереса. Скромность, неприхотливость в быту были отличительными ее свойствами. Зато если дело касалось других, она становилась настойчива и требовательна и не жалела сил, чтобы выяснить истину, защитить справедливость, помочь товарищу.

Н. К. Крупская и М. И. Ульянова с большой любовью относились к Цеткин, и она платила им тем же. Они часто и подолгу беседовали в саду санатория.

Образ этой романтической революционерки и воительницы неизгладимо врезался в мою память. Вся ее жизнь гармонична и великолепна. И всегда, когда я думаю о лучших людях нашей эпохи, моя мысль возвращается к «нашей Кларе», как звали ее немецкие соратники.

Революционная деятельность К. Маркса и Ф. Энгельса, их гениальные творения определили жизненный путь Клары Цеткин. Эти люди дали ей счастье точной, ясной цели. Духовная близость, идейное родство дороже кровного. Клара была знакома с Энгельсом и хранила как священную реликвию фотографию, где они были сняты вместе в Цюрихе. По примеру Маркса и Энгельса боролась она беспощадно с опасными краснобаями, прикрывающими красной фразой отступничество и раскольничество, с трусами и нетерпеливыми честолюбцами, готовыми на бесцельное кровопролитие и авантюры. Знание теории марксизма и жизни помогало Кларе находить единственную правду, обеспечивающую победу рабочему движению. Сердце Клары принадлежало тем людям, ради кого она вела борьбу, не страшась тюрьмы и вражеской пули.

В 1893 году в Цюрихе Кларе выпала радость: она нашла равного себе друга на всю жизнь в молодой представительнице Польши докторе Розе Люксембург. Несколькими неделями позже Роза Люксембург стала первым главным редактором «Саксонской народной газеты», подобно тому как Клара Цеткин — первым редактором «Равенства». Обе эти социалистки были боевыми подругами до конца своих дней, и каждая из них заняла почетное место в истории человечества.

Часто Клара Цеткин сражалась бок о бок со своим соратником Розой Люксембург. Внешне они были разными. Роза — слегка прихрамывает, очень низенькая, худенькая, черноволосая, с огромными, необычайно яркими и прекрасными глазами, крупным носом и волевым ртом; Клара — блондинка, среднего роста, стройная, порывистая, круглолицая, улыбчивая.

И Цеткин и Люксембург славились как ораторы и полемисты. Роза обладала глубоким аналитическим умом теоретика и ученого. Она превосходно изучила самые

сложные положения Маркса, знала наизусть многие страницы «Капитала», увлекалась математикой и любила отвлеченное мышление и трудные задачи. Клара же, также хорошо усвоив произведения Маркса и Энгельса, была больше поэтом, импровизатором, поддающимся порыву чувства.

Речи Розы Люксембург наступательны и неотразимы железной логикой факта и опыта, они — лавина знаний и сплав мыслей. Страстные выпады Цеткин зажигательны, убедительны, стихийны, как огонь или буря.

С конца девятнадцатого века Клара Цеткин вела жизнь воительницы. Она подняла высоко знамя женского равноправия, на котором начертаны были слова: «Не борьба полов, а борьба классов».

Пылко и сурово взывала она покончить с милитаризмом. Бдительный страж партии, она отчаянно сражалась с реформистами и анархиствующими, видя, как те и другие ведут революционное рабочее движение к пропасти.

Где бы ни вспыхивало пламя борьбы, Клара Цеткин, не щадя себя, бросается туда. Она участница всех съездов немецкой социал-демократической партии. Ее речи раздавались на многих международных конгрессах Интернационала.

В газете «Равенство», приобретшей с годами много подписчиков, она откликалась на все тяготы и заботы женщин-пролетарок Германии. В начале двадцатого века значительно подорожал хлеб. Клара, понимавшая, чем это грозит едва сводившим концы с концами женщинам, выступила с протестующей статьей. «На кого тяжелей, нежели на жену рабочего, давит бремя заботы о хлебе насущном?..» — писала она.

Все города Германии объездила Клара Цеткин, чтобы встретиться с работницами и объяснить им суть бесчеловечных законов, вводимых правительством. Она призывала народ к сопротивлению. Борьба за права тружениц означала и защиту их детей. Детский труд все еще не был запрещен в Германии, и маленькие рабы вместо учения простаивали у станков по двенадцати часов в сутки. Еще печальнее была судьба женщин и малолетних в кустарных мастерских. Швеи, обмотчицы петель, портнихи, бельевщицы, модистки от недоедания и утомления становились жертвами чахотки и других тяжелых заболеваний.

От Клары Цеткин не ускользало ни одно человеческое горе. Она сызмала изучила быт батраков в деревнях и эксплуатацию квалифицированных рабочих, приносящих миллионные прибыли хозяевам. Если бы не убежденность марксиста в конечной победе добра над злом, все то, что видела Клара Цеткин, изучая жизнь, могло бы согнуть ее от горя за людей и разочаровать во всем на свете. Но Клара верила, испытала силу оружия, которым обладала, не слабела, а крепла духом.

Со времени встречи с Осипом Цеткиным Клара полюбила Россию и постоянно следила за всем происходящим в этой огромной и таящей великую мощь стране. У Клары всегда было много русских друзей. Она научилась понимать сложные отношения между различными группами и партиями, образовавшимися в России в девятнадцатом веке, их программы и цели. Когда там в 1902 году начались бурные студенческие волнения, Клара возликовала и назвала их «Зарницами революции».

Год спустя, на партийном съезде в Дрездене, Клара заявила, что считает себя сторонницей быстро нараставшего революционного движения в России.

Революция 1905 года нашла в Кларе Цеткин и Розе Люксембург бесстрашных поборниц. Они возглавляли манифестации в поддержку восставшего русского народа.

Однажды, говоря перед многотысячным собранием о русской революции, Клара Цеткин закончила речь строфами Шиллера:

...Есть предел насилию тиранов!
...Но если все испробованы средства,
Тогда разящий остается меч!

Полиция пыталась прервать выступление Клары, затем начала против нее судебное дело, обвинив в возбуждении классовой ненависти. Но это не устрашило редактора «Равенства». Статья за статьей в этой газете были посвящены событиям в России.

Чтобы обеспечить победу рабочих, Клара Цеткин упорно ратовала за широкое народное образование. Да, мы бедны, писала она, когда дело касается расходов на образование. Но мы очень богаты и можем каждый год более миллиарда марок обращать в пороховой дым и швырять в воду, когда дело идет о том, чтобы в совершенстве овладеть искусством массового уничтожения людей.

1907 год стал знаменательным в жизни Клары Цеткин не только потому, что ей минуло пятьдесят лет и день ее рождения отпраздновали как большой праздник социалисты разных стран. В августе этого года в Штутгарте, на конгрессе II Интернационала, она увидела Ленина, которого уже давно знала по его деятельности и по рассказам единомышленников.

На заседании конгресса Роза Люксембург обратила внимание Клары на одного из делегатов в скромном, тщательно выутюженном пиджаке.

— Погляди хорошенько на этого человека,— сказала Роза. — Это Ленин. Обрати внимание на его упрямую, своевольную голову.

Клара вся отдалась созерцанию о чем-то сосредоточенно думающего Ленина. Так вот каков вождь русской революции, борец и теоретик необычайного склада и дарования!

На конгрессе начались жестокие схватки между оппортунистами и подлинными марксистами. Клара с ужасом и горечью убедилась в отступничестве многих, с кем недавно шла в одном ряду. Ленин и Люксембург вскрыли идейный гнойник среди мнимых социал-демократов. Клара была с теми, кто верен знамени Маркса и Энгельса.

Упорство и ясность доводов, с которыми она защищала боевую тактику партии, обезоруживали даже ее врагов и вызывали одобрение друзей. Ленин отметил меткость суждений Клары, цитировал ее статьи об антимилитаризме.

Штутгартом в общем Клара была довольна. В редактируемой ею газете немецких рабочих «Равенство», как отметил В. И. Ленин, дана положительная оценка конгрессу, на котором «по всем вопросам различные уклонения отдельных социалистических партий в сторону оппортунизма были исправлены в революционном смысле, благодаря сотрудничеству социалистов всех стран». Но поведение оппортунистов возмутило ее. Всегда беспощадно честная и правдивая, она смело объявила, что отныне немецкая социал-демократия потеряла право возглавлять международное рабочее движение.

В мире непрестанно возрастала угроза войны. Клара писала об «огненных знамениях» приближающейся бойни, об экономических кризисах, раскачивающих, словно

землетрясения, планету, о росте безработицы. Балканы виделись ей, как и многим другим, пороховой бочкой, готовой взорваться. Милитаристы призывали к вооружению. Матери оплакивали судьбу сыновей.

В 1910 году в Копенгагене собралась вторая Международная конференция женщин-социалисток. На ней Клара Цеткин внесла предложение объявить 8 марта Международным женским днем. Упорная работа среди делегатов предшествовала этому решению, принятому восторженно всеми собравшимися.

Планета стремительно неслась к катастрофе. Началась мировая война. Клара Цеткин вместе с Розой Люксембург, Карлом Либкнехтом и Францем Мерингом публично заклеймили политику, проводимую кайзеровской Германией. Готовая пожертвовать собой, Клара Цеткин связалась с видными социалистами Франции, Англии, России, Италии, Швейцарии. Вскоре ей удалось созвать в Берне Международную женскую конференцию, потребовавшую мира. Правда, как и другие немецкие революционеры, она в ту пору еще не поняла ленинского лозунга о поражении своего правительства и превращении империалистической войны в гражданскую.

Едва Клара вернулась на родину, как была арестована по обвинению в государственной измене. Ее предали бывшие товарищи, ставшие отъявленными шовинистами. Клару заключили в тюрьму Карлсруэ, где она тяжело заболела. Только освобождение на поруки, которого добились ее друзья, спасло ей жизнь.

В это время в Циммервальде, а через год в Кинтале собрались передовые представители рабочего движения земли. Они хотели найти средства борьбы за прекращение империалистической войны. Ленин указал им путь, по которому успешно шли большевики России. Уже на следующий год группа германских интернационалистов, в создании которой деятельно участвовала Клара Цеткин, назвала себя «Союзом Спартака» и позднее преобразовалась в Коммунистическую партию Германии.

Без устали всеми возможными, а часто и казавшимися невозможными средствами боролась шестидесятилетняя Клара Цеткин с безумием войны. Ее деятельность стала всемирно известной. Шовинисты изгнали ее из газеты «Равенство», которая в течение многих лет была ее трибуной. Клара и это нелегкое испытание перенесла,

гордо подняв голову. Октябрьскую революцию она восприняла как долгожданную победу.

«Революция в Петербурге и ее победа,— писала она,— это триумф последовательно выдержанных и проводимых в жизнь принципов и тактических установок большевиков».

Умом и сердцем была Клара с героическим русским народом, с Лениным. В письме к Владимиру Ильичу она заверила большевиков в своей полной солидарности с ними. И Ленин сообщил ей, как гордятся его товарищи такой поддержкой, выразив уверенность, что «лучшие элементы западноевропейского рабочего класса — несмотря на все трудности — все же придут нам на помощь».

Вскоре и в Германии вспыхнула революция. Мечты Клары сбылись. Вместе с Розой Люксембург и Карлом Либкнехтом подписала она обращение к пролетариям всех стран. Но внезапный тяжелый недуг свалил Клару. Врачи признали ее состояние почти безнадежным.

Трагедия германской революции, измена социалистов разыгрались, когда Клара лежала без сознания. Контрреволюция перешла в наступление, Роза Люксембург и Карл Либкнехт были убиты. В числе жертв, намеченных реакционерами к уничтожению, была и Клара Цеткин. Только болезнь спасла ее от гибели. Наемные убийцы тщетно шныряли вокруг квартиры Цеткин. В марте 1919 года, едва оправившись от недуга, Клара решительно порвала с германской социал-демократией.

Вот строки из ее публичного заявления:

«...Я открыто заявляю: дальнейшее пребывание вместе с правыми в НСДПГ для меня невозможно... Почти сорок лет борюсь я за осуществление социалистических идей. Какой бы старой я ни была,— а мне, вероятно, осталось жить недолго,— я все же хочу это время, пока у меня есть еще силы, сражаться на той стороне, где чувствуется живая жизнь, а не там, откуда на меня глядят бессилие и разложение. Я не хочу, чтобы на меня, пока я жива, веяло дыханием политической смерти».

Клара Цеткин вошла в ряды Коммунистической партии Германии, стала членом ее Центрального Комитета, заняла видное место в III Коммунистическом Интернационале. Ученица Маркса и Энгельса, она увидела в Ленине гениального наследника двух великих учителей

человечества, продолжателя их дела. Клару восхищали деяния Ленина. Его произведения она изучала в преклонные лета так же основательно, как некогда «Коммунистический Манифест» и «Капитал».

Ей очень хотелось поскорее отправиться в Россию, но тяжелые обстоятельства, сложившиеся для коммунистов в Германии, заставили ее остаться на родине. С мандатом от Коммунистической партии Клара явилась в рейхстаг Веймарской республики и с трибуны призвала народы всех стран к революционному действию. Лишь после этого приехала в страну обетованную для всех коммунистов — в Россию, но тотчас же заболела.

«Ленин навестил меня,— вспоминала она,— заботливо, как самая нежная мать, осведомился он, имеется ли за мной надлежащий медицинский уход, получаю ли я соответствующее питание, допытывался, в чем я нуждаюсь... Особенно он выходил из себя по поводу того, что я жила на четвертом этаже одного советского дома, в котором, правда, в теории имелся лифт, но на практике он не функционировал: «Точь-в-точь, как любовь и стремление к революции у сторонников Каутского»,— заметил Ленин саркастически...»

По возвращении на родину Клара рассказывала обо всем, что видела в Советской стране, на многолюдных рабочих собраниях. Избранная в ЦК Компартии Германии, она окунулась в большую, нелегкую работу. Чем сложнее политическое и экономическое положение в стране, тем острее могут возникнуть разногласия даже в среде товарищей по партии.

Послевоенная разруха в Германии, борьба старого и нового, трудности во всех областях общественной жизни порождали столкновения и споры. Характеру Клары присущи были в равной мере трезвость, сдержанность и нетерпимость, взрывная горячность. Цеткин настойчиво отстаивала свои взгляды в практической работе ЦК. Опытный пропагандист и храбрый боец, она не боялась дискуссий, считая, что так рождается истина. Она никогда не уступала, когда считала себя правой. Попытавшись добиться большинства во время обсуждения важного вопроса внутри ЦК, разгоряченная возникшими разногласиями, она решилась на то, что сама осуждала. Нарушив дисциплину, сославшись на то, что не хочет нести ответственность за казавшуюся ей вредной политику высшего

органа партии, Клара демонстративно вышла из состава Центрального Комитета.

Позднее она писала об этом ошеломившем ее друзей шаге: «Тяжело, очень тяжело угнетало меня сознание, что таким «нарушением дисциплины» я оказалась в резкой оппозиции к тем, кто политически и лично стоял ко мне ближе всего, то есть — к русским друзьям... Я знала, что меня ожидают жаркие бои, и твердо решила принять этот бой, безразлично, одержу ли я победу или потерплю неудачу».

Летом 1921 года Клара Цеткин приехала в Москву, на III конгресс Коминтерна. Владимир Ильич пригласил ее в Кремль для беседы. Выслушав обстоятельный рассказ Цеткин о положении в Германии и в партии, Ленин откровенно и прямо сказал все, что думал о ее поступке, который считал совершенно недопустимым. Он согласился, что противники Цеткин вели себя ошибочно. Клара, печально улыбнувшись, заметила, что эта его оценка не послужит ей оправданием.

— Я обойдусь без утешительного бальзама,— закончила она.

— Нет,— возразил Ленин,— я об этом не думал. В доказательство я вам сейчас же устрою хорошую трепку. Скажите, как могли вы совершить такую капитальную глупость, именно капитальную глупость,— убежать из ЦК? Куда девался ваш разум? Я был возмущен этим, крайне возмущен. Можно ли было действовать так безрассудно, не считаясь с последствиями такого шага, не поставив нас в известность об этом, не запросив нашего мнения?

Клара попробовала возражать, но Ленин не стал слушать ее доводы. Протестующе вскинув руку, он добавил живо:

— Вот еще!.. Вы получили мандат в ЦК не от группы товарищей, а от партии в целом. Вы не имели права отказаться от оказанного вам доверия...

Несмотря на много суровых слов, которые Ленин высказал Цеткин, и ее упорство, они расстались друзьями. Но это было только прологом к тому, что Кларе пришлось выслушать на III конгрессе Коминтерна, начавшемся через несколько дней. Делегаты не раз нападали на Клару за ее выход из ЦК и за некоторые ошибочные взгляды. Тяжелые это были дни для испытанного, старого

бойца, но ни разу не поднялась муть оскорбленного самолюбия в сердце Клары.

Беспощадную критику она воспринимала без вспыльчивости и заносчивости. Разве не ратовала часто она сама за то, чтобы дозволялось по-доброму, по-дружески коммунистам критиковать друг друга? Клара понимала, что борьба идет не против нее, а за нее. Не лишиться соратника, а вернуть его в строй хотели все выступавшие. И Клара не осерчала, а смягчилась сердцем. Она согласилась с решениями конгресса и торжественно обещала содействовать их претворению в жизнь.

В свой день рождения Клара, как обычно, пришла на очередное заседание конгресса. Каково же было ее волнение, когда утром она нашла свое кресло усыпанным цветами! В том самом зале, где еще вчера ее так осуждали, сегодня все делегаты устроили ей овацию. Стол президиума, за которым ее чествовали, был завален букетами, ораторы воздали должное ветерану, боровшемуся с отступниками, оппортунистами, ревностному защитнику завоеваний Октябрьской революции.

— Вы лишаете меня силы,— сказала Клара в ответ на приветствия,— когда обращаетесь ко мне со словами признания и похвалы. Когда же вы нападаете на меня, я чувствую себя вполне хорошо. Меня утешает мысль, что даже этим приношу я пользу — помогаю достичь ясности для дальнейшего развертывания революции. А когда вы меня хвалите, я чувствую себя подавленной: я вспоминаю все, чего я хотела и не смогла добиться; думаю о всем том, что дала мне жизнь и идея революции, и сознаю, что, к сожалению, останусь в долгу перед революцией, потому что силы мои ограничены.

После окончания конгресса Владимир Ильич посоветовал Кларе:

— Вы должны, несмотря на все ваше нежелание и нерасположение, безусловно войти в ЦК партии... У вас нет никакого права, кроме права в тяжелое время служить партии и пролетариату.

Клара более не возражала.

В те же годы Клара коротко познакомилась со всей семьей Ленина. Надежду Константиновну она знала еще с 1915 года — они встретились на конференции в Берне и тогда же потянулись друг к другу. В них было много общего: безграничная преданность идее, полная самоот-

реченность ради революции, чудесная скромность, глубина мышления, широта взглядов и чувствований. Обе — учительницы, знали силу образования для народа, увлекались педагогикой и ценили искусство. Клара Цеткин полюбила Надежду Константиновну как лучшего друга и встретила такое же искреннее чувство в жене Владимира Ильича. Как-то Ленин, вернувшись домой, застал Клару Цеткин оживленно беседующей с Марией Ильиничной и Надеждой Константиновной. Он тотчас же включился в интересный разговор.

— Пробуждение новых сил, работа их над тем, чтобы создать в Советской России новое искусство и культуру,— это хорошо, очень хорошо,— вспоминала слова Ленина Цеткин.

Владимир Ильич говорил, как всегда, с исчерпывающим знанием предмета. Необычно и вместе просто, неоспоримо. Среди многих восхитивших Клару мыслей он высказал такую:

— Мы чересчур большие «ниспровергатели в живописи». Красивое нужно сохранить, взять его как образец, исходить из него, даже если оно «старое». Почему нам нужно отворачиваться от истинно прекрасного, отказываться от него как от исходного пункта для дальнейшего развития только на том основании, что оно «старо»? Почему надо преклоняться перед новым, как перед богом?.. Бессмыслица, сплошная бессмыслица! Здесь много лицемерия и, конечно, бессознательного почтения к художественной моде, господствующей на Западе. Мы хорошие революционеры, но мы чувствуем себя почему-то обязанными доказать, что мы тоже стоим «на высоте современной культуры». Я же имею смелость заявить себя «варваром». Я не в силах считать произведения экспрессионизма, футуризма, кубизма и прочих «измов» высшим проявлением художественного гения. Я их не понимаю. Я не испытываю от них никакой радости.

Цеткин созналась, что и она чувствует то же самое. Ленин весело рассмеялся.

— Да, дорогая Клара, ничего не поделаешь, мы оба старые. Для нас достаточно, что мы, по крайней мере, в революции остаемся молодыми и находимся в первых рядах... — Ленин напомнил, что искусство принадлежит народу. — Оно должно уходить своими глубочайшими корнями в самую толщу широких трудящихся масс. Оно

должно быть понятно этим массам и любимо ими... Потому мы в первую очередь выдвигаем самое широкое народное образование и воспитание. Оно создает почву для культуры... На этой почве должно вырасти действительно новое, великое коммунистическое искусство, которое создаст форму соответственно своему содержанию.

Разговор Ленина с Кларой Цеткин затянулся. Был уже поздний час, когда она вернулась к себе с разгоряченной головой и стремительно бьющимся сердцем. Ей выпало счастье знать двух величайших гениев времени: Энгельса и Ленина. Думая о Владимире Ильиче, она невольно повторяла: как искренне и горячо любит он трудящихся!

Придя домой, Цеткин тотчас же записала в дневник слово в слово то, что услышала в маленькой квартирке в Кремле. Не один раз виделась Клара, общепризнанный руководитель коммунистов Германии, с великим создателем Советского государства. Они оживленно обсуждали все животрепещущие вопросы политики: пути Коминтерна и коммунистических партий разных стран, ошибки отдельных деятелей рабочего движения и способы их исправления, вопросы воспитания, этики, морали, женского движения. В залах заседаний, на квартире, в рабочем кабинете вели беседы Ленин и Цеткин. Дружба между ними крепла с каждой встречей.

Ленин нашел в Цеткин много знавшего, опытного, преданного, понимавшего с полуслова, соглашавшегося, но не поддакивающего товарища. Ленин как никто ценил ум, знания и самостоятельность суждения в единомышленнике. Говоря о женском движении, Ленин коснулся того, что излишне много занимались в ту тяжелую пору становления женотделы спорами о любви и браке. Ленин сказал:

— Изменившееся отношение молодежи к вопросам половой жизни, конечно, «принципиально» и опирается будто бы на теорию... Мне, старику, это не импонирует. Хотя я меньше всего мрачный аскет, но мне так называемая «новая половая жизнь» молодежи — а часто и взрослых — довольно часто кажется чисто буржуазной, кажется разновидностью доброго буржуазного дома терпимости. Все это не имеет ничего общего со свободой любви, как мы, коммунисты, ее понимаем...

...В половой жизни проявляется не только данное природой, но и привнесенное культурой, будь оно возвышенно или низко... Конечно, жажда требует удовлетворения.

Но разве нормальный человек при нормальных условиях *ляжет на улице в грязь и будет пить из лужи? Или даже из стакана, край которого захватан десятками губ?* Но важнее всего общественная сторона. Питье воды — дело действительно индивидуальное. Но в любви участвуют двое, и возникает третья, новая жизнь. Здесь кроется общественный интерес, возникает долг по отношению к коллективу.

Общение с Лениным, крылатость его мыслей, проникновение в самое ядро событий всегда поражали Клару, доставляли ей светлую радость. Он не только доверительно подолгу говорил с ней, но и писал ей с обычной доброжелательностью и уважением.

И вот случилось то, что стало общим несчастьем большинства человечества: Ленин умер. Глыба горя обрушилась и на Клару Цеткин. Ей суждено было пережить Ленина на девять лет. За эти годы она совершила много отважных дел. Когда ее избрали в немецкий рейхстаг, ей предстояло, как старейшему депутату, открыть его вступительной речью. Эта весть застала Клару в России неизлечимо больной. Но она собрала остаток сил, встала с постели, отправилась на родину и открыла германский рейхстаг замечательными словами, обращенными к трудящимся соотечественникам. Клара Цеткин призвала их к борьбе за социалистическую революцию, рассказала о героической Стране Советов. Она закончила свое блестящее выступление словами:

— Выполняя обязанность старейшего депутата рейхстага, я открываю его и выражаю надежду, что мне придется еще, несмотря на мою теперешнюю немощность, открыть, как старейшему его члену, первый съезд Советской Германии.

После возвращения в Россию, несмотря на усиливающийся смертельный недуг, Цеткин продолжала работу и успела продиктовать брошюру «Заветы Ленина женщинам всего мира», в которой по-прежнему молодым, звонким голосом звала тружениц сбросить узость женской ограниченности, выйти на широкий простор революционного действия, бороться и побеждать, выполняя ленинские заветы.

Клара Цеткин всегда была окружена волнующей любовью не только своих одноплеменников и русских людей, но и многих тысяч женщин разных стран. Ей посто-

янно писали со всех концов света и жадно ждали каждого ее устного и печатного слова.

До последних дней жизни она удивляла своей поразительной памятью. Лежа в постели, Клара могла часами наизусть читать бессмертные творения Шекспира, Гете, Шиллера, Вольтера, Байрона.

Ее остро интересовало все, что делается в мире, и особенно дела Германской компартии. Не терпя бездеятельности, она незадолго до кончины продиктовала воззвание с требованием свободы арестованному Эрнсту Тельману.

Девятнадцатого июня 1933 года Кларе Цеткин стало очень худо. Удушье терзало ее. Сыновья и невестка вынесли умирающую на воздух, в сад. Едва ей стало немного легче дышать, она попросила, чтобы записали ее мысли, но не смогла диктовать. Силы ей изменили. Над Москвой началась гроза. Клара заговорила о своей подруге Розе Люксембург. Под грохот грома и свет молний, так же, как некогда умирал Бетховен, чью музыку очень любила Цеткин, она под утро 20 июня перестала дышать.

Прах ее покоится в Москве в Кремлевской стене, неподалеку от Ленина, дружба с которым осветила ее боевую, героическую, славную жизнь.

## Н. А. МОРОЗОВ

Детство мое прошло под лучами семейной любви, и даже распри родителей не смогли омрачить его течение. Единственная дочь, внучка, племянница, я получала тепло и нежность щедрыми пригоршнями. Десятеро людей излили всю накопленную и неиспользованную силу чувства, окутав меня ею, как гагачьим пухом, балуя, оберегая и тем самым ослабляя.

Очевидно, перед тяжким испытанием ниспосылается душевный отдых и покой. Есть несомненная гармония в природе, и перед бурей нередко затихает ветер и ласкает солнце.

Я легко могла бы превратиться в жалкое оранжерейное растение, погибнуть от первого прикосновения действительности, если б это затянулось. Но годы были особые, и, подобно многим другим, я выпала из гнезда, едва достигнув четырнадцати лет, и пошла, незакаленная,

по колючкам. Вся моя жизнь, теперь уже прожитая, состояла из подъемов и падений, приобретений и потерь. Я жила в эпоху, едва ли не самую стремительную, бешеную в разрушении и великом созидании, какую помнит планета.

Древние сказали бы, что языческие боги возлюбили меня, сделав мишенью для молний и проверяя на крепость. Они помогали мне выжить, бросая из чана с кипятком в ледяной поток, то холили, то преследовали. Совесть, желание быть доброй, смирение и бунт во имя человеческого достоинства всегда оставались моим правом. Их отобрать могла бы только смерть.

Юность моя была счастливой и нелегкой, но кто посмеет утверждать, что счастье — в удачах и сытости? В молодые годы благополучие часто приводит к пресыщению, скуке, порокам. Мне пришлось тренировать волю, брать высокие барьеры. Иногда я падала, но не разбилась окончательно. А главное, без чего нет душевного движения,— я встречала необычных, значительных людей, по которым могла равняться, изучать их, любить. Они раздвинули передо мной границы мира, познания во всех без исключения областях, придали смысл и цель бытию — то, что так трудно найти в юности. Природа могла гордиться ими, как лучшими своими творениями. А время осветило их ярким светом. Они помогали нам понять натуры героические и творческие, такие, как Муравьев-Апостол, Кибальчич, Чернышевский и Герцен, а также величие самобытной плеяды первых марксистов и их учителей — Маркса, Энгельса, Ленина.

Много чудес на земле, но наибольшим из них казалась мне всегда человеческая душа, способность ее отдать во имя Идеи жизнь. Особенно поражает меня самоотверженность тех, кто избирает тяжкий жребий — борьбу за революцию, обещающую обновление мира и господство справедливости.

Подвиг, длящийся годами, испытание на огне в течение десятилетий во благо людей, их будущего — вот чудо, и оно нередко. В первые Октябрьские годы таких людей я встречала повсюду. Впрочем, подвигу всегда сопутствует совершенная скромность, и сами эти подвижники ничем не отличались среди окружающих и были скупы на рассказы о себе.

В самом начале двадцатых годов к нам во 2-й Дом

Советов, теперь гостиницу «Метрополь», пришли Серго Орджоникидзе и Авель Енукидзе. Серго приехал в Москву всего на несколько дней. Они торопились, так как решили в этот вечер побывать в Доме политкаторжан и поздравить с восьмидесятилетием одного из ветеранов — народовольца Ашенбреннера. Я упросила Серго взять меня с собой.

В длинной, неярко освещенной комнате сидели одни только старики. Но какие! Оживленные, юные. Что с того, что кожа их потемнела и морщины избороздили руки и лица! Тем ярче блестели глаза — эти не гаснущие до конца светильники мысли и жизни. Навстречу к нам вышел Феликс Яковлевич Кон, коммунист, вечный борец, один из немногих оставшихся в живых каторжан проклятой Кары, где бунт и самоубийства узников положили конец телесным наказаниям для политзаключенных в царских застенках.

Кон, высокий, сухопарый, узколицый и веселый, приветствовал Орджоникидзе и всех прибывших замысловатой и остроумной импровизацией. Он был превосходным оратором и величайшим знатоком литературы различных стран. Но особенно любил он родную польскую поэзию и читал стихи Мицкевича с пафосом, достойным Элеоноры Дузе, Мочалова, Сары Бернар. По-русски он говорил правильно, но с сильным и приятным польским акцентом, выговаривая «л» скорее как «у», и часто вместо «да» повторял «так, так». Это был обаятельнейший и как бы светящийся изнутри человек, бросавшийся без малейших размышлений на поддержку любого правого дела и нуждающегося товарища. Ленин, как говорили мне друзья, относился к Феликсу Кону с большой симпатией. Михаил Юльевич Ашенбреннер сидел в центре стола. Бывший полковник, восставший против царизма, народоволец, проведший много лет в мертвящих каменных норах острогов, он отличался той же ясностью духа, которая так пленяла и удивляла в каждом из собравшихся здесь революционеров.

Веру Николаевну Фигнер я мгновенно узнала, хотя никогда до этого не видела даже на портрете. По-молодому стройная, с гладко зачесанными темными с проседью волосами и иконописно бледным, неулыбчивым, почти без морщин лицом, она показалась мне красавицей. Ей было многим более семидесяти, но что значат

годы для такого, как она, человека! Истинно значительное и подвижническое не имеет возраста.

Когда Фигнер поднялась из-за стола, я подошла к ней.

— Как могли вы сохранить в себе творческий родник, оптимизм, волю к жизни после двадцати двух лет заключения? — спросила я нервно и прикоснулась к ее руке. Я читала «Запечатленный труд» и много слышала о Фигнер от матери. Мне хотелось поцеловать ей руку, но не хватило смелости.

— В этом нет никакой моей личной заслуги,— тихо отвечала мне Вера Николаевна. — Были люди куда лучше и сильнее меня, например, Людмила Волькенштейн, и они, к несчастью, погибли. Выжили мы не по признаку нашей значительности, а, вероятно, оттого, что были физически крепче, унаследовали лучшее здоровье.

Я старалась вобрать в себя каждое слово этой женщины, ее черты. Было в выражении лица Фигнер что-то особенное, нераскрываемое. Очевидно, муки одиночного заключения, борьба с отчаянием безнадежности, потери соратников коснулись ее костлявыми пальцами. Она победила, но мета осталась.

Самым жизнерадостным, кроме Кона, на этом вечере легендарных людей показался мне М. Ф. Фроленко. Он отлично пел революционные и народные, преимущественно украинские, песни и был неутомим в шутках и придумывании тостов.

Но дороже других стал для меня Николай Александрович Морозов — этот подлинный русский Огюст Бланки, проведший в заключении в общем двадцать девять лет, на год меньше неуемного французского бунтаря. Он часто бывал у нас в двадцатых годах, и с каждой новой встречей не убавлялась, как случается, а крепла во мне не только почтительность, но и сознание, что видишь перед собой человека недюжинного, могучего и вместе с тем по-ребячьи чистого и доверчивого.

Николай Александрович Морозов по отцу принадлежал к знатнейшему роду Нарышкиных, родственников царя, а по матери — к крепостному крестьянству. Как Герцен, он был незаконнорожденным, получил отличное воспитание и образование.

В Морозове сочетались поэт, ученый и неукротимый бунтарь. В отрочестве Морозов ощутил в себе гнев про-

тив самодержавного произвола и народных страданий, гнев, освежающий и толкающий к подвигу. Емкая память, жадность к познанию дали гимназисту возможность обогатить себя множеством сведений в различных областях науки. Все это помогло ему выдержать могильное безмолвие одиночной камеры.

Он понял, что даже первые секты христиан, как заметил это и Энгельс, были порождены протестом и борьбой за преобразование жизни. Революции вели к прогрессу и спасительному обновлению общества, науки, искусства. Нельзя быть новатором в науке, литературе, оставаясь при этом отсталым ретроградом в своем мировоззрении, считал Морозов.

Морозов бросился в самое пекло, сражаясь за права и свободу. Подобно юному Плеханову, он оказался в рядах народников. Позднее сомнения в правильности народнической доктрины привели его к Марксу.

В мае 1930 года Морозов писал В. Фигнер:

«Я... сразу же оценил огромное значение первого тома «Капитала» Маркса с его лозунгом: «через капитализм к социализму». Я... ясно понимал, что книга «Капитал» делает эпоху в социалистической идеологии и возврат к народничеству... более невозможен...»

Морозов не вошел в Коммунистическую партию, но это не умаляет подвига его жизни.

В пору становления марксизма в России Морозов находился в шлиссельбургской каменной норе, подвергался непрерывной медленной пытке на уничтожение и выдержал ее героически. Ничто — ни тяжкие болезни из-за голода, сырости, вечного молчания, ни унижения — не смогло сломить его духа. Впоследствии еще один год проведет он в заточении и останется несокрушимо тверд и жизнелюбив.

О себе Николай Александрович говорил сдержанно, но о предметах, его интересующих, и о людях, встреченных когда-то, рассказывал красочно, увлекательно, умно.

Особенно дороги нам были воспоминания его о Марксе, которого он посетил незадолго до смерти в Лондоне. Каждая деталь этой встречи драгоценна. Морозов казался мне еще значительнее оттого, что видел живого Маркса.

Все, что мы пережили стоически, и особенно сопричастность к чему-то безусловно выдающемуся и светло-

му, как бы невидимым нимбом окружает на старости наши поседевшие головы. Чего бы ни касался в разговоре Морозов, думал ли вслух, сказывался размах его интересов и научных целей. Математика, физика, химия, филология, астрономия, вынудившая его многие годы распутывать клубок мистических пророчеств и дат, на которые ссылалось богословие,— все влекло к себе нестареющий ум вечного революционера. Он вторгался в различные области знания, схватывая их взаимосвязь, не боясь обвинения в ереси.

В долгом заточении единственным разрешенным ему чтением были Библия и Евангелие. Всесокрушающий бунтарь ринулся в богословие. Его острый аналитический глаз ученого мгновенно отыскал в словесной вязи множество противоречий. Астрономия опрокидывала апокалиптические пророчества.

— Насколько все перепутано во времени и подделано невеждами в разные века,— говорил мне Морозов,— видно из самых простейших вещей. Не правда ли, имя Цицерон для нас звучит как нечто очень высокое, знатное? Цицерон. А значит это в русском переводе — что бы вы думали? Сухой горох. Ха-ха-ха! — по-детски раскатисто смеялся Морозов. — Неувязка у историков. Мы ведь так чтим умнейшего Цицерона. Пифия — знаете, что это такое по-русски? Простите, не совсем эстетично — вонючка. А мы-то обучены, что Пифия тоже весталка, хранительница храма. Вот так-то, многое требует перепроверки, чистки древней истории и особенно толкований Апокалипсиса. Подчас это просто издевка над здравым смыслом.

Сопоставляя числа, годы солнечных и лунных затмений, Морозов подверг сомнению, а затем разрушил теологические догмы.

Так появилась его оригинальнейшая книга «Откровение в грозе и буре». Позднее многотомный «Христос» вызвал шумные споры, нашел убежденных сторонников, как В. Бонч-Бруевич, и сомневающихся. Только беспокойный, творческий и отважный мыслитель мог думать столь необычно. Наука развивается зигзагообразно, и некоторые открытия Морозова, сначала отвергнутые, возвращаются как несомненные.

Когда я впервые увидела семидесятилетнего Николая Александровича, он отличался редкой моложавостью,

Свежесть его кожи, блеск глаз, живость движений, походка, сочный смех, заметное отсутствие утомляемости опрокидывали привычные представления о старости.

— Природа не засчитывает лет, проведенных в заключении,— шутил он и отбрасывал прочь двадцать девять лет из прожитых.

— Вы, верно, были очень здоровым человеком с детства? — спрашивали его.

— Наоборот, часто хворал, а в тюрьме даже туберкулезом, да и вообще едва волочил ноги.

Вот она, сила духа и таинственные резервы нашего организма!

Морозов не только пылко любил поэзию и знал наизусть множество стихов, но умел наслаждаться музыкой и пением. Жена его была в прошлом известной пианисткой. Приходя к нам, он обычно со всей присущей ему обходительностью просил мою мать играть на рояле. И она никогда ему не отказывала.

— Пятый прелюд Шопена, пожалуйста, любезнейшая Бронислава Сигизмундовна, и, если не устанете, Шестнадцатый. А потом что-нибудь из Глинки и Чайковского, по вашему выбору. Благодарствуйте.

Я могла часами слушать Морозова, будь то рассказы о звездах, последних достижениях химии и особенно воспоминания о многочасовой встрече его с Л. Н. Толстым в Ясной Поляне. В записях Маковицкого, домашнего врача Льва Николаевича и близкого ему человека, есть следующие слова Толстого о книге Морозова «В начале жизни», писанной в Шлиссельбургской крепости:

«...Талантливо написано. Интересно взглянуть в душу революционера. Очень поучителен был для меня этот Морозов».

Познакомились они лично в 1908 году и затем переписывались.

Революционеры, подобные русскому Бланки, великие поборники правды и справедливости, всегда привлекают к себе лучших людей своего времени. Среди близких знакомых и друзей Морозова — коммунист, соратник Ленина В. Д. Бонч-Бруевич, Вл. Короленко, И. Бунин, В. Гиляровский, В. Брюсов и несть числа другим.

В 1923 году по личному ходатайству В. И. Ленина был утвержден следующий документ:

«Принимая во внимание заслуги перед революцией

и наукой шлиссельбуржца Н. А. Морозова, Совет Народных Комиссаров постановляет:

1. Предоставить в пожизненное пользование Н. А. Морозова имение Борок, Рыбинской губернии, со всеми постройками, живым и мертвым инвентарем, в нем находящимся.

2. Передачу имения, равно как и установление границ последнего, возложить на Народный Комиссариат земледелия.

3. Освободить имение Борок от всех денежных налогов и продналога, приравняв таковое к государственным культурным хозяйствам».

Прошло много лет. Почетный академик Николай Александрович Морозов оставался бодрым и трудоспособным до последнего дня и скончался на девяносто третьем году от роду в 1946 году.

Я вижу его, не знавшего старости, в темном, тщательно отутюженном костюме, румяного, в очках, за которыми блестят мальчишеские глаза, вспоминаю, что этот грозный враг деспотизма и гнета собирал в шлиссельбургской камере мух в баночку и выпускал их на волю во время прогулки, радуюсь его энциклопедическим познаниям и решимости разрушать научные и религиозные догмы, учусь у него доброжелательности к людям, чистоте помыслов и суждений и той особой вежливости, которая, как ласка, смягчает и побеждает грубость во взаимоотношениях. Чудесный человек!

В тридцатых годах ученые Пулковской обсерватории, отмечая вклад Морозова в астрономию, назвали его именем открытую ими малую планету — астероид. Во всех звездных каталогах мира значится «Морозовия». Ищу ее на небе, знаю, что свет ее, сливаясь с миллионами иных небесных тел, льется на Землю. Немало людей и сейчас приходят в Борок, к дому и могиле Морозова.

Мемуары, стихи, научные труды шлиссельбургского героя весьма значительны и отражают главную черту характера автора, столь ясно выраженную на его лице,— доброту, любовь ко всему несправедливо обойденному счастьем.

Передо мной по-настоящему хорошая, недавно изданная в Ярославле, книга о Морозове «Узник Шлиссельбурга». Автор ее — Б. Внучков, горячо, видимо, полюбивший образ своего героя. Один из страстно преданных памяти Морозова людей, инженер-энергетик В. Бирюков подарил

мне стихи Николая Александровича, написанные в царской тюрьме:

Пусть уныла тюрьма,
Пусть повсюду покой,
Пусть царит над землей
Полусвет, полутьма.
Но и в этой глуши,
Где так долги года,
Нашей вольной души
Не сломить никогда!

## Ш. З. ЭЛИАВА

Отчего в старости нам кажется, что нет больше таких восходов солнца, как те, что поразили нас в начале жизни? Не потрясение, а грусть вызывает прекрасное мгновение смены ночи днем. А сколько встречала я рассветов за долгую жизнь? В поднебесных горах, у южного моря, в Заполярье. Одни из них сулили удачу, другие грозили новым горем. Но все, даже сумрачные и зловеще багряные, были необыкновенны по краскам и величественны в своей необратимости.

Особенно запомнились мне короткие схватки между теменью и светом на Кавказе. После густой черноты ночи появление солнца вызывало недоумение, казалось таинством. Если ночь заставала нас в горах, мы седлали коней, чтобы встретить восход на какой-нибудь вершине. Но не было конца горным вершинам, и, взяв один перевал, мы открывали для себя еще более трудный. Мне казалось — горы более всего похожи на человеческую жизнь, они приводят к мысли о бесконечности движения и недосягаемости далей.

Я познакомилась с Шалвой Зурабовичем Элиавой неподалеку от Тбилиси. Вместе с Серго Орджоникидзе и другими друзьями мы как-то отправились в Коджоры. С нами был и Элиава. Его лицо показалось мне не только мужественно красивым безукоризненно правильной лепкой черт, но, и это самое главное, привлекало выражением большой человечности. Оно отражало богатство мыслей, впечатлительность, сложность чувствований, горячность. В обществе подобных людей — хорошо. Веришь, что мелкое коварство, пошлость, завистливая злоба им чужды. Элиава внушал доверие, успокаивал, разоружал. А сколь

устаешь от постоянного напряжения самообороны и сомнений! Шалва Зурабович принадлежал к лучшей части человечества, которую природа создает не как правило.

Я не знала, что Элиава прихрамывает. Он спешился с коня с изяществом джигита. Сложения был типического для горцев: мускулистый, худощавый, гибкий. Как многие уроженцы Кутаиси, Рачи и Сванетии, Шалва Зурабович был светловолос и высок ростом.

Позднее я многократно встречалась с Элиавой в доме Серго Орджоникидзе. Сердечная дружба связывала тогда этих двух людей. Шалва Зурабович, порывистый тридцатисемилетний человек (он родился в сентябре 1885 года), относился к Орджоникидзе с нескрываемым почтением.

Иногда, в часы досуга, бойцы-революционеры вспоминали недавнее прошлое, исполненное огромным романтизмом и героикой. При царизме прошли они испытание допросами, тюрьмами, ссылками и хитроумными побегами.

Элиава происходил из зажиточной семьи, окончил университет, был одаренным юристом, владел несколькими языками и мог выбрать для себя судьбу куда более легкую, нежели постоянная опасность, преследования и неустроенность, в которой оказывались обычно все профессиональные революционеры. Но чувствительная совесть и тяга к жертвенности во имя равенства и справедливости гнали его по свету и привели в ряды самых бесправных и беззащитных. Он был одним из рыцарей духа, светочей среди тьмы.

В первые же дни Февральской революции Элиава, член большевистской партии с 1904 года, был избран председателем Закавказского Совета рабочих и солдатских депутатов. Погром рабочих кварталов, учиненный летом 1917 года Временным правительством Керенского, августовский заговор Корнилова развеяли зародившиеся было смутные иллюзии Элиавы. Судьба революционера — движение. Он, не колеблясь, шел за Лениным, сражался за победу пролетарской революции в Октябре и стал делегатом II съезда Советов.

Большевики не засиживались на одном месте в годы гражданской войны.

В своей автобиографии Элиава пишет о том же, о чем рассказывал нам в свободные часы, когда «бойцы вспоминали минувшие дни»:

«В 1919 г. я был направлен ЦК РКП(б) в качестве

председателя комиссии ЦК и ВЦИКа для работы в Туркестан, но пробраться в Туркестан мне не удалось, так как ряд районов, ведущих в Туркестан, был занят войсками генерала Колчака... Вместе с другими я застрял в г. Оренбурге, был мобилизован партией для военной работы и назначен членом Реввоенсовета Южной группы войск Восточного фронта, которым командовал Фрунзе. Вместе со мной членом Реввоенсовета Южной группы был и Куйбышев... С тех пор до начала 1921 г. я провел на фронтах Южной группы, затем на Восточном фронте против Колчака, наконец, на Туркестанском фронте».

За этими скромными, скупыми строчками встают грозные баталии, минуты, подчас равные годам, годы значительнее десятилетий. За ними схватки насмерть с врагом, тиф и голод, недостаток снаряжения и одежды. Не хватало насущно необходимого, и только одного в Красной Армии было с избытком — отчаянной храбрости и веры в победу. Люди были достойны поставленной ими цели, цель рождала огромный героизм. Значение совершенного подвига постигается позже, и экстаз, дающий силы на осуществление того, что выше обыденных возможностей, не осознается в момент совершаемого действия.

Одиннадцатого июля член Реввоенсовета Юж-группы Элиава доложил штабу Восточного фронта: «Сообщаю Вам приятную новость. Чапаев и Фрунзе сегодня уже в Уральске...» А за четыре дня до этого легендарный Василий Иванович приказывал: «Казачьи банды, оставившие Пугачев и бегущие на всем фронте от наших славных бригад, делают попытки вновь атаковать Уральск. Поспешим уничтожить эти банды в волнах Урала и Чагона. Скорее вперед! Не позднее 12 июля снять оковы с осажденного Уральска!»

Читаю это, перелистывая дела и речи революции в патетический 1919 год!

В эту осаду, которую Элиава скромно вовсе не упоминает в своей коротенькой автобиографии, написанной в середине двадцатых годов, он проявил значительное мужество. Шалва Зурабович был по заслугам награжден за фронтовую страду двумя орденами Боевого Красного Знамени, а позднее за трудовую доблесть орденом Ленина и Трудового Красного Знамени.

Вспоминая борьбу с белыми за Уральск, В. В. Куй-

бышев писал: «Проходили неделя за неделей тяжелой, мучительной осады. Страшнее снарядов и пуль были начавшиеся лишения. Нет мыла, постельного белья, у многих на голом теле зимние полушубки. Нет мяса, нет рыбы, не стало табака, сахару, чаю. Враг наседает чем дальше, тем ожесточеннее...»

Так было!

С доверием и доброжелательством относился к Элиаве В. И. Ленин. История сохранила одно характерное письмо, посланное Владимиром Ильичем Элиаве 19 декабря 1919 года из Москвы в Туркестан.

«Т. Элиава!

Рекомендую Вам подателя, тов. П. Н. Лепешинского, которого я знаю с заграницы, с Женевы 1902 года, где мы вместе боролись с меньшевиками.

Тов. Лепешинский, несомненно, поможет в такой как раз работе, которая должна внушить туземному населению представление и убеждение, что советские люди не могут быть империалистами, не могут даже иметь империалистских замашек.

Привет!

Ваш *Ленин*».

У Элиавы было много друзей. Разносторонне образованный, хорошо знавший литературу, общительный, гостеприимный, он являлся желанным собеседником и умным наставником для молодых.

Счастлив был он и в личной жизни. Анна Николаевна Элиава, голубоглазая, приятная, энергичная россиянка, жила теми же интересами, что и ее муж. Авель Енукидзе, как-то глядя на эту неразлучную чету, сказал с доброй улыбкой: «За Шалву жена его готова хоть в огонь».

Отбушевала гражданская война. Мы по-прежнему часто наезжали в Грузию. Однажды, когда мы собрались в горы, Элиава предложил женщинам ехать в тарантасе. Я считала себя неплохим наездником и отказалась.

— На норовистом коне ведь не поскачешь, а другого нет,— запротестовал Элиава.

— Не впервой. Не упаду,— спорила я.

Элиава пожал плечами и решил проучить меня, отбить охоту впредь выхваляться. Вывели лошадь. Повадки

ее не обещали мне ничего, кроме срама. Куда податься? Но не в моем характере в молодости было отступать. Казацкое седло оказалось также непривычным. Напряженно вспоминала, чему учил меня отец, сажая на коня. Лишь бы удержаться в стремени. Выехали за город. Лошадь вдруг перешла с рыси на галоп и сердито, вбок, покрасневшими глазами глянула на меня. Угрожающе заржав, попыталась сбросить нежеланного седока. Всадники пришпорили коней и бросились мне на помощь. «Экий стыд, если свалюсь. Усмирись, дьяволенок»,— просила я, припадая и приноравливаясь к коню. В эту минуту Элиава, мастер верховой езды, оказался рядом со мной, готовый либо схватить лошадь под уздцы, либо перехватить меня к себе. Но ни того, ни другого не понадобилось. Лошадь подчинилась. Я не опозорилась и с тех пор, бывая на Кавказе, могла участвовать в трудных странствиях верхом, любителем которых всегда был Элиава.

Так просты были в обращении и поведении Орджоникидзе и Элиава, что никогда я не задумывалась над тем, какое именно место в руководстве Грузии и Закавказья они занимают. Важны ведь люди, а не звания. Значительно позднее все в той же автобиографии Элиавы я прочла: «С 1921 года работаю в Грузии и Закавказье на разных советских должностях... Я был председателем Совета Народных Комиссаров Грузии... а сейчас на посту председателя Совета Народных Комиссаров ЗСФСР...»

Знаток и любитель искусства, лингвист, Шалва Зурабович, несмотря на большую общественную работу, на участившиеся болезни, внимательно следил за всем новым, что появлялось в отечественной и мировой литературе. Он обратил мое внимание на романы Фейхтвангера, зачитывался «Успехом» и «Безобразной герцогиней». Ему нравились стихи Есенина и Багрицкого и особенно муза Табидзе. Близко знал Элиава А. М. Горького и посещал его вместе со своей женой. Мне пришлось слышать красноречивую похвалу «Климу Самгину», высказанную Шалвой Зурабовичем великому литератору. Точно так же считал он шедевром пьесу «Егор Булычев и другие».

Счет уходящего времени для каждого из нас особый. В пору, о которой я часто думаю, мы были лишь на «полпути земного бытия». Прошло много лет. В старости все чаще посещают нас видения молодости, а в бессонные ночи, столь обычные для пожилых людей,

встречая холодный и все более чужой рассвет, видится мне солнечный восход, неизменно прекрасный на Кавказе, когда, окруженные друзьями, ехали мы навстречу утру.

## ПОЛКОВОДЦЫ

Время вечно молодо — в этом его разительная особенность. Причина тому — неиссякаемая воля человека, та, что не дает стареть людям, сохраняет в них действенный огонь и потребность созидания...

Оборачиваясь на пройденный со своим поколением путь, я испытываю необычное изумление. Неужели нами прожита только одна, а не несколько жизней?

Память о значительных людях и их делах подобна огню. Ветер времени раздувает истинно великое и гасит навсегда воспоминания о ничтожных и незаслуженно возвеличенных людях. Если остаются их имена, то лишь как символ недоброго.

Прошло несколько десятилетий с начала Октябрьской революции. Сколько имен безвозвратно кануло в неизвестность и как, однако, много других, уже умерших, по-прежнему излучают свет на новые поколения. Таков Михаил Васильевич Фрунзе, блистательнейший полководец нового времени и гражданской войны, легендарный коммунист. Неоднократно смерть схватывалась с ним и отступала. Дважды был он приговорен царским судом к смертной казни. Так велика была его воля, что за несколько дней до возможного исполнения приговора он принялся за изучение итальянского языка. Семь лет отбывал он во Владимирском, Николаевском и Александровском каторжных острогах. Он прожил всего сорок лет, и каждый отрезок его зрелой жизни — легенда. Рожденный для борьбы и победы, он видится мне таким, каким я его знала: спокойным и деятельным, уверенным без самомнения, творчески необозримым. В слове, поведении был он всегда для окружающих открытием, новью. И навсегда памятны мне его глаза, синие, светящиеся. Под взглядом этих чистых глаз нельзя было лгать или притворяться. Я видела его среди разных людей, и они менялись, ободренные или пристыженные прямотой и зоркостью этого внутренне необыкновенного человека магнетической привлекательности.

Мне думается, что все полководцы гражданской войны, первые в истории человечества военачальники эпохи побеждающей пролетарской революции, обязаны расцветом своих дарований прямому воздействию Ленина и затем Фрунзе. Мне посчастливилось видеть вместе Фрунзе и Якира, Фрунзе и Тухачевского. Несколько дней Фрунзе и Якир жили под одной крышей мисхорского санатория в Крыму весной 1921 года. Было нечто отеческое и вместе дружески взыскательное в том, как Михаил Васильевич говорил с Ионой Якиром, который не мог скрыть своей любви и гордости, что на «свете есть же такие люди, как Фрунзе». Я подметила ту же исходящую от сердца невольную почтительность, с которой Тухачевский говорил с наркомом по военным и морским делам. Это было незадолго до смерти Михаила Васильевича.

За несколько дней до операции, столь трагически окончившейся, Михаил Васильевич зашел к нам. Мы жили с ним в одном доме на улице Грановского. И снова он гасил нашу тревогу по поводу его болезни спокойствием и живейшим интересом ко всему вокруг.

В его коричневато-русых волосах не было ни одного седого волоса, а ведь вся его жизнь была непрестанным боем. Он вел солдат к победе в Октябрьские дни, не однократно возглавлял красноармейские части, громившие Колчака, руководил операциями против бухарского эмира, ликвидировал банды Махно и Петлюры, очистил Крым от Врангеля. Подвигам этого человека несть числа.

Я спросила Михаила Васильевича в эту последнюю с ним встречу:

— Вы всегда были бесстрашны?

Широко улыбаясь, открыв ровные, отличные зубы, он ответил:

— От страха ведь седеют. А пользы от него никакой. Не верьте тем, кто заявляет, что никогда не струхнул. Однако тут уж кто кого: страх меня или я его — в клочки. С этого начинается человек.

Богата летопись гражданской войны и длинен перечень ее участников. С одним из них я не виделась многие годы.

В праздничный Октябрьский вечер 1935 года у наркома иностранных дел М. М. Литвинова был традиционный прием. Кроме дипломатов и деятелей государства,

как всегда, приглашались писатели и журналисты. Все мы старались принарядиться.

К семи часам залы особняка на Спиридоньевской улице ярко осветились, и на площадке мраморной лестницы, приветствуя гостей, появился нарком. В толпе приглашенных я с радостью заметила Михаила Ефимовича Кольцова и, как не раз при затруднениях литературных, нашла в нем снова надежную опору. В многочисленном чуждом, иностранном обществе это было мне необходимо. Мы двинулись по нарядно убранным комнатам. В говорящих на превосходном немецком языке, весьма представительных людях, один в смокинге, другой в военной форме, мы узнали немецкого посла и Тухачевского. Маршал дружески поздоровался с нами и продолжал разговор с дипломатом.

Кольцов отозвался о Тухачевском как об интереснейшем и талантливом человеке. На праздничном приеме мы увидели много выдающихся соотечественников — Валерия Павловича Чкалова, великого мечтателя Отто Юльевича Шмидта, популярнейших артистов и ученых.

Когда оркестр грянул модный фокстрот из полюбившегося в Москве кинофильма «Петер», многие, в том числе и мы с Кольцовым, начали танцевать. Михаил Ефимович оказался хорошим танцором, чего нельзя было сказать обо мне. Но музыка привлекала, и вот уже фокстрот сменил старый волнующий вальс. Кольцова увлекла отчаянной храбрости парашютистка Нина Камнева, а я отошла к окну, чтобы отдохнуть. С детства вальс не оставлял меня равнодушной. Мать научила меня ему, как и мазурке. Сама она была превосходной танцоркой до старости. Под ритм вальса ко мне возвращаются тени. Отец и тетки, даже бабушка движутся перед моим взором, то убыстряя, то замедляя темп. Мать играет на рояле старые мелодии, а они с счастливым выражением лиц кружатся плавно, исчезая, подобно облакам или сну. Сколько поколений наслаждались этим всегда нежным танцем... Вслушиваясь в мелодичный мотив, я не заметила, как подошел ко мне среднего роста военный с ромбами на кителе. Танцуя с ним, я напряженно вглядывалась в его лицо, казавшееся мне знакомым. Но где и когда мы виделись, я не могла припомнить. О том же думал и мой партнер по вальсу. Нахмурив лоб, он вопросительно смотрел на меня.

— Мы когда-то встречались, не правда ли? — спросил он.

— Вряд ли. Я этого не помню,— ответила я молодому командарму.

— Как ваша фамилия?

Я назвалась. Но военному это ничего не разъяснило.

— А ваша?

— Штерн. Григорий Штерн. Я мог бы предположить, что мы виделись давным-давно, может быть даже на гражданской войне, но это невозможно... Вы слишком молоды...

— И, однако, я была в Тринадцатой армии.

— Узнал, вспомнил. В Паточной, Тульской губернии. Не так ли? Помните... Вы — Галя из политотдела.

Мы с трудом выбрались из круга вальсирующих. Нам не хватало слов, чтобы говорить. Мы перенеслись назад во времени. Был тот же праздник второй Октябрьской годовщины. Мы лихо отплясывали русскую под гармонь в нетопленной, освещенной керосиновой лампой школе. В плохоньких полушубках и заплатанных валенках, в шлемах, голодные, но развеселые, мы были самыми счастливыми в этот час людьми, свободными от каких-либо пут имущества, страха, лжи. Прошло шестнадцать лет. С недоумением смотрела я на свое отражение в многочисленных зеркалах знатного особняка. Вечернее платье, локоны, туфли. И рядом гладко зачесанный командарм Красной Армии.

— Я оказался в Паточной случайно, прибыл прямо с передовой,— рассказывал Штерн Кольцову.

— Вот вам и готовая новелла. Метаморфозы революции,— улыбнулся Михаил Ефимович.

К нам подошел Тухачевский. Праздничный вечер близился к концу. Редко бывало у меня столь радужное настроение и добрые предчувствия. С Штерном мы условились встретиться, как только он вернется из командировки. Мы веселились, ожидая впереди только удачи и процветания. Домой меня привез на своей машине маршал Тухачевский.

Михаила Николаевича Тухачевского я видела многократно. Изредка он бывал и у нас дома. От Дмитрия Шостаковича я слыхала о семье Тухачевского и любви его к музыке. Юный тогда композитор, частенько приезжая из Ленинграда, останавливался у маршала, где был всегда желанным гостем. Михаил Николаевич умел отыскивать,

ценить, холить таланты. Кроме увлечения музыкой и общей широкой образованности, Тухачевский неожиданно обнаружил еще одну сторону своей разносторонней, сложной натуры. Как-то зимним вечером, зайдя к нам, он встретил нескольких критиков, поэтов и литераторов. Прозвучали стихи Маяковского и Багрицкого, нравившиеся Михаилу Николаевичу. Выслушав их, он начал декламировать сам, низким, хорошо поставленным голосом:

Рожденные в года глухие
Пути не помнят своего.
Мы — дети страшных лет России —
Забыть не в силах ничего.

Очарованные совершенной дикцией чтеца и чудесными строфами Блока, мы слушали затаив дыхание.

Испепеляющие годы!
Безумья ль в вас, надежды ль весть?
От дней войны, от дней свободы —
Кровавый отсвет в лицах есть.

Тухачевский продолжал читать стихи стоя.

Человек атлетического, идеального телосложения, красавец, Тухачевский походил на былинного богатыря. Немного навыкате, серые влажные глаза смотрели с осознанной, глубокой человечностью. Он казался всегда несколько самоуверенным, надменным, но то было сознание силы, привычка молниеносно решать, отвечая за других, предельная собранность и организованность. Неприхотливый в быту, как и должно воину, по рассказам всех, кто прошел с ним ратный искус, он всегда был верен в дружбе и слове. Маршал не убегал от встречного взгляда и отвечал собеседнику резко, прямо, как бы скрещивая с ним шпаги на бой или мир.

Виталий Примаков и другие военачальники отмечали в Тухачевском остроумие, чувство собственного достоинства и неумение притворяться. Смелый на поле боя, он оставался таким же в общении, и потому люди мелкие, жаждущие лести, таили против него недобрые чувства. Зато лучшие были его друзьями и учениками в военном деле. Прямота, граничащая с дерзостью, отражалась и в его внешности, как бы созданной для военачальника. Смеялся он заразительно, не обижался по пустякам, шел грудью на врага. Такие, как Тухачевский, преследуют двоедушие и трусость.

Не только в музыке, поэзии, литературе был сведущ Тухачевский. Он упорно, как школяр, работал над собой, заявляя, что военный стратег не может быть невеждой в политике, истории и различных предметах.

— Даже воинские колесницы римлян — высшее достижение своего века,— говорил Тухачевский. — Военная наука не может отставать от последнего слова техники.

Тухачевский тщательно прослеживал различные военные доктрины, отбрасывая давно отжившие и высоко оценивая открытия XX столетия. Ему нравились описания баталий от древности до Вердена. О походах римских, карфагенских, македонских полководцев он рассказывал с нескрываемым восхищением и как-то у нас подробно описал ошибки Ганнибала в Пунических войнах. Он жестоко порицал дилетантов в военном деле. Зато Фрунзе был, по его мнению, «любимцем» бога войны Марса, даровитейшим тактиком и стратегом. Высоко ценил он концепции Энгельса в военной стратегии.

— Я хотел бы сражаться под началом Энгельса, не зря его звали генералом,— заметил он как-то. Но более других изумлял его Ленин как стратег революции.

В дни праздников, бывая на Красной площади, я искала на трибуне приметную фигуру маршала Тухачевского. Он во всем был полководцем нового типа, командовавший совершенно незнакомым ранее в истории воинством.

Тухачевский воевал уже в первую мировую войну, окончив в канун ее кадетский корпус. В 1915 году, раненный, он попал в немецкий плен, откуда бежал пять раз, проделав пешком более тысячи пятисот километров. Только в 1917 году добрался он до России и сразу же принял участие в борьбе большевиков. Уже в апреле 1918 года Тухачевский вступил в Коммунистическую партию и посвятил жизнь созданию непобедимой армии первой пролетарской революции.

Выдающийся стратег, он одержал ряд блистательных побед в тяжких боях с белыми: златоустовская, челябинская и курганская операции привели к полному разгрому Колчака.

В 1920 году Тухачевский еще раз проявил себя выдающимся полководцем. Он осуществил стратегическое окружение противника. Так был взят Новороссийск, после чего армия Деникина закончила свое существование. В своих мемуарах Деникин признавал, что совсем еще молодой

советский военачальник сумел превзойти его в стратегических расчетах и, окружив, разбил белые войска.

Полководческая биография Тухачевского необычна и замечательна. Никогда он не останавливался, не костенел, учась и двигаясь вместе со страной, борясь с косностью, застоем в творческой военной мысли, требуя, чтобы военный был самым передовым и научно мыслящим, строго идейным человеком. Маршал предсказывал, что будущая война будет войною моторов.

Не случайно Тухачевский зачитывался в свободные часы биографиями таких героев, как участник многих кампаний, в том числе и американской войны за освобождение от английского ига, поляк Костюшко, великий полководец парижских коммунаров Домбровский. Труды основоположников научного коммунизма, и особенно Ленина, учили его также и военной стратегии. Он с увлечением погружался в исследования немецких, французских и английских военных знатоков, исследовал карты боев, отыскивая просчеты и спасительные решения военачальников.

Вслед за Энгельсом, сформулировавшим в «Анти-Дюринге» основы марксизма о войне, Тухачевский считал, что успех армии зависит не только от «гениальных полководцев», но и от изобретателей лучшего оружия, духа и обученности солдат. Он придавал огромное значение экономике страны, уровню производства и средствам сообщения, требовал от офицеров образованности в соответствии с временем и целью.

Человек отменного здоровья и тренировки, сильный, он был чужд бесплодным разглагольствованиям и тянулся к жизни, наслаждался красотой природы и людей, любил и был любим.

Однажды в Подмосковье мы встретились с Тухачевским, Егоровым и Якиром. Тухачевский мог бы украсить древнеримский легион, колесницу или средневековый турнир, Якир и Егоров не обладали столь броской красотой, но каждый из трех был по-своему интересен и значителен.

Иона Эммануилович Якир, самый молодой из трех, запомнился нервным, интеллигентным лицом, черными яркими глазами с чуть ироническим прищуром. Он нравился мне своей живостью и простотой обхождения. Впервые я увидела его в 1921 году в Мисхоре. Была я тогда забав-

ным, претендующим на взрослость, но крайне неуверенным в себе юнцом. С Якиром в Крым приехала его жена, изящная, симпатичная женщина, а также группа таких же молодых, как он сам, однополчан. Их шумное появление обрадовало всех, особенно Фрунзе, к которому Якир относился с нежной уважительностью.

На площадке перед зданием молодежь расставила дужки где-то найденного крокета, и начались сражения. Играли мы партиями по двое, но выигрывала та, где главенствовал двадцатипятилетний Иона Эммануилович. Обыграть его было невозможно.

Молдаванин по рождению, Якир как бы вобрал в себя лучи жаркого солнца своей родины. Отношения между Якиром и его женой показались мне исполненными романтикой, чем-то схожей с супружеством Фрунзе. Цвели на низких кустах алые гранаты, кое-где на давно не ухоженных клумбах пробились нарциссы и тюльпаны, в буковых рощицах поднимались крупные, ароматные фиалки. Якир приносил их жене, и, в то время как иные стеснялись этого проявления внимания и прятали их под платками или в бумаге, он нес букеты — свидетельство любви — открыто, с едва уловимой гордостью.

Веселым утром Якир с друзьями отправлялся к морю. Вода в апреле была еще холодной, но это не пугало пловцов, среди которых был и Иона Эммануилович. Мы садились на камни, и под гул прибоя начиналась беседа. То были мечты вслух, состязания в шутках, вымысле. И смех сливался с прибоем в одну мелодию оптимистической песни без слов.

Как торопили мы время и верили, что оно всего лишь трава под ногами и бежать по ней легко, а исполнение желаний рядом. Избыточность сил и молодость кружили головы. Очевидно, Революция,— этот прорыв долготерпения, взрыв накопленного гнева и отчаяния,— кончающаяся победой, обязательно порождает иллюзии во времени. Идеи утверждаются многими десятилетиями, а то и веками. Чем величавее и плодоноснее идея, тем дольше борьба за ее торжество, и на пути к ее укреплению и владычеству много препятствий и опасностей. Ее сначала встречают в штыки и нередко предают. Мы ничего этого не знали, не понимали. Нам хотелось, как жаждущим в пустыне, скорее добрести до источника. Раз победив, мы считали, что главного уже достигли.

Якир был молод, отчаянно храбр и тверд и верил, как и все мы, что нашему поколению жить при коммунизме. Он готов был по капле отдать кровь за идею и доказал это всей своей жизнью.

Только несколько дней длился привал военных в Мисхоре, и однажды утром я узнала, что ночью они спешно уехали в свои части. Стало тихо. На площадке валялись никому не нужные более выщербленные шары и молотки с выцветшими полосами. Ржавели дужки. Я поняла, что вокруг Якира, как и подле других военачальников гражданской войны, находились подобные им революционные романтики, однополчане, проверенные в боях, самоотверженные, чистые, преданные идее. Я шла по жизни своей тропой, не пересекавшейся с дорогами Якира, но значительно позже ненадолго судьба свела меня с его женой.

Александр Ильич Егоров был мне знаком издавна. В одну из поездок в Грузию в начале двадцатых годов я оказалась приглашенной на торжественный концерт, устраиваемый военным округом. Выступали артисты. В самом конце программы к роялю подошел военный с той особой выправкой, в которой, как в осанке балерины или движениях спортсмена, проявляется отличное владение телом, каждым его мускулом, поворотом даже шеи. Идеально прямая спина, тонкая талия, перехваченная ремнем, легкость и уверенность жеста свидетельствовали о тренировке.

Военная форма, как хорошо скроенное нарядное платье, красит человека, придает ему некую самонадеянность и сознание превосходства, заставляет всех как бы распрямиться. Таится в ней сила, действующая и на тех, кто ее носит, и на окружающих.

Егоров, в свои тридцать семь лет, был образцовым военным. Молодцеватость и внешняя собранность очень его украшали, особенно в те годы. Военная выправка не была еще у нас повседневным явлением.

Когда командарм подошел к роялю, я отметила его смышленое, располагающее к себе лицо. Но весьма удивил он всех собравшихся своим чисто профессиональным пением, сильным, чистым, уверенным звуком. Он был настоящим, незаурядным вокалистом и, как позднее при-

знался, в юности чуть не ушел на большую сцену. Пел он «Солнышко» и другие неаполитанские песни темпераментно и по-своему. Гулкие рукоплескания и похвалы сопроводили его выступление.

— Ай да командарм, вот удивил! — раздавалось со всех сторон.

За ужином Егорова избрали тамадой. Он отличался умением придумывать велеречивые тосты. Впоследствии Александр Ильич заинтересовал меня умными рассказами о былях российских глубинок, о старателях и разных бывалых людях. Он много повидал в жизни, любил охоту, рыбную ловлю, природу. Постепенно я разгадала, что привело подполковника царской армии уже в 1918 году в партию. Егоров всем сердцем любил Россию, мечтал о ее возвышении и счастье, хотел благоденствия народу. Все это, верил он, даст осуществление идей коммунизма. Была в Егорове завидная твердость взглядов, убежденность в правоте избранной цели, однолюбие во всем. Образцовый семьянин, он страстно был влюблен в свою жену Галину Антоновну и мог часами говорить об этом. Подобно Гейне, ему хотелось кричать о своем чувстве на площадях, так был он переполнен нежностью. Не знаю, сколь он глубоко изучил военную теорию, но работоспособность, самодисциплина, практическая сметка, по отзывам моих близких, были ему присущи в большой мере. С годами мы встречались реже, но всегда приязненно. Егоров, старея, замкнулся в себе, стал суше, молчаливее. На мои вопросы, поет ли он, отшучивался, что голос военному нужен только для подачи команды да на парадах. Преданность семье его не оставляла. Куда бы я ни ездила, просил привезти обновы жене, теще, свояченицам и, оживляясь, ласково похвалялся успехами Галины Антоновны, чем очень умилял меня.

Если Тухачевский и Якир были полководцами большого политического темперамента, многосторонних запросов и деятельности, Егоров видится мне военачальником, всецело захваченным главной важной сферой — армией.

Традиция участия военачальников в каждой области социалистической ежедневности и строительства создавалась Фрунзе, который был столько же виднейшим партийным работником, сколько и военным. Ее продолжила

плеяда его соратников. Многие были коммунистами задолго до Октябрьской революции, профессиональными революционерами, образованнейшими марксистами, готовыми к любому делу. По воле партии они стали первыми полководцами Великой Революции пролетариата. Они уподобились тем стратегам, появление которых предвидели Энгельс и Маркс. Своим становлением они обязаны были Ленину.

Одним из самых талантливых самородков той же рати остается Василий Константинович Блюхер. Его я узнала близко в условиях, когда могла видеть иногда весь день.

В самом конце двадцатых годов в одной из дач сочинского санатория поселились интересные люди: С. И. Гопнер, А. В. Галкин и В. К. Блюхер. Мы с мужем также занимали там одну из комнат. Все отдыхавшие издавна знали друг друга и рады были провести около месяца в близком соседстве. Но Серафима Ильинична расхворалась и слегла в постель. Галкин после мацестинских ванн, как сам говорил, «скорбел ножками», и на дальние прогулки отправлялись только Блюхер и мы. Василий Константинович оказался рекордсменом в ходьбе и лазанье по горам. В пути разговоры велись обычно непринужденно и не всегда значительные.

В то время комдив, позже маршал, Блюхер чем-то напоминал мне Фрунзе. На отдыхе носил он штатское платье, белые рубашки, соломенную шляпу. Предрасположенный к полноте, пухлолицый, с добродушным выражением темно-серых глаз, он походил на ученого агронома или земского врача. Его все интересовало, и он мог подолгу слушать санаторского садовника, знавшего особенности цветов и растений в субтропиках, бывшего монаха, водившего нас по часовням, ризнице и кельям Нового Афона, дегустатора вин и речистого абхазца, повествующего о прошлом Сухуми. То было не просто любопытство, а стремление собрать побольше сведений. Мозг Блюхера остался молод и ненасытим. От людей он шел к книгам, которых привез с собой большой чемодан, и перебрал все, что нашел в библиотеке. Вставал он на рассвете и после морского купания и долгой зарядки появлялся розовощекий, яркоглазый, спокойный до такой степени, что хотелось взять у него часть этой нервной отрегулированности. Всегда был он готов к дальним походам

и беседам. О себе говорил скупо, о местах, где бывал,— с явным удовольствием. Особенно полюбился ему Дальний Восток. Не юг с его утомительной пестротой и обнаженностью богатства, а сумрачный, скрытый север привлекал его все сильнее. О тайге, Байкале, Амуре мог говорить часами.

— В Сибири люди вынуждены бороться с природой ежеминутно, а это хорошо, очень хорошо. Где труднее, там и лучше. — Таков был смысл его выводов.

Уже через несколько дней праздность курортного существования начала угнетать Блюхера, и сколько ни спорили с ним врачи, он начал готовиться в обратный путь. Тогда-то, чтобы продлить его отдых, мы собрались путешествовать по Абхазии и направились в Новый Афон. Необычность бывшего монастыря увлекла всех нас. Мы поселились в пустом патриаршем домике, где все напоминало прошлое, и занялись богословскими книгами, которые там отыскали. Блюхер оказался превосходным чтецом. Он прочитал нам Екклесиаст.

— Да ведь Соломон-то настоящий материалист! — восклицал он неоднократно.

«Песнь песней» — чувственное, эпическое произведение — заставили читать меня.

В эти странные вечера мы много спорили о теологии, и Блюхер с моим мужем, знавшие работы Ленина против богоискательства, обрушивались на меня, вышучивая и обвиняя чуть ли не в мистицизме. Я отбивалась с кошачьей яростью.

— Чего ждать от писателей,— смеясь, вступался Блюхер,— они ведь выдумщики, фантазеры. Без волшебства, видно, и не напишешь романа.

Напыщенные и большей частью по сути незначительные люди умеют постоянно «подавать» себя окружающим и долго могут оставаться неразгаданными.

Все значительное — просто в поведении. Столь искренней была скромность Блюхера в повседневности, что казалось, его тяготило чрезмерное внимание окружающих. Его знали как выдающегося стратега, отважного революционера, талантливейшего организатора и знатока людей,— без этих качеств немыслим великий военачальник.

Все мы помнили его бесчисленные подвиги в гражданскую войну, то, что орден Боевого Красного Знамени

№ 1 был вручен именно Блюхеру, восхищались генералом Галиным, как назывался Василий Константинович в Китае, где создал первые воинские части по образцу Красной Армии. Блюхера чтили и преданно любили единомышленники и однополчане. Любили его и абхазские наши товарищи.

Не раз виделись мы с Нестором Лакоба, партийным руководителем Абхазии. Небольшого роста, глуховатый, с волосами серебристо-золотыми и все замечающими быстрыми глазами, он был интереснейшим собеседником и гостеприимнейшим хозяином. Я редко участвовала в беседах его и Блюхера, касавшихся значительнейших событий. Днем было тягостно жарко даже в тени могучих дубрав Нового Афона. Вечером мы купались в море, варили уху, катались на лодках, пели песни и читали вслух книги.

Часто вечерами ездили в горы. Лакоба знал легенды и поверья своего края. Сидя у костра в вековом лесу на Военно-Сухумской дороге, мы часами слушали его размеренные рассказы, затем, укрывшись бурками, укладывались спать, чтобы встать перед рассветом и увидеть первые сигнальные огни восходящего солнца.

Сейчас, когда прошло более сорока лет, я вздрагиваю, вспоминая эти сновидения наяву. Природа была так прекрасна, как люди, и люди были достойны ее. То была гармония, о существовании которой на земле возглашают музыка, море, небо.

Последний раз я видела Блюхера, приехавшего поздней осенью с юной, тоненькой, похожей в строгом синем костюме на робкого отрока, женой Глафирой в Барвиху. Был 1935 год. Маршал носил форму. Таким я его видела только на портретах. Но лицо с веселым, широким русским носом, глаза, большой ораторский рот, свежесть кожи были те же, знакомые и приятные. Мы припомнили с ним Абхазию, наши чтения, походы в горы и пожалели, что, как писалось в Екклесиасте, «все проходит». Блюхер шутил:

— Но что было — будет.

Он, однако, ошибся. С ним мы больше не встречались.

Полководцы, которых я знала, отважные выученики Ленина, встают в моей памяти, чтобы снова, как в дни торжественных парадов на Красной площади, отдать честь Родине и партии.

# ПОД КРАСНОЙ ЗВЕЗДОЙ

Гражданская война! Неизмеримо много дала она тем, кто хоть в малой степени был к ней причастен и сражался за победу Октября в рядах Красной Армии. Нигде не проверяется так человек, как в борьбе и преодолении трудностей в тяжелую пору народных испытаний.

Мне посчастливилось встретить в 1919 году замечательных по целеустремленности, самоотверженности, отваге людей и осознать, глядя на них, что такое храбрость, верность, служение идее.

Незабываемые, обогащающие душу годы. В боях ковалась тогда, впервые в истории, новая мораль, креп характер человека нового мира. То была суровая и благодатная школа, учившая, каким быть, чтобы познать счастье и дать его большими пригоршнями людям, никогда не знавшим ранее ничего, кроме унижений и горя.

В пламени гражданской войны закалялась наша воля, совесть, понятие о дружбе, любви и чести.

## САПОГИ

В 1919 году, поздней осенью, штаб 13-й Красной армии расположился близ станции Паточная, Тульской губернии. Тиф и голод, кося страну и армию, пособляли Деникину. Отступление, тяготы войны не осилили, однако, воли защитников Октябрьской революции.

Не могу точно припомнить, где стали мы, три девушки из политотдела, на постой. Дни и ночи проводили на работе, в холодном двухэтажном доме местного богатея, в клубе, который помещался в отапливаемом «буржуйкой»

лабазе, или в лазарете, где помогали вконец изнуренным бессменными дежурствами санитарам и медсестрам.

В один из этих дней созвала всех нас в свой кабинет начальница политотдела 13-й Розалия Самойловна, более известная по своей партийной кличке — Землячка.

В потрепанной кожаной тужурке, с револьвером на поясе, стояла она у стола. Совсем недавно Землячка сама вела на врага красноармейские части и задерживала отступавших. Огромное нервное напряжение, труд без отдыха и сна, точно хворь, изменили ее. Лицо осунулось, волосы потускнели, узкие губы синей полоской выделялись на пожелтевшем лице, глаза болезненно блестели из-под стекол очков.

— Вот,— сказала Землячка отрывисто и, подняв тонкую руку, показала серый листок бумаги,— заявление одного из политработников. Просит выдать новые сапоги. Портянки вылезают. Хочу знать ваше мнение, как мне поступить.

— Шкурник,— сердито выпалил Михаил Альфин, завагитпропом политотдела армии, рабочий юноша с грубоватым, широкоскулым, сильным лицом, с неожиданно прекрасными, умными и мечтательными глазами.

Он, как и Землячка, вернулся накануне из полка, где сражался, заменив там выбывшего по ранению комиссара. Вражья пуля пробила его старенькую шинель, опалила гимнастерку и партийный билет в кармане на груди и лишь чудом, скользнув в сторону, не задела сердца. Альфин писал стихи, которые мы учили наизусть. Его бесстрашие вошло в поговорку. Землячка доверяла Альфину больше, чем всем другим его сверстникам, и, к нашей зависти, то и дело посылала на самые опасные задания.

— Шкурник,— повторил Альфин,— в такое время, когда красноармейцы разуты, хочет обуть новые сапоги.

На Альфине, как и на всех нас, было нечто лишь отдаленно напоминавшее обувь. Он сам латал свои ботинки и штопал обмотки.

В 1919 году армейские собрания не затягивались. Все были слишком заняты неотложным делом. Единогласно приняли мы резолюцию, предложенную Землячкой. Покуда все красноармейцы 13-й армии не будут обуты, политотдельцам новых сапог не давать.

— Перед уходом домой, попозже, зайди к начполитотдела,— сказал таинственно Вася Ванеев, вестовой Землячки, самый юный среди нас. Ему недавно исполнилось тринадцать лет.

Я оробела. Вызов не предвещал ничего хорошего. На плохо обструганном столе передо мной лежал начатый, исчерканный «План работы передвижных полковых клубов на первое полугодие 1920 года». Работа не спорилась и не могла меня отвлечь от тягостных мыслей. Как верующий перед исповедью, я мысленно перебирала все возможные свои прегрешения. Неужели Землячка узнала, что я заснула на ночном дежурстве? Разбудил меня Альфин, вернувшись из штабарма. Но он не выдаст. Может, Землячка серчает, что не сдала я в срок статьи о комсомольской работе для «Красного воина»? Но ведь зато два раза выступила в красноармейских тыловых частях с читкой брошюры о меньшевиках и эсерах, спевшихся с Антантой и предающих революцию.

В первой четверти века не было в быту радио и каких-либо способов передачи важных сведений народу, к тому же в значительной массе неграмотному. Политотдельцы были чтецами и вестниками, лекторами и разъяснителями решений и мыслей партии.

Беспокойство мое нарастало и совсем отшибло аппетит. В обед получила в походной кухне пшенную кашу и, отведав не более ложки, отдала свой котелок Васе Ванееву.

Спросила его:

— Не знаешь, зачем это я ей понадобилась?

Он повел острыми плечиками, поправил сползшую на лоб буденовку и сказал, заметно страдая от своего пискливо-детского голоса:

— Сама знаешь, неспроста. У Землячки без тебя дел по горло. Да ты не дрейфь и не нюнь.

Но я дрейфила. День тянулся дольше, чем ночь на дежурстве.

В сумерки зашел ко мне инструктор Кривцов.

— Я уезжаю в сорок шестую дивизию,— сказал он. — Помнишь, в разбитом особняке в Мценске ты на рояле Моцарта играла? Я тогда стихи под твою музыку написал. Возьми и передай Еве. А то как знать, вернусь ли?

Кривцов ушел. Я развернула листок бумаги и прочла неожиданные и беспомощные вирши:

ГРЕЗЫ

*Еве Селистовой посвящается*
Мелодекламация
*Музыка Моцарта, слова Кривцова*

Тихо, скорбно вдали умирали порывы
В бессловесном сплетении фантазий и грез;
Стонут волны, река и обрывы,
Упоителен запах увядающих роз.
С шумом волны несут безотрадные мысли о прошлом,
Желчь страданий и мук, ненасытную жажду любви,
Исканья ее, терзания о грубом и пошлом,
Сочетанья блаженства, вдохновенья огни.
Больные аккорды, как эхо безумной мечты,
Последний порыв вдохновенья, как стонущий на море вал...
Тишина... Я уж больше тебя не люблю и не пленник твоей красоты,
В тихом всплеске волны схоронил я любви идеал.

В половине одиннадцатого вечера Землячка позвала меня в свой кабинет. На столе коптила керосиновая лампа. Снова случилась авария на электростанции. Едко пахло гарью. Землячка указала мне на покосившийся венский стул, встала и открыла форточку. Ноябрьский воздух ворвался в прокуренную комнату. Розалия Самойловна жадно вдыхала его, не отходя от окна. Резким жестом она расстегнула верхние пуговицы гимнастерки, и я увидела, как тяжело она дышит. На ее худой шее резко пульсировала аорта, и как бы в том же такте раздувались посиневшие ноздри.

— Вы больны,— сказала я и, вовремя вскочив со стула, подхватила покачнувшуюся было женщину. — Сколько уже ночей, поди, не спите.

— Не в этом дело, пустяки,— невнятно ответила Землячка, когда я уложила ее на диване с порванной клеенчатой обивкой и выперішими наружу пружинами.

У меня не было носового платка, но в кармане шинели начпоарма я нашла чистую тряпочку и, намочив водой из графина, положила ей на грудь.

— Ладно,— сказала вскоре Розалия Самойловна,— спасибо. Нет у нас времени болеть. Пройдет, пустяки.

Я помогла ей дойти до стола и сесть в узкое деревянное креслице.

— Вам бы поспать хоть одну ночь с вечера до утра.

— Вот прогоним белых за Харьков, тогда и отдохнем,— попыталась улыбнуться Землячка и добавила строго: — О том, что мне было сейчас худо,— никому, вам понятно? А то всполошатся. Этого сейчас нельзя. Поговорим о другом. Ева Селистова живет вместе с вами. Так вот, она отвлекла, вольно или невольно, это безразлично, хорошего парня от дела. А ведь время не то. Видите ли,— продолжала мягко начальница политотдела,— не думайте, что я сухарь, не знающий жизни, классная дама из тех, о ком много писалось в юмористических рассказах. Вовсе нет! Моей профессией было преподавание французского языка. Я зачитывалась Готье, Бальзаком, Стендалем, Флобером, любила стихи Мюссе и Бодлера. Ничто человеческое не было и мне чуждо. Но всему свой час. Теперь, когда все наши помыслы, мечты, воля должны принадлежать борьбе за победу, имеем ли мы право запереться в чуланчик наших маленьких по сравнению с общей целью чувствишек! Любовь в такой момент ослабляет и вредит. Она даже опасна. Надо вам и Лидии Алексеевой повлиять на Еву. Человек обязан руководить своими чувствами. — Землячка замолчала. — Вы, верно,— начала она опять,— думаете, слушая меня, что я стара и не понимаю истинной романтики. Не так уж сложно прочесть ваши мысли. Но сейчас мы только воины. Придет время, мы победим, кончится война, и тогда запоют соловьи лирические песни и зазвучат для всех вас, юных, слова любви. Но не раньше.

## ПРОЩАЙ, КИЕВ!

Мать нашла меня в конце 1919 года, когда политотдел армии находился в Мценске. К этому времени я была уже членом партии. Мы встретились лишь через неделю после ее приезда, так как я с подругой, инструктором агитпропа Лидией Алексеевой, ездила в Орел за литературой. Мы увиделись на армейском партийном собрании. Мать уже несколько дней как работала в разведотделе штаба.

— Дурочка,— сказала мама и заплакала. — Ведь твое исчезновение чуть не свело меня в могилу. Как же ты могла скрыть от меня все и бежать из дома?

Мне очень хотелось попросить у матери прощения, но, *защищаясь от того, что казалось проявлением слабости*, я грубо ответила:

— Все это сентиментальности. Ну что могло со мной случиться? Я ведь не маленькая, а ты все еще не можешь этого понять. Надеюсь, ты уже устроилась с жильем?

Я твердо решила не жить с мамой вместе, чтобы никто не мог усомниться в моей самостоятельности. Мне было четырнадцать лет. Приезд матери равно радовал и досаждал мне.

— Ты могла бы выбрать другую армию,— сердилась я.

Мать, поддразнивая, ответила:

— Я нарочно захотела быть поближе к тебе. Ладно, живи, как раньше. А понадоблюсь — приду.

Ночью я долго ворочалась без сна, вспоминая о том, как тайком уехала из Киева на фронт, не пожалев матери и отделавшись коротенькой запиской: «Мама, не волнуйся. Еду в 13-ю Красную армию. Хочу воевать. Твоя Галя».

А как было поступить иначе? Мать и слышать не хотела, когда я ей говорила, что должна, как все комсомольцы, идти на фронт.

— Подожди до шестнадцати лет.

— Тогда война кончится. Не хочу прийти на готовое.

— И здесь работы хватит. А главное, надо учиться. Без этого революционер не революционер. Четыре класса — ничто. Ты пишешь с ошибками, а советской власти нужны грамотные.

Мы спорили в те короткие часы, когда бывали вместе. Мать уходила на работу спозаранку и возвращалась к полуночи. Я жила привольно, предоставленная себе самой. Так было с весны 1919 года. В начале лета меня приняли в только что организованный на Украине комсомол, и я проводила дни в губкоме, расположившемся в одном из особняков бежавших за границу сахарозаводчиков, в Липках. Там в начале августа, после окончания шестинедельных курсов красных сестер-санитарок, я получила направление на работу в 13-ю армию Южного фронта, в городок Ливны, Орловской губернии, где находились штаб и политотдел.

Наверно, странное это было зрелище, когда к военному эшелону, направляющемуся в Курск, подошла девочка в белых носочках и матерчатых туфлях, с двумя косами, перевязанными красными лентами, с маленьким

парусиновым чемоданчиком и, предъявив документы, попросилась в теплушку. Но время было такое, когда никто ничему не удивлялся. Девочка была бойка и на вопрос, сколько ей лет, приврала, что пятнадцать.

— Лезь на нары,— сказал тучный пожилой матрос. — Медицина на фронте нужна.

Когда вскоре эшелон отошел и Киев скрылся, мне стало боязно. Заныло сердце в тоске по матери, по родному городу. Испугалась неизвестности, в которую ринулась с детским бесстрашием.

В ту именно пору мать пришла в Дом Советов, где мы жили, открыла дверь нашей с холодным безвкусьем убранной гостиничной комнаты и увидела на столе дочерние торопливые каракули. Бедная мама! Сколько месяцев жила она в неутешной тревоге, запрашивала, ждала ответа, отчаивалась и надеялась, прежде чем узнала, где я. Не от меня. Киев был оставлен красными. Мать отступила с последними советскими частями. Прибыла в Москву, и оттуда партия направила ее в армию, где мы встретились в дни напряженнейшей борьбы за тульскую землю, находившуюся в опасности.

## ПЕРВЫЙ БОЙ

Мандат, подписанный Землячкой, был короток и суров: всем учреждениям и воинским лицам предлагалось оказывать мне содействие в исполнении задания. С ночи на перроне вокзала города Александровска, где вот уже месяц находился политотдел армии, ждала я воинского эшелона. Линия фронта пролегла недалеко от Перекопа.

— Куда держишь путь, парень? — окликнул меня густой мужской голос.

Я не удивилась такому обращению. У меня была обрита после тифа голова, и носила я кожаные штаны и куртку.

— В сорок шестую дивизию.

— Что везешь?

— Литературу для клубов.

— Нам по пути до Мелитополя. Тащи мешок.

Я обрадованно взобралась в теплушку, освещенную огнем раскаленной печурки.

Нары обещали желанный отдых. Я устроилась в углу и крепко заснула.

— Эй, желторотый, просыпайся, а то останешься без обеда,— разбудил меня тот же басовитый голос.

Я повязала чуть обросшую волосами голову красным кумачом и подошла к «буржуйке».

— Чудеса! Парень-то оказался девкой! — удивились вооруженные ложками красноармейцы, которых было в вагоне человек тридцать.

— Знал бы, что оборотень, не пустил бы,— сказал мой покровитель, оказавшийся комиссаром части.

Двери теплушки были полуоткрыты, и вместе с освежающим, острым воздухом в вагон врывались весенние лучи солнца.

— Не сбрасывать же ее на ходу,— засмеялся кто-то и протянул мне котелок с дымящейся бараньей похлебкой, запах которой плыл над нарами.

— Как тебя зовут? — все еще с заметным разочарованием спросил меня комиссар.

— Галя. А вас?

— Фамилия Шварцборд, имя Абрам.

Комиссар был курносым, розовощеким блондином с голубыми добрыми глазами.

Ехали мы долго, как обычно в те годы разрухи на транспорте, отсутствия горючего, саботажа чиновников. От Александровска до Мелитополя тащились пять дней: нередко приходилось выходить из вагонов и толкать их, помогая паровозу «брать высоту», заливали то и дело горевшие буксы, стояли в поле, пока отыскивали воду и топливо.

Я подружилась со своими попутчиками, рассказала все о себе и досконально узнала их короткие биографии. Все это были юноши, как и комиссар, не старше двадцати пяти лет, готовые пожертвовать жизнью, лишь бы осуществить в стране идеи социализма. Шварцборд оказался студентом одного из московских институтов, в 1917 году он бросил учиться и вступил в красногвардейский отряд. Он любил стихи Блока и с пафосом читал «Башню» Гастева. Густым баритоном, с умиленным выражением лица и даже слезинками в светлых глазах пел революционные песни. Его репертуар был очень обширен, и начинал он всегда свой концерт с любимой песни Ленина «Замучен тяжелой неволей» и протяжного «Слушай», а заканчивал «Интернационалом», который мы все подхватывали с энтузиазмом.

— Я люблю все необыкновенное,— говорил мне Шварцборд,— а революция — это самое величественное на земле, она пробуждает в человеке титана.

В Мелитополь мы приехали утром. Комиссара тотчас же вызвали, и мы не успели проститься. С ним вместе стремительно покинули теплушку и остальные красноармейцы. На открытой платформе, груженной военным скарбом, я добралась до Новой Алексеевки и попала туда в час жестокого боя. Пришло время моего боевого крещения. Правда, я была уже под обстрелом: когда поздней осенью прошлого года 13-я армия оставляла, а позднее освобождала от белых Орел, тогда нашу санлетучку бомбили два аэроплана.

В Новой Алексеевке я очутилась под настоящим огнем, в самой гуще боя, и попервоначалу изрядно струсила. Да чего уж скрывать, отчаянно испугалась. Грохот и вой снарядов, гул человеческих голосов, выкрики команды и шквал несущихся мимо пеших и конных людей, громыхание запряженных двуколок, артиллерийских повозок, падение бомб с одиноко кружившихся в небе самолетов — все это обрушилось на меня как прорыв всех стихий и сигнал всемирного конца.

С трудом подавляя ужас, желание укрыться, бежать прочь, я бессознательно шептала «мама» и чувствовала, как начинаю дрожать и холодеть. И вдруг, как бы выскочив из-под земли, рядом оказался Шварцборд. Он был возбужден, весь охвачен азартом боя.

— Вот когда мы их загоним в Черное море! — крикнул он мне, заряжая на ходу винтовку. — За мной, герои, ура!

Красноармейцы бросились вперед с комиссаром, и какая-то волна подхватила и меня, понесла вслед за ними. Небо, казавшееся мне раньше темно-серым, вдруг прояснилось. Да оно и было ясным для тех, кто победил страх.

— Стой! — крикнул мне комиссар. — Видишь медицинский пункт? Чеши туда да помоги мне, товарищ ранен пулей навылет.

Мы донесли красноармейца до крайней избы полевого госпиталя.

Лишь через год снова встретился мне Шварцборд. Он был тогда секретарем Дмитрия Ильича Ульянова, полюбившего его, как сына.

Спустя несколько месяцев он умер. Это был один из самых оптимистичных, смелых и преданных партии молодых людей, которых я знала. Шварцборда не брала белогвардейская пуля, а убил подколодный враг революции — тиф.

## КОМАНДАРМ ГЕККЕР

Наше знакомство с Анатолием Ильичом Геккером было необычным. После десятидневного трудного пути добралась я наконец до Ливен, маленького, живописно расположенного над рекой городка Орловской губернии. Там находились штабные учреждения 13-й армии. Изголодавшаяся до стойких головокружений, я свернула с вокзала на базар в надежде разжиться хлебом, но там торговали только овощами. Не имея денег, выменяла несколько малосольных огурцов на свои красные ленты, которые с горечью вынула из уныло болтавшихся кос. Парусиновые туфли и носки из белых давно превратились в буро-серые, а измятое коротенькое платье с пояском предательски выдавало мой отроческий возраст. В дороге меня обокрали, и в чемоданчике остались только перешитая из теткиной нижней юбки рубашка, старенькая фланелевая кофточка, несколько комсомольских брошюр, «Памятка санитару» и пачка писем с объяснением в любви одного киевского гимназиста, которыми я очень гордилась. В политотделе меня отправили за оформлением в штаб, и тут-то на грязной лестнице я повстречала военного среднего роста, с добродушным полным лицом и веселыми, живыми карими глазами. Протянув ему свой комсомольский билет и направление в армию, я спросила, кто может послать меня на работу, желательно поближе к действующим воинским частям.

— Сколько тебе лет? — спросил явно заинтересованный моей особой военный и вдруг широко улыбнулся, показав ровный ряд блестящих зубов.

Я замялась.

— Да оно и так видно,— продолжал военный. В это время к нему подошли еще несколько человек. — Не хотите ли посмотреть, какое нам шлют подкрепление? В армии детям делать нечего. Отправить ее в тыл.

— Никуда отсюда не поеду! — закричала я в бессильной злобе.

— Решение командарма,— сказал кто-то.

Так впервые увидела я Анатолия Ильича Геккера и прониклась к нему жестокой неприязнью. Из армии меня, однако, не услали, и пошла я работать санитаркой в прививочный отряд. Вместе с врачом разъезжала по тыловым воинским частям, добросовестно смазывала йодом спины красноармейцев на месте укола противобрюшнотифозной сыворотки. Позднее перевели меня в политотдел.

Сначала я избегала попадаться на глаза Геккеру, но через несколько месяцев, под влиянием доброжелательного отношения к нему всех окружающих, постепенно смягчилась.

В январе 1920 года тиф собирал богатую жатву. Как злейший диверсант в засаде, подстерегал он нас. Занемогла и я, но, покуда была в состоянии, скрывала свой недуг. На третий день, когда штаб готовился к переезду из Купянска в Бахмут, я свалилась без сознания в политотделе. Репников на розвальнях отвез меня в санитарную теплушку для заразных. Много дней длилось беспамятство, а пришла в себя от громкого мужского голоса, распекавшего кого-то:

— Безобразие! Расхлябанность! Почему больные валяются без матрацев и плохо укрыты? Под суд угодите.

— Товарищ командарм,— устало отвечал врач санлетучки,— мы не спали уже пять суток. Вместо двадцати в этой теплушке находятся тридцать четыре больных. Не хватает медикаментов. Сена для матрацев нет: ушло на фураж. Я сам только поднялся после тифа.

Голоса удалились. Я снова погрузилась в забытье. Когда открыла глаза, кто-то осторожно прикладывал к моему измученному бредом и жаром лбу мокрую холодную тряпицу. Узнала в склонившемся надо мной человеке Геккера.

— Эту девчонку я видывал,— сказал он удивленно.— Мы с ней маленько повздорили. Значит, нарушила мой приказ, на своем настояла. Осталась-таки в армии. Упрямая, таким тиф не страшен.

Геккер вместе с несколькими штабными работниками задержался в вагоне сыпнотифозных, чтобы помочь едва державшимся на ногах от усталости медикам. Спустя несколько часов всех больных разместили в реквизированном доме, уложили на удобные постели, согрели и накормили.

Прежде чем уехать на фронт, Геккер снова пришел в лазарет.

— Ничего, видать, не боится — ни заразной вши, ни пули,— говорили о нем красноармейцы,— чисто ленинский командарм.

Геккер был любим теми, кто его знал. Штабротмистр генштаба царской армии, он привел в решающие Октябрьские дни войска лейб-гвардии Семеновского полка в Смольный, к Ленину, и стал одним из активнейших борцов с контрреволюцией. Тогда же его приняли в партию.

Всю гражданскую войну этот доблестный офицер-коммунист сражался на самых трудных участках, командуя армией, делил с воинами тяготы, преодолевая все испытания и побеждая. Общительный, душевный, всегда бодрый и щедрый, скромный и честный до фанатизма, он располагал к откровенности, воодушевлял всех своим примером. Было в нем что-то озорное, когда, широко открыв полные губы, он заразительно смеялся и шутил. В годовщину Октября он плясал с красноармейцами русскую, а под утро был уже на передовой.

Когда отбушевала гражданская война, я часто встречалась с Геккером и его дружной семьей. Хлебосольный хозяин любил веселое застолье. Его страстью были народные песни, и он мог часами слушать их с особым вниманием и восхищением.

## «В ДНИ РЕВОЛЮЦИОННЫХ БУРЬ»

Землячку вызвали в Москву. Начальником политотдела стал Григорий Федоров, питерский рабочий со столь же суровой внешностью, сколь мягким, отзывчивым сердцем. Лицо у него было насупленным, неулыбчивым, а заглянешь в глаза под нависшими бровями и удивишься, какие они внимательные, ласковые. Заместителем Федорова работал тоже питерский рабочий, член партии с 1912 года Петр Репников, которого мы все по-доброму звали просто «Репушка» или «Репка». Невысокого роста, красивый, курчавый, он был неутомим и терпелив, как праведник. Мы находились под его дружеской опекой. Он все знал о нас, судил, мирил, наставлял, входил в наши бытовые заботы и охотно помогал словом и делом. В ян-

варе 1920 года более половины политотдельцев слегло в сыпном тифе, и Репушка выхаживал нас, помещал в лазареты и, главное, работал один за десятерых.

Когда, наголо обритая, отощавшая, нетвердо стоявшая на ногах, я вернулась в общежитие, врач потребовал для меня трехнедельного отпуска: шалило сердце. Федоров и Репников проведали меня. Оба принесли разной снеди в придачу к пайку. Даже плитку трофейного харьковского шоколада «Жорж Борман».

Репников сразу приступил к делу.

— Нет у нас пьес для красноармейских театров,— сказал он мрачно,— смотрел нынче программы, только и ставят в клубах что «Коварство и любовь», «Дон-Жуан» и прочую дореволюционную антимонию. Не знаю, как быть. Впору самому писать, так вот нет ни умения, ни призвания. Вот бы мне твою образованность, то-то накатал бы пьеску. — Репушка даже привстал и тряхнул кудрями. Он один из нашей политотдельской коммуны избежал тифа и сохранил завидную шевелюру.

— Поправляйтесь,— завершил беседу Федоров,— и приносите нам через три недели хорошую драму, этакую, чтобы посрамила всех буржуазных драматургов. Кому тогда и писать, как не вам. Говорят, на рояле играете да к тому же четыре класса уже кончили, интеллигентка и член партии. Тем и отпуск свой оправдаете.

Федоров говорил шутливо, но я отнеслась к его пожеланию со всей серьезностью своих отроческих лет. Мне казалось, что написать пьесу легче, чем статью для газеты «Красный воин».

Кроме Альфина, который в это время болел тифом и находился в дивизионном лазарете, тонким ценителем литературы считался Федор Иванович Абрамов, агитпроп политотдела. Он был единственный студент среди нас и учился до фронта в Москве, на филологическом факультете. Он читал нам стихи Брюсова, Блока, Бальмонта, Игоря Северянина. Репников называл Абрамова иронически «интеллигашка» — из-за частых смен настроения и позерства, столь чуждого остальным политотдельцам.

— Человек не схема и не примитив,— сказал нам как-то Абрамов. — Жажду заблуждений, в них ядро истины. Путь к правде — через неправду.

Все это звучало для меня как ребус и вызывало почтительный интерес к студенту.

Абрамов обещал просмотреть мою пьесу, когда она будет дописана, и я погрузилась в творчество, о котором имела самое смутное представление. Сочинения в четвертом классе давались мне легко и нравились учителю. Уже через десять дней пьеса, названная мною с помощью Репникова «В дни революционных бурь», была готова. Ни малейшего напряжения она у меня не потребовала. Тогда я еще не знала, что рождение значительных произведений тяжело и стоит большого ковша крови и слез.

Трудно было написать хуже, чем это сделала я. Но бойкость речи и поверхностность мыслей, та опасная легковесность, которая обманывает несведущих, придала пьесе видимость значительности.

Репушка сказал: «Ну, молодец, из тебя выйдет толк». Точно так же оценили мой труд и другие товарищи. Не без робости принесла я исписанную тетрадку Федору Ивановичу Абрамову. Он потребовал ночь на прочтение и вынесение приговора. Это было в его дежурство. Утром я встретила его у дверей политотдела, и мы пошли к берегу Днепра. Абрамов многозначительно и важно молчал. Я едва сдерживала дрожь.

— Пьеса ваша нужная, искренняя, мотыльковая. Что видите, то и пишете. Сегодня такие нужны. Вот так-то, девушка. Огонь живет смертью воздуха, воздух — смертью воды, все течет, все изменяется. Чтобы увековечить в образах гражданскую войну, нужны будут мастера мозаики. Россыпь алмазов и самоцветов в памяти человеческой поможет их трудному делу. Кое-кто дивится, что я, нытик, на фронт пошел, Маркса, Ленина принял. Умом принял, а затем и сердцем. Вот и пошел. Другого пути нет. Вы все стальные, а я возле вас сильней становлюсь. Так-то. Знаете, Тургенев, Некрасов плохо писали поначалу, а потом в большие, великие вышли. Так что не смущайтесь. А ваша пьеса чем-то за душу берет, неважно, что не сильна она.

Так и не сказал Абрамов мне ничего больше.

Вскоре я напечатала свою пьесу в армейской типографии. Пошла она по клубным сценам армии, а спустя год случилось мне быть в Харькове. Кончилась гражданская война. Ехала я в Киев, и гуляли мы по Харькову с одним молодым пареньком. Вдруг на окраинной улице на

дверях клуба увидела я рукописную афишу. Какой-то самодеятельный кружок ставил пьесу «В дни революционных бурь». Автор не был указан.

«Вот славно,— подумала я,— удивлю сейчас своего знакомого моим творением».

Но с первого действия и сюжет и диалоги вызвали неудержимый смех моего попутчика.

— Ну и бездарная же пьеса, экие сравнения оригинальные: «Ты сегодня розовый, как поросенок в сметане»,— потешался он. — А сюжетец: героиня сражается на стороне красных вместе с сыном, а герой, ее муж, белогвардеец. Трафарет, набивший оскомину.

И мне оставалось смеяться над собой, и самое грустное было то, что пьеса действительно никуда не годилась. С высоты времени, проведенного за учебой, я отчетливо видела несовершенство того, что считала ранее удачей. Поняла и устыдилась. Вернувшись после позорного для меня вечера, когда я так и не осмелилась признаться в том, что пьеса «В дни революционных бурь» была написана мной, я в своем дневнике поклялась не пытаться делать того, к чему нет у меня дарования. Право на творчество казалось мне потерянным навсегда.

## ЛИДИЯ АЛЕКСЕЕВА

Были девушки в 13-й армии. Они не уступали никому в самоотверженности и храбрости. Вера Шаталова, Лида Володарская для пользы революции готовы были ринуться и в прорубь и в пекло. Всех больше нравилась мне Лидия Алексеева, щупленькая женщина двадцати двух лет, с иконописным, бледным лицом, сжатым, маленьким красным ртом и скорбно сведенными бровями над серьезными серыми глазами. Наглухо застегнутая косоворотка, тяжелая юбка и широкий пояс с браунингом дополняли ее суровый и по-своему прекрасный образ. Она не раз бывала в боях, без устали выхаживала раненых и сыпнотифозных, никто лучше ее не выступал с лекциями, к которым она готовилась требовательно, настойчиво. Для меня Алексеева была идеалом, и я старалась подражать ей во всем. Только закрутки с махоркой не могла научиться курить.

Лидия Алексеева долго меня не замечала, но когда мы вместе попали под бомбежку в Орле, за час до сдачи города белым, и я помогла ей погрузить важные документы, она изменила свое пренебрежительное отношение, и мы подружились.

Альфин называл Алексееву «Царевной Несмеяной», и я действительно никогда не видела ее улыбки, хотя более полугода мы жили вместе. Если не было работы и чтения, Алексеева доставала грубоватый кисет из темно-зеленой ткани с чьими-то неизвестными мне инициалами и начинала скручивать козьи ножки. Прокуренными, коричневыми пальчиками она ловко заворачивала махру и принималась дымить, глубоко затягиваясь. Однажды на постое в пустом, холодном здании мы нашли гитару, и я увидела, как обрадовалась ей Лидия. В первый же свободный вечер перед сном она легко извлекла из инструмента мелодичные звуки и запела: «Крики чайки белоснежной, запах ели и сосны...»

Алексеева пела мастерски и с поразительным чувством. Волновали не только музыка и слова, но, главное, голос — проникновенный и печальный.

Однажды в политотдел приехали новые работники из Москвы. Никогда, ни в тяжелых испытаниях войны, ни в минуты полного отдыха, я не видела ее такой изменившейся, как в тот раз, когда она вышла из комнаты, где повстречалась с москвичами, и сказала мне, тяжело заглатывая воздух:

— Сергей жив. Муж мой жив!

Я не знала, что Лидия замужем. И даже в тот вечер эта женщина мне ничего не пояснила, только пела и курила. Вскоре, уезжая в другую армию, приоткрыла она мне до того тщательно затянутую завесу своей жизни.

Была Лидия дочерью небогатого купца и мыкалась без матери, покуда он пил, буянил, блудил. Этот непутевый человек в конце концов повесился на глазах у десятилетней дочери. И пошла девчонка в люди. Хватила горя через край.

В 1917 году в Петрограде закрутил ее водоворот у особняка Кшесинской, когда выступал там с балкона Ленин. Вскоре повстречала она молодого паренька и стала его женой. Это и был Сергей. А дальше завихрились судьбы молодоженов. Сергей после Октября поехал в Москву, оставив беременную жену на попечении свекрови.

Ребенок родился у Лидии хиленький и вскоре умер. Отправилась она искать мужа. В трех армиях побывала. Не гостьей праздной, а рядовым бойцом, медсестрой, политработником. Желая быть как можно полезнее народу, вступила в партию, но в сердце ныла боль страстно любящей женщины. Кто-то сказал ей, не проверив, что Сергей убит, и Лидия перестала искать и ждать. Не впервой ей было терять дорогих людей и оставаться одной. И вдруг круто, нежданно обернулась по-иному жизнь. Алексеева нашла того, кто, как и она, все эти годы искал ее на путаном бездорожье гражданской войны.

## КОММУНА «КУЗНЕЦОВ»

Любимой песней нашей была:

Мы — кузнецы, и дух наш молод,
Куем мы счастия ключи...

Мы жили коммунами — мужской и женской, питались из походной кухни, но если перепадало что-либо необыкновенное, вроде гречневой крупы или бутылки молока, устраивали совместные пиры. Собирались мы, чтобы почитать на досуге или послушать музыку. На мужской половине большой избы вместе с политотдельцами поселился скрипач Цицаркин, высокий, нескладный юноша со стриженой, точно углем измазанной, головой и такими блестящими в оправе черных ресниц и густых бровей глазами, что прозвище его сразу же стало «Цыган». Где он учился музыке, откуда попал на фронт, никто из нас его не спрашивал. Редкое свойство было у той поры: люди настолько остро жили настоящим и особенно будущим, что не интересовались прошлым. В ярком пламени революционной эпохи сгорало все низменное в душах людских. Как-то само собой получалось, что не любопытствовали, не сплетничали, не суесловили, не клеветали. Зато, живя в осуществленной мечте, не переставая мечтали дальше, а греза и скверна не сосуществуют. И мы парили в добрых чувствах и, главное, стремлениях.

Не важно, что Цицаркин был очень курнос и носил выцветшую военную гимнастерку и сапоги в нелепых заплатах. Сколько я ни слыхала позднее прославленных скрипачей, державших в чудодейственных руках творе-

ния Страдивариуса или Амати, мне всегда казалось, что Цицаркин все-таки играл лучше и его плохонькая скрипка звучала напевнее и глубже. Так сильно было восприятие музыки в разрушенном Мценске или в заснеженной Паточной, когда в полутьме, при коптилках, сидя на топчанах, застланных поверх соломенного матраца одной шинелью, наслаждались мы Листом и Чайковским. Но особенно нравились нам зажигательная мазурка Венявского и тоскующие ноктюрны Шопена.

Мы устраивали импровизированные концерты и превращались в певцов, декламаторов и танцоров. Случалось, звуки, пробивавшиеся сквозь окна, завлекали к нам гостей. Приходил один из руководителей штаба армии, всеми чтимый Магидов, по прозвищу «Борода». Он был, как и Землячка, строг с молодежью, справедлив и по-отечески отзывчив. Мы знали, как необычна, трудна и увлекательна была в прошлом его полная тревог и опасностей жизнь профессионального революционера. Магидову исполнилось не больше сорока лет, но он числился у нас в стариках — так неопытны и юны все мы были. Как-то зашли, услышав скрипку, командарм Геккер, начальник агентурной разведки румянолицый, всегда подтянутый Ильинский и похожий на былинного витязя, известный своей отвагой Медведев. Они возглавили наш хор своими сильными голосами. Песня собирала слушателей и звучала в избах и на улицах. И хотя мы все жили впроголодь, в удачные ночи спали не более пяти часов, исполняли самые различные нелегкие обязанности, воевали и в беспамятстве валялись в сыпнотифозных бараках, дух наш ничто и никто не смог сломить, ослабить.

Нередко, очарованные скрипкой, мы подолгу мечтали в молчании, прежде чем приняться за обязательное чтение и разбор какого-либо серьезного произведения. Тот же Цицаркин обычно читал нам «Анти-Дюринг» или «Эмпириокритицизм», а Альфин и Репников объясняли затем наиболее трудные места. И когда положенный политчас кончался, если было что-либо в закромах коммуны, мы принимались за еду. Чаще всего, кроме хлеба и кипятка, нам ничего не перепадало, но однажды секретарь политотдела, сутулый, рыжеволосый и веснушчатый Лазаревский, добыл откуда-то немного гречневой крупы. В течение трех дней мы предавались сладостному чревоугодию и поглощали кашу с микроскопическим

количеством молока, пожертвованного хозяйкой нашей избы.

Лазаревский вступил в партию в 1917 году и поэтому имел перед нами, более молодыми коммунистами, неоспоримые преимущества. Он отличался деловитостью и здравомыслием, которые действовали на нас подобно полезному ледяному душу. В большом деле такие люди, как Лазаревский, незаменимы. Всегда уравновешенный, точный, он знал в мельчайших подробностях цифры отчетов с мест и будничную суть политотдельской бухгалтерии, запасы литературы и оборудования, возможности снабжения клубов, библиотек, изб-читален и агитвагонов. Он помогал нам в составлении отчетов и выручал, когда мы теряли или забывали инструкции, планы и действовали недальновидно и самостийно.

Начальники считались с Лазаревским, и он, случалось, выгораживал нас, когда над нами нависала беда по причине нашего легкомыслия или самонадеянности. Но, предотвратив взрыв, он точил нас поучениями, не повышая своего тусклого голоса и посмеиваясь одними только маленькими светлыми глазами. Он всегда подшучивал не только над нами, но и над собственными неприятностями, и я не видела его вспыльчивым или подавленным. Лазаревский никогда никого не нагружал багажом своих тревог и неудач: он был деликатным и не хотел никого обременять.

Началось наступление. Цицаркин уехал на передовую, не сказавшись. Впрочем, обычно мы делали так же. Скрипку он не взял. Руки его сжимали винтовку, он был превосходным стрелком и гордился этим. Шли месяцы, и коммунары долго возили его скрипку с собой. Цицаркин так и не вернулся.

## СИЛА УБЕЖДЕННОСТИ

Зал клокотал. Митинг давно начался, когда я, урвав часок, прибежала из политотдела в большой амбар. В те дни в нем происходили летучие солдатские собрания.

Густой дым от махры плыл над головами. На небольшом, наспех сколоченном возвышении стоял оратор, хорошо знакомый нам уполномоченный штаба армии — бородатый утомленный человек в короткой старой бе-

кеше. Папаху он снял, открыв широкий лоб и гладкие, небрежно падавшие волосы. Он говорил о предстоящих боях, о нашем тернистом пути и неизбежной победе. Имена великих первых коммунистов прошлого столетия и погибших парижских коммунаров звучали как поминовение и клятва. Оратор рассказывал красноармейцам, уже обожженным войной и готовым к новым схваткам, о том, что мир движется к счастью волей и добротой им подобных, и обращался к истории, как свидетельнице этой единственной земной правды.

Братья Гракхи, Спартак, Джордано Бруно и Галилей, Коперник и Данте, Робеспьер и Бланки, Маркс, Энгельс и Ленин — все незримо присутствовали на митинге в селе близ Тулы, и люди переставали чувствовать тридцатиградусный мороз, безжалостно щипавший руки и ноги, и то ярились, то смеялись.

— Экая силища — слово,— заметил паренек в мешковатой тужурке и кроличьей ушанке, когда оратор кончил.

Мы с этим парнем вышли вместе. Я заметила на его лице свежий большой рубец от сабельной раны.

— Приезжайте к нам в часть! — И мой новый знакомый назвал номер полка и свое имя — Митя.

Прошло полгода, и я очутилась под Сальковом в часы высадки белого десанта генерала Слащева. 13-я армия шла на Крым. У Перекопа начались жестокие бои. Враг, припертый к Черному морю, судорожно, зверски сопротивлялся. И снова в нескольких верстах от боя, на полянке за низким лесом, собрались на короткий митинг красноармейцы. В ораторе, взобравшемся на пушечный лафет, я узнала Митю. Рубец фиолетовой чертой пересек ему правую щеку от скулы до подбородка.

— Хорошо говорит наш командир,— сказали мне красноармейцы, как бы читая мои мысли.

Ни единого фальшивого, неуместного слова не позволил себе оратор, и речь его, тоже изобилующая фактами о революционерах прошлого, пересказывающая выступления Ленина, поднимала боевой революционный дух слушателей, звала их на подвиг.

Магическая сила таится в словах человека, кровно убежденного в том, что он ратует за правое дело, эта сила способна творить чудеса отваги и самоотречения: я не раз была тому свидетелем на гражданской войне.

Речь Мити прервала начавшаяся канонада. Прямо с

митинга пошла часть в бой. И какое это было сражение! Белые бились насмерть, отступать им было некуда: Красная Армия взяла в кольцо противника. Не помню, когда началась и когда кончилась военная страда, но твердо знаю: ради того, чтобы люди покончили с войной навсегда, каждый из красных воинов готов был отдать свою жизнь. Вокруг меня раздавались голоса раненых, заглушаемые артиллерийской и ружейной стрельбой.

На другой день бой затих, наши очистили Сальков от белых. Вдалеке услыхала я звуки духового оркестра. Хоронили героев. Не знаю, какой порыв подхватил меня. Пришла я к большой братской могиле. Незнакомый комиссар с рукой на перевязи произносил прощальные слова. Я посмотрела на убитых и увидела на белой щеке одного из них лиловый шрам от виска к шее. Митя! Он казался совсем юным, и глаза не то чтобы закрылись, а сощурились от резких, прямых лучей солнца, ласкающих его в последние минуты.

Митя! Чей он сын, брат? Кто он был? Был... Я горько заплакала над молодыми жизнями, которые оборвались во имя коммунизма.

## КИСЕТЫ

Как очутился Миша Сапегин в нашей армии, я не узнала. Он работал в штабе, и познакомились мы в Белгороде в канун Нового года. После общего собрания гурьбой высыпали на безлюдную улицу. Снегопад и морозная свежесть подействовали на молодежь пьяняще. Мы принялись лепить снежную бабу и решили устроить в клубе агитационную елку. Но никто из нас не умел рисовать и не знал, как осуществить этот замысел.

Комиссар штаба армии Кизильштейн, бывший докладчиком на заседании и шедший вместе с нами, порекомендовал своего секретаря как превосходного художника. На другой день в обеденный перерыв Алексеева и я отправились к нему. Сапегин оказался молодым, застенчивым человеком с женственно пухлым и миловидным лицом. Нас несколько обескуражило светское воспитание нового знакомого. Он попытался помочь нам снять шинели, подал табуреты и остался стоять, покуда мы не сели. Эти простые проявления внимания смутили нас, и мы тщетно пыта-

лись спрятать неуклюжие ноги в непомерно больших, стоптанных сапогах, красные, огрубевшие руки с не совсем чистыми ногтями и торчащими заусеницами. Сапегин невольно напомнил нам, как мы мало похожи на девушек, воспеваемых в классических романах и поэмах. Желая отогнать возникшую неловкость, Алексеева громко откашлялась и принялась сворачивать козью ножку, затем нарочито по-мужски закурила. Сапегин, будто ничего не замечая, взялся за дело и скоро увлек нас своей изобретательностью и умением, с каким он вырезал из бумаги и картона, клеил и раскрашивал карикатуры на Чемберлена, Болдуина и белогвардейцев разных мастей. Мы соорудили большую пятиконечную звезду и красноармейца, который метлой выметал с советской земли различную нечисть. К вечеру елка была водружена в клубе, занимавшем зал одной из неработавших школ, и на диво украшена. Мы осветили зал плошками. Народ валил к нам валом, и всю ночь не умолкал баян, не прекращались песни и танцы.

Мы все подружились с Сапегиным. Он оказался двоюродным братом знаменитого в начале века киноартиста Максимова, чья немного слащавая красота чаровала многих любителей первого кинематографа. Обычно Максимов играл вместе с Верой Холодной и Полонским.

Отличные, хотя и казавшиеся нам тогда старомодными, манеры талантливого художника Сапегина всегда обезоруживали и стесняли меня. Никто из нас не знал правил обихода и поведения в обществе. Мы мучились вопросом, что хорошо в быту, а что плохо, преследуемые сомнениями, откладывали все на будущее. Не на войне же решать, как вести себя девушке с мужчиной, можно ли дружить с человеком, имеющим семью, и где грань дозволенного. Мы были пуритански чисты, но на словах пытались ниспровергать все преграды, которые называли предрассудками. Время диктовало целомудрие и строгость, и мы умом и сердцем понимали это. Ставка наша была на всю долгую жизнь и не терпела компромиссов.

Сапегин попросил меня сшить ему кисет для махорки. Я оторвала кусок бархата от обивки дивана и принялась кроить мешочек. Но получалось плохо, пока мне не помогла Алексеева, хорошая швея и рукодельница. Нелегко было найти золотые нитки, и если бы не старые эполеты, валявшиеся в доме, где мы реквизировали книги для

клубных библиотек,— хозяева дома бежали с белыми,— инициалы «М. С.» вышиты не были бы. Но Сапегин, как оказалось, вовсе не хотел, чтобы именно его инициалы были на кисете. Краснея, как отрок, он признался, что хотел кисет с буквами «Л. А.». Ему хотелось подарить его Лидии Алексеевой.

Мы шили множество кисетов, стремясь порадовать ими наших боевых товарищей. И пусть не сложено песен о кисетах, но они согревали наши души.

С Мишей Сапегиным я встретилась много лет спустя в Москве. Он был тогда одним из ведущих художников Большого театра.

## В МОСКВУ

Почти год пробыла я в Красной Армии. Мать, задолго до меня уехавшая в Москву, настойчиво, с каждой оказией, звала вернуться к ней. Отец, проживший с матерью семнадцать лет, оставил ее, и я знала, как она страдает.

Советское воинство очищало родную землю от врагов. Многие из моих однополчан уже уехали на другие фронты либо в тыл, учиться.

Я собрала свой незначительный скарб, сменила кожаные штаны на неуклюжую юбку и приготовилась в путь-дорогу.

Начальник политотдела, недавно прибывший к нам, пожав плечами, сказал, перелистывая мою анкету:

— Вам только пятнадцать лет!.. Как случилось, что вы столько времени провели в армии?

Осмелев, я ответила:

— Видно, не до анкет было, товарищ начпоарм, а иной молодой в борьбе трех стариков стоит.

— Оса! — рассмеялся мой начальник. — Езжай в Москву учиться. Теперь другой спрос. Одного энтузиазма и отваги мало. Знания нужны, знания!

В теплушке воинского эшелона уехали мы прочь от берегов Днепра, из Запорожья, где город, как метелью, осыпали лепестки акации, где соцветия каштанов и сирени такой пахучести, что их запах пропитал, казалось, даже стены домов и мостовые. Остались позади Бахмут, Купянск, Белгород, Курск и Орел — города, ставшие для меня родными. За них дралась Красная наша Армия и

гибли дорогие мне люди. Вместе со мной возвращался в Москву и Федя Абрамов. Поезд подъезжал к станции Паточная. Вдали видны были дома села Сергиево. Скрылись последние рубежи, где стоял штаб 13-й армии.

— Вот,— говорил Абрамов, широко раздвинув двери теплушки и указывая рукой на тульскую землю,— вот оно, величие Ленина, идей наших и людей русских. Босые и раздетые не пропустили сильнейшего, до зубов вооруженного, вскормленного всеми буржуями мира врага. И до Тулы — не то что до Белокаменной нашей — не смог подобраться. Пиками, камнями, голыми руками, можно сказать, отогнали, на телегах и тачанках, на хрипящих паровозах, невзирая на голод, тиф, саботаж, долбили, били и разбили. Отступил враг перед силой нашей большевистской и сгинул, как тать во тьме. Вот она, душа земли,— идея.

Мы подъезжали к Москве в молчании. Каждый как бы уединился, испытывая грусть разлуки и тревогу перед неизвестностью. Из кармана гимнастерки я достала мандат на хрупкой бумаге со штемпелем политотдела 13-й армии и не смогла унять волнения.

Мандаты гражданской войны, неразлучные спутники наши! Какими могущественными чувствовали мы себя, пряча маленький листок в кобуру револьвера или рядом с партийным билетом, в нагрудный карман! Всесильный документ давал нам право на ношение холодного и огнестрельного оружия. Мы могли безвозбранно взбираться на тендер паровоза или крышу вагона любого поезда, отправлять телеграммы, останавливать подводы и даже реквизировать книги для воинских библиотек. Пожелтевшие, испещренные помарками «взят на довольствие», «суточные оплачены», «прибыл», «отбыл», они бесконечно дороги каждому участнику гражданской войны, как и старая, обветшалая военная карта, отслужившее оружие или протершаяся буденовка с красной звездой.

Друзья моей юности!.. Каждый из них пошел своей, особой дорогой. Многих сегодня нет уже в живых. Иные отслужили свое, состарились. Но любой из них сберег в душе память о нелегкой и, однако, счастливой поре, проведенной в Красной Армии, под красной звездой, в годы жестоких боев за коммунизм.

*1963*

## СОДЕРЖАНИЕ

### Под Красной Звездой



*Галина Иосифовна Серебрякова*

*Собрание сочинений*

*том 5*

Редактор В. Буланова

Художественный редактор С. Гераскевич

Технический редактор С. Ефимова

Корректоры А. Влазнева и Г. Володина

ИБ № 1238

Сдано в набор 3.04.79. Подписано к печати 21.08.79. А11691. Формат 84×108 1/32. Бумага тип. № 1. Гарнитура «Обыкновенная». Печать высокая. 26,88 усл. печ. л. 27,839 уч.-изд. л. Тираж 150 000 экз. Заказ № 568. Цена 1 р. 90 к. Издательство «Художественная литература». Москва, 107078, Ново-Басманная, 19

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького «Союзполиграфпрома» при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15.